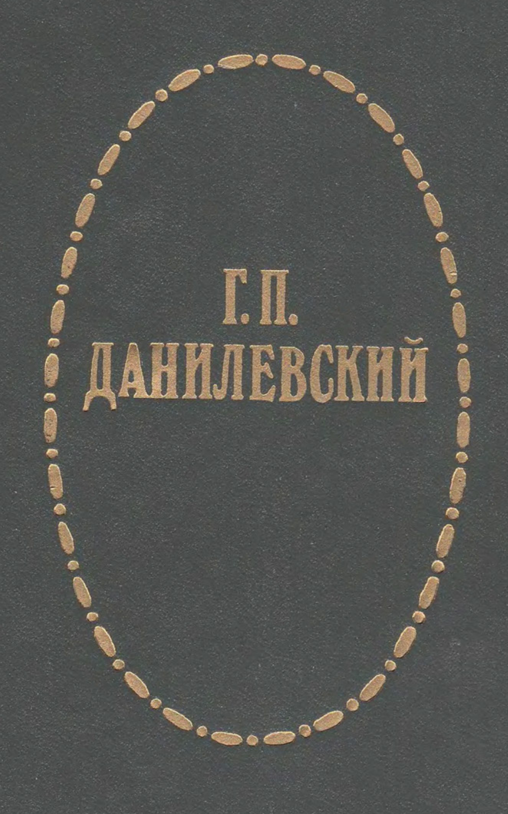


Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

1

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Беглые в Новороссии
Чумаки
Четыре времени года украинской охоты


Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ




Г Данилевскій

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Беглые в Новороссии

Чумаки

Четыре времени года украинской охоты

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том первый



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.

Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т 1 / Биографический очерк С. Трубачева. — М.: ТЕРРА, 1995. — 496 с.

ISBN 5-85255-703-X (т. 1)
ISBN 5-85255-702-1

Широко известный писатель Григорий Данилевский (1829—1890) завоевал признание своих современников произведениями, ярко и неповторимо воссоздающими быт эпохи, отличающимися динамичностью повествования.

В первый том вошли роман «Беглые в Новороссии», повествующий о движении на юг жаждущей воли и богатства народной толпы, очерки «Чумаки» и «Четыре времени года «украинской охоты».

Д 4702010100-056 / А30(03)-95 Подписное

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-703-X (т. 1)
ISBN 5-85255-702-1

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Биографический очерк[1]

«Был, сказывают, тихий весенний вечер. По сю сторону Донца, на крутизне, показался верхом на заморенном коне чубатый гетманец. Ехал он-ат горемычный без дороги, пустыньками да озерками, и как некая тень вечерняя появился, детушки, из-за косогора, с пищалью да с котомкою за плечами, голодный, захудалый, обношенный и уже из себя не молод. Спасался он от вражьего погрома. Миновал одно лесное затишье, другое. Слез с коня, напоил его в ключе, сам перекрестился, напился, поднялся опять на пригорок, окинул глазом Божью, тихую да уютную пустыню, и сердце у него замерло. Упал казак на колени на траву и сказал: «Быть тут поселку! И лучше мне осесть у тебя, мать-пустыня, в соседстве с кабаном да с волчицей, чем пропадать, как псу, от польских кнутов!» Так рассказывала прабабушка нашего писателя, Анна Петровна Данилевская, своим любознательным внучатам в длинные осенние и зимние вечера пред угасавшей печкой о родоначальнике украинской фамилии дворян Данилевских, выходце из Подолии, казаке Даниле Даниловиче, имя которого в письменных актах Изюмского и Змиевского уездов, Харьковской губ.,

[1] В основу настоящего очерка легли некоторые из неизданных материалов для биографии покойного писателя, хранящиеся у его наследников. Таковы, во-первых, «Записки», в которых собраны любопытные сведения и документы о «Слободско-украинских дворянах Данилевских» а во-вторых — «Письма Г П. Данилевского к его матери с детства» (1837—1853). Помимо неизданных, приняты во внимание все печатные материалы.

впервые упоминается в 1698 году, в звании сотника слободы Андреевки, на Донце. Этот поэтический отрывок взят из рассказа под заглавием «Прабабушка» — рассказа, являющегося первым в ряду четырех талантливых очерков, посвященных покойным романистом его «Семейной старине». Под настоящими именами он изобразил в этих замечательных по живости, колоритности и задушевности рассказах, — три последние из которых носят названия: «Тень прадеда», «Дедов лес» и «Бабушкин рай», — целую галерею художественных и типичных портретов своих предков, начиная от прадеда и кончая отцом. Прадед, кроме того, эпизодически обрисован и в романе «Мирович». Таким образом, биографу остается только воспользоваться материалом, собранным покойным писателем.

Основав в степи поселок, казак Даниил Данилевский перевел сюда из-за Днепра свое семейство, вырыл землянку, срубил курень и стал звать своих товарищей, которые откликнулись на зов предприимчивого вожака: «На Донец, на Донец! на волюшку!» Вокруг первого куреня поднялись другие курени первых осадчих, или населителей Слободской Украйны, в числе которых находились Донцы-Захаржевские, Квитки, Шидловские, Милорадовичи, Савичи, Ковалевские. Данилу его товарищи-переселенцы выбрали сотником. С течением времени из куреней в лесу возникла довольно значительная слободка, Великое Село, с окопом, бойницами, мельницею и с маленькою деревянною церковью. Невдалеке от крепостцы Данило стал заводить хутор, что в настоящее время село Пришиб, родовое имение Данилевских, расположенное на левом берегу речки Крайней Балаклейки, впадающей в Донец, в Змиевском уезде, Харьковской губернии. Официально название «Пришиб» упоминается уже в царской грамоте 1685 года.

Но только что успела сотня Даниила Данилевского обстроиться и стала уже богатеть всяким добром, как нагрянули на Донец татары. Незадолго перед тем Данило отправил жену с детьми в повозке на богомолье в Хорошев монастырь и не

боялся за них. Он боялся за сотенную казну, которая хранилась у него в бочонке, в подвале. «Выстроил он сотню из ружьев, запер ворота частокола, расставил часовых, велел с окопа пушкарям палить по броду, сдал на время команду другому; сам, как стемнело, сбросил свиту, взвалил бочонок с дукатами и талерами на плечи да тайком и отнес его в камыши, в родниковый колодезь, невдалеке от сотенного пчельника». Таким образом казна была спасена. Татары разбили крепостцу, сожгли половину куреней, угнали стада и самого сотника пытали, где казна, и чуть не замучили до смерти. На аркане увели татары Данилу в плен в Крым, а потом на Кубань. Года четыре томился в неволе Данило, и только случайно, подкопавши тайник, удалось ему на хозяйском жеребце бежать из плена, вернуться к своим на Донец и зажить еще лучше прежнего. Основатель Пришиба не мог не обратить на себя царского внимания, — слишком очевидны были его заслуги по заселению края; и действительно, 20 января 1698 года он получил жалованную вотчинную грамоту «за верную службу и за полонное терпение» на купленные им грунты, мельницы и пахотную землю со всеми угодьями. Во время проезда из Азова к Полтаве, в 1709 году, перед знаменитой Полтавской битвой с Карлом XII, Петр Великий со свитой остановился в Пришибе, обедал у сотника Данилевского, крестил его новорожденного внука, причем сам в пришибской церкви ставил свечи и подтягивал хмельному попу каноны, катался по озеру, посадил перед домом хуторской усадьбы сотника желудь, из которого вырос громадный дуб, и поныне существующий в саду пришибского поместья, а перед отъездом подарил для пришибской церкви два колокола, которые, как гласит предание, сам и поднял на колокольню. Царь посетил сотника Данилу 1 июня. «Накануне, — как рассказывала прабабушка, — от соседней слободки Балаклеи показалось войско и, не доходя Пришиба, стало лагерем. А на вечерней заре закурилась с той стороны пыль, показались скачущие, в зеленых кафтанах, рейтары, потом один экипаж, другой и третий, и все размалеванные четверками рыдваны да берлины. Это была царская свита. А впереди,

на паре ямских, в пыли, так что его и трудно было рассмотреть, показался как есть, в простой некрасивой повозке, сам царь и с ним рядом изюмский полковник, женатый на дочери сотника, Варваре Даниловне, Михайло Константинович Донец-Захаржевский. Царь у него рано пообедал в Изюме и сказал: «В Пришибе остановись; сделаю муштру тамошней сотне да зайду на пироги к старику-сотнику поблагодарить его за верную службу, за постановку поселка и фортеции и за его полонное терпенье». После Полтавской битвы государь прислал Данилевскому из Батурина пару шлёнских овец на завод, а из Петербурга — крепостную грамоту на владение десятью тысячами десятин из числа сотенной земли, не только с казачьими дворами, но и с самими казаками. За три года до смерти Данило Данилевский по ложному доносу был арестован и увезен «в на-вечерии Рождества Христова» в Петербург, в розыскную канцелярию князя Юсупова, где и умер (в 1719 году), 77 лет от роду, в звании судьи Изюмского слободского полка, оправданный, впрочем, за несколько недель перед смертью. Ложно обвиненный в мнимой измене, он едва не лишился всего своего громадного состояния. Сохранилось любопытное завещание Данилы Данилевского, писанное перед глазами присланного за ним грозного «юсуповского посла» и обращенное к полковнику Михайле Донец-Захаржевскому, который приходился зятем завещателю, так как был женат на его дочери Варваре Даниловне Данилевской. Больше всего в завещании из недвижимости отказано Евстафию, старшему сыну от третьего брака: «Что есть же на Балаклейках и в Курбатове, — говорилось в духовном завещании, замечательном в особенности взглядом на науку Данилы Данилевского, — також балаклейскими млинами, что надлежит Евстафию, по смерти моей жене Анне да мельница купенская и левковская — два кола (колеса) Анне; а в возврат Евстафию купенская и левковская мельницы до смерти особо владеть ей. А по смерти жены моей та купенская мельница внукови моему Михайлови Захаржевскому (сыну того полковника, кому писалось завещание), а левковские кола два Ташке внуци (внуке Татьяне Захаржев-

ской). Змиевский грунт, если суден (рассудителен) будет Максим, сильно есть ему; если ж так, как ныне не вчится (не учится), то только одну мельницу ему, которая от Лиману; тако ж тогда и ольшанский грунт, что есть нашего и что в городе заводов наших; а мельница полковникови Змиевская. Печенежский грунт Иванови, со всем бидлом (скотом), и оба Бурлучки (два огромных имения, Великий и Малый Бурлук, принадлежавшие в 1716 году Даниле Данилевскому, после частью перешли в руки гг. Задонских). Грицькови мужикови простому валянце (пьянице) тысяча рублей, что в ярми бывшего ралечного (в долгу у бывшего казначея). А что остался Прокоп триста рублей виноват с давних долгов, тими церковную работу в Андреевце сделать. А что есть где долгов в записной книге, и то доправивши чинить по рассмотрению. Детям моим сынам с гроши ничто не дать. За них много грошей страчено, а иные и сами не стоят, за то, что не вчились (не учились). Нехай ныне за то страждут, в юности не хотяще труждатися. А когда пожените, то в том по своему рассмотрению зробите, кому что дасте, памятуючи на смерть».

Дальнейшие предки нашего талантливого беллетриста не столь замечательны, как его прапрадед, хотя и между ними были личности выдающиеся. Так, сын Данилы Данилевского, Евстафий, родившийся в 1690 году, служил с 1736 по 1743 год полковником Изюмского слободского казацкого полка и ходил с Минихом в Крым; владея крестьянами, он получил дворянство, повел от царских овец огромные стада, а по ревизии за ним записали навеки всех жильцов его придонских степей. Вообще, как рассказывала Анна Петровна Данилевская, он «жил припеваючи, на всю губу; шелковый красный кафтан стал носить и парик с буклями». Он женат был на побочной дочери князя Никиты Юрьевича Трубецкого, Марье Алексеевне, имел нескольких детей, из которых в живых остался только один первый сын Яков, крестник Петра Великого. История женитьбы его весьма любопытна. Во время плена отца Евстафий был взят царем Петром в Петербург и помещен здесь «в добрую науку к некоему ученому

прецептору». «Был тогда в Питере, возле самого царя Петра Алексеевича, ближним ко двору, князь Юрий Трубецкой, а у этого князя Юрия была на стороне фаворитка из немок, и от этой фаворитки дочка Марьюшка, молоденькая, тихая и из себя красавица... Вышел-ат Евстафий Данилович из школы от прецептора молодец молодцом, румян да пригож, рослый и чернобровый, хотя стыдлив и робок. Стал сержантом гвардии, на царском жалованье, и нередко попадал на караулы к самим царским, не то что к окольным дворским хоромам. Тут он и узнал в тайном спряте княжью Марьюшку и полюбил ее пуще свету; полюбила Евстафия и Марьюшка. Виделись они урывками на вечеринках; танцевали вместе менуэт, виделись наедине в екатерингофских да василеостровских садах и рощах. Долго ли, нет ли, любились Евстафий да Марья, только наконец и скажи матка князю Юрию: что так, мол, и так — некто сотничий сын, из изюмской слободской провинции, государев сержант Евстафий Данилович, сватается за их дочку Марьюшку... Осерчал гордый князь Юрий, выразился дурно не только о Евстафии, но и о его родителе: обозвал обоих хохлацким мужичьем и дегтярниками и запретил даже пускать его к порогу своих хором, грозя отодрать его батогами, коли узрит поблизости Марьи... Евстафий с горя отчалил, вышел в отставку и пропал у всех из виду. А Марьюшка чахла... Пошла она с каммермедхеной своей на реку Волынку на даче купаться, лето было жаркое, и вся царская женская свита в те поры в Екатерингофе наперерыв в воде бултыхалась. Только матка Марьюшки ждать-пождать, нету дочки и каммермедхены. Послали их искать, но слуги на берегу реки нашли только зеленое голландское шелковое платьице Марьи, шитые золотом бархатные туфельки, сорочку да платочек, да смердьи обноски этой недогляды-каммермедхены. Значит, обе девки порешили жизнь кончить и пошли на дно как камешки». На самом деле они были живы и здоровы. На другом берегу, в камышах, ждала Марьюшку подговоренная и некая надежная бабка-голландка, с другим бельем и платьем. «Марьюшка и

служанка выплыли, вновь оделись; а тут же поблизости, в роще, стоял и сам суженый, с повозкой и с добрыми конями; посадил ненаглядную Марьюшку с собою да и умчал ее к отцу в украинские придонецкие леса. Здесь они повенчались, да с тех пор тут и проживали у его родителев». Князь Юрий Трубецкой с фавориткой долго горевали, плакали и служили панихиды. Только случайно все дело объяснилось во время посещения Пришиба Петром Великим перед Полтавской битвой 1 июня. Вместе с царем был тогда и князь Юрий Трубецкой. Встреча отца с дочерью, тогда уже готовившейся быть матерью, трогательно описана в рассказе «Прабабушка». Князь простил и благословил дочь, которая от нервного потрясения несколько ранее срока разрешилась сыном Яковом, крестником государевым.

Яков Евстафьевич, «мужчина уважительный и средостепенный, строгого нрава, хозяин и подданным своим не потатчик», масон из известной ложи Елагина, земляк и однокашник по кадетскому корпусу известного Мировича, служил недолго и умер в 1786 году, 47 лет, поручиком Псковского пехотного полка. В романе «Мирович» о дружеских отношениях Якова Евстафьевича к герою шлиссельбургской драмы упоминается в нескольких местах. В главе же XXVIII («Кумова пасека») рассказывается о посещении осенью 1763 года Пришиба Мировичем незадолго до казни последнего[1]. «По пути (в Петербург), — повествуется в романе, — Мирович заехал к школьному товарищу, Якову Евстафьевичу, в село Пришиб, Изюмского уезда, но был там недолго. Приятель-украинец и его молодая жена были изумлены рассеянностью и мрачною молчаливостью гостя, который более бродил в поле и по сугробам в лесу, на Донце, чем сидел в теплом новом доме знакомцев, слушая их мирные речи о мирных домашних делах. Яков Евстафьевич собирался

[1] Мирович приезжал на родину, в Переяславский уезд, искать судом село Липовый Куст бывшее когда-то за его предками, но потерпел не удачу не имея никаких документов

в будущую осень по какой-то тяжбе в северную столицу. Они условились повидаться». Действительно, осенью 1764 года Яков Евстафьевич приехал в Петербург, но видеться с Мировичем ему уже не было суждено: 15 сентября Якову Евстафьевичу пришлось видеть, как казнили на эшафоте его несчастного школьного товарища.

Воспитывался Яков Евстафьевич в шляхетском кадетском корпусе, откуда был выпущен в офицеры в 1762 году в заграничную армию, в Финляндию. Женившись на фрейлине императрицы Екатерины II, Анне Петровне Плотниковой, дочери фридрихсгамского полковника, он уехал с молодой женой на юг, в свои поместья, где и скончался, сильно расстроив свое состояние в споре с архимандритом Хорошева монастыря, оттягавшим, еще во время малолетства Якова Евстафьевича, лучшее из его имений Ольшанку. «Вечно озабоченный хозяйством своих обширных имений и тяжбами с казной и с соседями, Яков Евстафьевич хотя беспрестанно ездил, — по словам его жены (рассказ «Прабабушка»), — то в губернский город, то в столицы и с виду был угрюм, но ничего он так не любил, как сиденья дома в зеленом шелковом халате на белых мерлушках да слушанья рассказов Ашеньки».

Прямою противоположностью являлась жена его Анна Петровна Данилевская, властительная и важная помещица, к которой некогда съезжался на поклон весь уезд. Она на много лет пережила своего мужа (род. в 1746 году, а скончалась в 1826 году, 80 лет), была строгою хозяйкою, распутывала дела Якова Евстафьевича, с черешневою тростью выезжала в поле, шумела на работников, вела приходо-расходные книги, щепила деревья, рылась в грядах сада и еще незадолго до смерти, весною и летом, чуть не каждую неделю ходила пешком версты за две от деревенской усадьбы в лес. В очерке «Прабабушка» рассказан характерный случай столкновения Анны Петровны с Аракчеевым, приехавшим в гости к бедовой старушке. Аракчеев, вводивший тогда между свободными изюмскими и чугуевскими слободскими казаками так называемые военные поселения, налетел в тихий Пришиб

нежданно-негаданно со своими адъютантами и командирами поселений, — налетел с желанием воочию осведомиться, как один человек (Иван Яковлевич) мог засеять более пятисот десятин сосною (об этом ниже сказано подробнее). Прабабушка, оказывая властям должное уважение, разрешила сыну Иванушке показать и рассказать царскому фавориту все, что нужно; но не преминула перекреститься и плюнуть, увидев из окна опочивальни угловатую и грубую фигуру надутого «азиата», вылезавшего из высокой, запыленной поселенской брички, а при случае даже дала ему и почувствовать свое негодование и пренебрежение.

«Обед приготовили для графа на славу; порезали много откормленных живностей; но лакеи не первому ему подносили кушанья. А когда Аракчеев, сбившись в хронологии какого-то столичного придворного события, о коем он повествовал пред затянутыми до апоплексии в мундиры адъютантами, заспорил со старушкою насчет времени и, положив в тарелку начатое стегно каплуна, спросил ее: «Да позволь уж, мать-сударынька, узнать, какой же тебе годок?» — померкшие глаза старушки сверкнули, она затрясла оборками чепца и белыми как мел губами отвечала: «Во-первых, граф, я тебе не мать и не сударынька, а статс-фрейлина моей покойной царицы Екатерины Алексеевны, и ты будь к хозяйкам поделикатнее; а во-вторых, этакие ужасти! в наше время изряднее нравом кавалеры о годах дам не спрашивали...» Сказав это, прабабушка встала из-за стола, ни на кого не смотря, кивнула головой вправо и влево и, подав руку оторопелому Иванушке, молча и с достоинством удалилась восвояси».

Аракчеев, не кончив обеда, уехал в Чугуев. Когда шутники-друзья расспрашивали об этом грозного временщика, он ворчал и говорил: «Да что, отцы мои! Как ей не быть предерзкой, коли сам тамошний губернатор, ездив на ревизию по губернии, застал, что у порога этой якобинки стоял на коленях, в наказание за какой-то промах по хозяйству, ее пятидесятилетний сын, настоящий владелец имения, притом чином лейбгвардии прапорщик и его величества кавалер!»

Действительно, Иван Яковлевич Данилевский, дед нашего писателя, в течение почти шестидесяти лет не разлучался с родительницею. Она нянчила его, сама выучила не только грамоте, но верховой езде и стрельбе из ружья, под ее руководством он стал хозяйничать, с ее же выбора и согласия в 1799 году женился на Анне Васильевне Рославлевой, происходившей из семьи, которая стяжала громкую известность своим пособничеством при возведении императрицы Екатерины II на престол. Получив домашнее воспитание, Иван Яковлевич, не выезжая из губернии, числился на службе в лейб-гвардии Преображенском полку, где получил чин прапорщика, и в 1796 году вышел в отставку. Страстный охотник и любитель музыки, он увлекся впоследствии также лесоразведением и посеял своими средствами, на песчаных берегах Донца, до тысячи десятин соснового леса, о чем свидетельствуют как официальные, печатные источники, так и семейная, устная старина Данилевских. По ходатайству начальника губернии Иван Яковлевич был награжден в 1819 году орденом св. Владимира 4-й степени, как сказано о том в грамоте, «за отличные труды и усердие, к общей пользе оказанные, в разведении леса на пустых, песчаных местах». Профессор ботаники харьковского университета В. М. Черняев в речи своей «О разведении украинских лесов», изданной в 1857 году, говорит следующее: «Покойный профессор ботаники, незабвенный мой наставник, Ф. А. Делавинь, в 1817 году, в речи, произнесенной в торжественном собрании харьковского университета, упоминает об одном замечательном случае удачного лесоразведения на сыпучих песках. «Я знаю, — говорит он, — одного помещика, скромность которого заставляет меня умолчать о его имени. Когда я проезжал по его землям лет 15 тому назад (1802 г.), я нашел песчаную равнину десятин в пятьсот. Но как я удивился, увидев недавно ту же равнину, превращенную в прекрасный сосновый лес! Ах, почему таких людей немного! Почему имя сего мужа не достигло подножия трона?» Подтверждая слова своего учителя, профессор Черняев добавил: «В 1844 году

я имел удовольствие видеть уже не пятьсот десятин, а более тысячи, и быть в доме, построенном детьми из леса, который за полвека посеян их отцом. С 1804 года Иван Яковлевич состоял, по выбору, комиссаром для сбора дворянских пожертвований на основание харьковского университета. Он умер 64 лет, в 1833 году, среди посеянного им леса, в небольшом, всего в три комнаты, домике, когда внуку его шел пятый год. Несмотря на свои увлечения лесоводством, Иван Яковлевич был малорасчетливым хозяином, жил в свое удовольствие, имел собственных музыкантов, хор певчих, а на охоту выезжал с сотнею и более гончих и борзых собак. Нерасчетливость привела хозяйство Ивана Яковлевича в двадцатых годах в упадок, и случалось, что при пяти имениях в десять тысяч десятин земли не хватало денег на покупку припасов для стола».

Когда Иван Яковлевич неожиданно получил за разведение леса монаршую милость от императора Александра I, он решил отправить двух своих сыновей, отца и дядю нашего писателя, для воспитания в дворянский полк, в Петербург. Петру Ивановичу, отцу Григория Петровича, было тогда шестнадцать лет Имея письмо от отца к графу Аракчееву, кадеты явились к нему; он обещал им покровительство и пригласил навещать его по праздникам. Зная музыкальные наклонности кадетов (отец Г. П. играл на флейте, а дядя на виолончели), граф Аракчеев снисходительно относился к их музыкальным упражнениям и заставлял П. И. строить клавикорды, на которых изредка, в праздничные вечера, играла пожилая горбатая родственница грозного временщика. Однако жизнь в Петербурге, «холодном, затянутом в мундиры и вымуштрованном», не понравилась юношам: они затосковали по родине и *через год* уже *подали прошение* о *переводе* их на службу на юг. *Зачисленные юнкерами в Ольвиопольский уланский полк*, они уехали к месту назначения в *Уманское военное поселение*. В 1821 году юноши были произведены в корнеты. Так повествуется о них в рассказе «Дедов лес». В своих школьных воспоминаниях о дворянском

институте наш писатель рассказывает о своем отце несколько иначе.

«Проходя учение в Петербурге, в дворянском полку, он, как потом сам любил рассказывать, по праздникам навещал знакомого своему родителю, по Гущеву, грозного временщика Аракчеева, который, осведомясь о музыкальных способностях своего гостя (*отец играл на фортепиано и скрипке*), заставлял его в такие посещения строить свои клавикорды, но не помог ему *по окончании курса* пристроиться, согласно его желанию, в Петербурге, а, напротив, настоял на переводе его в глушь *Херсонского военного поселения, в бугские уланы*. Отец не вынес этой службы», и пр. Два вышеприведенных рассказа согласить довольно трудно; также трудно сказать, в котором из них больше правды и где истина. Так или иначе, Петр Иванович служил в военной службе недолго. Выйдя в отставку поручиком, он женился на Екатерине Григорьевне Купчиновой (род. в 1810 году) и некоторое время служил, по выборам харьковского дворянства, депутатом при приемке слободско-украинских крестьян и земель в военное поселение, а также заседателем харьковской уголовной палаты. Но крайне расстроенное долгами наследственное имение заставило Петра Ивановича оставить и эту службу. Поселясь в деревне, он до конца жизни занимался хозяйством, всячески стараясь спасти едва не проданное с молотка имение. «Он вспоминается мне не иначе, — говорит наш писатель, — как с постоянно озабоченным, усталым, смугло-красивым лицом. С весны и до глубокой осени он буквально не покидал верхового коня и беговых дрожек, уезжая в поля с рассветом и возвращаясь домой только к вечеру. В ожидании позднего обеда он, наскоро умывшись, брал иногда в руки скрипку. И я помню в подобные минуты его статную, черноволосую, плечистую фигуру, в одном жилете поверх рубахи, без сюртука, с сильно загоревшим от солнца и ветра лицом, прижатым к скрипке, и с темно-карими глазами, задумчиво устрем-

ленными в сад, пока его смычок выводил по струнам какую-либо грустную и, как он сам выражался, робко-мечтательную мелодию!»

Человек доброго, мягкого, робко-застенчивого нрава, Петр Иванович не имел особенного влияния на воспитание своего сына, будущего писателя. Он любил простую, трудовую жизнь, хозяйство и уединение, редко выезжал и мало читал, лишь по временам заглядывая в крошечные листы тогдашних «Московских Ведомостей». Он умер от воспаления печени, 37 лет, когда сыну шел всего десятый год.

Мать нашего писателя, Екатерина Григорьевна, вышедшая во второй раз замуж за М. М. Иванчина-Писарева, умершего в чине генерал-майора, являлась совершенною противоположностью своему первому мужу, отцу нашего писателя. Одаренная незаурядным умом и подвижным, впечатлительным характером, прекрасная музыкантша и хорошо знакомая с русской и французской литературами, любившая общество, балы и выезды, она, по словам Г. П., «всюду вносила особый, свойственный ее даровитой природе, отпечаток радушной светской общительности и тонкого, недюжинного ума». Круглая сирота, она получила воспитание под опекою своего дяди, в харьковском институте для благородных девиц, где, по преданию, была одной из лучших учениц известного пианиста и композитора Борсицкого. «В моих ушах доныне, — писал Г. П. в 1890 году, — раздаются звуки тех пьес, которые она в совершенстве исполняла на приданом своем рояле в длинные зимние деревенские вечера, как, например, отрывки из «Фенеллы» и «Цампы», арии Беллини и концертные пьесы Калькбреннера и Листа». Страстно любя литературу, она с тридцатых годов выписывала лучшие русские литературные журналы, давшие первую умственную пищу ее старшему сыну, будущему известному писателю (второй ее сын от первого брака, Петр, имел большие способности к живописи, был товарищем по воспитанию известного живописца Семирадского, но скончался в молодых летах, в 1862 году). Несомненное и большое влияние

матери на Г. П. подтверждается обширной перепиской, веденной с сыном в течение почти сорока лет; несомненно, что горячая любовь матери к сыну, платившему ей полною откровенностью, не угасала до конца дней ее; несомненно, что сердечная привязанность сына с годами еще более окрепла, и где бы Г. П. ни находился, он чуть не еженедельно писал своей матери.

Как любил и уважал наш покойный писатель свою мать, можно видеть, например, хотя бы из письма от 15 февраля 1846 года. Письмо это замечательно и обширно: оно занимает восемь больших страниц; в нем восемнадцатилетний юноша-студент, под влиянием какого-то покаянного порыва, искренно и горячо исповедуется перед матерью, рассказывает о своих задушевных мечтах и помыслах, строит планы на будущее, которыми оправдывает свое желание учиться в университете, что для родителей в денежном отношении было подчас тяжело. Он вспоминает, между прочим, о своем детстве и говорит: «С тех пор как я себя помню, *я любил Мамашу каждый час, каждую минуту*[1]; если бы этого не было, я бы не был тем, чем я теперь. Смерть папаши меня не так поразила в первый миг, но впоследствии я, даже часто втихомолку, плакал и среди игр задумывался о будущей судьбе нас сирот; я горько жалел об ангеле покойном папаше. Слушайте и верьте — я видел и понимал подлые интриги Ивана Ив. Старшего и других некоторых, кроме его жены и Вас. Ив. дяденьки: я их понимал — да, я их понимал и клянусь — я понимал всей душой положение одинокой ангельской Maman с нами глупыми — когда она, сидя с Верой Яковлевной[2] в спальне, при мне часто плакала... Я грыз пальцы, проклиная злодеев... Да, бесценный ангел Мама, вы, вероятно, помните еще те сны, когда я вскакивал и кричал, и рвался к вам, и целовал вас — мне снились они, что будто убить они меня хотели». Сообщая матери в продолжение мно-

---

[1] Курсив подлинника.

[2] Будаковой, второй учительницей Г П. О ней смотри дальше.

гих лет о всех своих литературных планах и работах, об успехах — неудачах, Г. П., несомненно, высоко ценил ее художественный вкус и литературное образование. Рассказывая, например, в письме от 31 января 1854 года об успехе «Слобожан» — своего первого сборника беллетристических произведений, о неотступных требованиях петербургских и московских книгопродавцев выпустить новое издание, молодой писатель просит свою мать «перечесть снова всю книгу с карандашом, вычеркнуть целые места и главы, указать, как изменить фразы и действие рассказов, — все, что не понравится».

Екатерина Григорьевна скончалась в 1875 году, 65-ти лет от роду, — до самой смерти сохранив бодрость духа, симпатичный живой нрав и превосходную память. По неотступной просьбе Г. П., за год до своей смерти, она начала писать мемуары и оставила сыну-писателю на память большую тетрадь своих воспоминаний под названием «Моим внукам», хотя довела их, к сожалению, только до первых двух-трех лет после своего замужества. Любя вообще писать и обладая замечательно красивым для женщины и четким почерком, она охотно отвечала не только на письма своего сына, но и вела оживленную переписку с родными и близкими людьми. Как и многие выдающиеся деятели, наш покойный писатель, несомненно, унаследовал характер своей матери, ее нравственный и умственный облик, который, разумеется, видоизменился согласно некоторым индивидуальным особенностям. Конечно, как человек, одаренный выдающимся литературным талантом, Г. П. стоял значительно выше своей матери; но едва ли можно отрицать, что эта даровитая, энергичная и образованная женщина передала своему сыну зародыши тех духовных даров, которые расцвели таким пышным цветом в лице автора «Мировича»; едва ли можно отрицать, что сын, в буквальном смысле слова, с молоком матери всосал живое художественное чувство, ее любовь к литературе и искусству. Кто помнит вечно живого, вечно деятельного и общительного Г. П., который до конца дней своих сохранил необыкновенную энергию в работе, яс-

ность проницательного ума и свежесть таланта, тот согласится, что наш даровитый писатель являлся прямым и ближайшим наследником духовного богатства своей матери.

Григорий Петрович Данилевский родился 14 апреля 1829 года, в имении своей тетки, по отцу, Анны Ивановны Антоновой, в селе Даниловке Изюмского уезда Харьковской губернии. Детские годы он провел частью в змиевском имении деда, селе Пришибе, близ Донца, частью в соседнем отцовском, доставшемся ему впоследствии имении, селе Петровском. Здесь рос будущий писатель под кровом сельской тишины и старины, которую полюбил всей душой и неоднократно художественно воспроизводил в своих бытовых рассказах в первую половину своей литературной деятельности. Мир сказочных и фантастических украинских преданий сделался ему родным миром и послужил впоследствии материалом для стихотворных «Украинских сказок», имевших и имеющих такой успех и выдержавших восемь изданий. Картины украинской природы глубоко запали в душу впечатлительного мальчика и воскресли потом в чудесных описаниях, вроде, например, поэтического описания дедушкина домика в рассказе, под тем же заглавием появившемся в печати в 1853 году и малоизвестном читающей публике. Это описание настолько красиво, что не лишним будет напомнить его хотя бы в некоторых характерных отрывках: «На низменной просеке Черточешенского уступа, на гребне зеленого косогора, над озером и болотом, стоит дедушкин домик. Он стоит тут уже с давних пор... Вид с косогора на воду, перебившуюся кучковатыми плесами, по которым, едва пробежит ветер, стелется лилово-сизый остров, и на сочную зелень болота, в раме тростников и густолистых кустарников, — хорош особенно летом. Какая странная и причудливая растительность! Как перевиты эти сучковатые деревья диким хмелем! По окраинам озера стелются ползучие травы, называемые бабьим неводом... Чего только нет в этом лесу! А как настанет

весною прилет птиц, — и запоет, и застонет кудрявый лес! По влажному, остывшему илу, как на коньках, скользят и бегают пестрые курочки, и серая поверхность усеивается крестиками пурпурных ножек, как старинная рукопись словами. Каждый куст, каждая ветка одеты своей благоуханной атмосферой! Носатый огарь, точно клок красного сукна, перебрасывается с дерева на дерево, бегает и тихо вытаскивает из влажной земли сладкие корешки, белые поросли камыша и прошлогодних букашек, или же, беззаботно набегавшись, стоит себе на одной ножке, зажмурив глаза по сторонам поднятого носика, и дремлет под полусонное жужжание кузнечиков и мошек, и медленно качаются вокруг него широкие, сквозящие лопухи и махровые ленты хмеля, и тихо застилает его прохлада подступающего вечера, и проносятся над ним, как бродячие певчие струны, рогатые жукалки и трепетные сумеречные бабочки! И вот заливаются голубым и красным потом цветущие некоси. Трещит и сохнет отнесенный весеннею водою бурелом и разное мелкое ухвостье. В камышах пробираются облинялые, бескрылые утки. Гнезда свиты, начинается бесконечная громкая роскошная лесная свадьба... На тихой утренней заре, когда по темным деревьям только что мелькнули желто-пурпурные пятна и туман свился и плывет над болотом, — в недосягаемой вышине берут верх и идут какие-то чудные звуки, точно торжественный, таинственный благовест раздается под небесами и падает на землю... На лесе проливается целое море звуков. Чириканье болотных веретенников, сонное курлыканье горлинок, звон травников, как теньканье крохотных стеклянных колокольчиков, резкое чоканье дроздов и дребезжащий смех пустынной хохотвы, как ауканье спрятанного в кустах лешего, долетающий откуда-то чуть слышный бой перепела, треск куличка и печальные перезваниванья иволги, — сколько странных, сколько причудливых голосов и звуков!..»

По странной случайности, русскую азбуку впервые объяснил даровитому мальчику, по какому-то замасленному букварю с картинками, семидесятилетний старик, еврей Берко

Семенович, наезжавший в имения отца и деда Г. П. для починки часов и других вещей, из военно-поселенской слободки Андреевки. В то время Г. П. было всего пять лет «Обежав с утра сад, конюшни и огороды, — рассказывает в своих школьных воспоминаниях наш писатель, — и врываясь в зал, где работал Берко, я любил подсаживаться к нему. Здесь он, работая и поглядывая на меня через очки добрыми, ласковыми глазами, рассказывал мне библейские легенды... От Берко я впервые узнал об Аврааме, Ное и Давиде. И я помню, что, сочтя себя тут же Самсоном, я долго не позволял няне Аграфене стричь себе волосы, чтобы не потерять телесной силы, и уступил ей, после долгих споров и слез, только потому, что вспомнил о другом герое, Авессаломе, повисшем в бегстве под деревом на длинных волосах. Берко, сколько помню, очень полюбил меня. Отдыхая среди работы, он вынимал из кармана своего длиннополого лапсердака разные книжки и медленно, тихо читал мне их. Узнав, что я еще не знаю грамоте, он шутя стал объяснять мне буквы и скоро научил меня разбирать по складам. Это сильно обрадовало моих родителей, решивших, что пора, видно, браться за мою грамоту».

По пятому году даровитый мальчик впервые узнал о Гоголе от мужа своей няни, старушки Аграфены, которая, в свою очередь, рассказывала будущему писателю народные украинские сказки. Муж няни, комнатный слуга бабки, Абрам, занимавшийся переплетным мастерством и потому коечто читавший, добыв из шкафа бабки «Вечера на хуторе близ Диканьки», прочел любознательному мальчику несколько повестей Рудого-Панька и привел его в решительный восторг. Абрам познакомил потом Г. П. и с фантастическими рассказами барона Брамбеуса. Особенно понравился маленькому Грише «Большой выход у Сатаны», в котором царь чертей проглатывает, в виде сухаря, роман «Петр Выжигин» и запивает его вместо вина дегтем.

Для правильного обучения грамоте пятилетнего Г. П. матерью его была приглашена воспитанница первого выпуска

харьковского института Е. И. Пчёлкина, объяснившая будущему писателю первые понятия о вере и обучившая его молитвам, беглому чтению, писанию с прописей и таблице умножения. За болезнью Пчёлкиной, Г. П. преподавала затем другая харьковская институтка, В. Я. Будакова, с которою ученик ее прошел первые правила арифметики, часть русской грамматики Грена и кое-что из русской географии Арсеньева; у Будаковой Г. П. начал учиться также французскому и немецкому языкам. Первому, одновременно, обучал харьковский француз Пеш, второму — добродушная и толстая чувствительная немка, старушка Бодек, читавшая вслух своему ученику то чувствительные, то веселые рассказы, которых он не понимал, почему и занимался во время чтения черчением домиков и зверей, а также вырезыванием из бумаги солдатиков.

Таким образом протекало детство будущего писателя. Он рос на просторе и на свободе, согреваемый ласкою горячо любимой матери и отчима, заменявшего ему отца и действительно отечески заботившегося о воспитании маленького пасынка Гриши. Вспоминая впоследствии, в бытность в университете, в 1847 году, о своем детстве, Г. П. писал матери: «Ангел папаша Михаил Михайлович и сам не знает, как я его люблю; дай Бог мне миллионную долю заслужить того, что он для нас; уже одно то, что он воскресил ангельскую мамашу — это со слезами и небесные ангелы записывают около Бога! Клянусь Богом — я его люблю, как родного папеньку». Когда Г. П. исполнилось десять лет, родители начали подумывать, что пора отдать его в хорошее учебное заведение. После долгих соображений по совету В. Я. Будаковой решили отвезти мальчика в Москву.

В январе 1841 года одиннадцатилетнего Г. П. отчим, М. М. Иванчин-Писарев, отвез из харьковского имения с. Петровского в Москву, где определил в дворянский институт, бывший до 1833 года университетским благородным пансионом, а в 1849 году преобразованный в IV московскую гимназию. Вначале робкий, белокурый, с загоревшим от

степного воздуха лицом, новичок, в темно-зеленой куртке с красным воротником и бронзовыми пуговицами с московским гербом (по праздникам — в мундире такого же цвета, с такими же пуговицами и с золотыми петлицами по красному воротнику), вскоре, однако, освоился с внутренней жизнью школы, полюбил ее и незаметно, быстро привязался к ней. По временам, правда, в воспоминании воскресали разные картины — деревенский родной дом, посеребренные инеем дорожки сада, игра с сельскими мальчиками в снежки, езда по степи с приказчиком к овчарным сараям, охота с дядей в лесу и пр., — но эти картины скоро тускнели, заслоняемые школьной действительностью, которая также оставила самые отрадные воспоминания. Шесть лет пребывания в институте промелькнули так же незаметно, как шесть недель.

Хотя дворянский институт был классической школой, как и все тогдашние уваровские гимназии, но его воспитанников не изнуряли излишним зубрением древних языков в ущерб русскому языку и русской истории, а главное — в ущерб здоровью учащихся. «Воспитанники института, — говорит Г. П. в своих школьных воспоминаниях, — не знали ни «переутомления», ни вытекающих из него «нервных» и других страданий. Особенно выгодно отражались на нашем здоровье гимнастика, катанье с гор и на коньках и уроки фехтования. В праздники, зимой, в институте устраивались домашние спектакли; иногда же воспитанников на казенный счет возили в театр смотреть Мочалова, Щепкина, Живокини. Остававшиеся летом на время вакаций под Москвой, у родных или знакомых, продолжали полезные физические упражнения, увлекаясь охотой и рыбной ловлей. Г. П. летом обыкновенно гостил в имении своего отчима (с. Теплыгине Бронницкого уезда) и целые дни проводил на охоте с сеткой на перепелов. При образцовой постановке в институте физического воспитания также прекрасно было поставлено и преподавание. «Наши учителя в классах, — говорит Г. П., — не играли роли только экзаменаторов, не ограничивались одним лишь спрашиванием и задаванием уроков. Классы проходили в ближайшем и подробном объяснении со стороны

учителей изучаемых предметов, причем преподаватели постоянно старались о том, чтобы и слабейшие из учеников могли понять и усвоить проходимое. Учебников, издаваемых самими преподавателями, нам, по протекции их авторам, не навязывали и по чьему-либо капризу без толку их не меняли. При изучении географии не обременяли нашей памяти непомерным грузом статистических цифр и сухим перечнем городов, местностей и народов, а более знакомили в общедоступной форме (учитель Соколов) с общими картинами этих местностей, городов и народов. Часть географии, для практики в немецком языке, нам преподавалась по-немецки, как и для французского языка — естественная история — по-французски. Последствием такого порядка было то, что репетиции представляли, действительно, только повторение, освежение в памяти преподаваемого в классах, и самостоятельно на них обрабатывались лишь сочинения на заданные темы, переводы с древних и новых языков да проверялись при помощи способнейших учеников решения наиболее трудных математических задач. Ненужными переводами с русского на древние, мертвые, языки нас также не томили, а если это изредка и требовалось, то лишь как исключение и только относительно способнейших учеников. Вечерними репетициями кончались все наши занятия, и, уходя после ужина в дортуары, никто более не сидел над книгами, — подобного несвоевременного занятия не допускали и дежурные надзиратели. К 10-ти часам вечера в институте мирно засыпали все 150—200 его питомцев».

Исключение допускалось только в старших классах во время трудных экзаменов, весною. Несмотря, однако, на хорошую постановку преподавания и хороших преподавателей, кончали курс в институте не более трети из числа поступавших; остававшиеся переходили в другие учебные заведения или поступали в военную службу. В числе хороших обычаев института Г. П. вспоминает также об обычае не исключать с «волчьим паспортом», так чтобы исключенный не мог поступить впредь ни в одно учебное заведение. За дерзкие шалости наказывали розгами, но этим все и ограничивалось.

Верный своим литературным традициям, свято чтивший память трех своих знаменитых воспитанников — Жуковского, Грибоедова и Лермонтова, имена которых были начертаны золотыми буквами на мраморной доске в рекреационной зале вместе с именами других известных русских писателей, окончивших здесь курс (Ф. И. Тютчев, Шевырев, Вельтман, Свиньин, Калачов, Леонтьев, Норов и др.), — дворянский институт обращал особенное внимание на изучение русского языка, родной литературы, истории и географии. Учителя русского языка — Архидиаконский, Билевич и Перевлесский, — задавая учить стихотворения Жуковского, указывали на те из них, которые были написаны поэтом еще в стенах института. «Горе от ума» Грибоедова, как и всего почти Лермонтова, питомцы института знали наизусть. Перевлесский знакомил учеников с первыми стихотворениями Майкова и Полонского, а учитель истории Н. В. Смирнов, излагая какое-нибудь крупное историческое событие, читал им отрывки из великих писателей, касавшихся той же эпохи, — Вальтер Скотта, Шекспира, Шатобриана, Шиллера и русских авторов. «Объясняя однажды, — рассказывает в своих воспоминаниях Г. П., — способ рисовки типов у иностранных писателей, он указал нам на своеобразные в этом отношении приемы Гоголя и тут же на лекции прочел нам из появившихся незадолго перед тем и еще не всем нам знакомых «Мертвых душ» характеристики Манилова, Собакевича и Ноздрева».

Результатом правильной постановки в институте преподавания родного языка и литературы получалось отрадное и редкое в наше время явление: четырнадцати и пятнадцатилетние мальчики писали лучше, чем пишут теперь многие молодые люди, имеющие аттестат зрелости и поступающие в университет после восьми- и девятилетнего обучения в гимназиях.

В институте наш будущий писатель не только учился хорошо, из первых учеников, ежегодно переходя из класса в класс, но и быстро разносторонне развился, — что, конечно, следует приписать главным образом гуманитарному влиянию школы. Об этом свидетельствуют юношески восторженные письма

Г. П. того времени к матери. Возвышающее, идеалистическое влияние института сказалось также в занятиях его воспитанников изящными искусствами. Так, будущий автор «Беглых в Новороссии», по собственному сознанию в воспоминаниях, занимался переводами Гёльти и Вольтера, пел в институтском церковном хоре и учился играть на фортепиано; однолеток товарищ его и земляк, И. И. Соколов, впоследствии известный профессор живописи и автор жанровых картин из малорусского быта: «Гадание на венках», «Ночь на Ивана Купала» и проч., — успешно рисовал; несколько человек увлекались музыкой, другие — скульптурной лепкой, третьи — стихотворными переводами и т. д. Такова была атмосфера института, таков был его дух, и вполне понятно, что еще на институтской скамье началась литературная деятельность нашего беллетриста. Началась она стихами, по-видимому, около 1844 года, может быть, даже раньше. Так, по крайней мере, явствует из писем.

В письме от 8 января 1845 года, между прочим, говорится: «...Я увидел, что поэзия скоро разольется — по всему моему существованию и что кичливый мост стихов будет меня сообщать с этим светом... Верно, врождено в меня, назначено судьбою мне это высокое чувство, и я не в силах расстаться с ним... Ах! *Сколько я ей писал стихов!* Я только за них слышал одни похвалы, предсказания самые завидные... С каким рвением принялся я теперь за книги, как я вижу теперь всю их пользу». В следующем письме, от 15 января того же года, юный поэт писал своей матери: «...Мои чувства, воспламененные светлочистым ангелом (вы знаете кем), омытые в нектаре правоты и святости, — порываются снова. Несколько раз они свивались и, развиваясь, изливались в тихие песни *«Мотылька и розы»!* (стихи, которые я написал недавно — кажется, вчера)... Вообразите, что я на Рождество оделил почти всех стихами, т. е. посланиями... Душка мамаша, ангел папа! Если хотите — напишите только, и я пришлю стихи, которые писал недавно; всех, ей-Богу, не могу — много очень!»

В других письмах Г. П. сообщал своей матери, что учитель русского языка читал в институте перед всем классом один его

перевод я очень хвалил; что поревел с немецкого, по просьбе учителя географии (это было уже в 6-м классе, последнем), какую-то речь «Об образовании земли», которую предполагалось напечатать в «Журн. Мин. Народного Просвещения»; что «кроме лирических переводов и куплетов в стихах» он написал в прозе и стихах три действия драмы: *«Лорд Кляйв, или Два рода мести»* и полторы главы романа в стихах: *«Нынешний свет». К сожалению, ни одной из упомянутых в письмах работ юного поэта не сохранилось. Напечатаны эти юношеские произведения нигде не были. Первой печатной вещью Г. П. было стихотворение «Славянская весна»*, появившееся в № 47 «Иллюстрации» 1846 года, без подписи, когда автор был уже в Петербургском университете.

Если, по словам Г. П., на необходимость дальнейшего усовершенствования в науках по окончании курса в институте первый указал восторженному юноше К. Ф. Саблер, свитский офицер, чугуевский знакомый матери нашего писателя; если, заставая в своей гостиной часто навещавшего его по праздникам Гришу за чтением книг, газет и журналов, Саблер говорил будущему писателю о светлом поприще высших научных познаний и объяснял, что выше умственного свободного труда нет наслаждений на свете; если вообще мысль о поступлении в университет была навеяна этим умным свитским офицером, то стремление к дальнейшему развитию, жажда знаний, желание быть выше своих сверстников, понимание своих недостатков, могущих усилиться под влиянием известной обстановки, и решение не пройти в жизни бесследно, — все это давно волновало впечатлительного мальчика. Таким образом, слова Саблера только упали на тучную почву и принесли плод сторицею. Вот что, например, писал Г. П. к своей матери в письме от 15 февраля 1847 года: «С 10-ти лет у меня первой задушевной мыслью было — быть *чем-нибудь, не как подобные мне* из молодого поколения; я был на все мастак, я все хотел не то что выучить, а разом выпить в один глоток... Жить в неге, жить в покое, жить в глухой тишине, но в счастье, — это мне не было по душе; нет, меня что-то тревожило беспре-

станно, я чувствовал в душе что-то странное, и это все было у меня тогда смешано безотчетно, — а романов тогда я еще не читал и некому было мне об этом натолковать, кроме Пе́ша, который все курил трубку, да брата Коли, который все мечтал об усах и эполетах. Шалун я был страшный, пока добрый папаша не отвез меня в Москву. В институте я учился, школьничал, но видел, что все мои товарищи-москвичи — мешки; я говорю, как чувствую. Не был же я первым частью по незнанию языков, частью потому, что директор сперва меня не любил за быстрый и острый характер; кончив курс, я понял это хорошо, когда меня экзаменовали чужие профессора и я получил баллов больше всех других товарищей четырьмя и когда директор за поведение поставил отлично в аттестате. Набравшись наук, я просветлел головою и иначе посмотрел на жизнь. Правый взгляд на вещи заставил меня рано подумать о будущности, я рано — еще за два года — составил себе карьеру, особенно после вакаций, после ваших советов. Я сознал в себе много сил к осуществлению мысли — «быть другим, чем товарищи по моей жизни, быть выше их»; это облагородило мои увлечения, я не связался с грязною молодежью Москвы, я рвался оттуда... Этот самый восторг сделал меня и поэтом, и я до безумия влюбился в поэзию, особенно видя успехи в изящном и ясном изложении мыслей в стихах... Это же стремление заставило меня в Москве искать высшего, опрятного, изящного общества, — что и подало вам мысль думать, что я ищу рассеянной жизни, пустозвонного веселья; я хотел облагородить себя этим обществом, его приемами, танцами, особенно обществом барышень, отчего чуть-чуть в одну не влюбился... В институте, особенно в последние два года, я как будто еще более получил сил; я ничем не пренебрегал: кроме изучения нужных наук и по возможности языков, я и фехтовал, и танцевал, и пел, в чем даже несколько тогда успел, и играл на фортепиано, и учился купаться, и стрелял, и на бильярде выучился, и на гимнастику ходил, и учился на коньках, и рисовал — и вдобавок упражнялся в сочинениях, — словом, я не пренебрегал ничем — я хотел испытать себя; когда я уверился в себе —

я написал к вам первое письмо, в котором просил вас дать мне возможность ехать *учиться* в Петербург[1]. Зачем именно в Петербург? Москву слишком хорошо я разглядел: эту беззаботную жизнь на авось, это равнодушие к ученью, к положительной жизни, эту грязную мелочность молодежи — все я разглядел вместе с чудною Москвою-матушкою, ее белокаменным Кремлем, который час от часу грустнее смотрит на переменчивое поколение и ворчит, сверкая крестами. Харькова я не знал, но я его понимал по Коле и по слухам... Я и Харьков, близость родины ангельчиков моих, все, вздохнувши, на время оставил... Я боялся заразиться Москвою и Харьковом, я боялся сделаться таким человеком, который, вышедши из университета, поступит в службу, огрубеет, оплывет, женится на какой-нибудь Ганнусе; безответно пройдет он для мира, не согреет он для нового поколения живой идеи, не выносит под сердцем своим горячего произведения таланта, перед которым бы беспечный, игривый потомок в своем бегу остановился и, засмотревшись на это творение, прославил бы его — нет! Он

[1] Речь идет о письме от 10—18 марта 1846 г., писанном на десяти страницах. Стараясь расположить мать, не обладавшую достаточными средствами, к разрешению продолжать учение в Петербургском университете, Г. П., между прочим, писал: «...Вся молодежь теснится в университет; но странно, большая часть просится ехать либо в Дерпт, либо в Петербург... Я видел недавно пример, что вышедший из нашего института Хлопов, которого папенька мой знает, из любви к своим родителям остался в харьковском университете, но не прошло и году, он возвращается в Москву, с больною головою от тамошних профессоров, которые знают не более наших учителей институтских! А что касается до разницы между Московским и Петербургским университетами, то чуть ли не такая же разница, как между Харьковом и Москвою... Что говорят о петербургских студентах. Их там все ищут, тамошний университет любит и сам государь, а что касается до одинокой жизни студента и там, и здесь, т. е. что касается до расходов, то они почти те же, что здесь и там... Притом же Петербург новый совершенно город, заграничный уже свет, все лучшее общество даже из Москвы, все наши литераторы! — О, сколько предметов для наблюдательного, любопытного глаза!.. Потом (по окончании университета) как чудно, если окончат дорогу железную до Москвы, приехать к вам, пожить возле вас и отправиться на два или на три года за границу, где столько сокровищ для познаний всякого рода, где так образуются молодые люди».

пройдет безответно для всех, умрет, как канет в воду, и только после него у иного почешется за ухом, и тот скажет: «Да, добряк был, чурбан ленивый, — славная наливка у него бывала!» Вот чем я боялся заразиться там... а это так искусительно для многих! Верно, много я ждал впереди, верно, чувствовал себя сильным, когда решился оставить легкое и пустился один, без советников, за полторы тысячи верст. И я не ошибся в своих ожиданиях, и я не разрушил ни одного из ожиданий ваших... Больно рвалась душа при расставанье с вами, я точно умерь, когда повозка закатилась из виду вашего — я даже было решился вернуться. За эти жертвы Бог меня не оставит!..»

Проведя лето по окончании курса в институте (в аттестате значилось: успехи — *очень хорошие*, поведение — *отличное*) на родине, в кругу близких родных, согласившихся отпустить сына в далекий университет, Г. П. в августе отправился на север, в чужой город. Отчим провожал своего пасынка до Харькова. В Москве бывший питомец института заходил к его директору Чивилёву, который дал рекомендательное письмо к своему близкому другу, петербургскому профессору Порошину; учитель русского языка Перевлесский дал Г. П. рекомендательные письма к Гребенке и Кукольнику. Приехав 25 августа в Петербург, Г. П. на третий день, одевшись в мундир, явился к инспектору и был зачислен в студенты. Он выбрал камеральное отделение юридического факультета. Свой выбор в письме к матери от 2 сентября 1846 года Г. П. мотивировал следующим образом: «Назначение этого факультета, — писал он, — сделать, образовать людей чисто специальных (это все я понял из слов дяденьки Матвея Андреевича (Байкова), который очень, очень одобрил мой выбор); дорога из других факультетов обыкновенна, на этой дороге легче всего затеряться между тысячью других пигмеев (это слова дяденьки); оттуда же прямо можно поступить в министерство финансов, государственных имуществ или же по ученой части... Эту дорогу не всякий найдет теперь из университетов — даже ощупью. Кроме того, несколько недель назад вышел указ государя императора, которым повелевается

принимать в вышеозначенные министерства не иначе, как занимающихся камеральными науками. Камеральный факультет основан только 2 года и то в одном Петербурге; все предметы изучения на нем относятся к чисто практической жизни; жизни государственной, положительной, и за людей специальных, по словам дяденьки М. А., теперь хватаются и сильно, очень сильно в них нуждаются. Предметы его истекают из его назначения: *относительно правления:* государственные учреждения, гражданские законы, государственное право европейских держав, законы о финансах, уголовные законы, законы благоустройства и благочиния; *относительно жизни практической, хозяйственной:* обозрение хозяйственных растений, система животного царства, техническая химия, практическая механика, механическая технология, статистика, сельское хозяйство, политическая экономия, лесоводство; *ученые науки, в обширном смысле:* богословие, русская история, древняя история, средняя история, новая история, французский и немецкий языки. Дяденька М. А. мне много хвалил этот факультет, говорил, что он ближайший к цели теперешней жизни, и надавал мне столько святых советов, что их можно весить на вес золота. Он мне говорил, что через несколько месяцев мне полезно будет заняться изучением практики этих наук заблаговременно, что он в этом случае откроет мне вход во все замечательные фабрики, учреждения земледельческие, ботанические и зоологические кабинеты, а самому мне советует, о чем велел непременно написать к вам, — заниматься черчением или рисованием — это для архитектурных, механических и других планов, — и между прочим, не оставлять *музыки* — это для жизни общественной, петербургской, столичной. В языке же французском, кроме университета, я занимаюсь практически с кем только имею малейший случай».

Петербург произвел на молодого провинциала сильное впечатление. По собственному признанию, столица «закружила» его. Г. П. посещал ее окрестности, катался по островам, бывал в театрах, на вечерах у знакомых и увлекался танцами. Посетив 6 октября тогдашнее модное аристократическое загородное гу-

лянье — Павловск, который теперь значительно утратил прежнее значение, юный студент подробно описывал его в письме к матери от 10 октября. Оркестр под управлением Гунгля очаровал Г. П. «Павловский сад, — писал он матери, — казалось, возвращал свою весну при звуках музыки; я даже не обращал внимания на душистые головки, которые мелькали передо мною в пестрых салопах a la polka»... В этот вечер павловский вокзал посетили цесаревна Мария Александровна, великая княгиня Мария Николаевна, принц Гессенский, молодой двадцатилетний генерал, и двое великих князей-пажей — Михаил и Николай Николаевичи. «Великие княгини, — рассказывает Г. П., — слушали Гунгля и хохотали, глядя на принца, как тот ухаживал за придворными дамами и чуть не прыгал под чудные звуки бешеной *Balcoquetten* польки... Цесаревна уже перед отъездом подозвала Гунгля и попросила сыграть его из новой итальянской оперы *Hernani;* когда пьеса подходила к концу, цесаревна обратилась к Марии Николаевне и с ужасом объявила, что ей нечем заплатить Гунглю, в удостоверение чего она выворотила свои батистовые карманы. Мария Николаевна не только не имела с собою денег, но даже карманов не было в ее платье. Княгини долго от души смеялись своему горю. Наконец цесаревна подозвала Гунгля и, чуть не смеясь, объявила ему, что ее *Папенька*, ехавши в Москву, увез с собою ключи, но что она у Гунгля в долгу. Тот, низко кланяясь, возвратился в оркестр, и вмиг к нему полетели полновесные кошельки гвардейцев и гусаров; даже придворные дамы кидали свои брильянты; таков уж этикет!»

Светские развлечения не мешали, однако, заниматься науками и литературою, аккуратно слушать лекции и продолжать писание стихов, много читать и вместе с тем продолжать занятия музыкою. Вполне материально обеспеченный, Г. П. был скромным студентом, который исполнял наставление родителей «бытъ умеренным». Со студентами он близко не сходился и с товарищами тесной дружбы не водил. Вышеприведенные письма, в которых Г. П. рассказывал о своих заветных мечтах — «быть чем-нибудь», стоять выше других — оправдыва-

ют, конечно, некоторое отчуждение от своих сверстников по университету. Доказательства того, что Г. П. занимался наукою и литературою в университетские годы с юношеским увлечением, рассыпаны во множестве по всем его письмам к матери за этот период времени. Так, в одном письме он восклицает: «О, если бы я всю жизнь мог учиться, всю жизнь наполнять душу светлыми образами науки, художеств... О, если бы я всю жизнь мог быть студентом!» В другом письме, от 17 марта 1847 года, студент-первокурсник писал своей матери: «...Я слежу за направлением и духом нашей литературы, потому что я не в силах преодолеть стремления к этому кумиру, я прислушиваюсь к толкам и говору публики нашей при появлении нового какого-нибудь сочинения нашего русского или чужого и составивши свое понятие по горячим следам, тогда уже отправляюсь в библиотеку, беру все новые журналы, в которых критика является уже через месяц на новые сочинения, и, кидая прочь романы и повести, перечитываю все критики всех журналов. Так я узнаю все мне нужное, и из этого выходит для меня та польза, что, пришедши домой, я перечитываю *свое;* мне тогда теплее в комнате, потому что из портфеля большая часть идет в печь; для самолюбия молодости я очень не самолюбив». В третьем письме, от 1 сентября 1847 года, наш писатель говорит: «Вакация моя (летом 1847 года) не пропала даром, по просьбе дорогой мамаши, которая заставила меня невольно сознать истину: «Жизнь человека скоротечнее всякой скорости на свете, поэтому должно дорожить каждым мигом». Я на вакации довольно читал на немецком языке Байрона и делал из него переводы — для лучшего и вместе небесполезного изучения немецкого языка... Но это чтение показало мне недостаточность чтения Байрона в переводе, и я теперь уже *слушаю лекции английского языка,* к которому мало-помалу приложу все мое старание... даже для практики на нем найду случай. На вакации же, услышавши от товарища о стесненных обстоятельствах одного из бывших издателей полезного журнала («Маяка»), г. Бурачка, я взялся *даром давать уроки* детям его из языков и других наук, по 3 раза в неделю.

Мой товарищ Соколов последовал моему примеру и давал уроки рисования и чистописания. Я продолжаю давать и теперь уроки и должен сказать, что не мог отказаться принять за посильные труды мои в подарок от самого автора его журнал за два года, в знак памяти и благодарности... Я теперь успел прочесть довольно книг ученых, справился с их сухими истинами и не на шутку *полюбил* эти светлые, высокие истины ученых сочинений; с трудом берусь за легкую беллетристику». Сообщая в том же письме матери, что он читает «Эстетику Гегеля», Г. П. рассказывает весьма подробно о частых посещениях Эрмитажа с целью изучения школ живописи. Внимательно осматривал любознательный юноша и другие достопримечательности столицы, как, например, разные музеи, не забывая вместе с тем и литературы. Посетив однажды Зимний дворец и придворную церковь, Г. П. описал ее и послал свое описание в «Полицейскую Газету», у которой в то время было 9000 подписчиков. Статья была принята, помещена в фельетоне с подписью *«Пан-Баян»* в № 186 от 25 августа 1847 года, и автор получил приглашение сотрудничать и впредь. В течение 1847 года Г. П. поместил в «Полицейской Газете» еще шесть фельетонов о различных столичных событиях и происшествиях, под тем же псевдонимом (№№ 193, 197, 201, 204, 212 и 217), и продолжал свое сотрудничество в этом издании следующий 1848 год, напечатав в № 83 фельетон под заглавием: «Очерки изящного», а в пятнадцати номерах, с 14 июля по 6 сентября, пятнадцать писем о Финляндии, озаглавленных: «Выписки из путевого альбома», с подписью Гр. Д...ский. Путешествие это Г. П. совершил в июле 1848 года, туда — на пароходе, обратно же, от Гельсингфорса — на лошадях. Путевые очерки написаны в стиле лирическом, с отступлениями, многоточиями, со вставками стихов и вообще в несколько восторженно-напыщенном тоне. Особенно любопытен очерк, посвященный финской поэзии.

В стихотворном отношении молодой писатель был не столь плодовит, как в прозаическом. Напечатав свое первое произведение «Славянская весна» в «Иллюстрации» 1846 го-

да, он затем в течение двух последующих годов поместил только три стихотворения в «Звездочке», а именно: в № 12 за 1847 год — стихотворение «Брату», а в 1848 году — два перевода из Новалиса — «Мадонна» и «Наши крылья». Сотрудничество в «Звездочке» относится к началу 1847 года, когда в этом журнале для детей появилась статья Г. П. под заглавием: «Пещера тигров». Ишимова, издательница «Звездочки», относилась к молодому автору, по-видимому, весьма благосклонно, подарив ему за одну эту статью журнал за целый год, оба возраста (старший и младший).

На первых двух курсах университета Г. П. некогда было много писать в журналах и газетах; он занят был серьезной университетской работой на тему, предложенную 1-м отделением философского факультета: «Рассмотреть сочинения И. Крылова и А. Пушкина, причем определить: какие стороны русской народности изобразил каждый из них; в чем состоит особенность поэзии того и другого; способствовали ли они успехам поэзии вообще, как искусства; внесли ли новые истины в жизнь современников, и чем каждый из них действовал на совершенствование русского языка». На эту трудную тему было представлено несколько сочинений, из которых обратили на себя внимание только три. «В особенности замечательна, — говорилось в отчете, — диссертация сочинителя, избравшего себе в девиз слова: *«Первый труд»*. «Сочинителю» этому, студенту второго курса разряда камеральных наук, *Григорию Данилевскому*, была присуждена *серебряная медаль*. Студент 2-го курса разряда восточной словесности *Владимир Стоюнин* и студент 2-го курса разряда общей словесности *Николай Корелкин* удостоены только *почетного отзыва*.

В разборе «Первого труда» нашего писателя, между прочим, говорилось: «Половину сочинения своего он посвятил исследованию первого вопроса: «Какие стороны русской народности изобразили Крылов и Пушкин?» Чтобы приготовить себе основание, сочинитель предварительно рассматривает здесь идею народности в литературе, а вслед за тем подробно разбирает сочинения обоих поэтов. Его способ реше-

ния задачи, как нельзя не заметить, обратный сравнительно с вопросом. Вместо исчисления и определения, какими чертами обозначается народность русская и которые из них вернее изображены Крыловым и Пушкиным, автор занимает читателя характеристикой каждого замечательнейшего сочинения рассматриваемых им писателей и приходит к заключению, что указанные им особенности и красоты потому только и возникли, что поэты приняли их в душу свою из нашей народности. Такой оборот заставляет думать, что он затруднен был прямым решением вопроса; но, с другой стороны, ему удалось выйти на дорогу, по которой он успел взглянуть на все поприще, пройденное поэтами... Пушкина изображает автор диссертации представителем русской народности в высшей ее сфере, где просвещение и вкус озарили особенным светом и новыми красками покрыли картины жизни нашей... На разрешение остальных четырех вопросов задачи употребил он вторую часть сочинения своего. Рассматривая особенность поэзии Крылова и Пушкина, он излагает замечания двоякого рода: одни касаются вообще направления поэзии каждого из них, а другие — художественной ее стороны. Для определения, сколько Крылов и Пушкин содействовали успехам поэзии, как изящного искусства, сочинитель диссертации разбирает сперва, как до них смотрели у нас на это искусство, а после, как они усвоили ему красоты действительной жизни, занимательности явлений и описаний природы, каждый сообразно со своим предметом и его сферою. Вопрос о новых истинах, какие внесены разбираемыми поэтами в нашу жизнь, подал случай сочинителю исследовать, до какой степени общественная жизнь чувствует потребность в изящных искусствах и какими средствами они удовлетворяют этой потребности. За исследовачием общим он представляет указания частные, извлеченные из сочинений Крылова и Пушкина. В последнем отделе задачи, который касается совершенствования русского языка обоими поэтами, автор диссертации обратил внимание свое на слияние народного языка нашего с языком литературным и многими указаниями оправдал свою мысль, что это обогащение языка произведено

преимущественно разбираемыми им поэтами. Стройность частей диссертации, полнота ее, основательность мыслей и верность взгляда дают право автору на отличие. Хотя не все места в сочинении обработаны с одинаковым успехом и самый способ изложения не везде равно удачен, но нельзя не согласиться, что эти недостатки почти вознаграждены, когда принять в соображение, что автор общие свои суждения о литературе основал на мнениях известнейших писателей немецких, английских и французских, а для частных суждений изучил все, что было сказано по-русски о Крылове и о Пушкине. Сверх того, он, в подтверждение мыслей своих, привел множество мест из старинных русских стихотворений, из народных песен и сказок и других памятников народной нашей литературы».

Таким образом, судя по этому отзыву, диссертация Г. П. действительно являлась работой любопытной и обстоятельной.

При переходе с третьего курса на четвертый с Г. П. случилась неприятность, которая глубоко опечалила на первых порах, пока не выяснились обстоятельства, всех его родных и в особенности, разумеется, нежно любившую мать. Мы говорим об аресте нашего писателя весною 1849 года по делу Петрашевского и о заключении его в Петропавловской крепости, продолжавшемся более двух месяцев, с 22 апреля по 10 июля, как видно из дела об аресте, хранящегося в архиве министерства внутренних дел. Благодаря этому делу, разысканному сыном покойного писателя, К. Г. Данилевским, удалось точно определить начало и конец ареста, хотя печатных сведений по этому поводу никаких не сохранилось, если не считать одного полного ошибок рассказа, о котором речь ниже; сам покойный писатель не любил об этом рассказывать не только чужим, но и своим, почему и дети его знали до сих пор *только* о *факте* ареста. Арест был произведен жандармским офицером по приказанию шефа корпуса жандармов графа А. Ф. Орлова, в 4 часа пополуночи, причем были опечатаны все бумаги и книги Г. П. и доставлены вместе с ним в III отделение. В приказе Орлова неизвестному жандармскому офицеру от 22 апреля

1849 года между прочим говорилось: «При сем случае вы должны строго соблюдать, чтобы из бумаг Данилевского ничего не было скрыто. Случиться может, что вы найдете у Данилевского большое количество бумаг и книг, так что будет невозможно сейчас их доставить в III отделение, в таком случае вы обязаны то и другое сложить в одной или двух комнатах, смотря как укажет необходимость, и комнаты те запечатать, и самого Данилевского немедленно представить в III отделение. Ежели при опечатании бумаг и книг Данилевского он будет указывать, что некоторые из оных принадлежат другому какому-либо лицу, то не обращать на таковое указание внимания и оные также опечатать». Об аресте студента Данилевского было немедленно сообщено министру народного просвещения, а 17 мая по предписанию управлявшего III отделением Дуббельта произведен вторичный осмотр квартиры арестованного. После смерти Г. П. в его письменном столе нашли отдельно завернутыми какие-то маленькие четырехугольнички-бумажки, кругом исписанные, одни — полуистлевшие, с порыжелыми чернилами, другие — хорошо сохранившиеся, писанные четким мелким почерком. Бумажки эти после архивного дела об аресте — единственный достоверный источник сведений о несчастии, постигшем в 1849 году нашего писателя. Всех бумажек около сорока. На них заключенный заносил свои мысли и впечатления, но так отрывочно и подчас бессвязно, что прочитать их как следует невозможно. Некоторые бумажки отмечены цифрами, хотя, руководствуясь этим, подобрать их в порядке нельзя: одни и те же цифры повторяются по два и по три раза. Тем не менее бумажки очень любопытны и до некоторой степени рисуют настроение узника, а также его мечты и думы. Приведем некоторые из бумажек, по возможности в хронологическом порядке.

«1) Май. Холод. Суда нет. — Стихи весь день. — Сокольники, Курбатово, крепость, Соколов».

«2) Часы и кольцо взяли. — Полковн. не был. Грустно. Мольер. Стихи. — Суд от 7-(1/2)1».

«3) Буря, песок, дождь ужасный. — 40 чел. — Штатские от 11—4 утра. — Гаг., Долг., Дуб., Рост. — 8-(1/2)12. — Лежу весь день».

«4) Дождь. Плохо здоровье. Maman, Соколов. André, слава — adieu... Сонливость ужасная. — Гвая-Ллир. — Освоб. жертвы. — Послед. Мек. народность. — Суд 8—12».

«6) 5-й № халата, Скюдери, замок — огород и ласточка»... *(дальше разобрать нельзя)*.

«7) Бессилие — тоска, все глухо и безнадежно... горе, слезы, в одну ночь похудел. — Суд все идет».

«8) Тоска страшная. Белье дали. Завтра Николая. Читать нечего... Тропина на тропине... на кровати: 1831, 34, 37... Снова гул колоколов... *Осв. жертвы, мексик. рассказ*. — Гр. Д. 1850. Статья о Норманах. Космос. Кто виноват. Тысяча и одна ночь. Ю. Милославский».

«9)... Полный суд съехался сейчас. Ссора с голубями. Собака уже ждет под окном моей жертвы. Соколов что теперь делать? В Тифлисе. — Андре, Михаэлис и Гревс зубрят».

«10) Я в комиссии. Моя святая и честная исповедь. 11 часов. Комната часовщика. Другая. Вид. — Ночь».

«11) Думаю и припоминаю. Монте-Кристо и Эрик-Ингемана».

«12) Леон-Рион и Кармен; Хосе-Хуан».

«13) Белье и одежда новая. Кружка. *Пишу целый день истину*. Два раза плакал».

«14) Отдаю показание в комиссию. 14 апреля. — Надежды... Молитва перед отходом и письмом. — Письмо домой».

«15) Ответа про письмо нет. — Писарь имя спросил. Стихи... *Загоскин:* Москва. Б. Д. Ч. 1847. 4; Авангард Хр. Колумба; Литерат. евнух. Хлысты Ротшильда. Мартынов. Найденыш. — Мексика. — Сиц. вечерни. От меня еще требуют показаний».

«16) Жара. — Адель. — Моя гимнастика рук и ног. — Вечер: дождь как пули — весь поглощ. и вдруг свежесть... Зелень... Розовая колокольня... запах... Флаг замер... Солдаты и кот Васька; дерет хвост. Огород и инвалид, как пьяный — качается несчастный с ведрами, — балагур и хочет побриться... Толпа молодых дам... Ночь: тень от чайника и мое мягкое ложе. — Видение Петра».

«18, 19, 20, 21) Сплю, ем, читаю, тоскую, пою, хожу, молюсь, плачу»...

«22) Месяц! Боже умилосердись... Когда конец? Ужели еще месяц»...

«23, 24) Письмо из Чугуева, — взяли, — холодная тоска; домой не позволили и строки написать. — Ц. нет давно... Все еще вещи смотрят и снова допрос некоторых... М. Кристо. Бог и терпение. Моя клятва б. слугою Царя вовек»...

«26) Спрошен адрес — для медали и документов... Минаев, Плещеев. — З. Врача»...

«27+28) Паук подружился со мною. Сгар для зубов... Убор постели, стола и окна. — 12 шагов. — Гимнастика над железной печью. — Умывание и ногти. — Запах дерев. — 300 стихов. — Дожди».

... «2 мца!! Число — в Чугуев».

Не продолжаем выдержек из этого отрывочного дневника приведенного вполне достаточно, чтобы судить о том, как жилось узнику. Жилось, конечно, тяжело и мучительно тоскливо. Все связи с внешним миром, родными, товарищами и знакомыми были насильственно прерваны; настоящее было мрачно, будущее томило неизвестностью. После смерти Г. П. в «Донской Пчеле» за 1891 год, № 46, были помещены воспоминания о нашем писателе графини Б-рнэ, знавшей его в пятидесятых и в начале шестидесятых годов и видевшей его два раза в имении своего мужа, Ольховке, Змиевского уезда, — в 1854 и в 1860 годах. Вспоминая рассказ Г. П. об аресте в 1849 году, г-жа Б-рнэ передает его в следующих подлинных (конечно, приблизительно) выражениях нашего писателя: «Трудно и тяжело мне было сидеть в тюрьме[1]. Но я, кажется, вдвое испытывал страдание при моем сумасшедшем, живом характере. Всю жизнь я был в деятельности, в движении; я никогда не имел свободной минуты, а если находились часы досуга, то они незаметно проходили в кругу родных, близких сердцу друзей. У меня было твердое сознание невинности, но мрачное, неизвестное будущее усугубляло мои стра-

---

[1] Разумеется ошибка, «в крепости»; воспоминания г-жи Б-рнэ вообще не отличаются точностью. В начале рассказа об аресте Г. П. она, например, говорит: «Он был по недоразумению посажен в тюрьму. Г. П. Данилевский воспитывался в Дворянском институте; между его товарищами(!) был известен впоследствии государственный преступник (!!) однофамилец — Данилевский (*это автор «России и Европы», никогда не бывший товарищем Г. П., — государственный преступник?!*), замешанный в обществе Петрашевского. Г. П. вместо однофамильца был арестован (*действительно, арест нашего писателя, можно думать, произошел по недоразумению, но и Н. Я. Данилевский был арестован*). Мать его, любящая, самоотверженная женщина, поехала хлопотать и просить о помиловании сына. Его спасли письма, посылаемые им матери еще из училища, в которых он неоднократно жаловался на беспокойных товарищей, которые к нему пристают (*все это, разумеется, вздор; ничего подобного Г. П. не писал и не мог писать из училища, т. е. Дворянского института*), желая вовлечь его в какой-то заговор (*пятнадцатилетние мальчуганы, воспитанники института, устраивающие заговор?!*); что он не знает, как от них отделаться, и т. п.

дания. Время все излечивает; так было и со мною. Я кое-как стал примиряться со своей обстановкой. Над моей постелью в углу, довольно высоко, нашли себе приют два больших паука. Долго я за ними наблюдал. Вообще я люблю естественную историю, а эти пауки были мне как друзья. Я постепенно приучал их к себе, напевая любимую песенку, а они на знакомый звук спускались ко мне на подушку и принимали подачку в виде крошек хлеба, мертвых мушек, козявок. Я ими с нежностью любовался. Они, подобравши лакомые кусочки и покушавши, немедленно поднимались в свой угол. Когда однажды сторож-солдат, перед праздником, пришел обмести мою комнату и почистить углы, я чуть не со слезами на глазах умолял его не трогать моих пауков».

Причины ареста Г. П. в точности неизвестны до сих пор. Можно думать, что наш писатель был арестован вместо своего однофамильца Н. Я. Данилевского и что, следовательно, произошло недоразумение, выяснение которого длилось более двух месяцев. Письма Г. П. не дают ни малейших указаний на то, чтобы юноша Данилевский увлекался какими бы то ни было вольнолюбивыми учениями или теориями, читал запрещенные книги и водил знакомство с петрашевцами. По письмам, наоборот, Г. П. рисуется очень осторожным и благоразумным студентом, увлекающимся наукой и литературой, а в частности поэзией. В отношении 23

По счастью, мать Г. П. сохранила эти письма и показала их кому следует. Но пока объяснилась его невинность, он сидел чуть не полгода (!!) в тюрьме». — Действительно, мать Г. П., как мы увидим ниже, хлопотала за сына, но не в той форме, как это рассказывает г-жа Б-рнэ, которой изменяет, очевидно, память. Мать приезжала из Чугуева хлопотать за сына; никаких писем и никому она не показывала, ибо подобных писем из института, да и из университета, не было. Никогда Г. П. не жаловался ни на каких товарищей, которые его будто бы увлекают в заговор. Мы читали всю переписку нашего писателя с 1839 по 1857 год и не встретили ничего подобного. В крепости Г. П. пробыл не более трех месяцев, а не полгода. Приводимый в тексте отрывок из воспоминаний г-жи Б-рнэ заслуживает большего вероятия: он подтверждается словами Г. П., записанными на бумажке под № 27+28: *«Паук подружился со мною».*

мая 1849 года статс-секретаря князя Голицына коменданту Петропавловской крепости И. В. Набокову говорилось: «При рассмотрении бумаг студента Данилевского не оказалось в них ничего относящегося к настоящему делу; особенно, однако ж, внимание обратили сделанные им неблагонамеренные отметки карандашом в найденной у него книге под заглавием: «Историческое обозрение царствования Государя Императора Николая I», сочинения Устрялова». Узнав об аресте, мать Г. П. обратилась за разъяснением к ректору университета П. А. Плетневу, который, однако, не мог дать точного ответа. Вот что писал он ей 3 июня 1849 года: «Дело, о котором вы, милостивая государыня, изволите меня спрашивать, столько же неизвестно мне, как и вам. Слышал я, будто в доме генерала Коростовцева, где бывал иногда сын ваш, говорили, что он только пользовался запрещенными книгами из библиотеки тех людей, которые сделались причиною его несчастия. Если это справедливо, то, конечно, справедливые и прозорливые судьи не смешают злых умыслов с проступком неопытной молодости. В бедствии вашем возложите все надежды на милосердие Государя и защиту небесного Отца».

Мать Г. П., конечно, не положилась исключительно на судей, а начала хлопотать сама. Она послала два прошения (черновики помечены 15 июня 1849 года): одно — шефу корпуса жандармов графу А. Ф. Орлову, другое коменданту Петропавловской крепости генерал-адъютанту И. А. Набокову. В первом прошении она, между прочим, писала: «Передо мной раскрыты все идеи его разума, все помыслы души и все движения сердца. Призываю Бога в свидетели, мой сын невинен; духовность его переполнена чистой, святой любовью к Царю и благоговейным чувством благодарности за спокойствие и счастье, которым пользуются верноподданные нашего Монарха, управляющего народом с такою дивною мудростью. Эти-то чувства и мысли положены в основание идей моего сына. Он почти в каждом письме своем находит случай доказательно говорить о своей любви и преданности

к Царю. Посылаю одно из писем и уверена, что ваше сиятельство по прочтении вполне убедитесь в истине материнских слов и не откажете ходатайствовать об освобождении невинного юноши, и тем возвратите к жизни потерянную мать, а с ней и все семейство». Однако Орлов по прочтении письма сделал на нем следующую пометку: «Сын арестован и, вероятно, виновен». Во втором прошении, на имя Набокова, высказывались почти те же мысли, та же уверенность в полной невинности сына вместе с просьбой о заступничестве и освобождении невинно заключенного.

По расследовании дела просьба матери, оказавшаяся вполне основательной, была уважена, и Г. П. освободили из заточения 10 июля 1849 года. В рапорте от этого числа Его Императорскому Величеству коменданта Петропавловской крепости генерал-адъютанта Набокова значится: «Содержавшийся в каземате С.-Петербургской крепости студент Данилевский, во исполнение Высочайшего Вашего Императорского Величества повеления, объявленного мне в предписаниях военного министра от 9 сего июля, из-под ареста освобожден и из списков об арестантах исключен». После освобождения из крепости над Г. П. был учрежден полицейский надзор, и в продолжение некоторого времени вся его переписка конфисковалась и представлялась на цензуру в III отделение.

Литературная деятельность в 1849 году, прерванная 25 февраля, вновь началась только в сентябре месяце и вся почти сосредоточилась на конце года. Так, в начале этого года Г. П. напечатал всего одно стихотворение в «Звездочке», № XIX — «У колыбели» и два фельетона: «Мартынов и его художественное поприще в 1848 г.» — в № 36 и 37 «С.-Петербургских Ведомостей и «Некролог М. А. Байкова» — в № 43 «Полицейской Газеты». К концу же года относится появление поэмы в двух частях, о которой думал и которую, может быть, писал Г. П., сидя в крепости, — поэмы под заглавием *«Гвая-Ллир»*, напечатанной в октябрьской книжке «Библиотеки для Чтения», а затем вышедшей

отдельным изданием; в сентябре появился в № 204 С.-Петербургских Ведомостей» большой фельетон под заглавием: «Литературные заметки», а в №№ 219, 258 и 259 той же газеты еще три фельетона: один — озаглавленный: «Библиографические и другие новости», и два другие, посвященные вопросу о современном направлении поэзии в Соединенных Штатах Северной Америки. Перед окончанием университета, весною 1850 года, Г. П. поместил в «Отечественных Записках» две малороссийские сказки — «Казаки и степи» и «Две сестры», которые открыли целую серию им подобных сказок, появлявшихся время от времени, вплоть до 1850 года включительно, и обративших на себя общее внимание. Обратила внимание критики также и поэма из мексиканского быта «Гвая-Ллир».

Арест и сидение в Петропавловской крепости нашего писателя, доставившие ему много горьких дней, не повлияли на окончание курса в университете и вообще на будущую судьбу. На выпускных экзаменах, продолжавшихся с 4 апреля по 7 июня, Г. П. получил прекрасные отметки: из восьми предметов по *пяти* и только из двух по *четыре* (технология, которую читал проф. Ильенков, и уголовные законы — проф. Баршев). Перед молодым кандидатом юридического факультета открылся широкий жизненный путь, приведший его после многих лет неустанного труда к прочной и почетной известности.

Проведя лето 1850 года под родным кровом, Г. П. осенью совершил путешествие на юг, причем побывал в Одессе, Крыму и на Кавказе. В Одессе наш писатель познакомился с И. П. Полонским и П. Ф. Щербиной. Знакомство с последним вскоре перешло в дружеские, близкие отношения, которые не прерывались до дня его кончины в 1869 году. Много лет спустя Г. П. посвятил своему другу, мало оцененному при жизни, несмотря на свой несомненный сатирический талант, несколько теплых страниц воспомина-

ний и сообщил при этом его автобиографическую записку, письма и неизданные стихотворения. Все это, составившее весьма ценный материал для характеристики жизни и деятельности Щербины, было напечатано после смерти Г. П. в январской книжке «Историч. Вестника» за 1891 год.

Вообще с окончанием университета круг литературных знакомств нашего писателя быстро расширяется. Еще студентом 3-го и 4-го курса Г. П. бывал на литературных вечерах у Ишимовой и довольно часто посещал профессоров: Срезневского, Никитенко и Плетнева. Новые литературные знакомства по выходе из университета завязывались или при помощи редакторов тех журналов и газет, в которых помещал свои произведения молодой писатель, или при помощи службы и Плетнева, который покровительствовал своему бывшему студенту. Последний, в свою очередь, высоко ценил внимание друга Пушкина и в письмах к матери отзывался о нем восторженно. Близкому знакомству с Плетневым Г. П., как видно из писем, придавал огромное значение и говорил, что, благодаря рекомендациям ректора, поступил на службу в министерство народного просвещения[1]. Служба эта продолжалась около семи лет, по 20 февраля 1857 года, — когда Г. П. по прошению был уволен в отставку с чином надвор-

[1] Вот, например, письмо от 31 января 1854 года, в котором Г. П., между прочим, просил свою мать поблагодарить П. А. Плетнева. «Поблагодарите, — писал в порыве признательности Г. П., — за его горячее сочувствие моей молодости и трудам и за все, что он сделал мне, — а он многое сделал: помог указаниями и советами написать диссертацию, за которую я получил медаль, *определил меня в министерство* и потом прямо к Норову, наконец, каждый труд мой вдохновлял и освящал своею благословляющею душою, — душою, которой сочувствие искал с детства Пушкин и Жуковский до глубокой старости гордился им, как другом; выразите все это от своего теплого, доброго сердца и при этом выскажите, чего бы вы желали, чтобы он делал мне! А делать мне с его стороны я жажду одного: такого же участия ко мне, такого же руководства в моих трудах и побеждении своих слабостей, слабостей молодости, и доверия к людям. Он также руководил и образовал Майкова, а у Майкова здесь еще и мать, и вся семья! Выразите, мой ангел, все это ему, которого я глубоко обожаю...»

ного советника, — и шла для нашего писателя прекрасно, но он сам не пожелал дольше оставаться в Петербурге и уехал служить на родине — не для чинов и карьеры, а для народа и пользы земской. Но не будем забегать вперед и предвосхищать интерес последующего изложения.

Поступление на службу состоялось 7 ноября 1850 года. Г. П. был причислен канцелярским чиновником к департаменту народного просвещения и попал в стол к сыну директора Гаевского, ведавшего еврейские дела. Служба молодого писателя была необременительна и оставляла достаточно времени на занятия литературою. Притом она облегчалась прекрасными отношениями как ближайшего, так и высшего начальства. Вот что Г. П. писал по этому поводу своей матери в письме от 12 февраля 1851 года: «На днях у молодого Гаевского, с которым я схожусь все более и более, был большой вечер; на нем были одни мужчины — и все литераторы, всех партий и оттенков, человек 40. Вот имена некоторых из тех, с которыми я там сошелся: Панаев, Некрасов, Сенковский, князь Одоевский, Никитенко, Дружинин, Щербина, Языков, Мей, Петров и другие. В начале вечера сидели в одном углу четверо: Никитенко, Одоевский, Кавелин и я. Я что-то возразил Кавелину, — все весело рассмеялись. Никитенко с гордостью сказал: «Это наш бывший студент, Данилевский». Князь Одоевский обратился ко мне: «Не поэт ли Данилевский?» — спросил он. — «Точно так, князь!» И Одоевский торжественно протянул мне руку!» Если ближайшее начальство нашего писателя способствовало, хотя бы косвенно, его литературным занятиям, то и высшее относилось к ним вполне благосклонно и даже поощряло их. Рассказывая, например, про свое дежурство у министра народного просвещения кн. П. А. Ширинского-Шихматова на второй день нового года (1851), Г. П. прибавляет: «Вечером я дождался срока отпуска домой, вошел к министру и вручил ему богато переплетенный экземпляр «Ричарда III». Он просмотрел его и с улыбкою стал беседовать со мною: спрашивал меня о моей родине, о средствах к жизни, об учении

моем, трунил надо мною и сказал, что, вероятно, нынешнее первое дежурство мое доставит публике какое-нибудь новое стихотворение, что уж, верно, я за скукою сочинял?.. Отпуская меня, он сказал, что обратит на меня все свое внимание».

Обещание министра действительно исполнилось в том же году, так как на даровитого чиновника-литератора обратил внимание и приблизил его к себе товарищ министра, известный автор «Путешествия в Палестину» А. С. Норов. В письме от 4 февраля мы читаем следующее: «Два дня назад я был призван, — писал Г. П. своей матери, — моим директором Гаевским в его кабинет... «Мой друг! — сказал он, — товарищ министра Норов просил меня рекомендовать ему чиновника из департамента, который бы мог исправлять у него должность чиновника особых поручений. Мне пришла мысль назначить вас! желаете ли вы? Это вас подвинет вперед и выставит на глаза нашего начальства!» Я поблагодарил его — и теперь исправляю должность чиновника особых поручений у Норова. Эта должность занята другим чиновником, который уехал в отпуск; следовательно, я служу без жалованья и только на время... Но не в том дело! Норов с моего второго визита уже стал меня звать «мой родной» и «Григорий Петрович!» Я к нему являюсь в 10 часов, остаюсь с полчаса, получаю поручения съездить в какое-нибудь министерство, к министру, написать на иностранном языке письмо, прочесть что-нибудь и сказать ему мое суждение и другое «секретное дело» исполнить — и целый день потом свободен. Вчера я около часу проговорил с ним о литературе. Норов сам писал и пишет и потому — о удивление! — он знает и читал все произведения вашего покорного сына Гр. Д.»

Таким образом, наш писатель сразу приобрел симпатии, доверие и внимание своего начальника, который вскоре доказал их и на деле. Служивший у Норова чиновником особых поручений писатель Сухонин, автор «Русской свадьбы в XVI

ст.», перешел в другое ведомство, и на открывшуюся вакансию, при помощи Гаевского и Плетнева, написавшего к Норову чрезвычайно лестное письмо о Г. П., налегая главным образом на его литературное значение и образование, был определен 20 июня наш писатель. Жалованье он получал небольшое — всего 35 рублей в месяц; но не в жалованье, конечно, было дело. Вскоре Норов познакомил Г. П. со своим семейством и пригласил обедать, что с течением времени вошло почти в обыкновение. Чтобы было удобнее вместе работать, Норов предложил своему чиновнику переехать на дачу в Павловск, где сам жил с семейством, что Г. П. и исполнил. Он нанял за 9 рублей в месяц большую меблированную комнату с кухней, в конце Госпитальной улицы, в каменном доме. «Срезневские, — писал Г. П. матери, — живут рядом почти со мной, Норов — в Солдатской слободке, Тюрин — близ него, Мартынов, актер, — там же, Каратыгин старший — там же, и мы с ним начнем работать над переделкою «Ричарда III» для сцены (его берет дирекция у меня)». Лето на даче прошло совершенно незаметно среди занятий и развлечений. «Я беспрестанно в семействе А. С., — писал Г. П. матери, — обедаю, как адъютант его (в другом письме он называл себя «ловким и энергическим адъютантом»), почти через день с ним или здесь, или в городе. Делаю маленькие, порученные мне Вар. Егор. (женою Норова) дела: покупаю для нее пахучие и блистательные фрукты в Милютинских лавках, варенье, перчатки; езжу к модисткам за ее платьями, читаю вслух то Гоголя, то журнальные романы, гуляю в парке с нею и с ее племянницею, Паниной. Через вхожесть свою в дом А. С. я познакомился уже и теперь со множеством лиц, чрезвычайно важных по своему влиянию и весу в обществе. Иногда мне приходится дня два-три почти ничего не исполнять по службе, а иногда целый день в разъездах по комиссиям служебным»...

Переехав с дачи в Петербург, Г. П. получил от Норова поручение съездить в Москву, по дороге — под Клином обревизовать его поместье, в Москве распутать дело его по

наследству и, смотря по времени, обревизовать еще два имения в Тульской и Рязанской губерниях. Выехав из Петербурга 3 октября, Г. П. около 1(1/2) недели пробыл в подмосковном норовском имении, а затем до первых чисел ноября прожил в Москве. Это пребывание в первопрестольной столице особенно было знаменательно в литературном отношении. «Литераторы здешние, — писал Г. П. матери 16 октября из Москвы, — меня приняли с восторгом; это меня до глубины души тронуло и трогает. Островский (драматург, автор «Свои люди — сочтемся») вчера же повез меня к издателю «Москвитянина», около которого все здесь сосредоточивается. Тот меня встретил уже как знакомого, по письмам Плетнева, и повел по своему знаменитому музеуму: показывал старые русские монеты, бездну костюмов, рукописей, икон русских святителей и т. п. и наконец собрание автографов русских гениев... Я чуть не обезумел, вообразите: рукой Жуковского написанная начерно «Эолова арфа», том черновой «Истории» Карамзина, дело, взятое из архива: «О посылке студента Ломоносова за море для обучения философии», множество черновых пушкинских стихотворений, рукопись Загоскина «Русские в немецких кафтанах», письма Грибоедова, Батюшкова, Крылова и, наконец, «Мертвые души» Гоголя — собственная его черновая рукопись... Погодин меня пригласил бывать у него по четвергам, и через два дня я там увижу Гоголя и всю московскую словесность, с которой, впрочем, меня уже успели познакомить еще в прошлом году... Сегодня я приглашен обедать у Шевырева, а завтра к Вельтману».

В письме от 24 октября Г. П. рассказывал, между прочим, о вечере у поэтессы графини Растопчиной, на котором были: Островский, Эдельсон, Филиппов, Алмазов, Щербина, Рамазанов, Берг и другие. «Графиня встретила меня, — писал Г. П. матери, — словами: «Мы с вами виделись мало, но, верно, часто жили друг подле друга по нашей поэзии». В самом деле, летом здешнему поэту Бергу я прислал свою «Татарскую созерцательность», а он переслал ее графине в

ее славное село Анну; ответ ее он мне показывал теперь. Вот что она ему писала: «Стихотворение Данилевского прелестно; оно дышит и страстною природою Востока, и ленью поэтической души южного человека; я его читала с истинным упоением и выучила наизусть!» Я поцеловал хорошенькую, круглую, с маленькими скульптурными пальчиками, ручку графини и с наслаждением вглядывался в жгучие глазки нашей черноокой Аспазии. На вечере толковали о многом. Островский сказал о моей поэме, из которой я ему читал отрывки, — меня заставили прочесть несколько мест. Потом я читал наизусть новое произведение Майкова «Савонарола» и, наконец, после Щербины, который прочел уморительный аттестат семинариста, сочиненный им, я прочел еще несколько мелких своих стихотворений... Вечер был чудный. Я долго его не забуду!» В конце того же письма Г. П. сообщал, что на вечере у Шевырева он видел Гоголя, рассказывавшего о своем путешествии и Тентетникове, что едет на вечер к Вельтману, а затем к Погодину, у которого в «Москвитянине» печатает сказку «Ивашко», и что недавно обедал у Загоскина. Таким образом, Г. П. в круг московских литераторов вошел как свой человек. Достойным завершением пребывания в Москве явилось более близкое, чем встречи на вечерах, знакомство с Гоголем, о чем в письме от 5 ноября молодой писатель сообщал своей матери таким образом: «Гоголь изъявил желание видеть меня. Меня представили ему. Он меня принял довольно оригинально. Говорил мне, что читал мои сказки, хвалил их, расспрашивал о моих трудах и, наконец, попросил меня спеть украинские песни, которых я теперь знаю множество через Сашу Тюрина. Гоголю о них кто-то сказал. Я спел. Гоголь был в восторге и до того заинтересовался, что тут же положил устроить украинский вечер сперва у себя, но потом уведомил меня запиской, что у Аксаковых. Там было кроме меня еще двое наших земляков; мы пели чудные поэтические мелодии Украйны и провели вечер превосходно. Там, по просьбе дочерей Аксаковых, я прочел им кое-какие свои стихотворения, На-

конец, 3-го числа я был у Гоголя на вечере, где были еще Тургенев и здешние актеры Щепкин, Садовский и директор театра Верстовский. Гоголь нам сам читал своего «Ревизора». Когда все ушли в 10 часов, он увел меня к себе в кабинет, и там мы прочли с ним написанную мною здесь «Запорожскую думу» в стихах с рифмами. Мы сидели до 2 часов. Он мне давал много советов, говорил о своих трудах, поправил мою пьесу и отпустил *с благословением* на труды»[1].

Чтобы понять причины необыкновенно радушного приема, оказанного нашему писателю во время его кратковременного пребывания осенью 1851 года в Москве тамошними литераторами, чтобы оценить в должной мере внимание к нему Гоголя и Погодина, пригласившего его сотрудничать в своем журнале, необходимо припомнить, что двадцатидвухлетний Г. П. был уже переводчиком двух драм Шекспира — «Ричарда III» и «Цимбелина», автором «Крымских стихотворений» и многих малороссийских сказок.

Обе драмы Шекспира придирчивая цензура нашла неудобными к печати и испещрила их курьезными поправками, как можно это видеть из письма к нашему писателю А. А. Краевского, в журнале которого, «Отечественных Записках», Г. П. предполагал напечатать «Цимбелина». «Я получил, — писал Краевский, — корректуры и глазам своим не верил! Фрейганг не позволил Постума называть бедным (следовательно, уничтожил целый характер!), выкидывает титулы: «ваше величество», «ваша светлость»; выкидывает слова: «придворный дурак», «вор»; превращает «честь» в «верность» или «любовь», «монарха» в «супруга»; вымарывает целые десятки стихов и — словом — стирает весь колорит шекспировский и из героев «Цимбелина» делает каких-то губернских чиновников с безупречной службой, говорящих наивным языком повестей Мосальского. Для меня

---

[1] О свиданиях и беседах с автором «Мертвых душ» более подробно рассказано в статье из литературных воспоминаний: «Знакомство с Гоголем», т. 7 настоящего издания.

эти перемены равняются запрещению, поэтому я ни за что на свете не решусь действовать заодно с цензурою, с этою святотатственною инквизициею, — не решусь до тех пор, пока не погаснет во мне благоговение к искусству и к его великим деятелям. На страницах «Отечественных Записок», пока я их редактор, никогда не будет напечатан Шекспир, исправленный и упорядоченный до бессмыслицы. Я лучше откажусь от драмы, откажусь от журнала, но не доведу себя до такого безнравственного поступка».

«Ричард III» был переведен Г. П. еще на четвертом курсе университета и напечатан в №№ 4 и 6 «Библиотеки для чтения» за 1850 год, а к началу следующего года появился отдельным изданием. «Цимбелин» напечатан в том же журнале (№ 8 за 1851 г.), равно как и «Крымские стихотворения», помещенные в № 1. Вообще в «Библиотеке для чтения» на первых порах Г. П. сотрудничал очень деятельно, и редактор этого журнала, знаменитый барон Брамбеус (Сенковский), несомненно ценил молодого и талантливого литератора, на что можно найти указания в письмах. Так, в них неоднократно упоминается о присутствии Г. П. на вечерах у Сенковского, а в письме от 20 марта 1851 года, между прочим, рассказывается: «Сенковский на днях прислал мне свой стихотворный перевод хоров из духовной пьесы Расина *«Аталия»* и просил меня исправить его *дурацкие стихи*, как он написал, потому что эти хоры будут здесь петь в филармоническом обществе. Я у него нынче был. Он принял меня в кабинете, который обит розовым кашемиром, и, усадив на голубое бархатное кресло, стал слушать, как я критиковал в пух и прах его стихи».

После «Крымских стихотворений» Г. П. продолжал только в течение пятидесятых годов писать свои сказки, если не считать случайных и весьма недурных драматических сцен из римской жизни: *«Пир у поэта Катулла»*. В письме от 18 ноября 1852 года Г. П., сообщая своей матери, что пьеса ужасно искажена цензурою, утешается мыслью видеть ее на сцене: «25 ноября, — писал он, — на другой день ваших

именин, ангел Мамаша, она идет без выпуска в бенефис Каратыгина на сцене Александринского театра; лучшие актеры играют в ней роли, а роль Катулла — сам Каратыгин 1-й. Теперь я каждый день за кулисами присутствую при репетициях. Из отзывов журналов об игре актеров вы узнаете, имела ли пьеса успех или нет; я же, несмотря на то, что это вещь легкая и не стоит больших хлопот, жду с волнением своего дебюта. Только по печатной пьесе не судите об ее целом составе. Более трети ее выкинуто!»

Наконец настало 25 ноября. Спектакль («в пользу актера г-на Каратыгина 2-го», как значилось на афише) был составлен из четырех пьес, шедших в первый раз: сцен «Пир у поэта Катулла», комедии графа В. А. Соллогуба — «Сотрудники, или Чужим добром не наживешься», водевиля П. Каратыгина — «Туда и сюда, или Курьезный заклад» и интермедии в одном действии, с пением, танцами и плясками — «Горемычная свадьба, или Возвращение с нижегородской ярмарки». Первый драматический опыт молодого писателя имел успех: автора несколько раз вызывали, пьесу дали второй раз 28 ноября. После двух представлений Г. П. писал матери следующее: «Каратыгин 1-й в римской тоге был неподражаем и ослепителен; Мартынов вызывал не раз дружный хохот, а хорошенькая Читау, с греческим профилем, была чрезвычайно мила в роли Лезбии, особенно когда под покрывалом, под звуки арф, декламировала стихи. Во 2-й раз пьеса шла еще лучше... Я просил дирекцию более не давать ее потому, что собираюсь писать комедию из русской жизни... Оба раза я сидел после своей пьесы, в остальных пьесах спектакля, в подаренной мне ложе бельэтажа (цены им были тогда по 15 р. сер.»; со мною в огромной ложе сидел только один мой несравненный Ваня Соколов (впоследствии известный художник), и это было единственное вознаграждение, которое я принял от Каратыгина за свою пьесу. Пьеса эта вышла в «Пантеоне» и вместе с «Фарисом» доставится вам».

«Пир у поэта Катулла» шел и в Москве, в бенефис Никулиной-Косицкой, причем роль Катулла исполнял Пол-

тавцев. В один вечер с пьесой Г. П. шла в первый раз комедия Островского: «Не в свои сани не садись». В Москве сцены из римской жизни нашего писателя были приняты так же благосклонно, как и в Петербурге.

О спектакле 25 ноября в Александринском театре появился только один отзыв в «Северной Пчеле». Рецензент (Р. М. Зотов) говорил, что пьеса Г. П. «составляет весьма приятное событие в современной драматической литературе». «Очерки римских нравов выведены очень верно, а стихи г. Данилевского известны своею легкостью и живостью. Нам в особенности чрезвычайно понравился прекрасный монолог Катулла к черепу... где с блестящею поэзиею соединены высокие философские мысли... Мы вполне благодарны г. Данилевскому за прекрасный его подарок и просим продолжать поприще, так хорошо начатое, взяв какой-нибудь сюжет посерьезнее. Как бы исполняя желание и совет старого театрала, Г. П. написал пьесу для бенефиса Максимова (11 января 1853 г.) из современного малороссийского быта: *«Вскрытие духовного завещания»*; но цензура так ее изуродовала, что на третьей репетиции автор взял ее назад, чтобы «не разрушить, — как он писал матери, — успешного впечатления прошлогодней пьесы». На этом драматургическая деятельность Г. П. и прекратилась.

Если был удачен дебют молодого писателя на сцене в конце 1852 года, то еще большим успехом сопровождалось появление *«Степных сказок»* в начале того же года, через несколько месяцев потребовавших второго издания. Автор собрал сказки, печатавшиеся раньше в журналах, присоединил к ним несколько новых, и таким образом получилась небольшая книжечка, весьма понравившаяся и публике, и критике[1]. Первая была заинтересована новизною содержания, свежестью и яркостью картин южной природы, характери-

---

[1] В книжку вошли семь сказок; «Живая свирель», «Крымский пленник», «Ивашко», «Сон в майскую ночь», «Огненный цветок», «Оборотень», «Поход казаков».

стичностью очерков малороссийского быта и казачества, по временам легкостью и звучностью стиха. Симпатии свои к сказкам нашего писателя публика доказала и впоследствии, когда раскупила одно за другим семь изданий их в одной из книжек суворинской «Дешевой библиотеки». Успех этот был вполне заслуженным, так как в сказках встречаются действительно художественные страницы, и подготовил успех беллетристических произведений, к которым Г. П. обратился с 1852 года. Первым опытом в этом направлении явилась *«Повесть о том, как казак побывал в Бахчисарае»*[1], напечатанная в пятой книжке «Современника». За нею, в конце того же года, последовала повесть «Хуторянский маляр»[2], о которой в письме к матери от 16 августа 1852 года Г. П. говорил: «Повесть выходит до того уморительна, что я иногда хохочу сам над собственными фразами; вы здесь увидите кое-что и из знакомых вам характеров». Писание повестей, из которых к концу 1853 года составилась целая книга в 364 страницы, озаглавленная *«Слобожане»*, продолжалось одновременно с другими литературными и служебными работами. В высшей степени живая, подвижная и даровитая натура нашего писателя в неустанном труде, сменявшемся немногими часами развлечений — в театре, в литературном и светском кругу, — находила, очевидно, наслаждение — качество редкое в русских талантливых людях, обыкновенно не отличающихся трудолюбием. В письме от 16 августа, о котором мы уже упоминали, находим следующие строки: «Я приглашен редактором «Московских Ведомостей» писать в эту газету еженедельные письма и с августа уже начал[3]. Вы

---

[1] Впоследствии два раза переменившая заглавие: *«Изюмские вечерницы»* и *«Бес на вечерницах»*.

[2] Впоследствии печатавшаяся под заглавием просто *«Маляр»* и *«Старосветский маляр»*.

[3] См. «Моск. Вед.» за 1852 г. №№ 94, 95, 98, 101, 104, 106, 109, 115, 123, 129, 141 и 148, с 30 июля по 5 декабря, а за 1853 г. — №№ 3, 8, 14, 20, 36 и 40.

теперь можете постоянно их читать там под рубрикой *«Петербургская жизнь»*, с подписью *Д.* Вообразите, что я их пишу к вам, и еженедельная беседа между нами оживится: малейшие новости петербургские я теперь передаю одиннадцати тысячам подписчиков этой газеты». Вместе с тем Г. П. находил время написать несколько фельетонов в «С.-Петербургских Ведомостях», составить любопытный биографический очерк актера А. Е. Мартынова, поместить в «Моск. Вед.» описание посещенного им в июле 1852 года «Хуторка близ Диканьки» (вошедшее впоследствии в переработанном виде в статью «Знакомство с Гоголем»), напечатать несколько библиографических отзывов и проч. Хотя летом, обыкновенно, кроме первого года службы, Г. П. получал отпуск или, начиная с 1854 года, командировки, но в остальное время молодому чиновнику приходилось исполнять довольно серьезные работы, требовавшие немало труда. Так, в одном письме Г. П. сообщает своей матери, что наблюдает по поручению министра за изданием книги, печатаемой министерством для поднесения государю: «Образцовые сочинения воспитанников Польши на русском языке»; в письме от 11 февраля 1852 года наш писатель говорит: «А. С. (то есть Норов) поручил мне составить кодекс всех узаконений по нашему министерству; я сажусь за это дело, а дело это вчера бывший мой начальник Гаевский с обычною своею чопорностью, сдвинув губы, назвал «Геркулесовым подвигом». С Божьею милостью, я надеюсь через несколько месяцев усидчивой работы восторжествовать»; в третьем письме, от 18 ноября того же года, Г. П. рассказывает матери, что на время отсутствия Норова он прикомандирован к министру для занятий еврейскими делами, и т. д.

Посвящая почти все время на разнообразные литературные и служебные работы, молодой писатель умел находить свободные часы для отдыха. В письме к матери от 21 февраля 1853 года мы читаем: «На днях Даргомыжский устроил у себя для меня и Тюрина музыкальный вечер; я пел, Тюрин играл — и гости с хозяином

радушно нас ласкали... Я уже писал вам о моем избрании в члены Благородного собрания (пашковского клуба на Литейной): это избрание тем для меня дорого, что совершено вследствие моих отзывов о собрании в «Ведомостях». Там я очень веселюсь на балах, а будни люблю там обедать (как член только за 40 к. сер. 5 блюд) и после до вечера остаюсь в читальной комнате за журналами и сигарою на мягком канапе. Надо знать петербургскую жизнь, чтобы любить ее, а любишь ее, когда найдешь средства жить дешево, весело и в уровень с людьми, которые проживают тысячи, а больше моего не испытывают. По субботам вечером я уже всегда у Срезневских; одно воскресенье вечером у Майковых (поэт-сын на днях женился на Анхен, очень миленькой, бедной немочке Штеммер, в которую был влюблен уже 6 лет), а другое — у Плетневых. Плетнев более и более со мной сходится; на днях узнал он о моем увлечении украинскими мелодиями и заставил меня петь; это ему так понравилось, что он послал нарочного тут же к своему соседу, директору здешней таможни, Угричич-Требинскому, страстному патриоту-украинцу, и познакомил его со мною. Требинский тоже пригласил меня к себе, и я у него бываю». В письме от 22 января 1854 года находятся следующие любопытные сведения: «Истекшие две недели прошли для меня очень весело. У архитектора Штакеншнейдера, построившего дворец Марии Николаевны, был театр: играли *«Три сестры»* Майкова. Актеры были: сам Майков, Бенедиктов, я и некоторые художники, для дополнения. Мы были в римских туниках и тогах, котурнах на ногах и в античных париках. Я играл молоденького ученика и был в голубой тунике, шитой золотом, и в белокуром парике до плеч; монолог мой о смерти танцовщицы Лоры вызвал рукоплескания. У графа Толстого... каждую среду артистические вечера. Художники рисуют вокруг ламп — все почти молодые академики, — дамы рвут корпию, а литераторы что-нибудь читают. Здесь

бывают из последних постоянно: Майков, Полонский, Бенедиктов, Щербина, Писемский, Мей, Струговщиков и начинает ездить Тургенев; Контский играл... Я завел недавно *альбом для артистов*, своих знакомых. Мне уже написали превосходные стихотворения: Каролина Павлова (автор «Вечера в Трианоне»), Щербина, Полонский, Майков, Бенедиктов, Мей, рисуют карикатуры Степанов и гр. Толстой и напишут музыкальные строфы Глинка и Даргомыжский, у которого вчера мы все были на музыкальном вечере; он нам играл из своей новой оперы «Русалка». Кроме того, Г. П. навещал своих родных Байковых и знакомых Коростовцевых, бывал со своим другом, Ваней Соколовым, у художника Бейдемана, попрежнему радушно был принят у Норовых, а в 1853 году разговлялся у графини Орловой-Денисовой. В письме от 18 апреля этого года Г. П. писал матери: «...Графиня назначила мне во вторник на Страстной вечер, когда я вызвался ей читать в рукописи найденные на днях главы из II тома «Мертвых душ»; на этот вечер меня слушать пригласила она многих дам и мужчин из числа высоких друзей своих — и до двух часов ночи мы провели незапамятный вечер; я кроме Гоголя многое читал наизусть — и ласки общества тронули меня глубоко... Вторник для меня тем более прошел весело, что это был день моего рожденья (14 апреля); 24-й год свершился — и я не без некоторой светлой радости и гордости оглянулся на пролетевшие годы — всюду и всегда видя вас, моя милая Мамаша, и вас, мой дорогой, добрый Папа!»

Действительно, молодой писатель в 24 года являлся уже автором нескольких довольно крупных литературных работ, к которым в конце 1853 года прибавилась еще одна — первый сборник малороссийских рассказов под заглавием: *«Слобожане»*. Все помещенные в этом сборнике рассказы («Маляр, «Слободка», «Дедушкин домик», «Изюмские вечерницы» и «Пельтетепинские панки») впоследствии несколько раз переделывались и перепечатыва-

лись, кроме «Введения», «Степного городка» и «Хуторянки». Автор намеревался включить в сборник еще два рассказа — *«Проповедь в пустыне»* и *«Чугуев»*, но они целиком были запрещены цензурой. По выходе в свет сборника Г. П. писал своей матери: «Книга *«Слобожане»* вызвала сильные толки и в две недели вся расхватана; мне Глазунов предлагает купить 2-е издание; по совету Краевского я отказал... подожду и потом прибавлю более зрелых повестей, более строгих очерков и, исправив это, издам лучше! Книга мне принесла, кроме ваших подписчиков, 500 р. сер., а с ними — 600: издание стоит до 400 р., следовательно, 200 р. мне очистилось! Столько же за право напечатать еще 600 экземпляров мне теперь давал прямо и Глазунов. Эти деньги пошли больше на книги; все издание «Смирдинских русских авторов», с Ломоносова до наших дней, я приобрел на них; потом полные сочинения Жуковского, изданные в Германии; все это и старую библиотеку и еще другие новые книги я отлично переплел... книги еще буду покупать, но все такие, что не на одно прочтение в присест, а навсегда, для справок и долгого изучения. Это пойдет весною в Петровское...»

В другом письме к матери, от 6 марта 1854 года, читаем следующее: *«Слобожане»* разошлись; требуют второе издание; я отдал его в цензуру и получил билет на выпуск, но рассудил и приостановил это новое издание до осени: исправлю его, прибавлю новые рассказы и тогда издам. Я жду с нетерпением *вашего*, ангел мой бесценный, вашего отзыва о них. Таких суждений, каково Скалона, я здесь тысячи слышал, но это все не то, что вы можете сказать! Вообще книга моя возбудила толки, и я впервые прислушивался, лицом к лицу, к говору публики... Сказки были мои только по форме, Шекспир — по языку, а это все мое! Вижу все темное в своих картинах и не раскаиваюсь, что произвел им разом выставку перед публикой: *я теперь узнал, что нужно*

разрабатывать, и увидел, в чем могут состоять мои силы. Выбор сюжетов — главная моя ошибка; многое в книге не стоит моих наблюдений и обстановки, которую я ввел в нее. Словом, теперь я уже не напишу подобной книги; но я далеко не раскаиваюсь, что написал ее. Она раскуплена в два месяца; значит, меня хотят читать, тем более что книга не журнал, который даже поневоле читают. Наконец, и сатиры ее задели, значит, не были мертвы; у меня лежит письмо, присланное к Краевскому из провинции, с подписью: «Антон Миныч Морква, с. Пельтетепинское», где господин, так подписавшийся, объявляет, что он выведен в моей книге целиком и просит защиты. На письме, пересланном мне, Краевский написал: *«Обратите внимание»*. Лицо Морквы мною вымышлено, а нашелся ему двойник, значит, вымысел — недалек от природы[1].

В восьми повременных изданиях[2] критики единодушно называли «Слобожан» — «приобретением изящной литературы» и, за малыми исключениями, посвятили этой книге

---

[1] Любопытно сопоставить с этим оправданием автора следующие слова из воспоминаний г-жи Б-рнэ, уже выше цитированных и помещенных в «Донской Пчеле», № 16 за 1891 год: «Сколько я ни читала повестей Г. П., почти в каждой я находила лицо и ныне здравствующее из нашего уезда. *Да этого он и не скрывал.* Говорят, это не всегда бывает хорошо в смысле литературного достоинства художественных произведений. Так пишут критики. Но я подобного удовольствия, конечно, никогда не испытывала: в столь художественных, прекрасных сочинениях узнать знакомых тебе людей, так занимательно и выразительно описанных. Напр., в романе «Пенсильванцы и Каролинцы» (кажется, этот роман носит теперь другое название), в лице Пивантьева, крепостного человека с сильным, неукротимым характером, выведен близкий мне родственник по мужу. Он был первое лицо нашего уезда в 50—60 годах (он давно уже умер); старик суровый, непреклонный, но очень добрый и справедливый».

[2] «С.-Петербургские Ведомости», «Северная Пчела», «Библиотека для чтения», «Московские Ведомости», «Русский Инвалид», «Москвитянин», «Раут», III книга, и «Петербургский Вестник».

обширные фельетоны и статьи, причем подробно разбирали каждый рассказ.

Таким образом, первые беллетристические опыты нашего писателя увенчались успехом и показали настоящую дорогу для его дарования, которое к началу шестидесятых годов достигло полного своего развития, завоевало симпатии многочисленной читающей публики и заняло видное место в ряду художественных талантов. Со времени появления «Слобожан Г. П., написав еще несколько сказок и переведя несколько стихотворений из Шиллера, Мицкевича и Гейне, окончательно делается беллетристом — сначала бытовым, а затем, в семидесятых годах — историческим, хотя первые удачные попытки в историческом роде сделаны еще в пятидесятых годах, когда были написаны: «Вечер в тереме царя Алексея», «Царь Алексей с соколом» (1856 г.) и «Екатерина Великая на Днепре» (1858 г.). Одновременно с этими историческими рассказами или несколько раньше их появились: в «Библиотеке для чтения» — рассказ землемера «Старобубнов бор»[1] и очерки четырех времен года в Малороссии «Нравы и обычаи украинских чумаков»[2]; в «Русском Вестнике» — целый ряд новых украинских народных сказок в стихотворном переложении — «Живое озеро», «Дедовы козы», «Брат и сестра», «Бесы», «Путь — к солнцу», «Лесная хатка»[3]; наконец, в «Отечественных Записках»[4] — любопытная и основательная биография известного малороссийского писателя Квитки-Основьяненко, обратившая на себя весьма одобрительное внимание критики. Работая над этою биографиею, Г. П. писал своей матери: «Я составил по старинным журналам, над чем с трудом рылся целые месяцы в Публичной Библиотеке,

---

[1] 1854 года, № 4.

[2] 1857 года, №№ 3, 4, 5 и 6.

[3] 1857 года, № 24, и 1858 — №№ 1, 2 и 3.

[4] 1855 года, №№ 11 и 12. Биография Квитки-Основьяненко вышла также отдельным изданием, с портретом, снимком почерка и рисунком Тимма.

полный список его (Квитки) сочинений и всех псевдонимов с 1816 по 1843 год его литературной жизни; под каждым означил содержание сочинения; наконец, собрал все печатные известия о его жизни. Плетнев, пока по секрету, дал мне до 80 писем к нему Основьяненко, из которых выбор для биографии будет любопытнейший». Вместе с тем Г. П. просил мать разузнать у близких знакомых Квитки, харьковских помещиков: нет ли у них рукописей и писем автора и пана Халявского, не слышали ли они о нем каких-нибудь анекдотов, не помнят ли его суждений о литературе, о себе самом, о Гоголе и пр. Составленная на основании всех этих любопытных материалов, биография Квитки до сих пор является единственной в своем роде. При своем появлении в свет она вызвала целый ряд похвальных отзывов; особенное внимание при этом критика обратила на разъяснение Г. П. вопроса: заимствовал ли Гоголь содержание комедии «Ревизор» из комедии Основьяненко, написанной в 1827 году и называющейся: «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе». Писатель наш решил этот вопрос в отрицательном смысле на основании данных, совершенно оправдывающих Гоголя, который, впрочем, и сам никогда не присваивал себе изобретение сюжета «Ревизора», а говорил, что сюжет передан ему Пушкиным.

В последние три года службы по министерству народного просвещения Г. П., как человек, имевший уже литературную известность, посылался в ученые командировки. Так, летом 1854 года молодой писатель во время своего путешествия по губерниям Курской, Харьковской и Полтавской собирал по поручению министерства сведения о древних рукописях и старинных актах в монастырях и городах, а также составил реестры наиболее любопытным из актов и описал много рукописей исторического содержания, замечательных в том или другом отношении. В 1855 году министр народного просвещения командировал Г. П. в губернии: Полтавскую — для осмотра и описания в археологическом отношении местностей г. Полтавы и ближайших к ней местечек и сел, ознамено-

ванных событиями эпохи борьбы Петра Великого с Карлом XII, и Екатеринославскую — для осмотра архива и окрестностей г. Екатеринославля. Результаты первой командировки частью изложены в статье: «Частные и общественные собрания старинных актов и исторических документов в Харьковской губернии, а результаты второй — в статье: «Полтавская старина в отношении ко времени Петра Великого»[1]. Особенно важна вторая статья, в которой Г. П. описал, по плану историка Устрялова, исторические места Полтавы в ее окрестностей, крепость, древние здания и частные дома, уцелевшие с 1709 года, ближайшие села, монастыри, собрал предания и письменные остатки, описал памятники знаменитой битвы, сооруженные в царствования Петра Великого, Екатерины II, Александра I и Николая I.

Третью командировку наш писатель получил в 1856 году от морского министерства по воле августейшего генерал-адмирала Константина Николаевича, вместе с другими писателями — Афанасьевым-Чужбинским, Максимовым, Михайловым, Островским, Писемским, Потехиным и др., отправленными для изучения быта прибрежных жителей России. Г. П. посетил и описал прибрежья Азовского моря, а также Днепр и Дон. Путешествие это, продолжавшееся три с половиною месяца, доставило нашему писателю богатый запас наблюдений над жизнью беглых крестьян в степях и впоследствии вдохновило на многие прелестные и глубоко прочувствованные описания своеобразной новороссийской природы, частью перешедшие и в русские хрестоматии.

Несмотря на свои служебные успехи; несмотря на расположение министра А. С. Норова и его товарища князя П. А. Вяземского, который так же приблизил к себе молодого даровитого чиновника-литератора, как и Норов, будучи товарищем министра; несмотря на образовавшиеся в короткое время обширные литературные связи и знакомства, — Г. П.

[1] Обе статьи напечатаны в «Журн. Мин. Народного Просвещения» №№ 2 и 3 за 1856 г.

еще в 1854 году задумал оставить Петербург, оставить канцелярскую службу, пожить на родине, в тени, «вдали от журнальных кружков, которые кладут тяжелое клеймо мелких дрязг своих на спокойное обдумывание трудов». Решение это окончательно созрело в 1857 году, когда 20 февраля, согласно прошению, Г. П. был уволен от службы, с награждением чином надворного советника. Главным мотивом (подробно выясненным в нижеприводимом замечательном письме) оставления службы и Петербурга являлась несовместимость ее с литературной карьерой. «Если бы я захотел, — писал Г. П. своей матери, — *двойственность* моей теперешней дороги — литературной и служебной — разделить, т. е. отбросить литературу, я мог бы с большим терпением и очень спокойно переносить всякие щелчки и шаг за шагом достигать всего чиновничьего, петербургского — орденов, геморроя, теплых местечек и тому подобного... Но взгляните на это же дарование; это все равно было бы, что надругаться над честным кровом родительским, если бы бросил я его, — бросил трепещущим первым счастьем первой жизни, бросил обиженным, безмолвным и умирающим для чего-то далекого, сухого, счастливого тогда, когда во рту не будет зубов и порядочная куча подлостей, честных, как говорится, подлостей будет на плечах. Нет! грешно и бесчестно бросить так это дарование, грешно и бесчестно, когда его зовущая, упоительная сила так благородно отдается с каждым днем любящему сердцу, когда сила его может ворочать со временем, при честном служении религии искусства, камни и каменные души... *Литератор выше всякого чиновника;* литератор тот же честный чиновник великого Божьего государства, но его поприще выше всякого другого! Выше и по той свободе, с какою подходит он к своему рабочему жертвеннику и с какою соединяется каждый день его жизни; выше и потому, что чиновник поставит на бумаге номер и она через то не потеряется, — или купит жене своего начальника туфли и она через то не простудится; а литератор строго выносит, среди изучения образцов и долгого обдумывания и долгих

усиленных работ, светлую мысль или характер под сердцем, как мать, и когда его собственные силы станут крепнуть, — дети его сердца станут трогать сердца и поучать умы миллионов. Нам нечего бросать жребия, мы с вами видим ясно! Я уже не ребенок в мире слова, очинивший перо для стишонков и первой печатной строки; мое будущее для меня начинает уже разъясняться; я его вижу, вижу мой удел, — вижу будущие труды и слышу всеми фибрами сердца зовущий меня голос... Я сделал в литературе столько, что теперь мне или нужно бросить ее, растоптать и забыть навсегда, или смело бросить все, что помешает вдохновенному и тихому шествию дарования, и отдаться ей одной, безраздельно и навеки; иначе — жизнь моя в собственных глазах моих будет бесчестна и кончится посредственностью, дилетантизмом, я сделаюсь артистом, которого будут помнить табачные ноздри геморроидальных сослуживцев да два-три памятливых родственника... Мне необходимо изучение людей, сердец, страстей и помыслов современности и моей родины; этого ничего я не изучу и даже не увижу в Петербурге! Мне необходимо по крайней мере *три года* оставаться подолее, лето, весну и осень, в провинции, учиться, присматриваться, прислушиваться, собирать, работать в тишине и крепнуть вдали от света, для которого потом опять явиться. Этого сделать нельзя, служа; службу на время надо оставить... Через три года те же люди, которые дали мне ход, встретят меня и дадут мне опять ход по службе, если бы я захотел, и еще просить будут, ручаюсь вам в этом, потому что знаю канву, по которой здесь вышиваются служебные узоры! Меня выпустят из виду, но не забудут. Я беспрестанно зрелее и зрелее буду напоминать о себе в печати и, не опошлившись для них вечным торчанием на их глазах, явлюсь тем же старинным их знакомцем, но несколько опять новым, возбуждающим их любопытство, и при моем знании пружин житейских, при моих связях в кругу молодежи и стариков чиновничьей аристократии здесь — достигну всего, чего пожелаю!»

Эти слова во многом оказались вполне верными. Действительно, житье на родине в Харьковской губернии, но не в течение трех лет, как предполагал Г. П., а в течение двенадцати, оказалось в литературном отношении в высшей степени плодотворным: шестидесятые годы — пора пышного расцвета таланта нашего писателя, пора создания лучших бытовых романов, составляющих известную трилогию-эпопею из быта Новороссии. Расцвет таланта Г. П. совершился, несомненно, под благотворным влиянием родины, под влиянием работы на свободе, в сельской тишине, под влиянием частого и живого общения с людьми разных сословий и состояний во время службы по выборам — сначала в комитете по улучшению быта помещичьих крестьян, а затем в только что создавшемся земстве. Наконец, когда в 1869 году Г. П. снова приехал служить в Петербург, он действительно достиг многого, если не всего, чего желал.

Итак, с выходом нашего писателя в отставку в 1857 году начинается новый период его жизни, наступает пора возмужалости его дарования, пора служения родине в самое горячее время великих реформ, быстро следовавших одна за другою и требовавших для своего воплощения и осуществления талантливых деятелей.

Еще 14 ноября 1854 года Г. П. писал своей матери: «Что касается женитьбы в ранние годы, то я другой женитьбы и не понимаю, особенно при моих кабинетных наклонностях. Женившись, можно разлюбить поэзию, только живя помещиком; а здесь — здесь все кипит и подстрекает. Почти все молодые наши литераторы женаты или живут так, как женатые; святость и чистота сердца только тут в домашнем быту и сохраняются. Я не боюсь за себя; у меня слишком много жажды работ и известности, как их награды, для того чтобы опуститься и стать преждевременно брюзгой. Напротив, тут я еще сосредоточусь более и стану серьезнее смотреть на труды свои». Эти строки были написаны Г. П. в самый разгар его любви к дочери одного харьковского помещика, к той «черноокой Наденьке Б***», которая вдох-

новила впоследствии нашего писателя на создание образа Аглаи в романе «Девятый вал». Почти в каждом письме от 1853—1855 годов можно прочитать несколько строк о Н. Ф. Б***, — строк, то восторженных и радостных, то грустных и печальных, так как страстно влюбленному Г. П. долго было больно «при одной мысли о монастыре и о том милом существе, которое похищено им», долго образ любимой девушки «восходил для него лучезарною звездой» и будил дорогое прошедшее, в котором было потеряно столько очаровательных грез и надежд. Можно уверенно сказать, что любовь нашего писателя не оставалась безотзывной, что Н. О. поступала в монастырь только на самый короткий срок для того, чтобы сдержать какой-то обет, но достойнейшую и неопытную девушку уверили в монастыре, что отец дал за нее Г. П. согласие и что жених ищет только ее состояния. Вероятно, эти наговоры и сплетни оскорбили Н. Ф., и она, поверив им, отвергла искреннюю и бескорыстную любовь молодого писателя. В своих воспоминаниях о Г. П. графиня Б-рнэ, о которой мы имели уже случай говорить выше, передает об этом эпизоде из жизни нашего писателя не лишенные интереса подробности, относящиеся именно к 1854 году. «Он был совсем молодой человек, среднего роста, очень симпатичной наружности; его малороссийские, темно-серые с узким, но красивым прорезом глаза бегали, как огоньки! Он в то время переживал пору юности и увлечений, был холост, имел планы на женитьбу. «Ах, дружище, — говорил он моему мужу, — в душе моей теперь таятся два идеала. Один идеал говорит: «не стоит жить, ничтожен мир», а другой идеал говорит: «нет, мир имеет свои радости, счастье — нужно жить». И вот среди столь разнообразных ощущений и борьбы он не шутя горевал... Одна из девушек, которая говорила поэту «не стоит жить», была не кто иная, как Аглая, героиня романа «Девятый вал». Пробыв *два года* в монастыре, она оставила его, потому что «я не нашла того монастыря, который был в моем воображении», впоследствии говорила она. Тем не менее любовь

их не возвратилась. Г. П. в то время жил в Москве и Петербурге; они не виделись больше. Не знаю, что с ней теперь, но лет десять тому назад я виделась с ней... Она была уже пожилая девушка, бледная, но все еще сохранившая следы поразительной красоты, в траурном платье, с янтарными четками, приветливая, но очень грустная и молчаливая».

Свои намерения и планы жениться по возможности раньше, чтобы «сохранить святость и чистоту сердца», Г. П. действительно исполнил вскоре после выхода в отставку: свадьба его была 7 июня 1857 года. Он женился на дочери помещика-соседа Змиевского уезда, умершего штабскапитана, Юлии Егоровне Замятиной. Венчание происходило в Покровской церкви села Дмитриевки Изюмского уезда. Двенадцать лет после женитьбы наш писатель прожил на родине, в Харьковской губернии, частью в родовом имении отца, селе Петровском, частью в имении жены, селе Екатериновке. Изредка наведываясь в Петербург, Г. П. побывал также в 1860 году за границею — во Франции, Германии, Англии, Италии и славянских землях Турции[1].

Искренно сочувствуя освобождению крестьян, отпустив еще до 19 февраля 1861 года некоторых из своих дворовых на волю, Г. П. начал служение своей родине после предварительнюй подготовки, после внимательного изучения экономического быта харьковского крестьянина. Результаты этого изучения были изложены в трех обширных письмах, помещенных в №№ 3, 7 и 13 московского «Журнала землевладельцев» за 1858 год и озаглавленных: *«Харьковский*

---

[1] *«Письма из-за границы»* (две серии) печатались в «Северной Пчеле»; к первой серии относятся 10 писем с 26 февраля по 26 мая 1860 года, ко второй — всего два письма, помещенные в №№ 211 и 228 (11 сентября и 23 октября). Первые десять писем носили заглавия: От Петербурга до Берлина, От Берлина до Парижа, Французские депутаты в Лувре, Париж, От Парижа до Тосканы, Венеция и Турин (2 письма), Старосветские помещики на юге Франции, Рим и Неаполь (2 письма); во вторых дву письма повествовалось о Лондоне и французских деревнях. Под большинством писем имеется подпись: *А. Скавронский.*

крестьянин в настоящее время». По тщательном рассмотрении его быта Г. П. пришел к весьма неутешительным выводам. Он находил, что харьковские крестьяне, изнуренные болезнями, с потерей в раннем возрасте сил, без помощи медицины и правильной жизни, страдают чересполосицей, постоянным отправлением почти всех повинностей натурою, проволочками своих кровных дел-исков по имуществу и по обидам от чересчур плодовитой канцелярской переписки судебных и полицейских мест; страдают от дурного расположения границ владельческих участков земель, от низкой наемной, поденной и годовой платы за труд; от непонимания своих отношений к властям и помещикам; от эксплуатации откупщиков, от печального состояния земледелия и жалкого прозябания всех других промыслов. Необходимость в коренных преобразованиях крестьянского быта была очевидна, и автор своими письмами шел, таким образом, навстречу великодушным намерениям правительства. Он находил нужным для улучшения положения крестьян учреждение и размножение фельдшерских школ и аптек при сельских общинах, принятие энергических мер к полюбовному размежеванию в губернии, открытие общественных работ (постройка железной дороги в два конца от Харькова к Феодосии и к Москве), улучшение путей и средств сообщения, обеспечение дешевым кредитом, преобразование откупной системы, дарование свободы личному труду человека, самое широкое покровительство земледелию и проч. По намеченной правительством программе преобразования в сельском быту должны были совершиться при участии помещиков-землевладельцев, будущим поколениям которых предстояла задача просвещения «младших братий», развитие их нравственных и экономических понятий, «чтобы их святой труд, — как говорил в третьем письме Г. П., — освободясь из тьмы запутанности и всяких вековых стеснений, не пропадал еще даром, а в применении своем неуклонно достигал бы главной своей цели — увеличения народного богатства и счастья». Призывая все харьковское дворянство к пересозданию и пе

ревоспитанию грядущего поколения свободных землепашцев, Г. П. заканчивал следующими глубоко воодушевленными, полными светлых надежд, словами: «От лица всего нового поколения края, честь и достоинства которого берут здесь более и более влияния, скажем словами поэта[1], тронувшего честною разработкою и наш поэтически самобытный, хотя и нравственно-бедный край:

Дню вчерашнему забвенье,
Дню грядущему привет!..

Действительно, горячей верой в «грядущий день» одушевлены были все деятели эпохи крестьянского освобождения, бескорыстно работавшие для блага «младшей братии, для блага всей России. Если впоследствии многие светлые чаяния не оправдались, а в реформах оказались пробелы и ошибки, свойственные всякому делу рук человеческих, если общество и народ оказались стоящими ниже реформ и неспособными к их правильному выполнению и усвоению, — то, во всяком случае, начала, положенные в их основу, были настолько высоки и гуманны, что могли лучших людей вызвать на самоотверженный и тяжелый труд, наградой за который являлось только сознание исполненного долга.

С верою в «грядущий день» выступил на служение народу и наш писатель. В мае месяце 1858 года он был избран змиевским дворянством в кандидаты к двум членам от уезда в харьковский губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян, с обязательством в первый период деятельности комитета нести равные обязанности с членами его по собиранию необходимых сведений в Змиевском уезде. По желанию своего дворянства Г. П. постоянно присутствовал во всех заседаниях комитета для безотложной замены членов от Змиевского уезда в случае их отъезда или болезни. Во время заседаний комитета на долю Г. П. выпадали труды,

---

[1] И. С. Аксакова, изучавшего харьковскую торговлю и написавшего исследование об «украинских ярмарках».

равные с другими членами: заступая место представителей от уезда, он неоднократно участвовал как в совещательных заседаниях комитета, так и в его редакционных работах по начертанию проекта положения об освобождении крестьян. По закрытии комитета, при письме от губернского предводителя дворянства от 15 мая 1859 года, Г. П. была объявлена монаршая благодарность «за труды, понесенные в течение занятий по крестьянскому делу», и за составление «вполне добросовестного и благородного положения». Затем, наравне с членами бывшего комитета, Г. П. получил 22 июля 1861 года для ношения на александровской ленте особую серебряную медаль с надписью: *«Благодарю за труды по освобождению крестьян»*.

Еще плодотворнее и виднее была земская деятельность нашего писателя, начавшаяся с 1865 года. За два года перед тем Г. П. был командирован министром народного просвещения Головиным в Харьковскую губернию для собирания исторических и статистических сведений об учебных заведениях, причем посетил и описал около двухсот народных школ. Эта командировка ближе познакомила Г. П. с тем делом, которым он потом руководил по поручению губернской земской управы.

17 октября 1865 года наш писатель, в качестве губернского гласного, в первом очередном харьковском губернском собрании был избран на трехлетие в члены харьковской губернской земской управы, причем собрание за труды составления и сообщение исследования о земских повинностях губернии за прежние годы журнальным постановлением выразило ему благодарность. С начала и до конца своей службы в звании члена управы Г. П. заведовал ее попечительным отделом, т. е. делами народного образования, народного продовольствия и народного здравия, причем ему была поручена непосредственная хозяйственная администрация харьковских богоугодных заведений: губернской земской больницы, богадельни, дома для умалишенных и фельдшерской школы. Кроме того, в течение своей земской службы Г. П. зани-

мался печатанием отчетов и других изданий управы, а также журналов губернского земского собрания.

Видная роль принадлежала нашему писателю в осуществлении мысли о постройке курско-харьковско-азовской железной дороги. 25 января 1866 года состоялось собрание харьковских домовладельцев при участии приглашенных членов губернской и уездной земских управ и многих лиц из иногороднего купечества, съехавшихся к Крещенской ярмарке. Собрание обсуждало, между прочим, вопрос о соединении Харькова с Азовским морем железною дорогою. Председатель губернской земской управы А. Ф. Бантыш прочитал записку: «Почему необходима харьковско-азовская железная дорога». В выработке этой записки принимал участие и Г. П., так как составление ее было поручено особой комиссии, образованной при губернской управе из председателя и ее членов, некоторых профессоров харьковского университета, многих представителей из харьковского купечества, некоторых уездных предводителей дворянства, а также председателей и членов уездных управ. Помимо участия в этой железнодорожной комиссии, Г. П. составил еще свою записку, прочитанную в том же собрании 25 января, под заглавием: *«О харьковско-азовской железной дороги касательно интересов г. Харькова и его ярмарочной торговли»*. По выслушании этой записки, принятой собранием с полным сочувствием, было постановлено: составить и подписать адрес от города на высочайшее имя относительно разрешения и утверждения проекта о постройке дороги, прося начальника губернии препроводить адрес к министру внутренних дел для доведения его до сведения государя императора. Вместе с тем было постановлено записку Г. П. представить министру внутренних дел, в пояснение адреса от города.

В ходатайстве харьковского земства указывалось, что сооружение дороги важно, во-первых, в экономическом отношении, потому что она может спасти край от разорения; во-вторых, дорога облегчит передвижение огромного числа

рабочих из внутренних губерний и сохранит миллионы, издерживаемые на переходы; в-третьих, откроет возможность государству воспользоваться неисчислимыми выгодами, которые может доставить разработка минеральных богатств, залегающих на пространстве между Харьковской губернией и Азовским морем; наконец, в-четвертых, дорога имела большое значение в стратегическом отношении.

Хотя в собрании 26 февраля харьковских домовладельцев и была доложена телеграмма местного губернатора, находившегося в то время в Петербурге, — телеграмма, гласившая, что «правительство уже имеет в виду» сооружение курско-харьковско-азовской дороги, тем не менее харьковская железнодорожная комиссия сочла нужным послать особую депутацию в Петербург ходатайствовать перед высшим правительством о *скорейшем* построении дороги. Г. П. дважды был избран депутатом от комиссии — 12 марта 1866 года и 1 ноября 1867 года. Участвуя в первой депутации[1], Г. П. находился в Петербурге два с половиною месяца, а участвуя во второй — четыре месяца. Во время поездки первой депутации, вместе с другими членами, 26 апреля 1867 года, Г. П. представлялся в Москве государю. Во время пребывания в Петербурге второй депутации наш писатель заключил 1 марта 1868 года с известным С. С. Поляковым договор о постройке дороги, предоставивший земству значительные выгоды и содействовавший к заключению договора казны с Поляковым. По возвращении депутации из Петербурга, в мае 1868 года Г. П. удостоился получения ордена св. Станислава 2-й степени. Избранный от харьковской губернской управы депутатом ее в деле посредничества между строителем дороги и собственниками губернии, по вопросу об отчуждении земель и сносе строений, Г. П. получил благодарственный адрес от жителей гор. Славянска за труды во время переговоров этого города со строи-

[1] Кроме Г. П. в состав депутации вошли: член управы *Матушинский* и гласный губернского земского собрания *Замятин*.. Второй раз ездили только Г. П. и Матушинский.

телем дороги, относительно приближения к Славянску железнодорожной станции.

Насколько родина ценила услуги своего даровитого сына, можно видеть хотя бы из того, что еще в 1863 году Г. П. был избран действительным членом харьковского статистического комитета, 16 июня 1867-го — почетным мировым судьею Змиевского уезда, а в 1873-м — акционерное общество харьковско-азовской железной дороги, помня содействие нашего писателя ее постройке, назвало его именем два паровоза; не забыло почтить общество таким же образом А. М. Матушинского и бывшего харьковского губернатора П. П. Дурново.

Оживленная общественная деятельность Г. П. за время с 1857 по 1868 год шла параллельно с еще более оживленной и плодотворной деятельностью литературной, свидетельствующей о том, что талант нашего писателя определился, достиг зрелости и оригинальности. *«Беглые в Новороссии»* (1862, журнал «Время», №№ 1 и 2), «Воля» (1863, там же №№ 1, 2 и 3) и *«Новые места»* (1867, «Русский Вестник», №№ 1 и 2) показали в Г. П. по преимуществу художника-беллетриста, для которого пластика фигур и бытовые стороны дороже музыки внутренней жизни человека. Талант нашего писателя шел не столько вглубь, сколько вширь, и не останавливался над подробным психологическим анализом чувств и мыслей изображаемых лиц: все они были у него в движении, в действии, и характеризовались не столько рассуждениями, сколько поступками. Таким образом, преобладала эпическая сторона, за которою уже выступал современный интеллект, его недуги и волновавшие общество интересы. Если Г. П. как художник уступал некоторым из наших известных беллетристов (*«Данилевский,* — говорил известный польский романист Крашевский, — *для меня не имеет артистической законченности и прелести Тургенева, но его талант иного рода и никак не меньшей силы»*), то как рассказчик и пейзажист он был хорош без всяких сравнений. Рассказ нашего писателя был прост и оживлен, сплошь интересен и подчас полон тревоги без всякой утри-

ровки. Манера не останавливаться долго над пейзажами, а переплетать их нитью рассказа, придавала много прелести и оригинальности порывистому слогу. Выдающейся особенностью таланта нашего писателя являлась также столь редко встречающаяся между нашими беллетристами способность приискать интересную канву, любопытную, иногда очень сложную фабулу, которая, однако, служила автору для развития основной общественной идеи. В изображении типов Г. П. занимал не столько психологический анализ, сколько отношение личности к обществу. Что же касается русского пейзажа, то он приобрел в лице нашего писателя поэта, художественно воспевшего своеобразные красоты южной природы и Новороссии. Описательный талант автора сказывался также и в искусной рисовке особенностей бытовой жизни; общий фон картины во всех крупных произведениях Г. П. обыкновенно бывал вырисован прекрасно. Благодаря чувству меры, которого зачастую не хватает и очень большим художникам, в романах нашего писателя действие обыкновенно развивалось быстро, без остановок и скачков, интерес овладевал читателем с первой главы романа, не покидая его до последней, небольшие главы не утомляли, и каждая сцена подвигала действие к развязке. Изящная, тщательно отделанная форма произведений Г. П., их красивый и характерный язык, не лишенный образности и меткости, свидетельствовали о духовном родстве нашего писателя с теми художниками-беллетристами 50-х и 60-х годов, которые свято хранили художественные заветы гениальных родоначальников нашего реализма — Пушкина и Гоголя.

Художественная трилогия-эпопея, встреченная критикой при своем появлении довольно сдержанно, нашла впоследствии — в конце шестидесятых и в средине восьмидесятых годов — проницательных ценителей в лице Н. И. Соловьева, бывшего сотрудника «Времени» и «Эпохи»[1], и П. П. Сокаль-

[1] См. его «Искусство и жизнь», т. III, 1869 г., стр. 214—257.

ского, известного музыканта, автора исследования о русской народной песне, написавшего вместе с тем много талантливых статей по искусству вообще и в частности литературно-критических[1]. В своей трилогии, по верному замечанию этих критиков, Г. П. представил целый ряд картин, в которых тонко разобрана «физиология и патология труда». Все три романа имеют между собою органическую связь, и сквозь их пеструю ткань проглядывает один общий тип, имя которому — *деловой человек*, бывший до тех пор по преимуществу северянином; Данилевский же указал ему на юг, на более производительные и благодатные места России. Он образно высказал недовольному действительностью «лишнему» человеку, что единственное средство спасения для него — бежать из Петербурга в провинцию, в глушь непочатых и невозделанных земель России, где открывалось широкое поле для самой пылкой и предприимчивой деятельности.

В художественном отношении «Беглые в Новороссии» стоят несомненно выше «Воли» и «Новых мест». Здесь автор прекрасно изобразил беспрерывное движение на юг и обратно жаждущей воли народной толпы, — движение, обставленное множеством характерных случайностей и местных картин природы. Рядом с этим Г. П. вывел на сцену пионеров-плантаторов, русских массачузетов и кентукки, «белых эксплуататоров белых негров», тоже беглых, но высшего полета, искавших быстрой наживы. Представителем этих последних был отставной гвардии полковник Панчуковский, взбалмошный аферист, сластолюбец, жуир и шикарь; немец Шульцвейн, колонист-миллионер, владеющий чуть не полгерцогством степной земли, — другой противоположный полюс деловых людей. «Белые негры» — это беглые Милороденко и Левенчук, сангвиник и флегматик, один — тертый калач, бывший лакей, гуляка, прожигающий жизнь в смелых похождениях; другой — натура сосредоточенная, трудолюбивая, склонная к постоянной любви и

[1] См. его статьи «Поэзия труда и борьбы» в «Русской Мысли» 1886 г., №№ 11 и 12.

семейному очагу. Немалую роль в романе играет красавица Оксана, воспитанница отца Палладия и невеста Левенчука, похищенная Панчуковским. Главный интерес интриги романа сосредоточивается на освобождении Оксаны Левенчуком при помощи Милороденки. Особенно удался автору тип отца Палладия, истинного пастыря беглых и степей. Г. П. первый в русской литературе изобразил этот симпатичный тип и показал его в нескольких вариациях: таковы же отец Смарагд в «Воле» и отец Адриан в «Девятом вале». «Беглые в Новороссии», за которых автор получил 1500 руб., вызвали придирки со стороны цензуры, о чем сохранились любопытные сведения в письме Г. П. к своей жене от 10 января 1862 года из Петербурга, куда наш писатель ездил для личных переговоров с М. М. Достоевским, издателем журнала «Время». «Представь, — писал Г. П., — повесть моя «Беглые» в рукописи была прихлопнута цензурою, и я уже потерял всякую надежду отстоять ее у цензуры и видеть ее в типографии, когда вдруг при встрече Нового года у Достоевских, за ужином, после игры Маши-артистки, дочери старшего Достоевского, которую я когда-то носил на руках, по выходе с ним из крепости, — когда пили шампанское за отсутствующих, автор «Угнетенных» и «Мертвого Дома» сообщил мне радостную весть, что мои «Беглые» пропущены и с третьего числа отдаются в типографию Праца. Оказывается, что обе цензуры, светская и духовная, прихлопнули мою повесть за тип отца Палладия!.. Меня спас новый министр Головнин. На днях я являлся к нему благодарить, и он сказал, что мой талант вырос с тех пор, как я уехал по поручению великого князя Константина, а он тогда был у него секретарем». Осенью того же года, 12 ноября, Г. П. писал следующее: «Вчера зашел я с Благовещенским закусить в Пассаж и встретил Помяловского, который сказал мне: вы своими «Беглыми» открыли для литературы новую Америку, и если напишете еще что-нибудь подобное, то имя ваше загремит и упрочится».

Во втором романе «Воля» автором, на фоне мастерского пейзажа Приволжья и соседних деревень, нарисована карти-

на нравов дореформенного общества, встречающего, по выражению Сокальского, «первые лучи освободительной политики». Роман очень интересен, но полотно картины так велико, что в массе подробностей внешнего движения утрачивается рельеф, основная идея романа. Два главных действующих лица — генерал Рубашкин и крестьянин Илья Танцур. Первый, почувствовавший на склоне лет потребность жить в деревне, вдали от перьев и чернил, слаб и нерешителен для того, чтобы выдержать борьбу со старым строем и найти гармонию жизни в труде над землею; после ряда неудач Рубашкин бежит из провинции обратно в Петербург, в департамент. Второй — беглый крестьянин, вернувшийся на родину для вольного труда на вольной земле, в своем вольном мире крестьянства падает жертвою непонимания нового закона «о воле». Таким образом, главным центром романа является мастерская картина непроходимого взяточничества и печальных провинциальных порядков, порожденных союзом мелкой бюрократии с местными землевладельцами.

Обрисовав в «Беглых в Новороссии» и «Воле» двух представителей отрицательного типа «деловых людей» (Панчуковского и Рубашкина), Г. П. в третьем своем романе, входящем в состав трилогии, сделал даровитую попытку нарисовать нарождавшийся тип интеллигентного земледельца, человека, старавшегося примирить умственное развитие с физическим трудом, производительную деятельность со служением обществу и народу. Таков именно герой романа «Новые места» — Чулков. В лице Музыкантова, в том же произведении, автор изобразил представителя разлагающегося дворянства старого, дореформенного склада. Все действующие лица искусно сгруппированы Г. П. около двух главных центров — Чулкова и Музыкантова. Рядом с идиллией в степи, где поселяется и работает Чулков, автор рисует мелодраму, главную роль в которой играет Музыкантов, этот промотавшийся жуир, бонвиван и глава подделывателей фальшивых ассигнаций. В этом сопоставлении идиллии с мелодрамой —

общественная идея романа, встреча двух складов понятий и стремлений — старого и нового. Все окружающие Музыкантова, в том числе сын его, Вава, и Еня Разноцветов, вполне разделяют его мысли о цели жизни — наживе легким способом, не стесняясь средствами. Эта картина разложения дворянства наполняет большую часть романа, разветвляясь на несколько эпизодов: открытие шайки подделывателей фальшивой монеты, подкоп под губернское казначейство и смертную казнь Ени Разноцветова. С другой стороны, ряд лиц группируется около Чулкова, во главе их отставной офицер и старый романтик Ипполит Гуслев, верный друг и помощник молодого колониста. Это лицо вполне удалось автору, и вообще все характеры главных действующих лиц, особенно же Чулкова, задуманы прекрасно. Сравнивая отрицательные типы в «Новых местах» с положительными, приходится отдать преимущество первым, так как в изображении вторых виден более публицист, чем художник.

Тремя романами из быта Новороссии не исчерпывается, однако, вся литературная деятельность нашего писателя за время его службы по выборам. В газетах 1857—1868 годов («С.-Петербургские Ведомости», «Московские Ведомости», «Голос», «Северная Пчела», «Одесский Вестник», «Биржевые Ведомости», «Харьков. Губ. Ведомости» и др.) можно найти целый ряд статей, фельетонов и заметок Г. П. по разным вопросам и поводам, преимущественно местного значения — для Харькова и юга России. Покойный любил писать и писал быстро и легко. Если свои художественные произведения, особенно в последние годы деятельности, Г. П. тщательно отделывал и обрабатывал по несколько раз, то в этом, конечно, сказывалась только взыскательность и строгость художника, который был недоволен своим трудом. Вообще же, повторяем, как устная, так и письменная речь лилась у нашего писателя свободно, красиво и образно. Несомненно, Г. П. принадлежит к числу плодовитейших русских писателей.

Выше мы уже упоминали о трех исторических рассказах, написанных в конце пятидесятых годов. Кроме того, тогда

же или несколько позднее были напечатаны и другие беллетристические, чисто бытовые произведения нашего писателя. Так, в 1859 году появился рассказ «Сорокопановка», в 1860-м — рассказы «Феничка», «Четыре времени года украинской охоты», повесть в двух частях, помещенная в «Библиотеке для чтения» №№ 8 и 9, с подписью *А. Скваронский* и под заглавием *«Не вытанцевалось»*; повесть эта при жизни автора ни разу не перепечатывалась, была всеми забыта и ныне перепечатывается в полном собрании впервые; в 1861 году напечатан «Беглый Лаврушка в Париже». Кроме того, в 1860 году Г. П. издал в трех томиках свои сказки, очерки и повести под заглавием *«Из Украйны»*.

Продолжая свои историко-литературные исследования, начатые так удачно в 1855 году очерком жизни и деятельности Квитки-Основьяненко, Г. П. напечатал в 1860 году биографию основателя харьковского университета В. Н. Каразина, а в 1865-м — биографию украинского философа Сковороды и статью о харьковских народных школах с 1732 по 1865 год, для которой прочитал около семисот отзывов, представленных городским и сельским духовенством по вопросу о школах, и посетил около ста сел и деревень, где и собирал сведения от священников, учителей и самих крестьян. Все эти четыре работы собраны в одну книгу под заглавием «Украинская старина». Материалы для истории украинской литературы и народного образования были удостоены в 1868 году Императорской Академией наук уваровской малой премии в 500 рублей. Г. П. предполагал продолжать, имея в виду местные интересы, свои исследования и в следующих выпусках своего сборника «Украинская старина» поместить биографии других украинских деятелей, отрывки старинных актов, переписку помещиков XVIII века, мемуары и целые монографии о южнорусском крае. К сожалению, этим благим намерениям не суждено было почему-то осуществиться; одно присуждение премии Академией наук свидетельствует о научной ценности историко-литературных работ нашего писателя. Особенную ценность им придавали неизданные

рукописные материалы, положенные в основу всех трех биографий, помимо обширного, тщательно собранного материала печатного. Эти материалы дали возможность автору в биографии Сковороды изобразить, между прочим, современное состояние общества и образованности, а в биографии Квитки сообщить любопытные сведения о первых временах существования харьковского университета. Если, по словам проф. М. И. Сухомлинова, писавшего разбор «Украинской старины», в очерках нашего писателя нельзя искать полной картины и живой характеристики; если сообщаемые сведения не сведены в стройное целое и большею частью отрывочны, — то эти недостатки происходили, конечно, от неразработанности в то время украинской литературы и необходимости собирать материал по частям из разнородных источников. В статье о народных школах автор сообщил сведения о числе их и учащихся в целой губернии, показал отношения учащихся мужского и женского пола к общему населению губернии, привел отзывы местных жителей о приемах преподавания, об устройстве и характере народных училищ и т. д. В общем, «Украинская Старина», в которой впервые обнародованы разнообразные данные о главных деятелях местной литературы и образования, являлась несомненной заслугой автора, оцененной по достоинству Академией наук.

Оставив земскую деятельность, Г. П. предполагал заняться адвокатурою, и в 1868 году указом Сената уже был утвержден присяжным поверенным харьковского судебного округа. В Петербурге в это время возникла и разрабатывалась мысль об издании официальной газеты, общей для всех министерств и главных управлений — «Правительственного Вестника». Мысль эта всецело принадлежала тогдашнему министру внутренних дел А. Е. Тимашеву. 1 января 1869 года вышел первый номер «Правит. Вестника», а 4 февраля в приказе по министерству внутренних дел уже значилось: «отставной надворный советник Данилевский определяется на

службу чиновником особых поручений VI класса при министерстве внутренних дел, сверх штата, прежним чином коллежского асессора, с 25 января»; одновременно с приказом наш писатель был командирован в распоряжение главного редактора новой официальной газеты. В течение одиннадцати месяцев 1869 года Г. П. исполнял важнейшие из обязанностей, которые, по установленным для «Правит. Вестника» правилам, были возложены на помощника главного редактора. «По поручению моему, — писал министру Тимашеву тогдашний главный редактор В. В. Григорьев, — он устроил и вел почти все те личные сношения редакции с представителями различных министерств и главных высших ведомств, посредством которых ныне организовалась и почти обеспечена для редакции непрерывная доставка официальных сведений по отделу «Сообщений» — как о более любопытных работах министерских департаментов и отделений, так и о занятиях различных проектных комиссий и комитетов. Сверх того, по моим указаниям он исполнил, на основании официальных материалов некоторых ведомств, несколько самостоятельных работ, обративших на себя внимание периодической печати, а с конца июня до конца июля исправлял должность редактора официального отдела с ночною работою». Ввиду этого, Григорьев просил министра назначить нашего писателя на должность помощника главного редактора, подкрепляя свою просьбу, в заключение представления, еще следующими соображениями: «Непосредственные сношения Данилевского с высокопоставленными лицами различных ведомств, к коим он, для упрощения дела, обязан лично являться, много теряют от того, что он, кроме имени простого сотрудника, в организации «Правительственного Вестника» не несет до сих пор никакого звания». Министр написал на представлении Григорьева: «Совершенно согласен и от души рад, что г. Данилевский вполне оправдал мои надежды». Эта резолюция Тимашева помечена 22 января 1870 года.

С этого времени наш писатель до самой смерти не оставлял редакции «Правит. Вестника», занимая в ней до 1881

года должность помощника главного редактора, а затем, в течение девяти с лишком лет, будучи главным редактором. С 5 ноября 1882 года Г. П. был, кроме того, членом совета главного управления по делам печати, назначенный на эту должность ввиду необходимости ближе ознакомиться с видами правительства по различным вопросам общественной жизни, а также ввиду облегчения личных постоянных сношений с представителями высших государственных учреждений при печатании различных правительственных материалов. Будучи еще помощником главного редактора, Г. П. получил в 1875 году чин действительного статского советника, а 1 января 1881 года — орден св. Станислава I степени. Заботы нашего писателя об улучшении «Правит. Вестника», в бытность его главным редактором, стремление расширить содержание отдела «Внутренних известий», стремление придать официальной газете литературный характер, старание сообщать все выдающиеся научные новости в России и за границею, введение фельетонов по разным отраслям знания, литературе и искусствам, главным образом по театру и живописи, — все это, конечно, не могло не обратить на себя внимания. 15 мая 1883 года Г. П. получил орден св. Анны I степени, 13 апреля 1886 года — произведен в тайные советники, а 1 января 1890 года — награжден орденом св. Владимира II степени.

Наряду с успехами служебными, последний период жизни и деятельности нашего писателя отмечен успехами литературными, распространением его известности не только в России, среди обширного круга читателей, что доказывается *шестым* прижизненным изданием сочинений Г. П.[1], но и за границею,

---

[1] Четвертое издание сочинений Г. П. разошлось в количестве 1000 экземпляров, пятое — 1500, шестое — 2800. Характерным показателем достигнутой нашим писателем известности может служить также гонорар, который платили ему периодические издания за романы. «Черный год» был продан «Русской Мысли» за 6000 руб., «Царевич Алексей» (посмертное произведение) тому же журналу по 500 р. за лист; за рассказ «Шарик» Маркс заплатил 600 руб.

где с 1874 года начали появляться переводы его романов и повестей на французском, немецком, польском, чешском, сербском и венгерском языках. Вместе с тем разные русские ученые и литературные общества, ценя литературные заслуги нашего писателя, избирают его в свои члены. Так, еще в 1867 году Г. П. был избран действительным членом общества любителей российской словесности при Московском университете, в 1868 году — членом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, в 1870 году — членом Императорского русского географического общества, в 1873 году — пожизненным членом славянского благотворительного общества, в 1886 году — членом-корреспондентом общества любителей древней письменности, а в 1888 году — действительным членом русского литературного общества. Императорская Академия Художеств, ценя основательные познания нашего писателя в живописи, сначала пригласила его (в 1883 г.) членом комиссии для всестороннего обсуждения вопроса об устройстве музеев по городам и в частности о музее в Харькове[1], а затем (4 ноября 1886 г.) избрала, за труды на пользу искусства, в почетные члены.

Посвящая свободное от службы время литературе, Г. П. почти еженедельно посещал свои излюбленные литературные кружки — поэта Я. П. Полонского и особенно А. П. Милюкова, своего лучшего друга, который в свое время пользовался дружеским расположением Ф. М. и М. М. Достоевских, Мея, Аполлона Григорьева и др. На квартире А. П. по вторникам в течение многих лет собирался тот кружок товарищей по перу, известных русских литераторов, которых связывала общность направления и убеждений. По собственному признанию Г. П., он «испытывал необыкновенное наслаждение и отдохновение за стаканом чая в беседе с чудным

[1] См. «Правит. Вестник» 1885 г. № 277. Здесь напечатано сообщение о заседании Академии художеств, в котором сделали доклады комиссия и харьковский городской голова, а также изложены ходатайства академии относительно музея в Харькове.

стариком». Ему же посвящал наш писатель свои литературные тайны и планы, ему же первому передавал для прочтения свои черновые литературные наброски. Человек разносторонне образованный, сохранивший, несмотря на преклонные годы, замечательную бодрость духа, ясность и проницательность ума, одаренный несомненным критическим чутьем и тонким эстетическим вкусом, поклонник Пушкина и Гоголя, чуждый узкой партийности и тенденциозности, А. П. по всей справедливости пользовался искренним расположением нашего писателя: все знавшие и знающие этого почтенного деятеля нашей литературы не относились и не могут относиться к нему иначе, как с чувством глубокого уважения.

С давних пор находясь в самых дружеских отношениях с Айвазовским, Семирадским, Боголюбовым, академиком Бейдеманом и земляком Трутовским, проведя много лет в совместной деятельности по земству с Матушинским, известным по своим критико-художественным статьям, Г. П. впоследствии вошел в тесный круг современных художников и под конец жизни достиг осуществления своей заветной мысли — основать в Харькове художественный музей.

К семидесятым годам относится увлечение Г. П. нововведениями по сельскому хозяйству, особенно в области овцеводства и садоводства. Стараясь поддержать находящееся ныне в упадке малорусское садоводство и особенно интересуясь работами известного садовода, помещика Екатеринославской губернии, В. В. Кащенко, достигшего ныне поразительных результатов в садо- и плодоразведении, Г. П. вкладывал некоторую долю своего участия в печатные труды В. В. Кащенко по плодоводству, удостоившиеся лестных отзывов при их появлении в свет как в России, так и за границей.

В последний период своей деятельности, после 1873 года, Г. П. окончательно простился с современною жизнью и отдался художественному воспроизведению новой истории интеллигентной России, начиная с Петра I. «Девятый вал» был последним бытовым романом Г. П. и появился в 1873 году на страницах «Вестника Европы».

В этом обширном романе Г. П. изобразил два склада понятий и стремлений, два мира, старый и новый, в тесном сплетении с семейной драмой: один мир — за монастырской оградой, в игуменье женского монастыря, от которого идут притягательные нити к семейству помещика Вечереева, особенно же к дочери его Аглае; другой — в городе, в борьбе земских элементов в провинции, захваченной реформами и наплывом новых предприятий. Несомненно удачно обрисован молодой председатель земской управы Милунчиков, искренний сторонник реформ, а также прожектор, циник и безграничный эгоист Клочков, Талищев с сыновьями и другие местные помещики (место действия — одна из южных губерний, время — конец 60-х годов). Особенно выдаются в романе по художественной отделке тип игуменьи Измарагды и все сцены из монастырской жизни, полные интереса и новизны. Героиня романа, Аглая, обрисована ярче героя его, Ветлугина, и оставляет в читателе более цельное впечатление. Это — девушка скрытная, сосредоточенная и страстная, отдавшаяся своему обету, в своей вере в истину и спасение, со всем пылом молодой фанатички, ищущей правды жизни. Среди читающей публики «Девятый вал» имел большой успех.

Переходом к историческим романам в литературной деятельности Г. П. явились написанные в начале 70-х годов прелестные художественные рассказы из украинской жизни предков нашего писателя, которые мы неоднократно цитировали в начале настоящего биографического очерка. Первым крупным историческим романом Г. П. явился «Мирович». В этом произведении, лучшие сцены из которого изображены художниками Буровым и Творожниковым[1], сразу сказались все выдающиеся особенности нашего писателя как исторического романиста. Первой из таких особенностей является в

[1] Первый художник написал две картины: «Свидание Петра III с Иоанном Антоновичем» и «Посещение Екатериною II Ломоносова»; второй изобразил трагическую кончину царственного узника.

высшей степени тщательное изучение избранного для художественного изображения вопроса. Стоит только просмотреть, например, примечания к «Мировичу», чтобы понять, сколько употреблено подготовительного, усидчивого труда Г. П. на изучение источников для написания этого выдающегося произведения. Кроме строго исторических официальных сведений, наш писатель собрал все изданные и неизданные частные материалы — записки, дневники, воспоминания, письма, предания. Воспользовался также Г. П. и архивом Шлиссельбургской крепости, бумагами архангельского губернского правления о брауншвейгских ссыльных, посетил Шлиссельбург с казематом Иоанна Антоновича в Светличной башне, мызу Пеллу и родину Мировича. Все вообще исторические романы и повести Г. П. создавались на основании самого обстоятельного изучения источников, между тем как большинство наших современных исторических романистов пишут почти всегда по вдохновению. Таким образом, в исторических произведениях нашего писателя художественное творчество сливается с точным исследованием, выдающийся талант беллетриста с добросовестностью заправского историка. Занимательность четырех больших исторических романов Г. П. («Мирович», «Княжна Тараканова», «Черный год» и «Сожженная Москва») увеличивается еще тем обстоятельством, что они написаны в виде исторических семейных хроник, первоначальные образцы которых дал гений Пушкина в «Капитанской дочке» и «Арапе Петра Великого». Г. П. был большим знатоком XVIII века и преимущественно из него черпал содержание для художественного воспроизведения нашего прошлого. Только два произведения, не считая рассказов из царствования Алексея Михайловича, посвящены началу XIX столетия, эпохе Александра I, — отрывки из романа «Восемьсот двадцать пятый год» и «Сожженная Москва». Все самые крупные фигуры петербургского периода русской истории, захваченные событиями своей эпохи, обрисованные в интимной обстановке, среди мастерской по замыслу и технике интриги, восстают

в романах Г. П. пред воображением читателя совершенно живыми.

Хотя «Мирович», называвшийся раньше «Царственный узник», был окончен Г. П. в 1875 году, но ему пришлось увидеть свет только через пять лет: вырезанный цензурою из «Вестника Европы», роман этот был разрешен к печати только по высочайшему повелению. Это разрешение было получено следующим образом. Через одну из наиболее влиятельных фрейлин ее величества Г. П. удалось представить «Царственного узника» на прочтение императрице Марии Александровне. Роман очень понравился ее величеству, и благоприятное впечатление о нем было передано государю императору. 9 марта 1879 года Данилевский получил от начальника главного управления по делам печати В. В. Григорьева, ранее запретившего роман к печатанию, следующую официальную бумагу:

«Государь Император, по всеподданнейшему докладу г. министра внутренних дел, Высочайше соизволил разрешить печатание вашего романа «Царственный узник».

О такой Высочайшей воле имею честь уведомить вас, милостивый государь, с возвращением рукописи означенного романа, присовокупляя, что о вышеизложенном вместе с сим сообщено С.-Петербургскому цензурному комитету.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

В. Григорьев».

В то же самое время министр внутренних дел Л. С. Маков, известив от себя Г. П., что «узы вашего Царственного узника развязаны», — обратился к Г. П. с частной просьбой изменить заглавие романа. Данилевский исполнил просьбу, и роман появился в печати под заглавием «Мирович». В начале следующего года Г. П. был удостоен подарка от ее величества: ему был пожалован великолепный перстень с рубином и девятью крупными брильянтами. Вообще государыня относилась весьма благосклонно к литературной деятельности нашего писателя: она благодарила через министра двора

Г. П. за поднесение собрания его сочинений и, кроме перстня, пожаловала еще икону св. Николая Чудотворца в серебряновызолоченной ризе. Икону эту Г. П. получил после кончины императрицы.

До напечатания автор читал отрывки из «Мировича» в литературных кружках, а 23 марта 1875 года — в обществе любителей российской словесности при Московском университете, причем имел шумный успех[1]. При своем появлении в печати «Мирович» был благосклонно принят не только среди русской публики и критики: в 1880 году профессор Ходьзко читал о нем лекции в Париже, в College de France; тогда же роман был переведен на языки: немецкий, французский и чешский, а известный польский романист Крашевский отозвался о романе в письме к Г. П. от 31 августа 1880 года следующим образом: «Мировича» я прочел до посещения Ломоносовым его фабрик и имений (значит, около половины) и нахожу роман очень интересным. Отлично выдержан колорит эпохи, и характеристика действующих лиц превосходная. Я вполне уверен, что роман в высшей степени заинтересует и немецких писателей».

Отдавая должное художественному дарованию автора, некоторые из русских рецензентов высказывали сомнение в истинности некоторых событий, описанных в романе. С целью рассеять эти сомнения, Г. П. предпринял весною 1880 года с классным художником академии Жильцовым поездку в Шлиссельбургскую крепость. Вот описание этой поездки из частного письма Г. П. к своей жене, находившейся в то время в Малороссии: «Я съездил в Шлиссельбург с Жильцовым отлично и был принят радушно комендантом Саврасовым, у которого и обедал... Мы осмотрели все редкости. Видел я впервые, и первый из частных лиц, бывшую тюрьму несчастного принца Иоанна в секретной Светличной башне, а также его могилу в подземелье под церковью. Я сделал

---

[1] См. «Русские Ведомости» 1875 г., № 68.

в архиве открытие, нашел несомненное указание о посещении в крепости принца государем Петром III, чего не знал даже историк Соловьев».

Громадная картина екатерининской эпохи, нарисованная в «Мировиче» опытной и искусной рукой, не могла не обратить на себя общего внимания. Действительно, автор очень метко очертил фигуры Петра III, Екатерины II, Разумовского, Ломоносова, Панина, Орловых, Миниха, Бестужева и многих других сановников того времени. Описание кутежей Орловых у Дрезденши и Амбазарши полны голландского реализма; Петербург екатерининской эпохи обрисован прекрасно; две романические интриги — Мировича и Поликсены, Петра III и Екатерины II помещены в такую роскошную обстановку и окружены такою массою прекрасных декораций и бытовых эпизодов, что интерес собственно романа поглощен трагизмом событий, разнообразием обстановки и нередко прелестными описаниями природы. Вполне удался автору герой романа «Мирович». Это — вполне новый характер, отвечающий той странной, безнравственной, наполненной противоречивыми брожениями и одетой в какие-то маскарадные краски эпохи, в которой ему пришлось действовать. Человек беспринципный и вполне ничтожный, холодный эгоист с самыми хищными инстинктами, он постоянно воспламеняется гражданскими идеями, злобствует на дурное правительство и ждет спасительного для отечества переворота. Он даже подогревает в себе чувство сострадания к положению Иоанна Антоновича, возмущаясь жестокостью его судьбы. Конечно, рядом с яркими фигурами тогдашних государственных деятелей Мирович и любившая его девушка, гордая, своенравная Поликсена, — несколько бледнеют, но в этом автор не виноват. Царственный узник также удался нашему писателю (особенно замечательна сцена свидания Иоанна Антоновича с Петром III), несмотря на чрезвычайно трудную задачу передать психологически правдиво совершенно исключительный характер человека, прожившего от колыбели до могилы в темнице.

За «Мировичем» последовали три интересные исторические повести: «Потемкин на Дунае» (1876), «Уманская резня» (1878) и «На Индию при Петре I» (1879). В первой из этих повестей наш писатель нарисовал ряд картин из эпохи второй турецкой войны, описал своеобразную жизнь Потемкина в Яссах и его смерть, знаменитый штурм Измаила и другие эпизоды этой славной, хотя и бесплодной кампании; во второй повести изображена страшная картина одного из кровавых дел запорожцев, истории вражды Польши с Малороссиею, за которым вскоре последовало уничтожение Сечи и закрепощение Украйны; наконец, в третьей повести автор, с одной стороны, показал настоящий характер видов Петра I на Среднюю Азию и далекую Индию, а с другой — представил верную картину неудачного и печального по своим последствиям хивинского похода князя Бековича.

К 1879 году относится возникновение целой серии небольших святочных фантастических рассказцев нашего писателя, часть которых была написана позже, хотя и задумана именно в это время, в памятную зиму господствовавшей в Царицыне ветлянской чумы, нагнавшей сильную панику в Петербурге. Все в столице говорили только о чуме. В одном кружке, говорит Г. П. в предисловии к этим рассказам, собиравшемся у милого, образованного старожила Петербурга, возникла мысль избрать для развлечения себя иную тему разговоров, — а именно: обязательное сообщение каждым из членов кружка, по очереди, фантастических рассказов, вроде тех, которые написал когда-то знаменитый Боккаччо, во время бывшей в XIV веке «флорентийской чумы». Таким образом возник «Русский Декамерон», под гостеприимным кровом известного боевого генерала А. Э. Циммермана, друга нашего писателя, человека истинно русского, глубоко убежденного и разносторонне образованного. Из девяти фантастических рассказов, в которых необыкновенно просто, естественно и увлекательно повествуется о привидениях, явлениях духов и прочей бесовщине, особенно выделяются по своему содержанию и художественному исполнению

два — «Жизнь через сто лет» и «Божьи дети». По мнению нашего писателя, через сто лет вся Западная Европа будет завоевана Китаем. Богдыхан, в утешение туземных ученых и публицистов, даст Европе название «Соединенных Штатов», подчиненных китайскому императору. За дружбу к России богдыхан даст ей возможность изгнать турок в Азию и образовать на Балканском полуострове отдельную славяно-греческую дунайскую империю. Кроме того, русские, изгнав англичан из Индии, устроят третью столицу в Калькутте. Франция, как и все другие европейские государства, сохранит свои политические особенности («умеренную республику»), но будет находиться под местным верховным владычеством евреев-президентов из банкирского дома Ротшильдов. Евреи-адмиралы будут командовать французским флотом, евреи-фельдмаршалы — охранять, во имя китайского повелителя, французские границы, а евреи-министры, с президентом в пейсах и ермолке, будут встречать правящего Европой богдыхана, Цаодзы. Во втором рассказе — «Божьи дети» — автором описана причудливая, роскошная жизнь одного набоба-эгоиста, который только тогда узнал истинное счастье, когда понял нищету низшей братии, когда начал жертвовать не из тщеславия, а по сердечному влечению. Набоб холил и лелеял в своем саду какие-то редкие заморские лилии, которые долго не расцветали и расцвели только при новом солнце, при новой, его собственной сердечной теплоте. Необходимо, наконец, упомянуть о рассказе «Прогулка домового», в основу которого положено таинственное происшествие, в конце 70-х годов волновавшее столицу, о господине, ездившем по ночам с Английской набережной на Волково кладбище на одном и том же извозчике в продолжение месяца.

Оставив почему-то неоконченным роман «Восемьсот двадцать пятый год», отрывки из которого появились в 1881 году в «Русской Мысли», Г. П. в восьмидесятых годах одарил публику тремя большими романами — «Княжна Тараканова» (1882), «Сожженная Москва» (1885) и «Черный

год» (1889). Кроме того, наш писатель напечатал в «Историч. Вестнике» любопытное описание своей поездки в Ясную Поляну, поместье графа Л. Н. Толстого, и написал два рассказа для народа — «Христос-Сеятель» и «Стрелочник». Все три романа последнего десятилетия деятельности Г. П. имели большой успех и вызывали при своем появлении многочисленные сочувственные отзывы критики не только русской, но и иностранной.

Если в «Княжне Таракановой» автор, превосходно воспользовавшись историческим материалом, талантливо рассказал трогательную историю несчастной и загадочной «авантюрьеры», причем художественно обрисовал Алексея Орлова, то в «Сожженной Москве» и «Черном годе» Г. П. красноречиво доказал, что для талантливого романиста нет старых тем. Хотя отечественная война послужила уже содержанием для известного романа графа Л. Н. Толстого, а пугачевский бунт — для «Капитанской дочки» Пушкина и «Пугачевцев» графа Салиаса, Г. П. сумел по-своему изобразить эти две примечательные в русской истории эпохи, сумел подойти к ним с новых сторон, вывести новые типические лица. Так, в «Сожженной Москве» особенно замечателен тип женщины-героя Авроры (изображение типа подобной женщины намечено было только Пушкиным в недоконченном романе «Рославлев»). Кроме этого нового и совершенно неразработанного в русской литературе типа, автор рисует и Наполеона в новых, в высшей степени реальных чертах. С большою задушевностью и яркостью написаны те сцены, в которых действующим лицом выступает простой народ — дворовые, крестьяне и солдаты.

В «Черном годе» внимание читателя одинаково привлекает и повествование о судьбе семьи Дугановых, и личность Пугачева, изображенная без всякой идеализации, и правдивые сцены русского бунта, среди которых встречаются очень оригинальные и глубокие по замыслу. Такова, например, сцена расправы взбунтовавшихся крестьян со своим помещиком-добряком Лаптевым, повешенным ими на воротах усадьбы.

Мастерскою, опытною рукою обрисована московская и отчасти петербургская жизнь тогдашней эпохи; столь же искусно описаны сначала неопределенные и робкие попытки страшного замысла Пугачева, а затем то бешеный, то усталый разгул бунтаря, увлекаемого непреоборимою силою захватившего его кровавого потока.

Незадолго до смерти Г. П. задумал и начал писать новый исторический роман, в котором хотел изобразить трагическую судьбу царевича Алексея Петровича. Написана и отделана была только первая часть этого романа, которая и появилась в январской и февральской книжках «Русской Мысли» за 1892 год. После смерти нашего писателя, похитившей его безвременно, в полной силе и свежести таланта, появился также в «Сборнике Нивы» симпатичный рассказ «Шарик» и в «Историч. Вестн.» воспоминания о Щербине.

Болезнь, сведшая Г. П. в могилу, давно подтачивала его крепкий организм. В последние годы наш писатель каждое лето ездил или в Крым, или за границу; на юге России он лечился от болезни почек виноградом, за границею — пользовался минеральными водами. Однако ни то, ни другое не помогало. В конце ноября 1890 года Г. П. перестал ходить в редакцию «Правит. Вестн.», которую обыкновенно посещал ежедневно не только днем, но и ночью, когда выпускается и окончательно редактируется номер. С лишком две недели наш писатель пролежал в постели. Пользовали его доктора В. И. Афанасьев и Н. И. Соколов, а затем на консилиум был приглашен доктор Бертенсон и другие врачи. Но медицина оказалась бессильною: страшно страдая и находясь в беспамятстве четыре дня, больной скончался в 7 часов 45 минут утра 6 декабря. Это было в четверг; на другой день тело анатомировали и набальзамировали. Оказалось, что у покойного находился в почках большой величины камень, который, отделившись, закупорил выход из почек, вследствие чего произошло смертельное заражение крови.

9 декабря назначены были вынос и отпевание. В исходе десятого часа утра в квартире покойного, на углу Невского и

Николаевской, где он прожил 23 года, собрались родные, знакомые, почитатели Г. П. и представители печати. Тело почившего писателя покоилось в металлическом гробу, окруженном венками и растениями. Духовенством нескольких церквей, во главе с архимандритом Александро-Невской лавры, была отслужена лития. На колесницу были положены только венки, так как гроб, предшествуемый хором певчих и духовенством, несли на руках до самой церкви министерства внутренних дел, что на площади Александринского театра. Заупокойную литургию и отпевание совершал соборне харьковский архиепископ Амвросий, земляк покойного писателя и уроженец Харьковской губернии. Пел хор архиерейских певчих особенным знаменным напевом. Стройное художественное пение образцового хора глубоко растрогало и умилило всех присутствовавших. Церковь была переполнена молящимися, среди которых находились представители высшей администрации, науки, литературы и периодической печати. При гробе почившего писателя постоянно находилась 75-летняя старушка, его бывшая крепостная няня, впервые сообщившая Г. П. сюжеты малороссийских сказок. Во всех петербургских и московских газетах и в целом ряде провинциальных появились сочувственные обширные некрологи почившего писателя и даже подробные характеристики его литературной деятельности. В гимназиях столиц и даже далекой Сибири устраивались в память Г. П. литературные чтения.

После отпевания останки покойного были перевезены и поставлены в часовню Знаменской церкви. Здесь гроб был покрыт второю крышкою. Речей не говорилось. В половине декабря тело почившего писателя было перевезено в его родовое имение Пришиб Змиевского уезда Харьковской губернии и похоронено в пришибской каменной церкви, где покоятся все предки Г. П., начиная с первого владельца Пришиба, сотника Даниила Данилевского. Пришибская церковь в нынешнем ее виде, о пяти престолах, заложена в 1802 году и окончена в 1817 году усердием Анны Петровны Данилевской, прабабушки автора «Мировича».

При следовании тела почившего писателя со станции железной дороги в Пришиб крестьяне соседних деревень, бывшие крепостные Г. П., выходили навстречу и служили панихиды по «болярине Григории», всегда тепло относившемся к их нуждам и делавшем для них много добра. Особенно замечательна была встреча у дер. Балаклеевки, при остановке около которой собрались помолиться за безвременно скончавшегося Г. П. более двух тысяч крестьян, сохранявших теплую память о покойном как о человеке отзывчивом и сердечном. Такую же благодарную память о Г. П. хранят многие лица, которым он помогал тем или другим способом, помогал скромно и без тщеславия, считая помощь ближнему нравственным долгом всякого человека, имеющего власть и силу помогать.

Сергей Трубачев

Из предисловия к шестому изданию

От автора

...Освободительная пора пятидесятых годов дала мне возможность посвятить свои первые романы рассказам о судьбе русских крепостных людей, исстари искавших спасения и лучшей жизни в бегстве на новые, далекие, привольные места.

Первый бытовой роман — «Беглые в Новороссии», напечатанный, по условиям времени, несколько позднее, был начат за два года до освобождения крестьян и кончен во время моих работ в качестве депутата в одном из южнорусских губернских комитетов по улучшению быта помещичьих крестьян.

С тех пор прошло более двадцати семи лет. Картины русских Кентукки и Массачузета, типы крепостных, как Левенчук и Милороденко, тайное заселение в пустынях целых новых деревень пришельцами, не помнящими родства, облавы на беглых и другие насилия над родными «белыми неграми» — этими «пионерами Востока», как их назвал немецкий переводчик моих романов, — для современников, видящих ныне свободное переселение русских рабочих людей на далекие свободные земли, стали отдаленным, историческим воспоминанием.

Второй мой бытовой роман — «Воля» («Беглые воротились») — посвящен последующей поре известных крестьянских брожений; третий и четвертый — «Новые места» и «Девятый вал» — картинам послереформенного, вновь строившегося провинциального общества шестидесятых годов. Старые люди еще не уходили; молодым, здоровым силам тогда не было еще достаточно места и дела.

Изображенные мною типы беглых крестьян срисованы с действительности. Во время моей командировки для «Морского Сборника», к Донским гирлам и к Азовскому морю, мне удалось не только видеть, но и наблюдать таких людей, подолгу живя среди них. То же я должен сказать и о героях других своих бытовых романов. Я их наблюдал в жизни с тем же вниманием, как изучал в исторических документах и преданиях прошлого века, — иногда в нескольких строках частного задушевного письма, в дневнике, между листками рукописного календаря, или в надписи на сборнике любимых стихотворений того времени и хозяйственных бумаг, — внутренние черты исторических характеров Петра I, Екатерины II, Павла, Мировича, Пугачева, Разумовских, Орловых, Суворова, Потемкина, Перовского и других.

Родовые черты отдаленных предков, переходя от поколения к поколению, повторяются, с некоторыми видоизменениями, в позднейших потомках.

Борьба света и тьмы, вечной правды и зла с давних лет делит русское общество на два воюющих стана.

Веяние мягких европейских «новин» началось при «тишайшем» царе Алексее Михайловиче. При нем явились диковинки Запада, возникли попытки театра, и хотя не печатались, но уже писались первые журналы-куранты. Умственная тьма, однако, еще глубоко облекала русский народ. При Петре I народилась наука, служение высшим идеалам цивилизации. Питомцы иноземных морских и пушкарских школ завели в России кораблестроение, типографии, фабрики и совершили первый смелый русский поход на Индию. Идеалы о дальнем Востоке могучего пионера-царя были разбиты. Невежество тормозило его школы, а ограбленный интендантами индийский отряд Бековича-Черкасского погиб у ворот завоеванной еще в начале XVIII века Хивы.

Хищники не переводились. Повешенный Петром, перед окнами Сената, сибирский губернатор, елизаветинские лейб-кампанцы, генералы — покорители Сечи, закрепостившие при Екатеринее II искони свободный украинский народ, и

Пугачев были теми же бытовыми хищниками, как и герои близкой нам поры, — передержатель беглых Панчуковский, директор банка фальшивой монеты Музыкантов и земские деятели позднейшего времени, вроде поклонника пословицы «держи нос по ветру» Клочкова.

Идеалисты Касаткин и Бехтеев и дикое олицетворение протеста своего времени — Мирович — не достигли в XVIII веке обетованной земли, к которой стремились, как и чистые сердцем, но чуждые народу, во имя которого шли на борьбу, возвышенные теоретики позднейших времен — франк-масоны Екатерины и Павла и преемники их во времена Александра I. Созерцательные натуры — Чулков «Новых мест» и Ветлугин и Милунчиков «Девятого вала» — те же, относительно обыденной практики, белые голуби в стае черных ворон, как и знаменитые их предки — Новиков и Радищев. Победа осталась не за ними, хотя брошенные ими семена не заглохли. Одним праведником, по пословице, спасается целый город. Идеалистами с течением времени спасались не раз целые поколения.

Просвещение, по словам Белинского, подобно заветному слову искупления. Обществу отрадно верить, что, благодаря невидимым миру труженикам мысли, борцам за возвышенные идеалы человечества, царство зла небесконечно и что более и более близится торжество вечной правды и добра.

Григорий Данилевский



Беглые в Новороссии

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

I

Левчук и Милоро́денко

В конце апреля по пути к азовскому поморью из старых украинских губерний пробирались глухими тропинками, оврагами и одинокими степными лесками двое пешеходов. Оба они были молоды, измождены усталостью, в потертой одежде и с палками в руках.

Ночевали они под стогами, пили редко из колодцев, а более из не высохших еще снеговых озерков, ели что бог даст и торопились-торопились. Младший из них, тип чистого малоросса, немного мешковатый и вялый, шел как будто нехотя, пугливо оглядывался по сторонам, вздрагивал при малейшем звуке в степи, ранее старшего сворачивал в сторону, едва завидев на пути одинокий постоялый двор, хутор или проезжую смиренную тележонку. Зато старший шел смело и даже весело. На нем были зеленый жилет с ключом на веревочке, серая барашковая шапка и ветхие плисовые шаровары. Он бойко говорил по-русски, хотя был родом малоросс.

— Ты, брат Хоринька, смотри у меня, не дури, не кручись: я уж в пятый раз бегаю. А что? Сходит! Ровно, миленький, ничего. В первый раз-таки, как поймали и привели, скажу тебе, вспороли напорядках. Исправник был выжига,

пятью червонцами не откупился. А зато места-то, места какие! Батюшки мои светы! Ты в резон то ись не возьмешь, что это за край, эта поморская сторона! Уж недаром же я веду тебя туда, братец! Там тоже поселки есть, да не чета нашей треклятой панщине; сказано — волюшка: вот как птицы вольные, там и земля вольная! Разные тебе языки, сбоку сплошь Донщина, а там наши города и море! Жизнь, жизнь, родимый! Денег заработаешь вдоволь, пачпортик тебе выхлопочут. Паны там не то, что у нас: все ухари-молодцы и по-кавалерски тебя содержат. Значит, не то что у нас, по старым господским хуторам, в месячину тебе толоконце одно отпускают, значит дерть собачью, жито пополам с ячной мучицей по пудику на душу. А там тебе и сало и масло постное греческое, прямо с порта, в богоспасенные дни. Ешь-кушай да трудись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены — и жинку тебе справят новую. Пять раз я бегал и пять раз все новых шамшурок доставал! Такое уже заведение было; коли ты лакомка — не нахвалишься, ей-богу!

Младший на эти слова тихо вздохнул, продолжая семенить босыми пятками, держа сапоги через плечо и изредка потирая тряпицей разболевшиеся от ветра глаза.

— Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харько́! Эти твои оханья да вздохи только одни пустяки. Ну, куда мы идем, а? Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла и камыши? Ну? Глуп ты есть, человече, и только! Говорю тебе: приведу тебя в такие места, что ахнешь. Бос ты — обуют тебя, наг ты — оденут, гладен — накормят, пьяница — пить дадут, баб любишь — предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, Харитон!.. Кто ее не любит? Бежал я, братец ты мой, впервой сдуру, от блажи, понятия еще не имел, значит, о живодере Петилье, у которого после трижды внаймах бурлаком жил, — там такой шельма-французик под Бердянском степи держал, — а и то, что со мною сталось! Вышел я, братец, наработамшись и намучимшись вдоволь, в дождь да в студеную непогодь пробирался, как и мы теперь, свиными дорожками, по захолу-

стьям. Да как вышел я на Днепр, как повидел, что это уже не наша панская Украйна, а вольная со светосоздания царина, значит, божья степь, где, куда ни глянешь, все поле да поле, ковыль расстилается да коршунье летает, — всполз я, избитый и усталый, на курган и поглядел этак вперед себя. Голова, брат, и закружилась, а глаза чуть не ослепли от свету, простора да сверканья всякого. И смотрел я, Хоринька, с кургана того от утра вплоть до вечера; упал и заплакал с радости. Так бы, кажись, и пошел на все четыре стороны разом... Волюшка, воля! Постой, и ты не то заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку песню:

Эх ты степь моя, степь бердянская!..
Жизнь постыла, неволя панская!

Веселый вожак, выйдя из глубокого оврага, по дну которого шел с товарищем, несмотря на усталость, звонко запел, потом вдруг засмеялся и замолчал.

— Харько! — сказал он, плетясь в гору.

— Что?

— Ты Левенчук по прозванию?

— Левенчук.

— Ну, тебя же мы, как придем, окрестим иначе. Вот я Милороденко по прозвищу, там на хуторе, дома, значит, по ихней панской ревизии; а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский, и имени уж теперь ни в жисть не меняю; так меня все кавалеры там, значит помещики, и знают, потому что пачпорта теперь уж мне не нужно — и без него я знаю, как обойтись. А вот тебе пачпортик на первый раз нужен. Слушай, Харько...

— Что, Василь Иваныч? — грустно отозвался, вздыхая, новичок.

— Как придем мы на границу, до ногайских степей, береги ты меня, душа Хоринька. Покаюсь тебе. Непьющ я сызмальства, а как доберусь до воли, себя не помню, пять раз в шинке у Лысой Ганны пропивался, как собачий сын, до нитки. Береги меня, Харько, как свою душу; не давай мне сразу простору; ублажай меня, уговаривай, да подели-

катней при людях, потом, пожалуй, и свяжи, даже поколоти, обругай самой скверной бранью, а водки много не давай. Хоть просить буду, хоть бить тебя буду, не давай водки, не давай и денег. Граница уж близко; вот тебе вся моя казна, возьми и спрячь... Не силен я тут против соблазна... Ох, не силен! Сказано, воля!

Милороденко действительно остановился, присел на траву, снял сапог, достал оттуда в грязной ветошке какую-то сумку, вынул три замасленные ассигнации, посмотрел на них на свет со вниманием и как бы с сожалением похлопал по ним и отдал их товарищу.

До желанных мест крайнего юга оставалось недалеко. Туда стремились новые товарищи, как стремятся и стремились искони, по неодолимому влечению, сотни и тысячи других, им подобных беглых русских людей, с перелетными от севера птицами, ища новой пищи и новой доли.

Два-три перехода — и они были, наконец, на рубеже того непочатого или мало еще початого края Новороссии, где Милороденко пророчил у господ кавалеров своему товарищу такое счастье и богатство, каких он и во сне не видывал.

Овраги и лесистые балки стали попадаться реже. Стоги, под которыми они ночевали и прятались на отдыхе от дождей и солнца, исчезли вовсе. Пошла сплошная, необозримая степь, заросшая густыми цветущими травами. Сел и хуторов не было видно вовсе. Кое-где только мелькали в стороне, чернея длинными шестами, со вздетыми на них пучками ковыля, одинокие овчарни. Да иной раз, пробираясь чуть видной в траве колеей проселка, натыкались они на пустынный колодец, до того глубокий, что не было видно его дна, как туда ни смотри. Встречные чумацкие обозы они обходили, а к одиноким пахарям в степи приближались. Подойдут, особенно вечерком, к огоньку, Милороденко поклонится, подсядет на корточки к маленькому костру, заговорит, посмеиваясь и смотря по своему обычаю в ладони, перебросит с руки на руку уголек, закурит трубочку, и сейчас начинаются у него расспросы и шутки.

— Что, от панов? Панские? — спросят его.

— Панские! — скажет и зальется смехом Милороденко, передавая анекдоты о хуторских невзгодах.

Но Левенчук шел печально и мало принимал участия в веселых проказах и россказнях товарища.

В одном месте Милороденко, угощенный кем-то на перепутье, говорил товарищу, сильно вздыхая:

— Как будем мы идти близко к морю, там речка Мертвые Воды есть. Так-то! Впервое, как я убежал, жил я в косарской артели; шли мы с заработков от одного барина и наткнулись на злое дело. В другой артели не то косарь, не то черт его знает кто зарезал нашего же, должно быть, беглого брата, старика лакея, а лакей этот шел к морю с дочкой, маленькой девочкой. Убивца, чтоб ему пусто стало, старику перехватил глотку сонному, деньги отнял и убежал. Были, говорят, у него деньги небольшие, дрянь. Так девочка привела отца, еще полуживого, на Мертвые Воды: тот стонал с перерезанным горлом, упал на пороге там какой-то хатки и, говорят, умер, а на месте не мог назвать, значит, убивцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчас сбежались, жалели; ходили смотреть и на девочку, и на умирающего, а у него были такие бакенбарды белые, так и торчали с телеги, как его повезли в город; сам худой да лысый. Страшный такой! Девочка не могла рассказать, откуда они убежали, и ее взял кто-то в приемыши.

В другом месте Милороденко беседовал:

— Да ты мне скажи, Харько: и вправду ты думал утопиться, как я тебя увидел на плотине и сманил?

Это было уже на последнем привале, ночью, в кустах дикого терновника, где они расположились понежиться уже повольнее и даже сами решились развести огонек.

Левенчук ничего не отвечал. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись.

— Вылез я из камыша, — продолжал, хохоча, веселый вожак, — вылез, смотрю — человек сидит над водоспуском, плачет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом... Ждал я, что будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?

— Что ж, дядько, — начал Левенчук, — скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! Скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» — «Воля ваша, говорю, пани». — «Да ты не знаешь на ком?» — «Не знаю». — «На Варьке, на дочке Петриковны! Хочешь?» — «Воля ваша!» — говорю, а у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд осенью, перед филипповками. Не знались мы и ни разу до свадьбы с Варькой не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой наведывался. Повенчали нас, посадили за стол, а потом спать положили...

Харько помолчал.

— Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассмотрел я ее, правда, уж через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка. «Дядько Харько! — кричит. — Тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит с потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! — гово-

рит шепотом. — Это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша пани в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» — «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дернули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! Барыня идет! Мы стоим ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась... Машина пошла... Ох, дядько! И вспомнить страшно... Застонала она, что-то захрустело... Прибежала опять ко мне в степь та же соседская девочка. Орет-голосит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, — говорю, — где?» — «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется... Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную, в куски! Ох, дядюшко, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал... Отлили водою меня... Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а

он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своей дорогой, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист храбрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жаре, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу... Сядешь; кругом ни души — одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука... руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется; да и что сработаешь, ходючи без устали? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер, хата — так и манят. Придешь, все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом — и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько... боюсь! Не допытывай меня... Ну, что же?.. Так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я... Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело; и спасибо тебе, Василь Иваныч, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе... Без руки лежит, вся потрощенная, покровавленная на панской молотилке... А собаке — собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо меня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозилась отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.

— Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях, или в какую косарскую артель — добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал...

— Как же ты, дядюшка, бегал? — спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.

— А вот как я убежал впервое, — начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом, — моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее — в лакеях, значит, обретался и по-господски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как, выходит, крупитчатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила... Влюбилась в меня, до побегу еще, значит, племянница самого барина... да!

— Что ты? Ах, братец ты мой! — даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.

— Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! — продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко. — Это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты... Просто ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видалися; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, сослать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из амбара. Выли, выли старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными господами и чиновниками и решили нас, братец, попросту тоже повенчать. Да! Чего ты это смотришь? Именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин и заартачился. «Не дам, — говорит, — она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моей холопкой-крестьянкой, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу — весело, а сносно. По богомольям

ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любовью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоти, что я и призадумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гу-гу; в сенях только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз завалишься в кабачок и закутишь с мещанами да с мужичьем: деньги были. Я вакштаф курил, говорю тебе, в карты в преферанец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. Ты, говорит, Матрену нашу прежде любил, с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся! Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бивать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить — отпорол единожды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует... А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотки: там в модницах жила, и мы в бегах знались. Взманула меня опять волюшка. «Эх, — подумал я, — бес вас подери, пуховики да супы, да лежанье одно, да панские россказни!» Стал я больно суров... У! Натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.

— Что же, дядько, а она где теперь стала?

— Умерла, сказуют, братец, в скорости без меня! Ведь это давно было. Я холост уже вот четвертый год. Возвращался к барину. Да уж в другой раз не поладили. Сильно я ему грубил и досаждал. Барин повестки обо мне разослал, как я бежал. Ловили меня, приводили снова раз к нему; жены я не застал уж тогда. Соседи советовали ему: «Дай вольную Вась-

ке!» Не дал! Ну, а я уж, душечка, подумай, покурил вакштафу — домой-то, значит, к пану своему больше и не хотелось. Ну, с той поры по сей день, четвертый год, и состою в бегах. Детей, видишь ли, не произвел, не осталось. Родня женина срамится, должно быть, и вспомнить меня. Хоть и мне страшно вспомнить это их всех. Скверные, братец, люди! Да я-то теперь уж разбогатеть хочу, показать себя им всем, что я за человек! Что ж, что я холоп, так и не венчать? Пан вольной не дал, ну, и стеснил тем нас. А будто трудно было подмахнуть бумагу? Ну, я же им это покажу, и без них обойдемся! Разбогатею вот как! Сторона это такая, что только трудись, — золото лопатами тут все загребают...

Оба товарища на этом заснули. Ночью Левенчуку все казалось, будто что-то шелестело в степи, точно конь близко где-то силился оторваться от привязи, оторвался и, фыркая, все бегал впотьмах. Раз он открыл глаза. Над ним висело темное-темное, усыпанное звездами небо. Голос какой-то птицы уныло охал вдали. Кузнечики трещали. А в мыслях его было смутно. Глаза горели, в висках стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали бедное, напуганное сердце.

Разбудили их песни жаворонков и все крылатое население степи, сверкавшей под каплями крупной утренней росы. Голубые туманы переливались вдали. Слева шли волнистые зеленые косогоры. Справа синело не то море, не то та же бесконечная, будто в гору идущая степь. Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими картинами, а чем-то иным...

— Видишь эти пустыри? — допытывал Милороденко. — Много я тут помыкался! В Москве теперь я пожил два года, а сколько уже здесь перемены. Вон, видишь, уж хуторок лепится над балкою, садик разводят, пруд мигом вырыли, мельницу-ветряк ставят, панские горницы строят. А два года назад тут одна степь была. Теперь и дорогу туда протоптали. Так и при запорожцах тут заимки занимали. Вся наша и земля тут старозаимочными хуторами стала. Наши предки с тобою тоже сюда пришли и закрепостились. Ну, а мы с тобою уж теперь вольные...

Миновав еще два-три пустынных аула, пешеходы вошли в область разнообразных новороссийских колоний и под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае шинка Лысой Ганны, которого так боялся Милороденко. В шинке и кругом шинка, близ байрака, сновали какие-то люди. Фургоны стояли, волы паслись, верблюды шагали к водопою. Мелькали татары в бараньих шапках. Двери в шинок были распахнуты настежь. Волынка и две скрипки бренчали у крыльца. Музыканты были слепые нищие. Старший из них затягивал под музыку песню: «Ой, фортуно, фортунонько! Де до тебе стежка?» Милороденко ввел Левенчука в шинок, ткнул пальцем на бородатого жида-шинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!», — узнал двух-трех соседних знакомых и заметался.

— Всечестнейшая и преблагородная компания! — сказал он. — Целуйте меня, я Александр Дамский и опять между вами. Лейба, шельма, водки!

— А! Это ты, Дамский? — отозвались его приятели из посетителей Лейбы, все народ мрачный и бедовый. — Где был? Откуда пожаловал?

— Из Киева, антихристы, из Киева; а был и в Москве, милочки. Дважды нажился в это время и дважды продулся! Да меж вами доносчиков нет?.. Тронь меня, я и ножом теперь пырну — не замай! Жить хочется, жить давайте мне — я теперь вольный человек! Пришел это мимоходом к барину к своему на хутор, говорю: «Полно биться, будем мириться». А он, как положил, и всыпал мне двести. Я опять тягу.

Чего только не делал тут Милороденко. Помня зарок приятеля, Харько сперва было воспротивился просьбам его дать денег. Но уже Александр Дамский хлебнул горькухи и преобразился. Про розги и свидание с барином он врал для щегольства. Из веселого и кроткого человека это стал зверь: ноздри раздулись, лицо побледнело. Он свистал, прыгал, давал приятелям пинки, кричал: «Воля, воля! Я ведь вольный!»

— Ах ты, хохол-свинопас! — крикнул он на всю хату Левенчуку. — Слышите, добрые люди, денег не дает!

И ни слова дальше не говоря, попотчевал сопутника страшной затрещиной, дал пинка в спину, а потом в живот... Со сверкающими глазами, со скрежетом зубов и растрепанный, отнял он под вечер у перепуганного и избитого Харько все свои деньги и пустил пир во все заставки.

Левенчук ждал два дня, наконец, выпросил у шинкаря кусок хлеба и пошел куда глаза глядят. Событие с ним никого не удивило. Его насмешливо обходили как новичка.

Приставши безмолвно к первой партии косарей, он обрадовался, что его ни о чем не спрашивали и ему ничего не говорили, и прокосил у какого-то колониста более недели. Потом его направили по соседству, к помещику, полковнику Панчуковскому.

Левенчук пошел указанной дорогой, скоро нашел на Мертвых Водах Панчуковского, увидел среди степи его новый красный кирпичный дом, кругом которого возводили высокую каменную ограду, а в стороне кирпичную с фронтонами и под железной крышей огромную овчарню. Вся усадьба, как видно, только что обзаводилась и напоминала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чем украинский заднепровский хутор. Левенчук пришел прямо к панскому крыльцу, где уже дожидались другие. Вышел господин молоденький, с белокурыми усиками, франтовато одетый.

— Здравствуйте, ребята! — сказал он бойко, по-военному. — Много вас пришло?

— Шестьдесят, ваше высокоблагородие.

— И все больше нашего поля люди? — спросил и весело подмигнул полковник.

— Точно так.

Полковник, уверявший всех, что тот не хозяин, кто не вырос под крепкой командой и сам не выучился повелевать, умел-таки владеть приходящими к нему.

— Ну, милые люди, будьте же гостьми! Завтра сенокос за речкой; у кого пачпорта нет, тому цена полтина ассигнациями в день; у кого есть — полтина серебром. Ступайте в контору, выпейте по чарке водки и пока марш на ток молотить!..

— Рады стараться! — гаркнули пришедшие и пошли в контору, хваля ласковость и бойкость умелого господина.

Левенчук в конторе записался на месяц. Взволнованный и все еще в тумане от небывалой новой жизни, он очутился с хозяйским цепом в руках на току, стал постукивать по снопам, глянул в сторону и обомлел... Милороденко! Он глазам своим не верил. В какой-то дырявой нищенской свитке, с бледным испитым лицом и потускнелыми глазами, брошенный в шинке Лысой Ганны неделю назад, его вожак и товарищ был уже тут и также тыкал цепом в снопы, в двух шагах от него. Улучив минуту, Харько поровнялся с ним и шепнул, подсмеиваясь и вместе пугливо посматривая на него:

— А что, дяденька, и **вы** тут?

— Тут, — отвечал тот со вздохом и, тихо повернувши тусклые и испитые глаза за клуню, кивнул туда головой. Оттуда неслись хлопанья кнута и крики. Кого-то секли, а полковник, громко считая удары, приговаривал в антрактах наставления, то сердясь, то весело причитывая прибаутки.

— Кого это, дядюшка? — спросил пугливо Левенчук.

— Товарища там нашего одного; я угомонился, видишь ли, а тот и сегодня пьян напился и барину здешнему нагрубил на работе, да и с приказчиком тут не поладил...

— Так и здесь, дядюшка, секут? Тут же мы на воле?

— Ох, и тут! Порядки эти и здесь заводятся, видишь! Давно я тут не был; ну, без меня оно так и стало. Да ты на то не смотри: полковник добрый человек; отчего же и не посечь дурака, нашего брата? Хуже, как в стан явит, а ты беглый!

— По чем же вы стали? — спросил Левенчук.

— По гривеннику...

— Отчего так мало?

— Среди недели, видишь ли, пришел и одежду еще хозяйскую занял. Что делать! И на это тут иные порядки на беглых стали. Прогорел я; ну, да авось поправимся скоро!

— Вы же толковали про мед да сало, дяденька. Где ж те горы и места, что кормят и поят вдоволь, и где та воля живет и сама промежду людьми ходит? И тут — как у нас на панщине!

— Э, подожди, не все разом! А пробовал, Хоринька, борщику с сальцем или с свежей таранью? Тут поблизости и ловят эту рыбу. А?..

— Пробовал.

— А что, вкусна?

— Рыба вкусна, да и работа вкусна; у нас дома так рано не встают и поздно не ложатся. Тут все построже. Загляделся — и гонят. А рыба вкусна...

— То-то же, голубчик Хоринька! Да слушай: как бы опохмелиться? Откажись сегодня от порции своей для меня... Я тебя отблагодарю; а с завтрашнего дня уж я ни-ни... ни капли! Ведь ты знаешь, что я только тогда пью, как сюда на волю вырвусь! Прости ты и мои побои в шинке. Сказано: человек дорвется до безопасности, паном стал сам, ну, и пропадай душа!

Хоринька отказался от своей порции, и Милороденко опять повеселел, хотя цепом стукал по снопам до вечера молчаливо и никого не смешил и не озадачивал своими шутками.

Дни потекли незаметно. Почти вся артель полковника, человек в двести, состояла из беглых; они часто менялись, уменьшались в числе. Были из них и постоянные, нанятые по годам и более. Тут был значительный риск. Они жили в особых избах и землянках. Пуританские, чистые нравы этого народа не допускали на работе никаких споров и ослушания. Все шло, как на учении рекрутов и на глазах самого свирепого командира. Ночевали летом работники под открытым небом, где-нибудь поблизости в овраге; прятались в току или в овчарном сарае. Становой, купленный здесь не дешево, очевидно, нарочно сюда не заглядывал. Но жизнь беглой артели была вечной тревогой, вечным ожиданием. Вот налетят — в кандалы, по этапу — и марш обратно в постылые хутора, на работу!.. Расплачивались с бурлаками еженедельно, по субботам. Зато в воскресенье было уже их время. Иные и тогда работали за половинную цену, другие расходились по соседним и дальним шинкам попить и побалагурить с наплывными же, беглыми девчатами.

— Да! — говорил какой-то рябой в красной рубахе богатырь, также из беглых, нанявшийся у Панчуковского. — Вы вот, ребята, спокойны: полковник — человек-огонь и начальство свое, должно быть, для нас ублажает! А вот я намедни у немца за Мертвою молотил, слышим — звенит колокольчик. Немец вбежал, кричит: «Кто бродяга, марш в поле!» Мы, бурлаки, по-за скирдами да в ров. А становой за нами, всех перевязал... Насилу откупился немец: пятьдесят червонцев, сказуют, дал. У моего пана на Ворскле я кучером был, уж тот за нас так не потратился бы...

— Ну нет! — беседовал, в свой черед, покуривая трубочку, Милороденко, — как им, чиновникам, не разыскать нас, коли б сами паны не думали откупиться за нас! Не то что людей с собаками — собак людьми отыщут, коли захотят! Чутье уж у них такое!

Толпа захохотала.

— Как так? Расскажи...

— А вот как. Был у нас, не тут-то, на вашей вольной земельке, а у нас, в панской нашей Расее, был в уезде судья, отличный, распредобреющий и еще молодой человек, и жена у него писаная красавица; наехали раз к судье гости, значит, ближние и чужие дворяне, и в скорости пропала у него, после их съезда, пара лучших собак, а он был завзятый охотник. Не было тогда судьи дома. Кто украл? Кто-нибудь из гостей, значит, побаловал! «Ну, красть дворянам не полагается!» — думала судьиха да, долго не думав, выследила через людей дорожку в соседнюю губернию, куда увели собак, велела запрячь карету, села сама молодочка да и покатила туда. Уговорила тамошнего исправника, подъехала к тому господину, попросту, значит, укравшему собак, сама остановилась на селе, а исправник пошел к нему да и накрыл собак в самой то есть спальне у пана, там — под его брачной кроватью; первое время он там держал собак — погони боялся. Взяла тогда барыня собак, посадила их с собою в каретку, отблагодарила исправника и поехала. Так-то!.. Не

унесут тебя ни лисьи хвосты, ни собачьи пятки, коли тут тебе сами кавалеры не помогут... Этакая судьиха хоть кого найдет!

В первое же воскресенье Левенчуку удалось быть близ одной соседней приморской зажиточной слободки, в одинокой заимке, на песчаной косе, на свадьбе одной девочки, выходившей за неводчика, как видно, из беглых. Отец ее тоже был наплывной, из беглых. Левенчук не верил своим глазам. Невеста и ее подруги, соседние вольные крестьянские девушки, сидели в кисейных французских платьях. Молодая венчалась в шелковом канаусе и в наколке из бархатной синели. На свадебном столе стояли тарелки с конфетами из Таганрога. Гостям разносили кизлярское, а бродячие музыканты играли польку и кадриль из самоновейшей оперы Верди, завезенной прямо из Тосканы в Одессу.

— А-а? Ведь все из вольных либо из бурлаков! — шептал Милороденко очарованному Левенчуку, когда они протерлись в толпу смотреть на молодых. — Посмотри, все девки сидят в перчатках, а молодой при часах!.. Это, друг, не чета нашей хохландии, где по́том пахнет от каждой, братец, девки, как от козла!

На крыльце же, на свежем воздухе, в толпе усердных слушателей какой-то тщедушный, загнанный старикашка рассказывал, какой у них в селе, возле Тамбова, генерал был:

— Как подашь ему это, бывало, либо трубку в пыли, либо воды теплой напиться, так и пустит в тебя чем попало, трубку, стакан ли, тарелку ли, что держит, так в рыло и угодит тебе. Мне морду раз окровянил так, что стыдно было в люди показаться!

— Скоро воля будет, пачпортов не будет, — мрачно говорил другой, — не будет неволи, и пачпортов не будет.

— Ну да, в Нахичевани теперь и то их всякому продают! — откликнулся на это кто-то. — Значит, воля близко!

— Э, братцы! — говорил возле долговязый парень из толпы, в нанковом жилете и пальто, купленном у какого-то жидка на торгу. — Как затеял бежать я сюда, наша барыня

будто подопрела; вот сущее слово, подопрела, точно снежок по весне подалась. Старосте чай стала давать, нам водку на работе! Да нет, теперь уж шабаш!.. Шабаш, не пойду!

Музыканты заливались. Скрипки весело пиликали. Разносили пунш с кизляркой. Пьяный соседский повар, накормив всю компанию, с важностью барина пыхтел и курил трубку из длинного армянского чубука, развалясь у крыльца, на травке.

— Медам, медам! Перметé-с ангажé[1], — полька! — говорит кто-то, взяв смазливую горничную под руку и идя с нею сквозь толпу. Толпа на эти слова громко захохотала. Левенчук посмотрел — Милороденко.

— Ты и по-иностранному знаешь?

— Знаю! Супруга вывчила.

И долго шли танцы под вербами.

Месяц осветил двор хаты и ряд крыш слободки. Толпа прогуливалась. Девицы хихикали. Милороденко, натанцевавшись польки, утирал пот с лица.

— Да вы бы, сударь, трепака ударили! — говорили ему зрители.

— Нельзя, я барином два года был: трепак — холуйское дело.

Поздно ночью он нашел товарища.

— Что, Харько, все о своей Варьке думаешь? Чего осовел? — свирепо спросил он Левенчука. — Глянь, какое веселье! А ты все о Варьке своей, о бабе покойной, убиваешься, а?

— Нет, не о Варьке, а так — скучно!

— Глянь-ка на молодую: что за красивая бабенка! Хочешь и тебе сматерим? — спросил Милороденко. — Тут только мигни, можно!

— Нет, скучно мне, ничто не манит! Да ты и смелее меня; а мне все как-то жутко...

[1] Сударыня, сударыни! Позвольте-с пригласить (*фр.*).

— Ну, так поцелуемся!

И приятели обнялись.

— Так будем трудиться, чтоб разбогатеть; богат — значит волен.

— Будем. Надо устроиться, а то все страшно — стало строже все...

— Спасибо за дружбу! — добавил Милороденко. — А за уступленную порцию — тогда, помнишь? — вдвое спасибо! Я не забуду тебе этого, Хоринька. Кликни только, встретимся ли, нет ли — удружу и я тебе! Помни! А теперь дам совет: хочешь на лиманы, на Дон, к морю?

— А что?

— Там скорее деньгу теперь зашибешь: там контрабанду теперь свозят.

— Нет, погоди; огляжусь прежде здесь... Ты смелее меня — ты дока на все...

— Ну, как знаешь. А за водку спасибо. Не забуду тебя. Я же, брат, прощай! Товарищи передали, зовут к неводам, в гирла донские. У меня, коли тихое житье, скучно; я уж попорченный. Мне давай такую волю, чтоб хмелем прошибало, чтоб дух от нее захватывало. Там и страшно, да зато же и заработок хороший. А мне уж пора и на старость что припасать; нору свою завести. Хоть бы так, зернышка какого, как зайцы на зиму припасают да суслики... Недаром же я теперь навеки бросил и барина, и всех своих! Хочу остепениться, земли после куплю.

II

Беглецы высшего полета

Прошло три года.

Была прелестная степная майская пора. По дикому и пустынному пути между Днепром и Мелитополем быстро скакал в колясочке, на четверне добрых лошадок, видный

и веселый блондин в широкой соломенной шляпе, с бородкою и в светлом пикейном сюртучке. Его можно было принять за горожанина-афериста или помещика. Он рассматривал виды по сторонам дороги. Фу, какая глушь! Ногайско-татарская степь шла вправо и влево, изредка только волнуясь и склоняясь погорелыми от зноя травами, камышами и песчаными косами к синему, ярко горевшему морю. Здесь по приземистой траве мелькали высокие светло-желтые, синие и красные цветы, сплошь заливая собою необозримые поляны. Как бы вы ни смотрели, куда бы ни кинули напряженный взор — одни поля, голубые холмы у небосклона да мелкие, в огненной лазури потопленные, облачка. Кое-где только темнеют вдали, по сторонам, одинокие овчарни, откуда, завидя редкого путника, вдруг кинутся стаей громадные пастушьи собаки, темными черточками вытянутся по степи и вот-вот, кажется, настигают вас. Но расстояние так далеко, что они скоро остановятся и, свернувши свои косматые хвосты, возвращаются назад. Белыми пятнами ходят бесчисленные дрофы по диким, плугом не тронутым, пустырям. Коршуны высоко плавают в небе. Пестрые флегматические аисты сторонятся от дороги, чуть не задеваемые колесами, да широко раздается во все стороны вечный свист, стон и шорох степи.

— Самусь! Это будто едет кто нам навстречу? — спросил барин кучера. Седой, как лунь, кучер наставил ладонь к глазам.

— Бог его знает, что оно такое! Не то колонист на телеге, не то коров гонят! Тут его никак не разберешь, что оно в степи.

Скоро путник разглядел в мерцающей дали известный зеленый, на железных осях фургон колонистов и в нем ездока и возницу. Фургон остановился, путники что-то в нем поправляли.

— Что, обломались? — спросил господин из коляски, приблизясь к фургону.

— Чека соскочила, — ответил колонист, — с кем имею честь говорить?

— Полковник гвардии в отставке Владимир Алексеевич Панчуковский. А вы кто, позвольте узнать?

Колонист снял шапку и ответил, отчетливо выговаривая по-русски и улыбаясь:

— Колонист Богдан Богданыч Шульцвейн, из-под Орехова, из колонии Граубинден, коли знаете; еду теперь из-за Ростова.

— Очень рад познакомиться. Не курите ли? Вот вам сигара, Богдан Богданыч, чистейшая кабанас...

— Нет, я вот сарептский; я нюхаю-с! Это табачок очень тоже ароматный. Мы его сами и сеем в колониях наших-с.

— Что нового на море? Что хлеб?

— С пшеницей вяло, со льном крепко; сало идет вверх, фрахтовых судов мало, конторы жмутся.

— Ай! Это не совсем хорошо!

Сели путники на травку, достали кое-какую закуску. Кучера тоже познакомились, закурили тютюн и повели беседу.

— Куда вы, собственно, ездили? — спросил небрежно Панчуковский, не смотря на простоватого, засаленного собеседника и покручивая хорошенькие русые усики. Он устал от дороги. У его товарища между тем, хотя уже пожилого человека, румяное полное лицо так и отливало густым молоком менонитской, некогда питавшей его, кровной коровы; фланелевая фуфайка была чистейшего табачного цвета, синяя куртка вся в пятнах, а синие штаны были засунуты в высокие купеческие сапоги, не без аромата дегтя.

— По делам-с, господин полковник, — известное дело, мы минуты свободной не имеем: либо дома мозолим руки, либо по степям оси трем на своих фургонах.

— Какие же у вас дела? — спросил еще небрежнее полковник. — Все, я думаю, насчет картофеля? «Картофель унд

пантофель»[1], как мы говаривали еще в школе надзирателю из вашей братии?

— Как какие? Всякие. Мы народ торговый-с.

— Значит, и овощами торгуете, и салом, и табаком?

— Торгуем всем! Всем, либер герр[2], всем!

Колонист встал помочь кучеру перепрячь лошадей. Полковник прилег на траве, поглядывая с улыбкою на уходившие пятки товарища, подкованные медными гвоздями, и помышляя: «Вот стадо баранов! Я думаю, женился в семнадцать лет, и жена его теперь тоже на овцу похожа, ест индеек с медом, чулки даже во сне вяжет!»

— Что же у вас за дела, скажите? — опять спросил он колониста, подсмеиваясь.

— Да что, батюшка, на днях купил я землю, вот что неподалеку от Николаева, близ поместья герцога Ангальт-Кеттен: съездил потом на Дон принанять степи для нагула овец, да не удалось — надо подождать, когда снимут сено; а теперь еду купить, коли придется, с торгов, в Николаеве наши бывшие батареи, то есть разный хлам с севастопольских батарей: дерево, обшивку, брусья, а пожалуй, и чугун. Наше дело коммерческое: что попадет под руку, всем торгуем. Ничем не пренебрегаем и времени не упускаем. Вы знаете нашу пословицу: морген, морген, унд нихт хёйте...

— ...Заген алле фауле лёйте?[3] Как не знать! Но скажите, зачем вам еще степи за Доном? Где, позвольте, у вас собственная-то земля? Извините, я не расслышал...

— Мейне эйгене эрде[4], моя собственная земля есть и под Граубинденом, и в других округах, да места стало уже нам, колонистам, мало. Так-то-с, не удивляйтесь! Наши кое-кто уже в Крыму ищут земель, на Амур послали депутатов

---

[1] «Картофель и домашние туфли» (*нем.*).

[2] Милейший (*нем.*).

[3] Завтра, завтра, не сегодня... так ленивцы говорят (*нем.*).

[4] Моя собственная земля (*нем.*).

присмотреться насчет занятия земель под колонии. Засуха, ну, и надо перегнать часть овцы на лето за Дон.

— Сколько же у вас овечек? — спросил Панчуковский, пощипывая усики и смотря на это кроткое, румяное лицо, и зевнул. — Да не хотите ли масла, колбаски? Вот вам масло, вот хлеб! Я совсем устал от дороги. Не хотите ли? Вот ножик. Я тоже все хлопочу, строюсь...

— Благодарю! — ответил кудрявый колонист, оправляя свои белокурые, с проседью уже, немецкие пейсы, выбивавшиеся из-под барашковой шапки, и принимаясь за масло. — У меня овцы довольно, о, очень довольно...

— Сколько же?

— У меня семьдесят пять тысяч голов овцы в разных местах-с...

Панчуковский приподнялся на локте.

— Что-о-о? Как-с? Сколько? Я не расслышал! — сказал он и заикнулся, подобно незабвенному Манилову, некогда пораженному сказочной профессией Чичикова, по покупке мертвых душ.

— Семьдесят пять тысяч голов-с мериносов! — ответил опять смиренный собеседник и стал копаться в котомке, укладывая остатки провизии. — Но, мейн либер герр, как здесь ни хорошо, а скучновато; все в Германию тянет... Мы здесь чужие!

Дух захватило у Панчуковского. Мигом в его голове мелькнули соображения: «Если у него семьдесят пять тысяч мериносов, то сколько же он должен получить дохода? На худой конец по целковому с головы, итого семьдесят пять тысяч рублей серебром. Двести пятьдесят тысяч рублей ассигнациями, четверть миллиона в год!»

И он окинул взглядом колониста с головы до ног, как бы соображая, как такое засаленное существо могло владеть таким богатством, и прибавляя про себя: «А ведь все-таки, наживясь, уйдет в Германию! Сколько волка ни корми, улизнет в лес...»

— Да вы не шутите? — сказал он и сел.

Колонист засмеялся. Белые зубы, напомнившие корову, так и осклабились до полных загорелых ушей.

— Нет, не шучу!

Панчуковский, летевший из Петербурга в степи за наживой, бросивший для барышей модный свет, щегольских товарищей, оперу, Невский проспект, французские водевили и комфорт всякого рода, невольно вздохнул, придвинулся к собеседнику, вертевшему в грубых руках замасленную барашковую шапку, и сказал:

— Вы колонист, и я колонист. Мы оба Колумбы и Кортесы своего рода, или, скорее, бродяги и беглецы из родных мест за наживой. Мы колонизаторы дикого и безлюдного края. Нам тесно стало на родине, на севере, ну, мы и бежали сюда. Ведь так?

Колонист аккуратно и громко высморкался.

— Э! Что тут говорить! Как ни говори, а немцы вам нужны. Вот, мы первые здесь овцеводы. Земля тут прежде гуляла, а теперь не гуляет. Наши колонии садами стали, мы вам леса разводим, оживляем ваши пустыни...

— Сколько же у вас земли? — допытывался полковник.

— Около тридцати тысяч десятин собственной; а то еще арендую у соседних ногайцев и у господ дворян. Фриц, достань мне табачку в табакерку! — крикнул он кучеру. — На дорогу свеженького подсыплем. Так-то-с!

Долговязый Фриц принес кожаный мешочек и стал сыпать табак в табакерку хозяина.

Колонист между тем еще присел, опять намазал масла на хлеб, присыпал зеленым сыром и сказал:

— А вы здешний? Зачем вы службу бросили? Вам уже скоро и генералом бы легко быть!

— Я тут тоже теперь кое-чем маклакую. Хутор устраиваю, землю купил, хлебопашество наймом веду. Ведь я тоже, повторяю вам, колонист, бродяга; бросил старый скучный север.

— Ну, так будем же знакомы. Мы одного поля ягода! Ваша правда-с! Только станет ли у вас столько-с охоты и

труда? У меня и свои корабли теперь тут есть. Два года уже, как завел. Сам на своих судах и шерсть с своих овец прямо в Бельгию отправляю.

— Ах, как все это любопытно! Позвольте: у вас, значит, и свои конторы есть в азовских портах, в Бердянске, в Мариуполе, в Ростове?

— О нет! Это все я сам! — говорил колонист, чавкая и добродушно жуя хлеб с маслом. — Зачем нам конторы? Я поеду и отправлю хлеб или шерсть; потом опять поеду и приму заграничный груз. А то и моя жена поедет. О, у меня жена добрая!

— Как, и она? Ваша жена тоже коммерцией занимается?

— Да; вы не верите? Вот зимой из Николаева она мне на санках сама привезла сундук с золотом; я хлеб туда поставлял. Так вот, запрягла парочку да с кучером, вот с этим самым Фрицем, моим племянником, и привезла. Зачем пересылать? Еще трата на почту...

Полковник посмотрел на Фрица: рыжий верзила тоже смеялся во весь рот, а колонист, как на товар, приглядывался на щегольской наряд красавца полковника, на его перстни, пикейный сюртучок, лаковые полусапожки, узорные чулки, белую соломенную шляпу и первейшей моды венский фаэтончик. Два давнишних противоположных полюса русских деловых людей, эти два лица сильно занимали друг друга.

— Вы отлично говорите по-русски, — сказал полковник, — давно ваша семья переселилась или, так сказать, бежала из родной тесноты в Россию? Извините, это меня сильно занимает; повторяю вам снова, я тоже ваш собрат, переселенец, а по нашим русским понятиям — беглец! Мы теперь тоже за ум беремся, да уж не знаю, так ли. Что-то в нас много еще дворянского; может оттого, что мы беглые по воле, с паспортами.

— Мой дед, видите ли, переселился при графе Сперанском, около сорока лет назад; мы пешком пришли сюда, с котомками, дед и отец мой несли старые саксонские свои сапоги за плечами, а отец мой после него еще двадцать пять лет был

у нашего же земляка Фейна простым пастухом. Я тоже в юности-с долго был при стаде вашего Абазы. Земля, правду сказать, тут обетованная, не тронутая еще; многих еще она ждет. Раздолье, а не жизнь тут всякому; ленив только русский человек! Эх, гляньте, какая дичь, какие пустыри: бурьян, вечная целина — ни косы, ни плуга не знала. Люблю я эти места: будто бедные, а троньте эту землю — клад кладом.

Полковник спросил:

— Какой же секрет в том, что вы так скоро, так страшно разбогатели?

— Секрет? Никакого секрета! Даже трудно сказать как. Как? Просто трудились сами, и всё тут.

«Сами трудились! — подумал Панчуковский. — Врет, шельма, немец; должно быть, фальшивые ассигнации в землянках делали, да ловко и спускали!»

Просидели еще немного новые знакомцы. Степь молчала, вечерело. Не было слышно ни звука. Одни лошади позвякивали сбруей, да несло тютюнищем от новых друзей-кучеров.

— Я и не спросил вас, — сказал на прощание Панчуковский, — вы ездили за Дон; были вы у нас на Мертвых Водах, за сороковой болгарской колонией? Как понравился вам наш околоток? Можно ли ждать чего хорошего от этой местности?

— На Мертвых Водах? На Мертвых... Постойте! Да! Точно, я там неделю назад ночевал... у священника... Постойте, погодите...

— У отца Павладия?

— Так, так, у него именно! Что за славный, добрый старик! И какой начитанный! Нашего Шиллера знает; еще такая у него красивая воспитанница. Сам он ее грамоте учит, и она при мне читала и писала. Как же можно, хорошие места!

— Как? Воспитанница? — возразил, краснея, полковник. — Что за странность! Это премило! Я живу от отца Павладия в семи верстах, а не знаю.

— О-о, полковник! Так вы волокита! — засмеялся, влезая в фургон, колонист и погрозился. — Смотрите, напишу отцу Павладию и предупрежу его!

— Нет, я не о том; но меня удивило, как я живу так близко и ничего не знаю! В нашей глуши это диво. А вы будто бы и не охотник приударить за иной гребчихой в поле?

— Э, фи! У меня своя жена красавица, полковник.

Новые знакомцы будто сконфузились и помолчали.

— До свидания, полковник.

— До свидания, герр Шульцвейн!

Лошади двинулись.

— Не забудьте и нас посетить: спросите хутор Новую Диканьку, на Мертвой.

— С удовольствием. А где он там?

Лошади колониста остановились. Полковник к нему добежал рысцой и рассказал, как к нему проехать.

— Есть у вас детки? — спросил полковник, став на подножку и свесясь к колонисту в фургон.

— Есть две дочери: одна замужем, а другая еще дитя.

— За кем же замужем ваша старшая дочь, герр Шульцвейн?

Колонист покачал головой и прищурил голубые глаза.

— Вы не ожидаете, я думаю?

— А что?

— За пастухом-с. Я выдал дочь мою за старшего моего чабана, Гейнриха Фердинанда Мюллера, и, либер герр, нахожу, что это сущая пара. Отличный, добрый зять мне и знает свое дело; пастух и вместе овечий лекарь. Живут припеваючи, а дочка моя все двойни родит!

Полковник похлопал его по руке и по животу.

— А ваш Гейнрих откуда?

— Он подданный другого Гейнриха. Гейнриха тридцать четвертого, герцога крейц-шлейц-фон-лобенштейнского: тесно им у герцога стало, он и переселился сюда.

— Не забудьте же хутор Новую Диканьку, недалеко от большой дороги, — сказал полковник, смеясь титулу трид-

цать четвертого Гейнриха крейц-шлейц-фон-лобенштейнского и кланяясь вслед уезжавшему интересному фургону.

— Поклонитесь отцу Павладию от меня! — прибавил в свой черед, улыбаясь, колонист.

Пыль опять заклубилась по дороге.

— А ну, говори мне, скотина, что там за такая воспитанница живет у нашего попа, на Мертвой? — спросил кучера полковник Панчуковский.

Самуйлик ничего не ответил. Он был под влиянием вежливой беседы с Фрицем.

— Ну, что же ты молчишь, ракалия, а? Не тебе ли я поручал все разведать, разыскать? И в семи верстах, а?

Кучер приостановил слегка лошадей, снял шапку и обернулся. Глуповатое и старческое его лицо было осенено мучительной, тяжелой мыслью.

— Барин, увольте...

— Это что еще?

— Не могу...

— Что это? Ты уже, братец, рассуждать?

— Не будет никакого толку, ваше высокоблагородие, от этих ваших делов. Мало их через мои руки у вас перебывало! Эх, барин, предоставить-то не штука, да жалко после. А вы побаловали, да и взашей?

— Скверно, брат, и подло! Не исполнил поручения...

Самуйлик еще что-то говорил, но полковник уже его не слушал. Лошади бежали снова вскачь. Бубенчики звенели. Картины по сторонам дороги мелькали. Вечерело.

А в голове полковника-фермера, полковника-коммерсанта, строились планы горячих, дерзких, небывалых еще на Руси, в среде его сословия, предприятий. То водопроводы он мыслил в каком-то городе затевать; то шумную аферу по закупке всего запаса какого-то хлеба в одном из портов думал сделать; то школу хотел где-то тайно открыть в столице и потом пустить о ней статью от неизвестного в газеты; то какому-то ученому заведению мыслил разом купить и поднести в дар большое собрание картин. Недавно, по соседству, сманивали

его на выборы. «Нет, не те времена! — глубокомысленно ответил он, благодаря дворян. — Теперь нам пора подумать и о материальном счастье на земле; оно, может быть, еще выше духовного!» Так он стал думать, прочтя что-то вроде этого у Токвиля. А теперь у него из головы еще не выходил невероятный колонист с его полумиллионными доходами, собственными кораблями по Азовскому морю и с такой же, вероятно, как он, румяной и белокурой супругой, возящей по степям на паре сундуки с золотом супруга. Задумался барин и о питомице священника... Панчуковский поспешал в свой хутор, Новую Диканьку, где на другое утро, на неизменный праздник дня своего рождения, он ожидал гостей.

III

Новозаимочный хутор Новая Диканька

На другой день к полковнику действительно съехалась куча гостей. Подъезжая к его красивой усадьбе, все приятно изумлялись, глядя на выраставшие почти ежемесячно новые каменные и кирпичные постройки. «Вот ловкий господин! — говорили они. — А эта Новая Диканька — сущая американская ферма!» Новозаимочный хутор полковника в самом деле очень изменился с тех пор, как приходили в него наниматься бежавшие от старосветских хуторских невзгод из старой Украйны приятели Левенчук и Милороденко. Хотя кругом его была по-прежнему одна скучная во многих отношениях степь, но благоустроенная заимка, колония гвардейского коммерсанта и земледела, уже значительно пополнилась. На склоне пологого косогора стояла красивая усадьба. Двухэтажный, под красный кирпич, домик, во вкусе швейцарских или скорее французских деревенских мыз, глядел из-за высоких каменных стен, с крепкими дубовыми воротами. Часть обширного двора была занята молодым садом. Отличные конюшни, огромные амбары для ссыпки хлеба,

сараи для овечьей шерсти и хозяйственных машин, флигель для дворни — все было кирпичное, не штукатуренное еще, как и дом, и под железными крышами. Кухня, на голландский манер, с изразцовыми стенами и асфальтовым полом, была возле. Издалека и с большим трудом привезенные тополи были посажены вокруг дома, подросли и отлично скрадывали пустынную степную наружность остальной усадьбы. За домом, в полуверсте, был ток с хлебной клуней, а еще в стороне и ближе к дому — каменные сараи для овец и избы для батраков, то есть разного беглого люда. По двору, под стенами ограды, стояли разные земледельческие орудия, еще новые и свеженькие, покрашенные голубой или красной краской: плужки, бороны, сеялки, конные грабли, веялки и большая новость в крае — жатвенные машины. В клуне, очевидно, работала уже паровая молотилка, потому что небольшая железная труба, как на фабриках, торчала оттуда, изредка венчаясь облачком серого дыма. Паровой локомобиль иногда подвозился к колодцу; к нему приправлялась мельница, и обозы с соседних хуторов мигом скоплялись возле за помолом. Близ овчарни был устроен над оврагом кирпичный завод, также с машиной для лепки кирпича. Ни реки, ни пруда не было вблизи усадьбы. Вода доставалась из глубоких колодцев. Не было и деревни. Тут все шло наймом. Через два соседних оврага, разъединявших поля, были перекинуты красивые чугунные мостики. У конторы на столбе был укреплен колокол для зова рабочих.

Экипажи загромождали двор. В отворенные окна дома неслись громкие разговоры. Все двери были настежь. Слуги шныряли из кухни в дом и обратно. Гости, мужчины, сидели за утренним кофе в обширном угольном кабинете хозяина, на мягких диванах, между кучами цветов и шкафами с книгами. Тут были и старики и молодые, в сюртуках и в байковых пальто или в простых домашних куртках. Иные сияли нежнее майского утра в своих пикейных сюртучках и белом, как снег, белье, и от них пахло духами, только что прибывшими через Таганрог из Марселя. Другие, кажется, никогда

не мыли руки, не чесали головы, не стригли копытообразных ногтей, и от них пахло овцами и коровьим навозом. Сидела тут с длиннейшей трубкой и какая-то барыня, по фамилии мадам Щелкова, из казачек, вечно кашляющая, с загорелым лицом, как у сгонщика или мелкого рассыльного хлебной конторы, но в то же время в лентах и в шелковом платье. Она, очевидно, приехала с коротким визитом и попала в мужскую компанию в кабинет за делом, мяла платок в руках подобострастно и, утирая слезы, заглядывала всем в глаза, оправдываясь иногда, что трубку курит от какой-то болезни, все как будто торопилась кончить какие-то печальные дела и соображения, подсаживалась с богатырской трубкой то к одному, то к другому кружку, слушала со слезами на глазах толки о близкой будто бы эмансипации и повторяла: «Ах, Боже мой! Ах, Господи! А я-то гребли не кончила, свай не набила; хлеба сколько насеяла... Кому убирать его, кому убирать! Пойдем мы по свету!» Читатель, разумеется, может знать, что эмансипация тогда еще не угрожала ни гребле, ни сваям, ни хлебу этой барыни. Остальной женский пол, очаровательные новороссийские дамочки, разодетые азиатскими бабочками, во французских кисеях и шелках, сидели в гостиной и ходили по зале. Сам хозяин, холостяк, удостоенный визитом дам, был сильно в духе. Ему все льстили, все ахали, рассматривая его дом, картины, хозяйство, машины. Все гуртом сходили на ток, в овчарни и в рабочие избы. Барыня Щелкова, подоткнув шелковое лионское платье (она тоже не отставала от моды), также сходила и в овчарни и на ток, удивляясь полковнику и хваля его хозяйство. Карие глаза полковника сияли волей и счастьем; усики, загнутые кверху, были надушены. На всех он смотрел с довольством. Все были веселы.

— Мы, господа, — беглые, то есть в европейском смысле колонисты; это я вчера Шульцвейну говорил. Вы слышали про него?

На эту тему стал ораторствовать Панчуковский и говорил весь день.

Под общий шум разговоры свелись на хозяйство каждого, и все расхвастались. Тот превозносил своего чабана и свое стадо тонкорунных мериносов. Другой прославлял себя за громадное увеличение запашки. Третий уверял, что скупит в портах все бельгийское железо и повезет его в Полтаву и в Харьков в подрыв сибирскому. Другие говорили о машинах. «Нет! — говорил соседний арендатор, ныне уже русский помещик и душевладелец, а еще недавно эстляндский булочник, Адам Адамыч Швабер. — Все эти машины — чепуха! Лопнет котел, искра вылетит на скирд, и пропал целый ток хлеба. Где тут этим скотам еще ходить за паровыми котлами!» Кто-то хвастал собственной ловкостью, как он товарища надул баранами. И товарищ тут сам сидел. «Нет, что товарищи! — возражали другие. — В Петербурге слышно о преобразовании полиции. Телеграф сюда ведут. Ростов газом думают освещать. Французы едут сюда угольев искать. Газета, слышно, в Таганроге будет...» — «Как бы денег больше было, — заметил кто-то на это, — лучше всего было бы! Не из-за скуки же здешней жизни бросили мы с вами, господа, свои северные родные места!»

Уже под вечер к Панчуковскому подсел юноша — студент одесского лицея, учитель детей соседнего купца и вместе салотопенного заводчика Шутовкина.

— Владимир Алексеич!

— Что вам угодно?

— Я слышал о вашей доброте... Дайте мне триста целковых взаймы, пока до получки жалованья с моего хозяина. Я вам возвращу с благодарностью через месяц.

— Зачем вам?

— До зарезу нужно. Мы с хозяином едем завтра после обеда в город. Брат его подбивает на риск. Хочется недаром проехаться в город, а проживя там с неделю, сделать одну аферу. Тут все аферируют. Говорят, лен падает в цене, фрахтовых судов мало, а дней через пять — восемь, думаю, поднимется. Ну, я хочу сорвать барыш. Тут вон дети даже ажиотируют; жидки-ребятишки намедни в Мелитополе под-

везенные мешки с орехами на базаре скупили и перепродали с барышом в праздник... Неужели же нам все с книгами сидеть! Право. Помогите! Как бы хотелось недаром тут пробыть на вакациях.

Панчуковского в это время кто-то позвал из другой комнаты.

— Извините! — сказал он студенту и вышел.

Студент сидел, рассматривая картины по стенам, потом подошел к роялю, открыл его и стал играть. Страстные звуки шопеновской мазурки огласили дом и двор, на месте которых еще пять-шесть лет назад гулял один пустынный украинский сирокко-суховей да качались громадные бурьяны. Студент, малоросс и музыкант в душе, играл с чувством, слегка склонив к клавишам Эрара свою белокурую красивую голову. Думал ли он о Шопене, о какой-нибудь недоступной красавице или о затеваемой афере со льном — трудно было решить. В этом новом и странном крае как-то все это мешалось вместе.

Полковник воротился.

— Извольте, — сказал он опять студенту. — Я вам денег дам, но вы подождите, пока уедут другие гости. У меня есть к вам дело...

Студент встал, тряхнул волосами и, с чувством пожавши ему руку, сел опять играть. Его окружили дамы; он был их любимец.

— А правда ли, что на беглых облавы у нас везде скоро будут? — кто-то крикнул от карточного стола хозяину.

— На каких это, на нас? — спросил шутливо Панчуковский.

— Нет, на беспаспортных.

— Да, слышал я от Подкованцева, исправника: вас и меня это в особенности, Адам Адамович, касается! — сказал полковник арендатору Шваберу. — Тогда просто хоть лавочку закрывай. А я, признаюсь, мало верю в ожидаемое переселение народов с севера. И признаюсь, открыто передерживаю изредка беглую Русь! Все подличают против

своих ближних исподтишка; отчего же мне открыто иной раз не купить станового и не пользоваться бродягами?

Полковник тоже сел играть в банк, высыпав кучу золота. Взоры всех просияли. Поставлена первая карта; она дана. Банк занял все общество. Подошли и дамы. Они также приняли участие в азартной игре направо и налево. Одна капитанша, урожденная гречанка, подбоченившись, стала, вынула из колоды карту, подумала и поставила на нее свои брильянтовые серьги, а потом золотую брошь. Муж стоял возле и улыбался, ожидая, чем кончится счастье жены. Южные сердца бились горячо.

Обедали поздно. После обеда, перед вечером, все вошли во двор. За воротами сошлись батраки и батрачки поздравить полковника. Явилась скрипка. Разносили угощения. А полковник, расстегнувшись и выказав свою шелковую канаусовую рубаху, пустился с негритянками, как он выражался, трепака плясать. Дамы хохотали. Мужчины хвалили его за особое умение быть популярным. Потом все пошли снова наверх и уселись на обширном балконе антресолей пить чай.

— Расскажите, ради Бога, — спросил меланхолический студент, просивший денег у хозяина, — что за название этой речки здесь Мертвые Воды и как населялся этот околоток?

— Да, — ответил хозяин, — история заселения моей земли и вообще этих окрестностей любопытна. Мы читаем записки о колонизации Канады, Новой Зеландии, Перу и Колумбии, а допытывался ли кто-нибудь до недавних событий заселения наших былых запорожских земель, нашего азовского поморья или хоть бы одного здешнего уезда? Это целая поэма во вкусе Купера и Вашингтона Ирвинга, да-с, не шутите с нами.

Видите ли вон те холмы? Туда верст пятнадцать будет, да в противную сторону отсюда, до того вон кургана, столько же почти. Ну-с, эта вся земля, это немецкое-с почти великое герцогство, наша сказочная завоевательница Запорожья и Крыма, Екатерина, долго не думая, взяла да за каким-то завтраком и подарила одному беглому греческому митропо-

литу из Турции, упавшему перед нею с челобитной на колени. Ему была дана эта земля в подарок, с тем чтобы он тут устроил странноприимный дом и населил землю. Митрополит умер, ничего этого не сделав. Кто-то из здешних тогдашних чиновных провладел этой землей, без всякого права, лет двадцать, потом ее опять взяли в казну и велели продать с торгов. Покупщиков долго не являлось. Странствовала с прошениями об этой земле некоторое время в Петербург полусумасшедшая старушка, из переселенных сюда поблизости далматок, надоедала всем министрам, требуя отдачи этой земли, по завещанию Екатерины, ей — на устройство странноприимного дома. Ездила одна из степей в Петербург в одноколке, на маленькой пегашке, носившей имя Манечки. Многие министры, посмеиваясь на безумные искательства старушки, знали эту Манечку и на просьбы ее хозяйки: «Коли не отдаете мне земли, то дайте хоть сена моей лошади!» — отпускали с своих сиятельных конюшен ей сена. Я, еще служа в гвардии, видел и старушку, и ее конька, уже совершенно дряхлых. Тогда земля эта была уже за другим, и старушка собиралась ехать в Европу просить заступничества других дворов. Двадцать пять лет назад, — говорю я, — эти степи, где еще укрывались тогда по камышам и балкам дикие лошади, были проданы с аукциона. Все четырнадцать тысяч десятин этой земли купил через поверенного один польский граф, богач, — он в нашей гвардии служил, и я его знал, — сын виленского аристократа, чахоточный и никуда не выезжавший. За глаза куплена степь, снят план, составлен проект переселения туда крестьян из одной северной губернии. Эти насильные переселения были тогда в моде. Проект утвержден, и поверенный стал вести дело переселения. Выведены плугом черты громадной деревни, свезен материал, стали строиться превосходные избы, на все отпускались деньги щедрой рукой, а поверенный был питерский бюрократ и все любил вести на щегольскую ногу. Выхлопотал он у епархии и священника и будущую деревню. Это и есть наш вселюбезнейший отец Павладий, о котором

мы с вами поведем речь особо! — прибавил Панчуковский, обращаясь к студенту, подмигивая и потирая его по колену.

— Любопытно! Очень любопытно! — говорил студент, следя с балкона голубыми задумчивыми глазами за уходившей в вечерние сумерки окрестностью, о которой шла речь.

— Так моя поэма не скучна, господа?

— О нет, нет, кончайте, пожалуйста.

— Вот-с, — продолжал хозяин, — как уже избы стали кончать, а строения возводили все каменные, отец Павладий, тогда еще юноша, приехавший с молодой чернобровой супругой, и начал говорить поверенному: «Что вы делаете? Строите село на безводной степи; отведите его версты за две влево, к балке; там ключи в овраге бьют самородные, пруды можно устроить хорошие». — «Как можно, — говорит строитель, — село выведено на большую дорогу, и планы уже утверждены, мы выроем тут колодцы». — «Ну, как знаете, — говорил поп, — а я себе жилище буду строить у балки, да и церковь уж позвольте там построить; я буду там сад возле нее разводить». Церковь разрешено строить у балки, в видах обещания даром устроить сад, а люди, дескать, и за две версты дойдут в праздник. Церковь построена, построился и отец Павладий, кончена и деревня. Иначе не хотели переселять людей. Как можно! Надо, чтоб все было готово. Нанял строитель землекопов, выкопал колодцы, расплатился и уехал с докладом в Петербург, что все готово: даже в каждой хате стол стоит, образ привешен, вся утварь припасена и от замков на каждой двери ключ в конторе ждет хозяев. Тремстам семействам загадан выезд из России на новокупленную степь. Поехали переселенцы с кибитками и скотом. Прибыли на место, разведены по хатам. Отец Павладий молебен отслужил, все освятил, и зажили переселенцы. Вспахали под озимь, посеяли, а пока питались готовым запасом. Не нарадуется поверенный, пишет письмо в Петербург. Только и ударила гнилая, бесснежная зима. А еще до того всю осень народ прохворал. Что за притча! Кто ни напьется из колодца — и заболел. Да что долго говорить: до весны вымерла половина деревни, хвати-

лись переводить в другое место, запретили пить воду из колодцев — куда вам! Эпидемия хватила такая, что к Петрову дню другого года из трехсот-то семейств, господа, осталась в живых одна кривая старуха.

Панчуковский помолчал и опять стал говорить:

— Да, все погибло и вымерло; умерли дети, старики, отцы и матери, умер и поверенный, умерла и жена отца Павладия. Некому было и могил копать! Как узнали об этом в Петербурге, ужас напал на владельца — отказался вовсе от этой земли и до конца жизни тут уже не был. Скоро он сам умер, и земля перешла к его племяннице. Остался один отец Павладий с церковью и молодым садом у балки. Развел он действительно хорошенький сад, даже рощу, устроил пруд. Соседние и дальние колонисты, бывшие еще без церквей, болгары, сербы и даже греки стали его прихожанами, а те-то опустелые дома бурлаки по камню растащили. И теперь там от былой деревни только видны плугом обведенные места дворов и улиц да крест огромный на кладбище стоит. Так легли переселенцы все до едина. Умерла скоро и последняя старуха. Ну-с, часть этой земли, именно пять тысяч десятин, я сперва взял у новой владелицы в аренду, а потом, как видите, купил, а другую арендуют по частям, как знаете, кто хочет. Чумаки-то (как была еще там большая дорога, о которой все хлопотал строитель, и были еще не забросаны роковые колодцы), видя страшный крест, и прозвали прежде безыменную, протекающую тут по соседству речку, а потом и всю здешнюю землю Мертвыми Водами. Вот почему наш околоток так и зовется, хотя, как видите, он цветет и красуется не хуже какого-нибудь Висконсина, Алабамы или Порт-о-Пренса, населенных заморскими колонистами.

Студент встал, сошел вниз в залу, сел за рояль и начал играть чудный marche funèbre[1] Шопена.

— Однако же как недурно он играет, — сказал, прислушиваясь, кто-то из гостей.

---

[1] Похоронный марш (*фр.*).

— Да, очень даровитый человек! — ответил другой голос из среды слушателей.

Помолчали минут с десять. Снизу летели пленительные звуки.

— Так у отца Павладия, должно быть, преавантажный теперь уголок? — спросил, громко чихнув, Швабер.

Сумерки уже так сгустились, что все на балконе сидели, почти не видя друг друга, будто на воздухе в облаках.

— Да, — ответил задумчиво Панчуковский, — место там прелестное, называется Святодухов Кут, на ключах; большой сад, душистая густая роща, пруд отличный; церковь вся в кустах сирени, акаций и в тополях, весной просто рай. Я, однако, редко, признаюсь, там бываю...

— Отчего же?

Панчуковский помолчал.

— Вы хотите знать отчего?

— Да.

— Извольте: два медведя в одной берлоге не уживутся! Я аферист, и отец Павладий аферист; он хлопочет о наживе, и я: ну, мы и соперники — вот как две торговки шашлыком на базаре...

Слушатели рассмеялись.

— Хороши соперники! Вы ворочаете чуть не сотнями тысяч, а это бедняк, сельский священник...

— Да! Посмотрите, что это за священник!

— А что у него за воспитанница там есть? — спросил, сопя и зевая, Швабер.

— Право, не знаю! — ответил рассеянно полковник. — Я три года уже у него не был, поссорился на одном деле. Разве подросла в это время. А человек он добрый и умный, корыстолюбив только, как латинский поп.

— Да будто уже нашим и денег не нужно?

— Это еще вопрос...

— А где ваша кухарочка? — спросил опять хозяина, сходя с лестницы, тяжеловатый Швабер и толкнул его шутя под бок. В это время двор, крыльцо и ограда

осветились разноцветными фонарями импровизированной иллюминации.

— О! Бог знает, что вы вспомнили, камрад, — кухарку! Я ее прогнал давно взашей. Пожалуйста, этого не вспоминайте. Теперь у меня на уме не пустяки. Я тысячу десятин пшеницы на это лето засеял и думаю убирать наймом; это не шутка!

Начались танцы. После ужина все стали разъезжаться. Кучера дремали. Месяца не было видно, но ясная звездная ночь делала поездку безопасной. Уже многие юноши уехали. Дамы оставили Новую Диканьку, превознося хозяина за угощение. Уехали и старики. А на крыльце у подъезда шла крупная словесная перепалка двух немецких соотчичей, арендатора Адама Адамовича Швабера и колониста, конского заводчика Карла Иваныча Вебера. Оба немца были после ужина сильно выпивши и спорили по-русски о достоинствах своего родича, богача Шульцвейна. Вебер говорил, что слава и гордость их колоний, Богдан Богданыч Шульцвейн, скоро будет русским графом и князем и всю губернию заберет в руки; что ему и ордер какой-то прислали и что он в своей колонии затевает гимназию и газету. А Швабер кричал во все горло: «Врешь, врешь! Шульцвейн — шельма, и ты шельма! Такого осла хвалить. Он грубиян, и ты эзель![1] Врешь! А-а! Так ты хвалить: у него табачная голова и полный карман мошенничества: он севастопольский воловий парк обокрал! Ты, Карл, ты, Карлуша, можешь надувать русских; а для нас — слушай, брат, вот тебе кулак, а вот и другой — он овечья голова, шафскопф, и больше ничего! Молчать! Ну!»

Зрители этого петушиного боя, наконец, разняли спорщиков, уложили каждого порознь в его зеленый, с клеенчатым верхом, немецкий фургон и погнали кучеров. Но взъерошенные и красные, как после бани, бюргеры Швабер и Вебер, едучи рядом за воротами, еще долго ругались из фургонов и где-то даже будто бы опять на дороге выходили

---

[1] Осел (*нем.*).

на траву, спорили и ругались, даже хватали друг друга за виски. Так говорила молва.

Уехали все, остались одни: хозяин и студент.

— Погодите, оставьте вашу фуражку, — сказал Панчуковский.

— Владимир Алексеевич, надо ехать. Ведь я верхом, а до нашей усадьбы двадцать верст будет.

— Да разве завтра у вас уроки? Кажется, завтра праздник!

— Но ведь я вам сказал, что мы после обеда едем в город...

— Ах, извините, точно: сейчас я вам дам деньги; только остались бы вы у меня переночевать, а утром и доедете...

— Нельзя, право, нельзя: хозяин наш человек строгий, из донских; вы их знаете?

— Как не знать! Скажите, однако, это он, что ли, гувернантку свою, московскую институтку, поколотил, и она пешком ушла к ногайцам, лет пять назад?

— Кажется... Может быть... я, право, не знаю!..

— О, еще скрываете! Он с кнутом гнался за нею, с мезонина в сад, и расшвырял по полю все ее книги и вещи; говорят, не сдалась на его искания! Ну, да не в том дело; пойдемте в кабинет.

Они пошли.

— Извините, ваше имя и отчество?

— Михайлов, Иван Аполлоныч, — ответил, поклонясь, хорошенький студент.

— Ну-с, Иван Аполлоныч, я вам триста рублей дам, а вы мне сослужите службу!

Михайлов поклонился.

— Я бы вам сам дал денег; и вот они, недалеко за ними ходить! Но вот в чем дело: вы слышали сегодня о священнике, отце Павладии? У него есть воспитанница — понимаете, друг мой? У меня на нее есть виды — поняли?

Студент покраснел.

— Ну-с, вы к нему под предлогом займа денег и поезжайте; он падок к хорошим процентам и даст.

— Но он меня не знает.

— Я напишу поручательство.

— Отчего же вам самим к нему не съездить, насчет этой-то его девочки, если уже вы...

Студент недоговорил и опять покраснел.

— Нельзя; я уже имел с ним ссору за одну девочку, а на людей моих плоха надежда. Они мне помогут после. А тут нужно только узнать, что у него за приемыш этот и стоит ли она внимания. Вы как-нибудь устройте так, чтобы ее увидеть; если нужно, то и заночуйте; да уж лучше всего поезжайте сейчас. Дело денежное, само себя оправдывает.

— А далеко это?

— Да верст семь будет, девять, не больше.

Студент посмотрел на часы.

— Теперь уже девятый час, не поздно ли будет?

— Чтоб ехать сейчас? И отлично, поезжайте! Я вам дам своего коня, а ваш отдохнет. Отец Павладий много читает и поздно ложится спать. Поезжайте. Только вы оттуда ко мне заверните и разбудите меня, хоть за полночь будет. Я положусь на ваш вкус, только посмотрите.

— Извольте, очень благодарен, и если увижу вашу незнакомку, то к свету еще ворочусь к хозяину, а вам все расскажу в подробности.

Письмо полковником к священнику написано, лошадь оседлана, дорогу рассказали, и при взошедшем месяце легкоподъемный юноша поскакал тропинкой в Святодухов Кут. Будущий коммерсант не думал об усталости, не помышлял, что в одну ночь, с поездкой за деньгами, ему придется сделать верхом верст за тридцать. Он скакал и скакал, рисуясь перебегающей тенью по росистым холмам и лощинкам.

IV

Святодухов Кут, жилище священника

Скоро мелькнул перед студентом овраг, перешедший потом в глубокую балку, лесок, золотая маковка церкви и белый домик на склоне оврага. Повеяло сыростью от невидимого пруда. Высокий плетень, утыканный терновником, окружал домик... Все здесь как будто уже спало, когда подъехал студент; но скоро свет мелькнул из низенького, кустами и деревьями окутанного домика. На топот коня сам священник показался на крыльце и со свечкой встретил Михайлова.

— Здравствуйте; от кого вы?

— От Панчуковского, с письмом.

— От Панчуковского? Пожалуйста!

— А я думал, что вы уже спите.

— О нет, вечер отличный, я только что воротился с поля, гулял. Вы кто-с?

— Студент одесского лицея Михайлов. Вот вам письмо Владимира Алексеича.

Вошли в комнату. Священник прочел письмо, посмотрел на гостя, потом опять на письмо и сказал: «Очень хорошо-с!» — и засуетился. Зажег в главном углу приемной комнаты, у лампадки перед киотом, другую свечку, поставил на стол и вышел. Студент стал осматривать комнату. Груды книг лежали по дивану, стульям и на лежанке. К обыкновенной смеси запаха ладана и воска, встречающей у нас каждого в жилище священника, здесь примешивался еще чудный запах белых акаций, склонившихся цветущими ветвями с надворья к раскрытому окну. И вдруг, в темноте кустов, у самого уха гостя загремел так чудно и дерзко соловей, что у Михайлова сердце екнуло. Священник вошел, принес табаку для папирос и бумаги и, сказав: «А? Каково-с поет?» — поставил и опять ушел. Вслед за ним также неожиданно вошла в комнату статная, будто еще не совсем на возрасте, но уже совершенно развитая девушка с подносом в руках и

поставила на стол чашки к чаю. Она ушла. Михайлов успел разглядеть ее полные руки, сочные губы и темные брови, белое лицо, подобранные венком русые косы и красную ситцевую юбку. Звякая монистами, она гордо и смело повернулась, гордо взглянула на гостя, сдвинула густые брови и ушла, помахивая полными круглыми локтями.

«Верно, она!» — подумал новый Лепорелло и с замирающим сердцем сел в углу, осматривая комнату. Все студенту казалось таинственным. Вошел священник и, тихо шелестя рясою, также сел. Студент рассмотрел его больше: это оказался совершенно круглый, приземистый и тучный старичок с отекшим лицом, красноватой мясистой лысиной, едва прикрытой прядями седых волос, с утлой косичкой, перевязанною полинялой ленточкой, и в камлотовом сером подряснике, под гарусным стареньким кушаком. Он сел в кресло против Михайлова и посмотрел на него.

— Вы здешний? — спросил он с улыбкой.

— Нет, я родом из Одессы, на летних кондициях...

— У купца Шутовкина?

— Точно так-с. А вы почем знаете?

— Слышал, про вас говорили мне, что вы способны на все руки-с...

Михайлов покраснел.

— Вы давно знакомы с господином Панчуковским?

— Второй раз его вижу; я с ним познакомился у нашего хозяина.

— А! Извольте-с. Деньги я вам сейчас дам. Он пишет, что ручается за вас и что вы завтра же рано едете в город. На что же это вам деньги?

— На одно нужное дело. Я хотел бы на них кое-что заработать...

Священник встал и, сказав за дверь: «Оксана, скорей самоварчик!» — опять тихо сел.

— Извините; я вижу, вы действительно торопитесь; но позвольте мне, дикарю, за одолжение вас деньгами хотя полчаса побеседовать с вами. Что нового-с в свете, в литера-

туре? Вы давно из Одессы? Мы так редко видим людей, способных носить имя людское...

— Месяц назад.

Священник взял пачку книг с дивана.

— Вы не думайте, чтоб мы, здешние священники, были чужды света. Вот вам Гоголь, вот Пушкин: на последние деньги справил-с. Вот и «Космос» Гумбольдта. Скучновато в степи, особенно зимою. Мы и коротаем время, чем можем. Позвольте-с... Вы читали изданную за границей книгу о сельском духовенстве в России?

Студент хотел удержаться, но сильно покраснел. «Каков? — подумал он с досадой. — Живет в глуши, а все знает. Ну, что же? И я недюжинный человек! Но, впрочем, об этой-то книге я где-то что-то слышал; кажется, нападки на духовных!» И он бойко ответил:

— О, как же! Читал. Галиматья, пасквиль на Россию, вздорная брань!..

Священник тихо крякнул, придвинулся к столу и, перебирая листики журналов, ласково возразил:

— Э, нет, молодой человек! Не грешите! Что пользы всем нам обманывать друг друга? Много правды в этой беспощадной и резкой книге. Верите ли, я плакал, читая ее. Ни «Копперфилд» Диккенса, ни «Шинель» Гоголя, над чем я зачитывался уже теперь, на старости лет, — ничто меня так не трогало... Поднят и наш забытый вопрос!.. Пора, о, давно-с пора!

Опять вошла девушка, внесла самовар, сурово взглянула на стол, степенно все уставила; но при плавном выходе ее студенту показалось, что она уже ласковее, хотя украдкой, смотрит на него из-под напряженных густых бровей.

«Ишь, плутовка! — подумал он. — А какая степенница! Таковы ведь все здешние степнячки-поморянки! Да какая же она хорошенькая! Что за стан, что за плечи и брови! А щеки — как персики в пушку!»

— О, — говорил между тем, ахая и неподдельно увлекаясь, священник, подслеповатыми, припухшими глазами ища на

столе ложечку, тыкая ее дрожащими пальцами в сахарницу, настаивая чай и торопливо его разливая, — что я испытал, читая эту книгу! Мое детство, мое загнанное и грязное детство, порочная и праздная юность, мои жалкие товарищи, общий обман, насилие и невежество — все мелькнуло вновь передо мною! Вы читали в наших журналах ответы?

Михайлов покраснел, уже как рак, взмахнул неловко волосами и на этот раз признался, что не читал.

Священник вздохнул.

— Жаль, молодой человек, очень жаль; учитесь! Кто у вас профессора?

Студент ответил.

— Нет у меня ни детей, ни жены! Всех я тут похоронил, как вымерла наша колония. Слышали? — спросил печально отец Павладий.

— Да, слышал; говорят, ужасы произошли в вашей колонии! Правда?

— У! Жутко приходилось тогда; да Господь вынес. Извольте, извольте, однако, получить-с деньги!..

И он подал ему из шкатулки деньги.

Стали пить чай. Оксана прислуживала чаще и долее не выходила из комнаты.

— Гм! Позвольте... Пуркуа регарде? Пуркуа[1] на нее? — спросил вдруг священник студента, оставляя чай и неожиданно заговорив коверканным французским языком.

— Мне ли не смотреть на таких хорошеньких девушек! — ответил несколько обидчиво и также по-французски студент. — Вы забываете, что мне не шестьдесят лет.

— Оксана, выйди! — резко сказал Павладий и, когда она вышла, обратился к Михайлову. Священник был бледен и встревожен.

— Извините меня и за невежливый вопрос, и за непрошеную беседу на языке, который я так плохо и самоучкой

---

[1] Почему смотрите? Почему (*искаж. фр.*).

кое для каких книжек изучил, но этот вопрос сорвался у меня невольно. Скажите... извините меня... вам ничего не говорил на этот счет полковник?

— Нет, ничего. Вот вопрос! Даже обидно...

— Ах, Боже мой! Я верю вам, верю! Господи!.. Но позвольте, вы так молоды еще, так мало еще знакомы с Владимиром Алексеичем. Остерегайтесь его. Вы не поверите, что это за опасный человек. Он богат, счастлив по-своему, всеми любим; все ему завидуют. Но что за извращенный это человек! Я с ним, открою вам, сперва поссорился за одну соблазненную им колонистку, мою прихожанку; года три назад я опять повел с ним войну за украденную им неподалеку, из дворни градоначальника, кухарку-мещанку. И откуда он сорвался? Точно зверь с цепи сюда явился. Не пропустит ни одной девушки на гребовице или при уборке хлеба. Поверите ли, сущий разбойник! Как кого увидел, наметил, так и соблазнил. Это какая-то чума в своем роде. А какой тихий, светский: воды не замутит, говорит, как девушка! И между тем тут в околотке нет мужа, брата, отца, которые бы на него не плакались. Он на меня первое время страх наводил. И все ему как с гуся вода! Много на него выходит жалоб. Заманит, а потом еще иной раз со срамом и прогонит. Поверите ли, эту последнюю мещанку держал более года, водил ее в шелках, в кабриолете в город возил, какое-то тоже ее побочное дитя в кафтанчиках водил, а потом взял да и дал ей на дорогу сто розог... Это он называет: выпить бутылку и об пол! Изверг, ей-богу-с, изверг! Наезжают они теперь из России, как коршунье, в наши места; кидаются в аферы, спекулируют... Это еще бы ничего, да Бога забывают-с, вертепы разврата позаводили! Что французские конторщики в портовых городах, что наши спекулянты-помещики здесь! А еще гвардии полковник!.. Срам!..

Михайлов засмеялся.

— Вот, право, не ожидал, а какой порядочный кажется человек!

— Не ожидали? Смейтесь себе, смейтесь! А это сущий разбойник, ей-богу! Я и сам, коли хотите знать, его люблю

за ум и за даровитость. До тридцати лет получил чин полковника гвардии; повеяло новыми стремлениями, вышел в отставку, стал хозяйничать — ему повезло. Тут бы себя подельнее обставить, а он развратничает, как последний купчишка на уездной ярмарке, как армейский юнкеришка с цыганками! Тьфу! За этим ли он ехал из столицы в такую глушь? Да, вы меня спросили о моем приемыше...

— Да-с, прехорошенькая! Уж извините, попросту сказал...

— Эх, вам все красота на уме! А ее, скажу вам, судьба прегорькая. Должно быть, отец ее был из беглых, из помещичьих лакеев. Шла она с ним из России сюда; на ночлеге, в степи, отцу ее какой-то бродяга, не то косарь, не то дворовый бурлак, перехватил ножом глотку. Прибежал он с нею сюда ко мне во двор, истекая кровью, и упал у меня, бедняк, на пороге. От умиравшего только слышали какое-то имя; его отвезли в Таганрог; тогда уже наступила война, госпитали смешались, и я не мог добиться толку, где умер старик и умер ли. Да не мог же он вылечиться. Бумаг при нем не было; ну, его, верно, и похоронили так, без отметки. С той поры я ее и вскормил; сам учил кое-чему и пока держу ее в услужении. Да надобно свезти в город, отдать хоть сестре моей: все-таки там будет спокойнее. А то тут, пока еще замуж выйдет, хорошего человека найдет, — не совсем безопасно. Сказано: выставь сахарок такой на окне, как раз мухи облепят: хе-хе!.. Уж извините меня, молодой человек!

И отец Павладий сам от души засмеялся, помахивая старой лысой головкой и моргая красноватыми припухшими глазками.

— Вы же вон первый заметили ее! — продолжал он. — А жаль девку; точно добрая. Моя дьячиха только за нею и приглядывает. Да извините, что вас задержал: скучновато на безлюдье. Вы получили деньги, напишите же теперь расписку. Да уж, извините, включите, что на месяц там, по первое, положим, июля, по три процента, вы их и включите в капитал.

Михайлов поднял брови.

— Что вы, отец Павладий! По три на месяц?

— Да уж извините. У нас уже так. Я хлопочу о церкви; но хлопочу, пожалуй, еще больше и о себе; жалованье нам плохое, страна тут коммерческая, время горячее, деньги нужны всякому, ну, и риск бывает. Я и даю на риск; ведь я человек также или нет? А вы, верно, тоже на дело берете?

— На дело.

— Ну, и рассчитайте: стоит ли брать? Тогда и берите. А я свое сказал; так-то-с.

Священник, держа деньги, смотрел на студента.

Михайлов, не долго думая, взял деньги, как берут их все молодые кандидаты в аферисты, не соображая даже, выручит ли он ими хоть заемные проценты. Он быстро отмахал священнику расписку. Отец Павладий надел очки, прочел два раза расписку вслух, попросил еще написать сбоку словами, а не одними цифрами, что взято триста и девять рублей серебром, и простился с гостем. Михайлов вышел. Серый конь Панчуковского быстро домчал его в Новую Диканьку.

— Ну что? — спросил Панчуковский, с газетой и с сигарой лежа на постели. — Я вас поджидал!

И он протянул ему небрежно руку.

— Дал поп, да за то и проценты взял, по три на один месяц...

Полковник громко расхохотался на весь дом.

— Ну, так я и знал! Ай да попик! Современный! Это уж, извините, он тоже не отсталый человек; и, я думаю, книгами хвастал, а?

— Хвастал, — робко сказал Михайлов.

Захохотал еще громче прежнего полковник, и от его смеха огласились все комнаты пустого холостого дома.

Поговорили еще. Маятник одиноко стукал где-то из нижних комнат.

— Итак, покорнейше вас благодарю, Владимир Алексеевич, за ручательство.

— Не стоит благодарности. Что за пустяки! Ну-с, а насчет нашей красавицы?

— Да! — сказал студент, вертя фуражку. — Вы поручили узнать насчет той сироты?

— Ну, что же-с?

— Она дочь убитого беглого.

— Беглого! А! Значит, она отцу Павладию принадлежит так же, как и моему, положим, Абдулке...

Студент рассказал подробно историю убийства ее отца.

— Ее взял священник, когда отца ее зарезали, и с тех пор она у него в услужении. Он ее грамоте стал учить два года назад; читать и писать выучил и очень любит.

Панчуковский зевнул.

— Он, должно быть, задумал выгоднее выдать ее замуж, выкуп взять...

— Девочка прехорошенькая! — твердил студент с чувством. — Просто прелесть! Я редко встречал такие лица и строгие и соблазнительно-увлекающие! Полная, пышная, здоровая... Знаете, этот бьющий в глаза пыл здоровья... Знаете...

— Человек, лошадь барину! — крикнул Панчуковский с постели. — Вы когда же опять у меня будете?

— Когда деньги привезу отдавать.

«Жди теперь тебя!» — подумал полковник и любезно простился с гостем.

Студент опять поскакал по стемневшей степи. Близилось утро. Было уже перед рассветом.

Между тем как студент еще выходил от священника, с ним на пороге впотьмах столкнулся какой-то человек, не то мещанин, не то рядчик из города, статный малый, с узлом в руках, который он, очевидно, нес к священнику. Когда отец Павладий проводил гостя и, не затворяя за собою двери, вошел и остановился в освещенной еще по-парадному комнате, пришедший с узлом ступил из сеней в приемную.

— А! Левенчук! Откуда Бог несет? Что это?

Пришедший поклонился в пояс.

— Это, батюшка, уж примите; это свежая рыба с тони да часть дичинки: сам стрелял.

— Спасибо, спасибо; Оксана, возьми! — крикнул священник в сени. — Я это люблю, спасибо!

Но Оксана не явилась. Левенчук помолчал и опять поклонился.

— Батюшка!

— Что тебе?

— Как же насчет того-с?

— Чего?

— Да насчет обещания вашего?

— Какого?

— А про Оксану...

Отец Павладий отошел и выставился из комнаты в окно, в которое еще громче неслось пение соловьев.

— Видишь ли, брат, — сказал он, не оглядываясь, — ты человек добрый, и я тебя узнал, да ты беглый, значит — ничто. Ну, как тебе поверить душу человеческую? Ты беспаспортный, бродяга, ведь так?

— Так.

— А я тебя покрываю?

— Покрываете...

— Ну, значит, и ты преступник, и я. Придут, потащут тебя, раба божьего, — и пропала девка.

— Батюшка! Что хотите, возьмите, а отдайте ее за меня; другой год вас прошу, молю; отдайте, не загубите моей души... Богом-Господом молю!

— Ну, слушай, вот тебе мой зарок: принеси сто целковых на церковь да сто целковых на выкуп твой — напишу к твоей госпоже; авось дадут тебе волю... Тогда и бери Оксану-то. Что, согласен? Хочешь, сяду и напишу твоей барыне; прямо скажем все.

— Нет, батюшка! Бог весть, как еще дома посмотрят теперь на мое бегство; обвиняли же меня за машиниста нашего! Берите двести целковых на церковь, а уж на выкуп у барыни моей не требуйте, не пустит меня теперь барыня. Знаю я, что не пустит. Смилуйтесь, батюшка, обвенчайте так... Мы за Кубань, мы в Молдавию убежим...

Священник подошел к столу, погасил свечи, стал к окну и высунулся опять в него по пояс, глядя на освещенную месяцем росистую окрестность, по которой раздавались соловьиные крики. Из сеней вошла и тихо стала у косяка двери Оксана. Она плакала; плакал и Левенчук.

— Ну, — сказал священник, оглядываясь на них, — перевидал я тут немало вас, горемычных! Бог вас благословит! Венчаю!

Левенчук и Оксана поклонились ему в ноги.

— Когда хочешь, приноси только деньги; значит, ты порядочный человек, достаточный, надежный; ну, значит, тогда и бери. А я, собственно, не себе беру, ни-ни! Что ее в самом деле держать? Я и сам думаю. Еще что скажут! Но ей-же-ей, Господи, желал бы я, чтобы ты ей принес счастье, горемычной сироте. И где ее родина, и откуда она — не знаю.

Левенчук вздохнул.

— Ну, вот вам, батюшка, семьдесят пять целковых, а остальные, может, и все к Троице отдам.

Он вынул из конца затасканного платка деньги и отдал.

— Ты где был это время и где теперь стоишь?

— Был на неводах и в конторе хлебной был, а теперь опять всю весну при неводе. Там и дичинки вам набил...

— Контрабандой занимался?

— Случалось.

— Нехорошо, Харитон, поганое дело! Отвечать будешь! Брось! Ну, ступай же, бери свою Оксану. Чай, под ракиткой побеседовать рветесь. Ступайте же, целуйтесь себе, мои пташечки! Только далее... ни-ни... Чуешь ты, Харько?

— И, батюшка, будто мы уже какие антихристы: закон отцов знаем.

— А твой Милороденко где? Давно он меня шутками не смешил.

— Бог его весть, где он. Хотел покаяться, остепениться, а про то не знаю...

— Ну, ступайте же. Да накорми его, Оксана, борщиком, — чай, голоден; там и каши спроси у дьячихи. Нави-

делся я вас, несчастных! Это ты сегодня с моря, а? Должно быть, пешедралом?

— Да, пехтурой; где нам, ваше преподобие, иначе! Еще с утра вышел, ни крохи во рту не было...

И Левенчук пошел с Оксаной.

А в то время, как студент, исполненный самых пылких надежд на аферу с занятыми деньгами, летел по степи и ему навстречу загоралось приморское утро, дымясь, свежея и освещаясь всякими блестками, Панчуковский призвал в спальню своего Самуйлика, уже знакомого нам старого кучера, и сказал ему:

— Во-первых, проснись, скотина, и слушай в оба; во-вторых, без нравоучений, иначе — плети; а в-третьих, изволь с завтрашнего же дня собрать мне все справки о поповой воспитаннице! Слышишь ли? Собрать, да самые верные!

Самуйлик хотел что-то сказать, но только махнул рукою и мрачно молча вышел. Он знал, что барин иногда с ним шутит, а иногда и не шутит, да и больно не шутит.

Уж солнце всходило, когда студент свернул влево и для краткости пути поехал через небольшую безыменную речонку, отделявшую землю купца Шутовкина от проезжей дороги. На речонке был хутор и водяная мельница. Спустившись шагом на плотину, студент увидел толпу мужиков, забивавших пали у водоспуска. Барыня в лентах и под зонтиком стояла тут же и, куря длинную трубку и порой покашливая, жалостно и суетливо покрикивала на рабочих и распоряжалась.

— Здравствуйте! — сказал студент, узнав в барыне вчерашнюю знакомку, Щелкову, бывшую у Панчуковского.

— А! Это вы, мусьё! — печально отозвалась вслед уезжавшему знакомцу мадам Щелкова. — Вы вот катаетесь, а мы, труженики-бедняки, уже на работе! Экскюзе![1]

Студент приударил по лошади и скоро вошел на крыльцо еще сонного сельского купеческого дома.

---

[1] Простите! (*фр.*)

А в гущине ракитника и ясенков, разведенных над ключевым прудом отцом Павладием, короткий конец майской чуткой ночи коротали, забыв весь свет, Левенчук и Оксана.

V

Наши Кентукки и Массачусетс

«Что такое, однако, эти беглые в Новороссии?» — спросит заезжий в эти места. «А что такое беглые? — ответят ему туземцы. — Известно что: беглые, да и всё тут! Крепостная Русь, нашедшая свое убежище, свои Кентукки и Массачусетс. Здесь беглыми земля стала. Не будь их — ничего бы и не было: ни Донщины, ни Черноморья, ни преславной былой Запорожской земли, ни всей этой вековечной гостеприимной царины, к которой стремятся с севера и из других мест за волею и люди, и звери, и птицы! Все тут беглые: Ростов, Мариуполь, Таганрог, все беглые. Эти портовые богачи, купцы и мещане, эти Шелбановы, Пустошневы, Катальманьевы, Безродные — поройтесь в преданиях их, какова их история? Недавние предки их — крепостные, выходцы из России, либо помещичьи, либо казенные беглые! Так вам ответят туземцы. А сами присмотритесь на беглых — люди как люди! Что же их сманивает сюда? Приволье земель и работ, только трудись; на всех труда станет...

Со всех концов России, а с севера в особенности, шли огромными артелями наемщики на юг. Они шли по большим и малым дорогам, с косой за плечами, парни и девки, нанимаясь по пути в косари и гребцы. Целые села, гуртом выходя из тесных околотков, шли по дорогам в пыли и духоте, босиком и впроголодь, в ожидании тяжелого труда. Отдельные артели сливались в отряды, становясь к делу на крайнем юге и то там, то тут начиная белеть своими рубахами и сверкать потертыми косами и серпами. Было тут немало и вольных крестьян с билетами и помещичьих с паспортами; но в каждой артели было

еще более беглых. Труд нужен, труд дорог: рук мало, дело кипит, трава сохнет, пшеница зреет, горит, наливается, осыпается; сотни и тысячи рублей готовы погибнуть: как тут не принять беглых, господа юристы? Милости просим! Хотя и опасно, да кто их усчитает в этой неоглядной степи? Есть где поработать, есть где и спрятаться. Спрячет их свой брат земляк, спрячет и помещик, когда налетит гроза в виде исправника или станового, стан которого здесь величиной чуть не с ганноверское королевство. Станового тут купит всякая депозитка; он и смотрит сквозь пальцы. Чуть зазвенел, однако, жадный полицейский колокольчик — бурлаки прячутся в бурьяны, байраки, стоги или в камыши или в глазах самой власти бегут через границу ее уезда. А помещику и колонисту без беглого нет житья. Беглые — народ смирный, трезвый, усердный; чисто ливерпульские пуритане в душе. Берет беглый за работу меньше вольного; ну да и обсчитать его легче: не пожалуется!.. Поплачет разве только либо выругает за околицей хутора не по-человечески, и только. Потому-то здесь все шито и крыто. Беглые идут на линию, за Кубань, в Крым и в приморские степи на юг, как домой, из всяких суровых и тесных уездов севера. Пуританизм их удивительный. Известно следствие в окрестностях Нахичевани, открывшее, что партия беглых ночевала в степном байраке у какой-то лесничихи, как при этом один из беглых украл у хозяйки ведро и как за это товарищи его сперва высекли, а потом, не долго думая, повесили на дубу: не срами, дескать, хороших людей! Так-таки и повесили.

Точки соединения всего этого летнего захожего люда в степях, притон их отдыхов и наймов, их увеселительные клубы — это шинки зажиточных слобод и одинокие постоялые дворы с громадными, уже известными читателю, степными колодцами.

Эти шинки — вещь любопытная. Кто их здесь не знает, за рекою Богатырем, Джемреком, в селах Большой Янысель и Старый Керменчик и вдоль по рекам Кобыльной и Волчей, а равно в апухтиных и черниговских хуторах, в молоканской слободе Астраханке и в немецкой колонии Красный Трак-

тир? Во-первых, такие шинки приносят огромный доход. В обширной слободе они непременно устроены на главной улице или на площади, близ церкви. Это по праздникам своего рода лондонская биржа. А хотите знать, как нанимаются беглые летом и как ажиотируют этими *белыми неграми* наши южные плантаторы? Извольте. Подъезжая в праздник к месту их сходки, вы еще издали усматриваете небывалую толкотню и слышите громкий говор народа. Толпа стоит перед шинком вплоть до церкви, как на торгу. Отдельные кучки стоят по соседним переулкам, сидят под плетнями или идут решать дело еще далее на выгон, за село, чтобы не было свидетелей. В общей толпе и перед этими отдельными кучками прохаживаются помещики, кавалеры средней руки и приказчики богачей, нанимая артели, выслушивая торги и последние цены, сбивая упорных разными шутками и друг у друга, у своего же брата, сманивая небольшой надбавкой нанятых уже рабочих. Иной приказчик, в синем кафтане и в синих шароварах, подпоясанный красным кушаком, ходит-ходит, торгуется, надседается, сошелся, нанял, выставил ведро водки на магарыч, сосчитал свою артель и спешит домой; а по пути, иногда у самых ворот его, встречает артель приказчик другого помещика, надбавляет рабочим ничтожную плату и уводит их с собой. Бывают при этом и свалки наемщиков и нанятых. Случается, что ловкий соглядатай от одного помещика явится в степь прямо на работу к нанятым другого с целью сманить их разными льготами; а другой-то хозяин еще ловчее, подглядит его штуки да тут же в степи его и высечет. А старики новичкам говорят: «Вы тому не удивляйтесь, что этот пан высек ключника того пана: так было и в старину, как наши степи селились и еще люди тут ходили незакрепленные, как запорожцы. Придет Юрьев день, являются верховоды, кричат: «На Кильчень!» либо: «На Самару!» Одно село выселяется, а другое идет ему навстречу в иное место. По мостам и по плотинам идут обозы с детьми, добром и стариками; идут батраки и бабы, прощаются с родичами; волы ревут, возы скрипят, а паны

заезжают друг перед другом, спорят, сманивают к себе нашего брата и рубятся саблями, а иногда и пищали, бывало, хлопают. Оно так всегда тут было!.. Тот пан, бывало, при проезде обоза хвалит свое, а этот свое, говорит: «Идите ко мне, люди добрые! Дам вам и степи вдоволь, и хорошей воды, и лесу, и хат, и скота!» А уж что соврет, то соврет, лишь бы ему сманить их, вот как и теперь... Есть предание, как один свирепый командир, преследуя здесь беглых, налетел где-то на артель неводчиков и гаркнул на них: «Где ваши паспорты?» Те переглянулись. Генерал был без конвоя, с одной свитой. «На барке, ваше сиятельство!» — ответили те и пошли по доскам, один за другим, за паспортами. Взошли на барку, оттолкнули ее от берега и показали ему оттуда что-то вроде шишей, со словами: «Вот наши пашпортики!» И эти слова стали с той поры здесь поговоркою. В праздник, до начала торга, в слободе, где нанимаются косари и гребцы, в церкви обыкновенно служится обедня, и все чинно стоят и молятся, слушая отца Прокопа или отца Дороша. Дым густо стелется, дьячок басит, а из дыма глядят все черноволосые и русые чубатые головы, будто сейчас вышли с картин Шевченко, Трутовского и Соколова. Обедня кончилась: наполняется площадь и шинок. В одном из таких шинков долгое время в наймах, под Керменчиком, был беглый повар какого-то генерала из Калуги, который держал отличную простую кухню и, постукивая ножом навстречу входившего загорелого люда, выкрикивал: «А кому угодно котлеток a la метрдотель, бламанже, сюперфлю и все что угодно!» Никаких утонченных диковинок жид — содержатель шинка не мог, разумеется, по его вызову, предложить гостям; но прибаутки повара приманивали толпу, и шинок был не внакладе, справляя иногда, впрочем, свадебные пирушки для соседних поселян и беглых с такими угощениями, что хоть бы и в городе. Про беглых тут ходят и плоские избитые анекдоты, рассказы о том, как они венчаются вокруг полевых кустиков или обходя одинокий стог три раза. Обошли — вот и муж и жена, пока снова разойдутся. Такие же ходят

толки и о крестинах. Это уже область местного юмора. Пора работ кончилась. Беглые с полей переходят к неводам. Здесь осенью вся беглая, разбившая свои оковы Русь... Уходя из шинков, косарские артели поют особые местные песни, с сочиненными намеками на соседних помещиков, отдавая им похвалы за милосердие или остря над их скаредностью и стеснениями, вроде этого:

Чужи паны як пугачи,
Держут людей до пивночи,
А наш соловейко
Пускае percенько;
Дае водки и грошей —
Спаси его, Боже!

Такие песни пелись в косовицу и на Мертвых Водах, на полях купца Шутовкина, братьев Небольцевых, близ поместьев Панчуковского, Швабера, Вебера и на церковной земельке Святодуховского хутора. «Отчего иные бегают?» — спросите вы у станового. «По омерзительной привычке», — ответит он вам и начнет доказывать. Хатка у такого бегуна сплетена из камыша, примазана глиной; в хатке ни стола, ни лавки порядочной, а во дворе плетень камышовый. Придет свинья необрядная, толкнет, чесавшись, и повалит весь хлам. Толкнет с досады и сам хозяин хату ногою, повалит ее и пойдет в бродяги. Ему и жены не жалко, и детей. Так по десяти и по двадцати лет шляются. Видно, дома солоно. А иной проворовался, ограбил, убил. Есть и бежавшие от страха наказания за покражу лоскута холста, сальной свечки. И ходят в бродягах годы. Думали переводить беглых, оцепляли города, села. Прибыл в эти места лет двадцать назад, между прочим, другой, подобный упомянутому выше, свирепый начальник и вызвался искоренить тут всех беглых. А подначальник был у него человек обстрелянный и знал, как это легко говорится и как трудно делается. Захотел этот первач свой край объездить. Ездит и ездит, совсем замучил помощника. Ужас навел на беглых своими выходками и жестокостью. В кандалы перековал целые тысячи, остроги ими

переполнил по всему взморью. А помощника совсем выбил из сил. Вот и подвел штуку помощник. Проморил как-то владыку в степи, а все везет его далее, все далее. Уж тот и животик стал потирать и поглядывать из коляски: что за бесов край! Хоть бы корчма или деревушка какая, а до города еще верст двадцать. Остановился первач. «Ну, — говорит, — как бы чего закусить?» Кинулись к свите — ничего нет. А это уж помощник так подвел. «Нет ли хоть корочки черного хлеба? Нет ли тут постоялого двора где-нибудь?» — спрашивает первач. «Куда вам, ваше сиятельство! У нас ли этому быть в этой голой и пустой стороне! А вот постойте: тут в стороне, на берегу моря, неводок, кажется, есть; беднячок один держит артель. Угодно-с? Может, разживемся чем-нибудь?» — «Вези, братец, вези! Просто умираю с голода!» Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» — гаркнул первач на рабочих, выходя из коляски. «Здравствуйте, пане!» — «Давайте есть; что у вас имеется?» — «Что же у нас будет, пане? Мы люди бедные; хлеб-соль, да разве рыбки вам поймать?» — «Давай». И закинули невод. Уж тогда ли поймали, или было приготовлено заранее, только неводчики и устроили ему закуску: уху из самой первейшей рыбы, с бездною молок и потрохов; в ноздри душистый пар так и ударил; икры свежей вывалили ему целый бочонок; а горячий хлеб да голодный зуб — главное, помните. Наелся генерал до отвала: едва поворотился. Кинул неводчикам червонец, благодарит помощника: «Ну, брат, такого обеда и цари не едят!» Отъехал поезд в степь, скрылись море и коса с неводчиками. Помощник и говорит: «А знаете, ваше сиятельство, у кого мы обедали?» — «Нет, не знаю». — «У беглых!» — «Быть не может!» — «То-то-с; переведете их, так и рыбы такой тут некому будет поймать...» Генерал задумался и больше не козырился, стал, как и все мы, грешные...

А плантаторы между тем не дремали. Громадные ватаги косарей и гребцов, человек в триста и в четыреста, расхаживали по быстро косимым степям. Сами вселемочные гос-

пода кавалеры из-под Ростова, Бердянска, Мариуполя и Мелитополя кто верхом, в широкой бердянской или одесской, а иногда прямо панамской шляпе, или пешком, с плеткой усердно расхаживали среди артелей, пеклись с утра до ночи на страшном солнцепеке и обращали свои лица в подобие желтого земляного угля. Двигаясь медленными точками и белея своими шляпами, они, как коршуны, стоявшие в небе над ними, зорко поглядывали по сторонам, либо подмечая заленившегося косаря, либо накидывая жадным и плотоядным взглядом смазливую гребчиху, с греховным помыслом приласкать ее вечерком, в прохладе одинокой степной пустки, за стаканом пуншика и глотком коньяку или водки. «Эй, хлопцы! Эй, дивчата! — покрикивали степные поморские плантаторы, с бойкостью яростных, настоящих янки помахивая на куцых кляч плеткой и верхом ведя свои ватаги по пылающим в зное равнинам. — А нуте, постарайтесь! А нуте, разом, разом, разом! Дружнее! Котел каши с салом; два ведра водки лишних на магарычи! А нуте, нуте, нуте!» И сотни обеленных бурьянами кос дружно и мерно сверкают; сотни грабель взвивают и складывают в копны душистый чай наших степей, мягкое и нежное зеленое сено. Среди полян стоят косарские и гребовицкие таборы. Косовица во всем ходу, в полном разгаре. У привала дымится из навозного кирпича костерок. Громадная арба с полотняной крышей в виде гроба без устали открывается и закрывается, подвозя на волах или верблюдах крупу, соль и рыбу от хозяев. Несколько бочек едва успевают подвозить к таборам из дальних колодцев воду. Выпекается в хозяйских хуторах, в особенных печах, и в сутки съедается по триста и по четыреста хлебов, на одном поле, у одного хозяина. Из Мариуполя и Таганрога подвозятся мешки и мешочки на тысячи и более рублей серебром, мелочи. Нанимаются артели в десятки и сотни человек понедельно. Расплата производится по субботам. Наморившиеся, загорелые и запыленные девки и бабы сидят в тени, где-нибудь под амбаром или под конюшней, не распевая песен и не шутя, в ожидании расчета. Косари без

шапок стоят кучами по двору или у крыльца. А сами гостеприимные господа-плантаторы сидят у крылечка, перед столиком и расчет ведут. Этой партии триста целковых, этой — сто тридцать пять, той — двести. Кости на счетах звонко выщелкивают красные куши. Перо тут же записывает сказочные летние новороссийские расходы. Хозяева в эти минуты не видят перед собою ни живописных типов украинских косарей, ни хорошеньких, подгорелых на ветре и присмаженных на солнце гребчих. Они видят одно сено, копны, стоги, свои стада и барыши. «А! Вон и сам пан полковник выехал! — говорили иногда соседские приказчики, из мещан и вахмистров, видя, что Панчуковский выехал к гребцам или к косарям на красивом сером или буланом жеребчике. — Ну, это уже недаром! Верно, старый хрыч Самуйлик смастерил ему какую колонистку либо из наших девок какую припас полакомиться. Ишь ты! Какой молодой орлик, летает и плавает перед рядами. Вон остановился; шутит, видно, сигарку закуривает... Эх, житье этим господам, право! Денег — куры не клюют; спят себе вволю, пьют, едят, книжки читают — тьфу! А ты трудись... а девок им и отбою нету!.. Как те салтаны проклятые турецкие проживают!..»

Так говорили приказчики, разумеется, от зависти.

VI

Оксана и ракитник

В одной из таких беглых артелей был и Левенчук. Он был внаймах недалеко от Святодухова хутора; часто под вечер мелькала в яру и в ракитовой роще его смурая барашковая шапка. Как же полюбились Левенчук и Оксана? Э, господа! Как любятся птицы небесные, зверки полевые? Уж, разумеется, очень просто, как любится все привольное, дикое население степей века и десятки веков, нарождаясь и сменяя друг друга.

Без вздохов, без лишних слов, просто и даже очень просто полюбились и жили своей любовью Левенчук и Оксана. Левенчук окреп на воле в эти три года, возмужал и ревниво берег издали свою Оксану, нанимаясь то в невода, то в поденщики у окрестных колонистов и везде высматривая ее и следя за нею. Их встречи были кратки. Тихая и степенная красавица без него никому не спускала, кто бы ее ни затронул. Возясь и работая в кухне, в огороде, на дворе и в доме священника с утра до ночи, она и дитя кривой дьячихи закачает, и полы вымоет, и птиц накормит, и часто поет-поет, как жаворонок заливается. А сойдет ночь, скрипнет валежник в ракитнике, она молча и покорно идет к Левенчуку, покорно ластится и жаркими-жаркими объятиями нежит его. Слов как-то нет у нее; все бы глупо молчала да нежилась, как кошечка, возле него. Соберутся к святодуховскому пруду соседние гребчихи за водой, полощутся в кустах, припасают ведра воды, умывают загорелые лица, запыленные руки и плечи, и Оксана выйдет из поповой хаты. Наслушается всего, поможет одной-другой воды набрать, подаст ведра на коромысло, придет домой и все рассказывает дьячихе. «Ты только молчи, Оксана, — говорит на это дьячиха, — ты лучше всех, а только молчи! Я уж тебе найду жениха сама!»

«Да, держи карман! — думает Оксана. — И без тебя знаем, где что получше, покраше!» Сама разденется для работы, затопит печь, засучит рукава, поставит горшки, лук крошит, пшено толчет, обед готовит, а сердце так и колотится. «Вот, — думает, — девки полагают, что я такая недотрога, никуда ногой не хожу, ни внаймы в степь, ни в гости ни к кому, а я-то... а ночи?.. а ракитник?.. Да и тетка Горпина так же думает!..» Пойдет на пруд днем, белье моет. Обнаженные ноги с кладочки в воде рисуются, солнце пышет в лицо. И все ей жалко кого-то. Сама боится глянуть в сторону. «Глянь, — шепчет ей что-то, — глянь! В кусты орешника, в темные ясени, в ракиты глянь: вон там на берегу, по тот бок пруда, стоит кто-то — глянь!..» И весело ей, и тяжело, и совестно, и страх как хочется посмотреть.

«И чего я гляну! — думает Оксана, стуча вальком по белью. — Теперь полдень, он косит где-нибудь или невод тянет...» Подняла глаза и обомлела: на берег вышел из байрака Левенчук и давно машет ей, зовет ее. А вечер придет... Давно она не видела Харька. Постлалась на лавке, в кухне, помолилась, три поклона положила и крестится, ложась спать. Помнит все, что было днем: как она дитя дьячихи Горпины колыхала, как вечером корову доила, а сама все смотрела опять в сторону, дура, и ждала, что вот-вот кто-то из-за угла покажется. Уже заснула Оксана, спит, а ночью чувствует, что покраснела; совестно ей подумать, как это она выйдет замуж и в люди покажется... Лучше бы так просто подольше жить и тихо любить!

Не помнит Оксана ни отца, ни матери; даже не знает, кто были ее отец и мать и где ее близкие. Слышала, что отца ее зарезали и что с той поры ее взял в приемыши отец Павладий. И с особой любовью ходит она за дитятею тетки Горпины, нежит его, поминутно с ним возится и поет ему степные малорусские колыбельные песни.

Худое и слабое дитя иной раз без меры расплачется. Оксана не даст матери укачать его. Не отходит от него и поет, не переставая. То на руки его возьмет, пойдет с ним на выгон, в лес, опять положит дитя в колыбель и поет.

Как познакомилась Оксана с Левенчуком, трудно и сказать. Был он как-то в церкви, стоял там такой печальный да жалкий; тихо крестясь, приложился к кресту, когда отец Павладий отпуск с обедни дочитывал. Потом косил он в косарях на церковной степи у отца Павладия, а она воду косарям носила. Только и знакомства. А как потом она ему всю душу отдала, стала ходить и бегать к нему, через плетень прыгая, лисичкою в кустах выступая, — этого она и не расскажет. Стала вдруг она и более заботливая: хлопочет и старается по хозяйству, будто собирается куда, будто последние дни для нее настали. А сама похудела, точно измученная чем, но еще более с тех пор похорошела. Русая коса, как шелк, вычесана; темные брови еще темней стали; а слегка

впавшие тоскующие глаза не по летам так и мечут любовные чары. Движения замедлились; тело просится к лени, а работы гибель. Выйдет Оксана на косогор, станет против рощи; стоит и вдруг заплачет. Долго стоит, смотрит и поет за душу берущую песню нашей Украйны...

Или заберется она в глушь байрака, сядет в кустах, шьет узором сорочку, за слезами нитки не видит и тихо поет песню, которой выучилась она у дочки соседней бакшевницы, пропавшей без вести два года назад, вслед за отходом партии неводчиков.

Песня спета; слезы душат Оксану; она упала лицом на работу и плачет-плачет... еще от рождения она так не плакала. На душе и горько, и тяжело. А мысли роятся между тем: «Ну, желала бы я, однако, знать, где этот пройди-свет Харько? Должно быть, с дивчатами чужими возится, водку где-нибудь пьет. И не срам?..» Поднимает голову и ахнула: Левенчук сидит против нее на корточках, держит трубку в зубах, копается в кисете с табаком и смеется. «Вот хорошо, что ты запела, а я по голосу и нашел тебя!» Застыдилась Оксана. Ей весело и вместе жутко. Дрожь в руках и в груди. Она не придвигается к нему ближе. Он смеется над нею. Она кидает в него нитками, траву щиплет, в глаза ему хочет бросить. А он ей руки крутит, борется с нею, десятки прозваний ей ласковых и смешных дает... «Да прочь же, прочь!» — говорит она ему, морщась и будто отталкивая его, а сама все к нему ближе... Солнце не заглядывает в гущину ясенков! Только ветер перебегает по верхушкам... Дикая утка откуда-то налетела, пошныряла раза два над байраком, улетела опять и, снова прилетев, тяжело шлепнулась в осоке озерка, ниже пруда. Должно быть, гнездо ее там свито. А Левенчук рассказывает, где он был в эти две недели, где невод тянули, как пароход откуда-то ночью набежал, дым клубился, море шумело, наплыли лодки к берегу, все какие-то не то армяне, не то далматы бегали, выгружали запретный товар, контрабанду, в камыши и с верховыми укрыли ее потом до рассвета далее. Говорит, что эти дни он

косил возле Святодуховки и все собирался к ней, только ждал расчета. «Я видел тебя, Оксана; прошлой ночью к двору вашему подходил... Ты спала на дворе под горницей, да я не посмел через плетень перелезть... Лежишь ты, раскинулась — а я хотел подобраться к тебе, напугать! И как это вы собак не держите; просто страшно! Еще обворуют!» — «И, Харитусю! От злого человека и собака не спасет!» — «Ну, где же наш батюшка теперь, Оксана?» — «Дома; пчел едет покупать на Троицу! Приходи тогда...» — «Э, нельзя! Нам заказано в лиманы; француз чаю привезет; разгружать станем; по десяти целковых на человека в ночь будет... Не приду; а после опять косить приду до вашего немца». — «А, постой! — тихо крикнула Оксана и замерла. — Постой: как будто кто яром под ногами вот у нас идет — не то отец Павладий, не то посторонний кто... Ишь крадется!» Но шум замолк; на сердце Оксаны отлегло. Левенчук закурил трубочку, и опять пошли толки. Он рассказывает, как жил еще у своей барыни, как пас овец, как его женили, как Варьку машиной задушило и потрощило, как он утопиться задумал и уже вторые сутки просиживал над омутом у мельницы и как его спас и сманил на линию Милороденко. Оксана в сотый раз слушает и плачет, тихо вышивая узорную сорочку или бросая иглу и безмолвно слушая Левенчука. «Ну, где же теперь наш Василь Иванович, наш Милороденко?» — спрашивает она, тихо в мыслях молясь за него. «Э, Оксана, ищи ветра в поле! Сказывают, что он точно успел за эти три года разбогатеть. Сперва, говорят, был он при неводах, а потом у какого-то грека на хуторе пасеку держал и сам завелся пчелами; даже в мещане в Азове хотел приписаться, по чужому имени — все домом тоже обзавестись мостился. Передают, что уже и при деньгах был. Да какая-то бабенка ему тут подвернулась. Он сперва у нее ключником нанялся — она тоже помещица, что ли. А там и в любовники к ней попал. Год так жил! А с этой весны куда-то и пропал опять без вести. Как будет наша свадьба, Оксана, перед петровками, мы его разыщем...

хочешь? Я припас еще денег; самая малость остается, так и скажи батюшке!» — «Скажу». — «Скажи, что после Троицы, как управлюсь на море да покошусь еще у немца с неделю, приду и остальной за тебя выкуп принесу... Ну, а где же мы станем жить тогда, Оксана?» — «Ох! Уйдем отсюда; тут уж нам не житье. Слышно, все разыскивают бродяг, а ведь мы не люди, мы с тобою бродяги... Боже! Хоть бы на Дунай или в ту Анатолию пробраться... У турок, слышно, всех принимают. Вон я слышала, Харько, к нашей дьячихе сестра с богомолья из Ерусалима, проходом в Россию, навернулась, говорит, что нашего народу видимо-невидимо из Одессы и из Польши туда перешло, и по Дунаю так слободами и живут». — «Не может быть того, чтоб до неверных переходили!» — «Ну, а я уж слышала; там пачпортов не требуют». — «А, батюшки, батюшки! Вот доля!» — «А слышал ты тоже — вон попадья к нам от Шутовкина купца наезжала, пшена занимать и постного масла на косарей: наш батюшка на барыши на лето и это держит, — будто к Небольцевым господам исправник выбегал с понятыми, село обходил, все сундуки и погреба осмотрел и шестнадцать человек за конвоем в Ростов отвел. Плачу там, плачу было такого, что и-и! Нашли, говорят, в подвале старого-престарого сапожника; он двадцать девять лет уже как бежал, сказывают, от какого-то помещика, не то из Рязани, не то из Москвы, и все это время жил в подвалах, обшивал все околотки...» — «Ну, ну?» — спрашивал Левенчук, все бледнея и едва переводя дыхание. «Как вывели его оттуда, а он, как мушка сонная, осенняя, так и шатается от ветру, ухватился за волосы седые, белые, да и упал об землю. «Ведите меня, — говорит, — хоть в Сибирь, а только домой не ведите, на хутор. У меня, говорит, тут уж своя родина, и жена другая, и дети взрослые; а то я руки на себя наложу; я не крал, не грабил, тихо жил себе, работал...» А исправник смеется: «Ведите его, молодчика, да покрепче закуйте; он уж по четырем ревизиям пропущен, ему и имени Христова нет...» И повели его на Екатеринослав особо. Так

сказывала Шутовкина купца попадья...» Левенчук встал, оправился. Встала и Оксана. «Ну, Оксана, теперь ты будь готова. После Троицы зараз повенчаемся! Я пойду на корабли, договорюсь... Я уж устрою... Не житье нам, точно, здесь становится. Набрехал-таки Милороденко, иль оно уж изменилось! А ты только будь, значит, готова; не в Туретчину, и тут найдем место! Вон и в прошлое лето шел на заработки, с чужим мещанским пачпортом, за Елисаветград. Ну, да и места же это по Днепру, Оксана! Зашел я в такую лощину: все балки, песок красный, слюды блестят на солнце, тюльпаны дикие, как колокола, цветут, алые и желтые, по степям и по ярам, пахнет, весело, привольно... Вот хоть бы туда! Будь только готова; уж мы спрячемся — а там, слышно, и волю всем скажут! Согласна, серденько мое?» — «Согласна!» — «Так жди же меня, жди, жди!..»

Близился день Троицы, храмового праздника в хуторе отца Павладия. Соседние колонисты, беглые и всякий обычный, захожий люд в окрестности свято чтили и помнили этот день. Отец Павладий, от студеной весны лишившийся всех своих пчел, затевал давно завести новую пасеку, сторговал в соседней болгарской колонии двадцать колодок и со стариком дьячком, который был у него ходоком по всем денежным делам, собирался ехать туда на своей пегашке, вслед за обедней. Между тем он собирался нанять мимоходом, где случится, из своих более греховных прихожан, не раз после исповеди бывших в наказании на поклонах, десяток-другой подешевле косарей на свое подцерковное заповедное поле. Да, кстати, тоже с какого-то колониста к этому же дню следовала получка капитальца и процентов, по пятнадцати этак на сто, за полгода. Таковы уже заразительные обычаи этого коммерческого новороссийского люда. В минувшем году отец Павладий пустил часть круглого капитальца на соседний порт в доле с каким-то греком через того же дьячка, скупив малую толику пшеницы и льна. А немало деньжат блуждало и по северным уездам гу-

бернии, и по Дону, и по Кубани, оставляя под залогом в сундучке и в комодах отца Павладия серебряные ложки, браслеты, столовое белье, расписки, часы, даже ордена отставных майоров и ротмистров, ныне усердных плантаторов по рекам Мертвой, Кобыльной и далее до Яны-Салы.

VII

Новая сабинянка

Троицын день начался радостно для отца Павладия и прочих обитателей святодуховского хутора. Седенький рябоватый дьячок в ожидании обеда с выпивкой винца метался, прилизанный и прифрантившийся с утра, между прибранной заранее церковью и домом священника. Дьячиха варила есть батюшке, себе и гостям, обыкновенно наезжавшим сюда к храму. Отец Павладий ловко спрятал в своих каморках к месту книги, журналы и газеты, Бог с ними — нелюбимого местными господами Гоголя и гонимого директорами соседних училищ Белинского (которого отец Павладий в простоте души звал не Бели́нский, а Бе́линский), накурил весь дом немилосердно ладаном, так что суетившаяся с утра Оксана вбежала было, уже во время обедни, с чем-то в спальню батюшки, торопясь скорее покончить хлопоты, что-то поставить, что-то взять, надеть последние две ленты в косу и пойти степенно и величаво в церковь, но остановилась в клубах непроглядного дыма, покрутила носом и, ухватясь за глаза, выскочила на крыльцо. «Уж это, верно, батюшка раскутился; верно, росным или смирною так накурил!» Еще раза два простучавши по зеленому двору быстрыми пятами, Оксана, наконец, заперла ворота и пошла в церковь. На ней была новая ситцевая красная юбка, синие шерстяные чулки и козловые башмаки, только что из лавки. Много было там господ. Много экипажей стояло у склона байрака, между кустов и под рощей, у возделанного отцом Павладием пруда. Церковь, вся обросшая и густо укутанная

белыми акациями, сиренью и липами, едва оттуда торчала золотой маковкой. Чинно прошла обедня с акафистом и с коленопреклонением. Накануне была отслужена обычная панихида по умершим, былым приснопамятным переселенцам на Мертвые Воды. Как плакал обыкновенно в такой канун за панихидой отец Павладий, живой свидетель гибели этих переселенцев, так он прослезился и на этот раз. «Господи, помяни сих... сих несчастных, умерших, умерших разом!..» — прибавил он теперь такие свои слова к заупокойной молитве, просветлев от горя и вспоминая в числе «сих несчастных» и свою молодую чернобровую покойницу, по приезде сюда всех пленившую своим тихим нравом и белизною лица. Круглый и тучный, с красноватой лысиной старичок всегда казался особенно мил в этой маленькой чистой церкви, усыпанной песочком, утыканной от полу до потолка, по углам и по иконостасу свежими ветками, срезанными с рослых лип и берестов, посаженных его собственной рукой. В лучах света, прорывавшихся в распахнутые окна, празднично мелькали, кланяясь, черноволосые и русые головы, тихо и степенно мелькал в какой-то старенькой лиловой с разводами ризе сам отец Павладий, усердно кадя в лицо всякому и тихо повторяя молитвы. А козловатый дишкантик дьячка, благодушно ухмылявшегося на клиросе, мешался с песнями соловьев, гремевших с веток рощи, обступившей церковь. Были в церкви русские поселяне и многие колонисты. Последние красовались в своих особенных народных одеждах. Но вот что случилось на обедне. Неся святые дары на большом выносе, отец Павладий вышел из алтаря, читая внятно поминания, медленно поднимал глаза, сперва было упершиеся в загорелый затылок дьячка, не успевшего отойти вправо, и увидел в двух шагах от себя Панчуковского. Сердце невольно у него екнуло. Он его здесь никак не ожидал увидеть. «Где же, однако, Оксана?» — без всякой причины подумал он, читая молитвы. Продолжая по-прежнему говорить поминания, он повел глаза влево, как бы ища кого, и радостно остановился на преклоненной, перед выносом даров, своей воспитаннице, Оксане. Отец Павладий был так любезен,

так в духе, что после службы пригласил многих к себе обедать, не забыл и Панчуковского ласковым словом. «А у меня от вас, полковник, был посол, — сказал он, простодушно хихикая, — кажется, господин Михайлов, студент на кондициях у купца Шутовкина, и я ему дал по вашему ручательству триста целковых-с». — «Очень благодарен». — «Не угодно ли же и вам ко мне закусить?» — «О нет, извините; я сейчас на три дня уезжаю на торги, за Дон; там степь отдается, ее Шульцвейн хочет взять; ну, мы и поторгуемся». — «Вот как!» — «Да пора же нам, русским, за ум взяться с немцами!» — «Ого! — думал отец Павладий, скидая рясу в алтаре и спеша к другим гостям, — даже с Шульцвейном тягается! Дока, туз! И отлично, что я пристроил под его ручательство часть деньжат! Это все то же, что наш Ротшильд!»

Гости пообедали и разъехались рано. Оксана прислуживала за столом. Отец Павладий, покушав, задернул занавески в спальне, заснул, встал, выпил квасу и уехал с дьячком, как собирался, за пчелами, в надежде принанять под них еще подвод на месте.

— Смотри же, Горпина, — говорил он, уезжая, — не бросайте так горниц; день праздничный, много народу к пруду за водой шатается; еще чего бы не украли.

— А мне, батюшка, можно за рощу к девушкам пойти, когда сойдутся к байраку песни петь? — спросила Оксана.

— Можно, только без Горпины не ходи. Ты знаешь, всякий народ по праздникам бывает. Я ее со свету за тебя сгоню!

И тележка отца Павладия запрыгала по кочковатой дорожке.

Пришел вечер. Заря разыгралась с невиданной роскошью. К байраку за водой сошлись и съехались для утреннего запаса гребцы и косари. Толпы разошлись по пригоркам; взялись за руки, стали песни петь. Девки стали в «хрещика», в «коршуна» играть, разбегаясь с звонкими песнями и с веселым хохотом.

Дукаты блещут, ленты развеваются. Явилась и скрипка откуда-то. Пляс поднялся. Парни долго пока стояли в стороне, посмеиваясь и, по обычаю, громко хвастая разными разностями. Одни пасли тут же лошадей, сопровождающих всегда косарские партии, другие играли в карты, третьи в орлянку.

— У меня, братцы, семь целковых есть!

— Овва! Уж и семь; а у меня двадцать дома зарыто.

— Брешешь!

— Ей-богу!

— А по мне так три молодицы в Ростове убиваются... да я не жалаю!

Взрыв хохота.

— То, может, три свиньи, а не три молодицы! — кричат девки.

Хохот усиливается.

Хвастун, как говорится, «у серка очей позичает» (у волка глаз занимает) и не знает, куда деться от града насмешек. Шум, беготня обращают внимание на другое место. Ночь стемнела. Пары девок и парней расходятся по сторонам, по полю и к лесу. У пруда шалуны огонь было разложили и опять его потушили.

Тут произошло необыкновенное событие. Наутро заговорил о нем весь околоток.

Но надо воротиться несколько назад.

Утром в тот день перед обедней к Панчуковскому приехал купец Шутовкин.

— Я к вам, полковник, с просьбой! — сказал он. Это был грязный и жирный толстяк, с маленькими свиными глазками, с одышкой и с миллионным состоянием.

Шутовкин отерся и сел. На дворе было душно.

— Вы меня извините... Нападают на мои привычки товарищи, что я барином тут вволю живу, не скредничаю... Вот у меня дети; я учителя при них держу, и отличного... Но ведь я вдовец... Понимаете?

— Так-с.

— Так помогите же мне, полковник, обделать одно дельце... Понимаете?

— Какое?

Купец засмеялся. Жирные глазки его слезились.

— Край здесь на женщин плохой; их нет здесь. Я давно, видите ли, ищу кого-нибудь взять к себе в подруги...

— Ну-с, что же... И с Богом!

Купец крякнул и отер лицо.

— Здесь, видите, глушь, дрянь все народец; сплетни сейчас заводят, смеются... Я было решил дело попристойнее завести — за своей гувернанткой как-то приударил, к детям ее было нанял; так не поддалась. А теперь уж просто даже влюбился, наметил одну девочку. Вы человек холостой, поймете меня... Я решился увезти одну особу...

Панчуковский протянул гостю руку, но вместе с тем думал: кого же это он?

— Браво, Мосей Ильич! Кто же эта особа?

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал, трепля по руке полковника:

— Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уж и старух к ней подсылал, видите ли, подарки ей делал — ничто не берет... Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Решился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод или в город прежде, спрячу и в недельку авось ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

— Полковник, — сказал гость, — мы с вами коммерческие дела обделывали, помогите мне в этом! Я к вам обратился, как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполне не можем; у вас дворня дружная подобрана, да и они ничто перед вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

— Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

— Сегодня вечером у Святодуховки по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подъедем двумя тройками, моя красавица тоже там будет... Ну, а уж самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

— Согласен, извольте. Абдулка, Самусь! — крикнул он в окно своим любимцам. И, запершись в кабинете, господа обдумали все, как надо.

— А полиция? — спросил Панчуковский. — Ведь эти болгары народ мстительный и злой, не то что наши: пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

— Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите, а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Уже поздно, к ночи, парни и девки у святодуховской рощи затеяли прыгать через огни, как на Ивана Купалу. Священника не было дома, и некому было запретить это прыганье. Кто-то было поднял голос и сказал: «Что вы, озорники, делаете? Этого не позволяют и на Ивана, а вы теперь затеяли. Не вовремя такое дело, беду несет!» — «Своя воля!» — отозвались из толпы. Принесли парни и девки соломы, веток, бурьяну, разложили костерки от оврага к роще и стали с разбегу прыгать, ухватясь руками и гадая: чьи руки разорвутся над огнем во время прыжка, тому в тот год не венчаться. Голоса стали звонче, шум и гам усиливались. Подошли новые парни, в том числе люди Панчуковского. «Э! С вами бегать — горе наживем!» — со смехом отнекивались девки от исканий полковницкого Абдулки и еще одного рыжего парня. Но на слова: «Сударыня-боярыня, пожалуйте ручку!» — руки подавались, как и другим. Нечего говорить, что в это же время, как знакомцы и незнакомцы потешались в виду подцерковной рощицы запретной игрой, поодаль к двум курганам впотьмах подъехали и стали у ов-

рага коляска и телега. «Тише, тише!» — распоряжался с телеги, не вставая, толстяк Шутовкин. Часть его подобранной шайки смешалась с играющими, двое залегли на дороге в кустах, а Самусь, полковник и он сам ждали у лошадей. Полковник, слегка бледный от ожиданий, стоял, облокотясь о свою коляску, запряженную ухарской скаковой четверней, молча глядел в темный воздух, в ряд мелькавших огоньков и покручивал усы.

«Что-то нейдут, не слышно ничего! Как-то дело разыграется? — думал Панчуковский. — Утащить, схватить не шутка; да как уйти от погони? Их ведь не шестеро там...»

Шутовкин только удушливо сопел и неподвижно с огромной телеги глядел вдаль, прислушиваясь к игравшим у огней. Лошади стояли, опустя уши, и только изредка вздрагивали, дремля и лениво переступая с ноги на ногу. Многое думалось полковнику. Он вспоминал щегольской Питер, изящную гвардию, товарищей, оперу, разные прочитанные романы, разных нежных барышень, в которых еще недавно влюблялся, и соображал, каким разбойничьим и смелым делом теперь ему пришлось заняться: чистый Стенька Разин или, по крайней мере, Казы Магома и Шамиль, укравшие Орбелиани и Чавчавадзе. «Эх, край! — думал он. — Чистый Эдем!» Не успел он раскинуться мыслями, как со стороны сторожи, лежавшей в кустах, раздались голоса: «Шш... бегут!» — и в то же время вдали у огней произошла какая-то сумятица и свалка.

Через минуту Шутовкин и Панчуковский услышали, как по полю, впотьмах, тяжело бежало несколько человек, то останавливаясь, то опять ускоряя шаги, как бы борясь с кем-то по дороге. Вбежав в кусты, эти лица ускорили бег, соединившись с засадою. Еще через секунду раздались и сдержанные крики: «Ой-ой! Пустите, пустите», — и прямо к телеге плотоядно трепетавшего Мосея Ильича с размаху была притащена бившаяся белая фигура. Косы у нее были раскинуты, грудь распахнута, одежда изорвана.

— Душечка, душечка, перестань! Перестань! — шептал Шутовкин, ловя ее с телеги впотьмах жадными дрожащими

руками, и, едва из сил выбившаяся прислуга свалила ее к нему в телегу, он закричал обезумевшим от радости голосом:

— Погоняй, валяй! Гони вскачь! Бей!

И оба экипажа шарахнули по предварительному условию в разные стороны. Развязанные колокольчики зазвенели и понеслись, то смолкая, то опять звеня и пропадая вдали. Они скакали без умолку, летя без дороги. Отскакав версты три, экипажи опять подвязали колокольчики и понеслись неслышно в темноте далее. Но среди их нежданно появился, как бы также по условию, какой-то верховой и полетел с колокольчиком в руках, звеня, в третью, противоположную сторону. Он уже сбил слушавших окончательно.

Толпа играющих между тем едва могла опомниться от изумления. В конце вереницы уже погасавших огней произошла безумная суматоха. Пробежала молва, что какой-то парень, крепко ухватив за руку девку, потащил ее насильно. «Не дави, пусти, а то брошу!» — говорила она. «Не бросай, скачи, а то не повенчаемся, как разорвемся!» Она засмеялась и не вырвала руки. Пары побежали. Эти же двое вдруг отделились и побежали в сторону, в поле. Девушка все еще смеялась и отбивалась слегка. Но к ним прибежали еще двое. Они скрылись в темноте. Раздались крики: «Ой-ой! Спасите, не пускайте!» Парни сбежались на то место. «Кого это кто подхватил?» — «Милованку, Милованку, девку из колонии!» — «Кто же это?» — «А бес его знает!» Оглянулись, стали перебирать меж собою, кто это недоброе такое затеял. Смотрят — знакомые всем полковницкие люди тут, и Абдулка между ними стоит и тоже мечется, будто ищет, кто бы это такое затеял. А крики все дальше и дальше по полю...

— На коней, братцы, на коней! — закричала толпа парней. — Где наши кони? В погоню за ними, отбивать! Бей их, бей! Как! Наших девок красть! Бей... души их!..

Парни кинулись на пастбищный луг за лошадьми, поскакали верхами по звуку колокольчиков, а другие побежали пешком в стороны. «Садись и ты на коня!» — кто-то крикнул Абдулке. «У меня свой тут», — ответил

тот и поскакал также. У него был за пазухой колокольчик. Влетев в степь, он вынул его, зазвенел им, повернул коня назад и сбил этим дружную погоню. Ему это было не впервые: закубанский татарин, он еще недавно набивал руку на подобных наездах.

Костры между тем стали потухать сами собой, девки разбежались первые.

— Пойдем и мы, тетка, скорее домой! Вот страсти! — говорила напуганная Оксана тетке Горпине, между тем сильно подгулявшей с какими-то солдатами, тут же у пруда, и едва волочившей ноги. — Ох, бабо! Скорее, скорее пойдем! Да нуте же, двигайтесь шибче! Вот засиделись тут! А неравно батюшка приехал; что тогда нам будет? Скорее, скорее, скорее! Вот страсти! Я сама вся мертвая...

— И, моя кралечко, а так-таки ничего; сказано: повеселились, ну и все тут! — отвечала Горпина, сильно пошатываясь, при помощи Оксаны спускаясь в овраг и в рощу и беспрестанно спотыкаясь. Оксана ее поддерживала, пугливо к ней прижимаясь и в ужасе вглядываясь в темные, будто враждебные ей, ветви ракитника.

А в темноте теплой чудной ночи то там, то здесь носились какие-то шорохи, свист раздавался, топот конский звучал, крики издали проносились, и ни одна звездочка не освещала темной, непроглядной ночи. Байрак замолк. Зазвенел еще где-то за холмами колокольчик, зазвенел и опять затих. Молчала вся таинственная, обворожительная новороссийская ночь...

«Господи! Выручат ли они ее?» — подумала, перекрестившись, Оксана. Плетень затрещал под ее рукою. Она перелезла во двор и отперла ворота.

Введя тетку Горпину в кухню, Оксана уложила ее тотчас спать. Сама она не решилась лечь, по летнему обычаю, на дворе, на крыльце, а тоже легла в кухне, заперла двери на замок и, наскоро помолившись, свернулась, еще дрожа от неожиданных страхов, и стала думать: «Вот страсти, так

страсти! Боже! Боже! Где-то теперь мой Харько! И батюшки нашего до сих пор еще нету! Что это значит? Господи, спаси нас и помилуй!..»

Оба экипажа, верст за шесть, опять съехались. Продолжал скакать в противную сторону один Абдулка, сбив погоню парней.

— Поздравляю, Мосей Ильич! — сказал Панчуковский, доскакав до осиновой рощицы и выпрыгнув из коляски.

— Спасибо, Владимир Алексеич! — отвечал тот, протягивая впотьмах Панчуковскому толстую руку и ловя его за плечи. — Позвольте вас обнять! Эта роща, эти осинки останутся у меня навсегда памятны...

Похищенная колонистка сидела молча, тяжело дышала и не поднимала от колен лица. Она была связана вожжами.

— На завод! — крикнул кучеру Шутовкин. — Благодарю еще раз, полковник. Я у вас в долгу. Пошел!

— Будьте счастливы!

Тройка Шутовкина выбралась снова из лощинки в гору, от условленного места свидания, от осинок, и поскакала по пути к салотопенному заводу Мосея Ильича, бывшему от его собственного незаселенного поместья верстах в пятнадцати. Там Шутовкину предстояло среди уединенного, почти пустого летом, хутора, как новому рыцарю Теобальду, склонить или не склонить на свою сторону сердце похищенной им новой Элеоноры.

Панчуковский между тем стоял впотьмах, в раздумье, у осинок. «Завтра надо ехать на торги! — мыслил он. — Все хлопоты и хлопоты, а счастье все как будто за горами! Где же оно? Где? Что, как бы теперь же и мою?..» И дух у него замер. Он прошелся раза два у коляски. Верный Самусь оправлял лошадей. Чужая удача охмелила полковника.

— Самусь!

— Чего угодно?

— Абдулки еще не слышно?

— Никак нет-с.
— А скоро будет сюда, как думаешь?
— Должно статься, скоро.

Панчуковский стал вслушиваться. «Да или нет? — думал он с тревогой в сердце, вдыхая нежный запах хлебов и трав и тихо похаживая возле коляски. — Ехать ли на торги, или и мне порешить теперь же, в эту ночь, с моею красавицей, задуманное, желанное, небывалое еще и не испытанное мною?.. Нет, это будет слишком дерзко! Я-то уж никак не уйду от преследования. Меня узнают, отыщут ее... А чудная, чудная девушка! Нет, нет... Еду на торги, отсюда же прямо еду... Ведь сорок верст».

— Самусь! — сказал он и не успел услышать ответа, как со стороны осинок из-за косогора послышался еще отдаленный, а потом близкий топот лошади, бежавшей вскачь.

— Абдул-с Албазыч! — сказал Самуйлик, — это он-с...

Панчуковский выждал, встретил Абдулку, сел наземь, велел к себе ближе подойти Абдулке и Самуйлику и сказал:

— Так как же, ребята? А нашему делу разве пропадать, а?

— Нашему-то? — спросил Абдулка, стирая с лица пот.

— Да.

— Ну, нашему и подавно, ваше высокоблагородие, не следствует пропасть! Полагать должно, что и нам не приходится зевать.

Полковник достал из коляски припасенную флягу водки, дал кучеру и слуге по стакану, дал им закусить из собственного складня, выпил сам и закурил сигару.

Лошадям дали вздохнуть, попасли их с час на траве. Полковник лег на разостланном коврике и думал: «Вот край! вот места, эта Новороссия! Рассказать бы о них нашим питерским! О, какое раздолье во всем! Что за ночь, какие чудные таинственные романы она здесь покрывает?»

Панчуковский велел готовиться в путь. Лошадей опять запрягли. Он сел в коляску, а Абдулка поехал за ним верхом. Всю дорогу говорили они шепотом, ехали шагом.

Ночь между тем будто еще более стемнела. В первый раз уже прокричали петухи. Месяц в то время показывался только перед самым утром. На дворе отца Павладия все было спокойно. Тетка Горпина крепко спала в сенях кухни, оглашая их изредка храпом. Оксана нарочно ее положила спать на пороге, у выхода из сеней на крыльцо, а дитя Горпины положила в кухне. Самой Оксане долго не спалось, как она ни мостилась для этого. Уж она передумала с полкороба и о Харько и о том, что он обещался явиться вскоре после Троицына дня. Перекидывала она в мыслях картины ожидаемой своей свадьбы: как она оденется, как пойдет в церковь, как на нее люди будут смотреть, а ей жутко, и весело, и страшно. «Что, как бы Левенчук пришел в эту самую ночь?.. — неожиданно подумала она. — Вот бы до смерти обрадовал, и эти страхи прошли бы сейчас! Да что я, в самом деле, какая-таки я дура! Где ему теперь шляться по ночам; он на неводах...»

Оксана с этою мыслью повернулась к стене, сжала глаза и решилась окончательно заснуть, как в сенях скрипнула половица. «То, верно, тетка Горпина проснулась и ищет воды с похмелья напиться!» — решила она. Шаги опять раздались уже под окном, и после кто-то взялся за ручку двери, подумал, что она, верно, заперта снутри, и затих... «Левенчук!» — мысленно решила Оксана и быстро в восторге вскочила с постели. Ей стало вместе и страшно, и радостно. Озноб пробежал по ее спине. Дыхание замерло. Она в одной рубашке подбежала к окну: как ни темно еще было на дворе, но в сумерках ей показалось, что какие-то две тени прошли по двору. Мысль о возвращении дьячка и отца Павладия, а потом вдруг о ворах мигом блеснула в ее голове. Как была, раздетая, она кинулась за печь, постояла, вся дрожа от испуга, а потом стала наскоро одеваться. «Что, как придут и зажгут огонь, а она раздетая! И кто бы это был? Как спокойно ходит по двору! Верно, батюшка, да сердитый, приехал! Достанется и мне теперь!» Наскоро накинула она юбку, стала повязывать вкруг головы косы и в ужасе ахнула. Дверь быстро отворилась, и с зажженною восковою свечою

в кухню вошли бледный и взволнованный Панчуковский и сияющий Абдулка. Оксана сразу не успела сознать всей опасности своего положения; но в первый же миг узнала и свечу, взятую у киота в комнатах отца Павладия, и вспомнила, что даже спички там на столике лежали. «А где же тетка Горпина?» — подумала она, глупо запахивая рубаху и прижавшись за притолок печи. Но свечу вошедшие сейчас задули, едва окинув глазами кухню.

— Что вам? — тихо спросила Оксана из-за угла печи, не зная в лицо пришедших и слыша, что они к ней идут.

Ее мигом впотьмах схватили две крепкие руки и стали вязать. Она крикнула сперва: «Тетка! Тетка Горпина! — силясь отбиться, но вслед за тем крикнула громче, по местному обычаю. — Кто в Бога верует, ратуйте!» Недолго с нею боролись полковник и Абдулка. Они завязали ей рот, стянули вожжой ей ноги и руки и бережно, тихо перешагнув через тетку Горпину, понесли ее двором через плетень и церковной оградой и лощиной оврага вышли к пруду и к роще. «Это удивительно! — думал Панчуковский, неся Оксану и передавая ее Самуйлику. — Как спокойно и беспрепятственно унесли мы эту драгоценность отца Павладия! И арбузов по ночам с бакши так счастливо не воруют тут ребятишки!»

— Вот же вам, ребята, пока по червонцу; а доставим до места, будет еще по два! — сказал полковник, уложив в коляску Оксану, и сам стал моститься к ней. Вопреки Шутовкину, дрожавшему при покраже своей красавицы, полковник был совершенно спокоен.

— А старуху, ваше высокоблагородие, ослобонить? — спросил Абдулка.

— Развяжи ее, освободи!

Абдулка сбегал обратно во двор отца Павладия, обошел снова все комнаты священника, поставил на место к киоту свечу, запер все двери, снял веревку с ног и с рук тетки Горпины, не чувствовавшей с похмелья ничего бывшего в ту ночь с нею, перешагнул опять через нее и снова побежал к коляске.

— Что ты так долго был там?

— Жаль было веревки; это, ваше высокоблагородие, на нее с новых постромок захватил!

Коляска, подхваченная быстрою четвернею, понеслась легче ветра. Теперь обычай полковника, ездить не иначе как вскачь, особенно пригодился.

— А мне куда? — спросил, провожая барина, Абдулка.

— Ты ступай домой. Да смотри молчи обо всем!

— Слушаю-с, будьте спокойны.

История вышла громкая, но ее драма завершилась еще нежданным отступлением. Толпа подпивших у ракитника парней погналась, по слуху, за колокольчиками, отбивать похищенную колонистку. На дальнем перекрестке у мостка, над дрянной мочажинкой, поросшею вербами, парни наскочили на какого-то верхового. Крики: «Бей, бей! Души их, лови!» — его испугали. Он притих на седле и вздумал было ускакать в сторону, от мостка к вербам. «А, сюда! Вот он! Держи его!» — заорала толпа, и пойманный ею верховой был стащен с лошади. «Кто ты? Где она? Где вы ее девали?» — горланили парни. Почтенный друг Вебера, арендатор Адам Адамыч Швабер (это был он) трухнул не на шутку. Он ехал также с тайного свидания, от одной молочанской вдовы из раскольников, бережно хранимой им от своей супруги и от всех, и теперь испугался вдвойне и того, что его окружила толпа пьяных, и того, что могли открыть его похождения. Он стал запираться, что ничего не знает и не видел.

— Да что его слушать! Бей его! Розог сюда, розог! — гаркнула пьяная толпа. С почтенного отца семейства стащили зеленую куртку, сбили с него шляпу, положили его на траву и всыпали ему сотню вербовых, да таких, что лучше бы и не вспоминать этого.

— Ну, теперь, дядюшка, ступай и не поминай нас лихом! Может, и не ты, а все-таки поделом!

Изумленный, огорченный и до смерти напуганный Швабер остался один, оделся, с трудом снова взлез на коня, едва добрался до своего домика, охая, вошел в комнаты и лег спать в кабинете вместо спальни. До утра он проплакал

и мысленно ругался на все лады. Но событие той ночи он положил скрыть от всех и скрыл, как серьезный и честный немец.

Купец Шутовкин, поместив свою Дульцинею на салотопенном заводе, в пустой хате, под стражей двух верных слуг, до того забылся в своем счастье, что, несмотря на детей, стал к ней ездить явно, среди бела дня, проводя у нее целые сутки и дрожа над ее белым молодым телом, как ревнивый турок. Он забыл и детей своих, и пересуды всего околотка. Скандал вышел в окружности общий, небывалый. Все костили грязного сластолюбца на чем свет стоял. Процеживали сквозь сотни сит каждую весточку о его переездах к ней, о том, как через какой-то неглубокий ручеек он по ночам пробирался к своей красавице, несмотря на собственную тучность, на особо устроенных ходулях; какие ей давал имена, как вел себя у нее. Это все уже мигом узнали пытливые умы. Только, как обо всем обычном, об этом также говорили недолго. Прошла молва, что болгары той колонии, откуда была эта девушка, ходили жаловаться в стан, а потом в суд; ходили и к самому купцу, но кошелек точно произвел свое: угомонился и становой, и суд, и грозные обруселые болгары, и сама похищенная. Через три недели она свободно уселась в фургон Мосея Ильича и открыто переехала к нему в дом, на новое диво всех новороссийских его соседей, детей и их учителя, студента Михайлова.

Зато с Оксаной была другая история. Оксана как в воду канула. Прискакали на другой день без памяти отец Палладий и дьячок; они все узнали еще дорогою и накинулись на дьячиху.

— Где Оксана?

— Не знаю; так и так, попритчилось.

Дьячок схватил старую Горпину за седые косы и стал бить ее и мотать по хате. Священник обезумел от горя.

— Что ж делать! Бейте не бейте, а я не знаю; пропала моя душа! — стонала под жестокими ударами дьячиха Горпина.

— Да где же ты была, подлец баба? Где была? — допытывал дьячок.

— Что же! Напоили люди, солдаты какие-то у пруда... Я была с нею там, а после заснула в сенях, а тут и попритчилось.

— А! Солдаты у пруда! Иди же сюда...

Дьяк запер жену в чулан, пытал, но ничего не открыл. Не мог ничего открыть и отец Павладий...

«Ту, положим, украл купец; а эту? Панчуковский? Так нет же; он еще с утра уехал за Дон».

Так думал священник.

И точно, самого Панчуковского во время пропажи Оксаны дома не было. Это знали все. Через три дня он воротился из-под Ростова, где его видели все, как он там был и спокойно торговался о степи. Шульцвейн уступил, Панчуковский надбавил большую цену и взял у владельцев степь себе.

Куда же помчалась коляска полковника в конце ночи, огласившей тихие и уединенные берега Мертвой двумя похищениями? Очень просто: Панчуковский увез свою пленницу на арендуемую им у одной донской помещицы землю, оставил ее там под надзором Самуйлика, а сам с другим батраком, стороживщим его уединенную пустку (хижинку между двумя овчарскими загонами и чабанской хатой), поспешил на торги. Оксана была спрятана за перегородкой. В ожидании барина услужливый Лепорелло предлагал ей есть и пить, но она упорно от всего отказалась и ничком на кровати пролежала до вечера. Под вечер полковника обратно примчала бойкая четверня. За повозкой ехал и знакомый фургон Шульцвейна; но его хозяин сидел в коляске с Панчуковским и с ним вошел в пустку, продолжая по-немецки разговор и спор о перебитой у него аренде. Оксана слышала все из-за перегородки и не решалась отозваться. Она считала гостя за приятеля своего похитителя и не знала, что этот самый гость первый ему когда-то сказал о ней и первый любовался воспитанницей отца Павладия. Посидел немного Шульцвейн, понюхал табачку, спросил еще раз со вздохом:

«Так вы не отдадите мне этой степи и за отступное?» — получил отказ и взялся за шапку.

— Вы слышали, — спросил колонист, выходя на крыльцо и продолжая речь по-немецки, — вы слышали, там на торгах, как вы уже ушли к хозяевам, приехал купчик с Мертвой и привез известие — странное известие — о покраже сегодняшнею ночью двух девушек, возле рощи вашего соседа, священника, и будто одна из похищенных та самая воспитанница священника, о которой я вам когда-то, помните, говорил?

— Нет, не слыхал! — ответил полковник, бережно запирая за собою двери.

— Жаль, — сказал, уезжая, Шульцвейн, — таких господ — это, наверное, наши помещики либо офицеры-горожане, — их бы давно пора остановить... Это скверно, подло! Прощайте! Напишите мне, кто это.

— Прощайте! С удовольствием!

Колонист уехал. Панчуковский отослал людей на овчарню, вышел, осмотрел кругом свою пустку, вошел туда обратно, запер за собою двери, постоял в сенях и тихо ступил за перегородку. Оксана сидела, спустя голову на связанные руки.

Между тем пора, назначенная Левенчуком для последнего выкупа Оксаны, давно прошла. Отец Павладий ходил по комнате, заложа назад руки, выглядывал в степь, подходил к байраку, к пруду: «Вот здесь она белье мыла, тут часто шила, птицу стерегла. Ах, подлец же, подлец Панчуковский! Что выкинул! Это он, он! Больше некому. Зверь-кровопийца, и по-звериному запропастил ее без следа!» — так думал отец Павладий, и сердце уже не манило его по обычаю пойти запереться в спальне, перебирать и считать депозитки новых барышей. Зато же он наседал на литературу. По целым дням читал новые московские и петербургские журналы, а на книгу «Сельское духовенство в России» стал даже разбор писать, охая, сопя и не зная, где лучше выбрать студеное местечко в доме для работы. А кругом наступала последняя знойная, душная пора уборки хлебов.

Раз привез попу дьячок из города почту. Он кинулся прежде на газеты, единственную роскошь своего пустынного и глухого степного быта.

— Боже, опять публикация о беглых! Эк их сколько! Когда-то этому конец будет?

И он стал читать, наскоро разрывая пакеты херсонских, таврических, донских и прочих местных ведомостей.

— Послушай, Фендрихов, — говорил он дьячку, степенно стоявшему у дверей, — вот что пишут. Дай-ка платок носовой... Да трубочку набей... за табаком надо съездить... Слушай, вон в таврических пишут: «Оное же правление извещает, бежал в третий раз, четыре года назад, Макарославской губернии Южнобайрацкого уезда дворовый человек помещика Студныченко, Василий Милороденко, он же по прозвищам в бегах: Александр Дамский и Аксен Шкатулкин. Бежал он, обвиняемый в сообществе с нахичеванскими армянами, делавшими фальшивые ассигнации, и в подделке для придонских пристаней, беглым же людям всякого звания, паспортов. Приметы ему: нос, рот, подбородок и уши умеренные, глаза карие, волосы и усы темно-русые. Особых примет не имеется. Говорит хорошо по-русски, веселого нрава, вежлив и выдает себя иногда за человека высшего круга; более нанимается в лакеи и в приказчики, а в часы загула ходит по шинкам и сборищам с бубном, играя на нем за деньги. Почему оное правление, ведя дело о паспортах и фальшивых ассигнациях, нашедшему или указавшему его обещает дать приличное вознаграждение и покорнейше просит все подлежащие присутственные места не оставить...» и проч.

— А? Фендрихов! Слышишь?

— Слышу-с, ваше преподобие! Подло-с.

— Ведь это тот самый Милороденко, друг Левенчука, что и у нас на подцерковной два года назад косил? Как ты думаешь?

— Тот-с; я его еще с двора прогнал тогда: к нашей Оксане еще, безобразный человек, тогда подбирался, ваше преподобие...

— Эх, Оксана, Оксана!.. Да ты слышишь — фальшивые ассигнации делал и паспорты... А это ведь каторгой пахнет! А кажется, и хороший человек. Повторяю тебе, Левенчук ему еще и приятель; он сказывал, что этот Милороденко на дворянке будто был где-то женат... Да где-то, Фендрихов, и Левенчук теперь?

Дьячок вздохнул.

— Да-с, срок-с подходит! На днях, полагать должно, он вынырнет где-нибудь, Оксану потребует либо деньги, выкуп назад.

— Что деньги! Не в деньгах дело! Не их, братец ты мой, жаль! Жаль парня; хороший человек! Ведь голову потеряет, руки на себя наложит, узнал уж я его, что за человек! Как он надежды эти строил — поселиться за Кубанью или в Бессарабии хотел, а уж Оксану-то любил он, любил... Подло, Фендрихов, Панчуковский поступил! Не убоялся таганрогской истории!

— Подло-с; распреподлеющий и развратный человек, и только-с. Сказано, смерд собачий, а не люд Божий! Я бы ему голодному в голод али прозябшему в мороз, в метель, хлеба, места теплого не дал, я бы ему больному...

В это время в сенях скрипнули двери. Дьячок насторожил уши, шмыгнул туда, посмотрел, вошел в сени, поговорил с кем-то и явился в комнату смущенный.

— Ваше преподобие! Там от этого самого Панчуковского-с, от полковника приехали!

И такова сила богатого человека в свете: как ни бранили полковника эти люди, а появился простой посланный от него, и они потерялись.

Отец Павладий засуетился, оправился, даже прежде надел подрясник и вышел к приехавшему. Сначала он смешался, увидя, что это лакей.

— Что тебе, любезный? — спросил радушно отец Павладий, не поднимая глаз на посланного.

— Полковник прислали просить газет, что вы получаете, на день только, говорят, от скуки почитать! — ответил Абдулка (это был он).

Священник задумался. «Странно! — подумал он. — До сих пор ни разу не просил, или он прикидывается, чтоб показать, что совесть чиста, или, в самом деле, не он украл Оксану? Так где же она и кто ее украл?..»

Он вынул платок, сам не зная для чего, повертел его, высморкался.

— Так ты говоришь, что ему нужны газеты?

— Точно так-с.

Отвечая это, Абдулка бойко поглядывал по сторонам, как бы обнюхивая, в каком положении находятся стены здесь с тех пор, как он тут свободно ходил и ставил обратно свечку.

Священник вертел в руках платок.

— Это ему читать?

— Читать-с.

— Стало, он дома? Это скучает он, значит?

— Дома-с.

— Он что делает?

— Известное дело, барин! Больше пишут-с, лежат на диване или приказы отдают либо курят... У нас тоже гости бывают.

— Кто же?

— Господа Небольцевы, немец Шульцвейн опять насчет степи наезжал...

— А он ездит куда?

— Как не ездить! В поле ездят на работу; так куда-нибудь, в гости...

Священник обратился к дьячку, у которого рот с приездом Абдулки как открылся, так и остался.

— Газеты, Фендрихов, на столе лежат?

— На столе.

— Все там лежат?

— Все.

— Ну, так ты ему это дай; а ты, видишь ли, любезный, полковнику кланяйся и скажи ему от меня... слышишь? От

меня скажи: очень рад, да чтоб только листочков там не помяли.

— Будьте покойны-с.

— А косари почем? — нежданно и уже без всякой причины брякнул старик.

— По трехрублевику-с в день и по порции.

— Ай, батюшки! Вот ломят! Ну, да я по трехрублевику не достану, где нам!

Посланный уехал. Священник вошел в комнату, стал перед дьячком, отер крупный пот с лица и расставил руки, а потом ударил себя по лбу:

— Вот опростоволосился! И чего я так его почтил? Что, брат Фендрихов, а? Каков тузище?..

Дьячок махнул рукой и зарычал:

— Голодному ли, в мороз ли, больному ли, а я бы ему отказал! Развратник, антихрист! Это он, другому некому, я уж знаю! Эк! Анафема! И еще за газетами к нам же... Тьфу! И сраму им нет.

Газеты полковнику отвезены, но он их бросил, не читав, и, следовательно, не имев случая узнать, кого разыскивают из новых беглых, за чем он прежде всегда следил, между прочим. Когда священник получил обратно газеты, он заметил, что полковник их вовсе не читал. Они были в том же положении, как сложил он их, отправляя.

«Странно! — подумал священник. — Так и есть, он их брал, чтоб только вид показать, что его совесть против меня чиста. Но с беглыми как бы он теперь не попался...»

VIII

Пленница

Между тем как Мосей Ильич Шутовкин, поручив своих детей Михайлову, с незапамятным порывом отдался поздним опытам любви и плотоядно увеселялся в компании своей кра-

савицы, а Михайлов, предоставляя малым птенцам клевать не одни зерна науки, но и всякие другие зерна, благодушно аферировал с мелкими окрестными торгашами, — в это время буквально никто в околотке не знал, куда делась вторая красавица. Таковы уже степи. Кто украл, догадывались сначала немногие; но потом и эти бросили свои догадки и почти перестали вовсе судить о них. Да и не к тому повернулись в ту пору общие толки и мысли. В это время подходила жатва пшеницы; пшеница начинала уже осыпаться, все хватались за серпы и косы, а между тем носились тревожные слухи о саранче, что будто где-то, не то с Дону, не то из Крыма, она летела и близилась. С трепетом поглядывал Панчуковский на свой громадный рисковый тысячедесятинный посев пшеницы. Он частенько показывался на балконе верхнего яруса своего дома и, куря душистую кабанас или фуэнтес, всматривался в далеко волнующиеся сухим шорохом хлебные нивы.

— Почем у вас в конторе объявлена цена за съемку десятины пшеницы? — подобострастно спрашивали полковника мелкие соседи его, из небогатых дворянчиков.

— Дорого-с, — говорил, надменно подшучивая, новороссийский янки, — по девяти целковых за десятину, скосить только и сложить в копны! Осточертела мне совсем эта пшеница своими анафемскими расходами!

— А! По девяти целковых за одно это? Вот сказать бы это в Питере!

Соседи ухмылялись улыбочками голодных собак, но втайне трепетали, что им надо будет тоже платить.

Но где же Оксана? Куда запрятал ее Панчуковский с той поры, как ее завез было на свой хутор, под Ростовом? Никто этого не знал и не ведал.

Знали соседи, что точно полковник ездил в день пропажи Оксаны на торги, был там с Шульцвейном и через три дня воротился. Стал он потом ездить всюду, по-прежнему, разговорчивый, степенный, веселый и вместе серьезный, пленяя всех своим нарядом, обращением, прической и даже щеголь-

скими ногтями. Глянет, по отъезде его, на свои лапищи и на навозоподобные ногти какой-нибудь Вебер, или Швабер, или сосед-плантатор из русских же, рассмеется и плюнет на пол, не метенный уже две недели по поводу полевых работ.

— И когда у этих господ, — замечает иной из них, — времени станет еще на такое продовольствие ручек и ногтей! Тут некогда иной раз головы вычесать, бороды побрить; рубаху одну по неделям в степи таскаешь, так что после жена и в спальню к себе не подпускает! А он? Это непостижимо! И дела как будто идут еще лучше нашего! Вон и Шульцвейна, говорят, осилил... непостижимо!

«Сказать бы опять, что полковник, если бы похитил точно девушку, — думали иногда соседи, — то ворота бы затворял в свое жилище, а то нет: всякий входит туда и выходит оттуда свободно!»

Стены действительно были высоко выведены, не влезешь без порядочной лестницы на них ни снутри, ни снаружи. На воротах висели огромные замки. Снутри они еще запирались прежде на ночь на железные засовы, а теперь стояли постоянно настежь. В кухонный флигель, единственное здание, кроме конюшни, внутри главного двора (остальные здания: рабочие, кузница, овчарни, скотные сараи и ток были за двором в полуверсте), также всем позволялось ходить. В самом доме, наконец, внизу и вверху, окна были, как всегда, не закрыты ставнями. В нижних окнах, под полуопущенными белыми жалюзи, отороченными алыми фестонами, часто показывалась красивая русая голова владельца. Слуга, повар, кучер и приказчики отдельных частей, являясь из кухни и из задворных строений, так же свободно входили в дом за приказаниями и по делам домашнего обихода. Однажды только в это время полковника сильно огорчили некоторым громовым известием. На степь, перебитую им для своих овечьих стад у Шульцвейна на торгах, налетела с Кубани саранча и в два дня съела все камыши и травы. «Оборвалось! — сказал Панчуковский. — Ну, да зато же немца в пыль стоптал!» И стада, вышедшие было из его хуторов на новые приволья, возвратились снова

назад. Зато домашнее счастье выкупало теперь всякие потери, да и ожидался сбор с баснословного в крае посева пшеницы. «Сто тысяч дохода за глаза! — думал полковник. — За глаза!» Часто под вечер, высунувшись из окна кабинета в тень на воздух, когда солнце уже переливалось за другую часть красивого двухэтажного дома, кидал он на двор просо и кормил из своих рук голландок, кохинхинок, хохлатых разнородных кур собственного завода или сманивал к крыльцу, швыряя гарнцем крупы, целые стаи голубей, водившихся на крыше каменной конюшни. Голуби кружились, садились по двору стадами или, насытившись у крылечка, вились над большими тополями, осенявшими дом до верхушек окон второго этажа, полузакрытого ими. Ходила возле кур и голубей, ухмыляясь в счастье и в гордости хозяйки, одна подслеповатая батрачка, шестидесятилетняя добродушная карга, Домаха, также из беглых. В бегах она пребывала уже более сорока лет, мыкалась во многих местах и была рада, что сперва пристроилась в Новой Диканьке кухаркой нанятых рабочих, потом коровницей и, наконец, птичницей. Домаха была совершенно седая и даже с седыми кустоватыми бровями, отменно шедшими к ее темно-оливковому, южному морщинистому лицу. Она постоянно где-нибудь смиренно копалась, отличалась мягкостью нрава и голоса, исполняла молча все, что ей давали, заменяла и огородницу, и водоноса, и дворника. Хотя теперь у полковника во дворе, в отличных деревянных конурах содержались на цепи два злейших цербера, но полковник, поглядывая иногда на них и на Домаху, шутливо думал: «Нельзя ли уволить и собак и их должность также поручить Домахе? Она, верно, и лаяла бы с усердием по ночам!»

Итак, следов пребывания Оксаны у Панчуковского не оказывалось.

— У! Проклятое бурлачье! Оно горой за него стоит! — говорили мелкие соседи, изредка еще толкуя о лихой дворне полковника. — Точно вертеп Синей Бороды! Что попадет туда, пиши пропало: как в воду канет. То пробавлялся захожими по воле красавицами, из окольных, а тут уж, как

черкес, воровать живьем стал... Шутовкин тоже украл, да не прячется; а этот еще хитрит!

Являлись даже нарочитые соглядатаи к полковнику. Приезжали, между прочим, брат Небольцев, естественная дрянь, сплетник, слабохарактерный подслеповатый игрок и гаденький мот, в долгах, как в паутине, с целью будто бы купить браковых овец у полковника, а собственно поглазеть и понюхать, не спрятана ли где-нибудь в Новой Диканьке похищенная воспитанница отца Павладия. Его приняли очень сухо, но вежливо, и он уехал, ничего не открыв. Являлись в Новую Диканьку, будто мимоездом, из Святодухова Кута и дьячок и сам отец Павладий. Даже губернатор, говорят, прислал полковнику при энергической ноте, для сведения и ответа, безыменный донос о передержательстве беглых крестьянок и «неизвестно куда пропавшей воспитанницы священника Павладия Поморского». Панчуковский мастер был отписываться; ответил губернатору резко и умно, а вместе с тем частно послал исправнику три ящика отличных дорогих сигар. Но не мог полковник не обидеться на выходки соседей из более порядочного круга.

— Господа, довольно! — говорил он в одной компании, играя в банк третьи сутки. — Всякая шутка должна иметь свой конец. Я прошу вас больше не упоминать при мне об этой истории. Она обижает и меня, и мой чин, и мое положение в свете. Я уже вышел из поры дюжинного волокитства... Я, господа, не черкес и не юнкер, а Владимир Алексеевич Панчуковский!

Если бы кто захотел, однако же, подлинно узнать о судьбе Оксаны, тому стоило только обратиться с вопросами к старому чабану на арендном хуторе полковника. В день, когда Панчуковский, проводив после торгов с хутора колониста, вошел за перегородку своей пустки, чабан к вечеру услышал невыразимые крики. Чей-то сперва сильный и громкий, потом тихий и слабый голос молил о пощаде...

Старый чабан, больной и дряхлый человек, а некогда музыкант, вторая скрипка какого-то князя, из беглых, собирался уже Богу молиться после ужина и ложиться спать, как, наконец, обратил внимание на эти крики. Он вышел из своей хаты, постоял, послушал, и давно замершее сердце с силой застучало в его груди. Он сходил к овцам, воротился, крики стали смолкать. Кучер барина и другой батрак, наделенные, по обещанию, суммой на выпивку, весело ушли в овраг с квартой водки, привезенной с торгов. Старик стоял один. «Не мне, видно, старому забродчику, — подумал он, — не мне одному не было счастья на свете! То еще чья-то доля пропадает, коли не пропала!» Сел, уронил седую голову на колени и заплакал. А ночь была так же восхитительна, и попрежнему чудные, таинственные, обворожительные шорохи носились в воздухе окольных степей...

К ночи крики и голоса в пустке смолкли. А наутро полковник вышел веселый, как-то богатырски смелый, дал ближайшей прислуге опять на магарыч, Самуйлика оставил, а с батраком уехал. Немного погодя наехал в эту неотпетую глушь, четверней в карете, будто барина привез, один Абдулка, побыл тут часа с три и к вечеру выехал. В карете окна были завешены. Чабан это видел с поля. «Не наше дело! — думал он. — Не наше!» И тихо допасал свое стадо, тыкая палкой в траву и соображая, повторяя, по обычаю, со скуки, счет прожитых им горемычных годов.

Полковник отлично устроился. Пленница его долго не смирялась, но потом, так же как и все на свете, смирилась. Кого не проберет железный коготь неволи и заточения? Ее поместили в уединенной комнатке дома Новой Диканьки, на мезонине. Разумеется, за нею ходила баба Домаха, и, как кормила собак на привязи и кур по двору, с таким же молчаливым добродушием хлопотала она и возле убивавшейся господской пленницы.

— Что ты, мое сердце, стонешь все? Глянь: вон тебе ленты новые купили, кофту суконную, юбки пошили! Чего плакать? И-и! В наши годы мы не то сносили! — говорила иной раз Домаха, взбираясь на вышку к Оксане.

— Душно, бабо! Нельзя тут быть под этой крышей! От железа пар такой, духота, как в бане, — и это с утра до ночи, целую ночь мечешься! Хоть бы посвежее...

— Так зачем же ты противишься, неласкова к нему? Тебя и держит под замком. А то пошла бы себе уточкою по свободе.

Оксана отмалчивалась и только плакала.

— Да вы, бабо, хоть окошко мне отворите!

— Слуховое? Другого нет.

— Да хоть слуховое, для воздуху.

— Эге! А как выскочишь с крыши да сдуру еще расшибешься? На то оно и забито у нас железом, тут прежде панская казна, сказывают, была. Около двери и сундук стоял.

— Куда мне разбиваться и скакать с крыши! Пропала уж теперь совсем моя голова; куда мне идти? Все от меня откажутся; и то я была сирота, а теперь чем стала?

Домаха качала головой.

— Сердце мое, сердце, одумайся! На что оно-то, что ты говоришь! Пан у нас добрый; побудь с ним годок-другой, он тебя в золото оденет. Вон и я была молода, наш барин сперва меня было отличил, а там и до дочек моих добрался. Так что ж? Поплакала, да и замолчала! Сказано, переможется...

— А зачем же вы, бабо, бежали да уж столько лет тут мыкаетесь в бурлаках, на чужбине?

— Э! Про то уж я знаю!.. Видишь, сердце, скажу я тебе, пожалуй: я пана нашего любила и во всем ему была покорна; да пани наша старая меня допекла, как помер он, — от нее я и бежала... Я и бежала, сердце!

— Бабо, бабо! Жгите меня лучше на угольях, ставьте на стекла битые, только дайте мне домой воротиться, дайте там с горя моего помереть!

— Да ты же сирота, беглая, Оксана! Куда тебе идти?

— Я про то уж знаю, бабо! Попросите барина, чтоб пустил меня; будет уж мне тут мучиться... будет!

— Не можно, Оксана, не можно, и пустые ты речи говоришь! А когда хочешь, вот тебе нитки и иголки, шей себе рубашки, ишь какого холста барин купил! Голландского...

Домаха еще постояла, покачала головой и тихо ушла, недоумевая, как это, среди такой холи и роскоши, такая непокорность. Оксана плакала и, пока было светло, принималась без всякого сознания шить, что ей давали. Она, ноя от тоски, думала о священнике, о привольной роще, о ракитнике; дитя Горпины мысленно качала... А Левенчук?

Перед захождением солнца Домаха несла ей ужинать всяких яств и питий вволю. Ничего не ела Оксана. «Левенчук, Левенчук! Где ты?» — шептала она... Сумерки сгущались, месяц вырезывался перед слуховым окном, ступеньки по лестнице наверх скрипели под знакомыми шагами, и дверь в вышку Оксаны отворялась... «Это он!» — думает Оксана, задрожав всем телом, и кинется в угол каморки. Как бы хотела она в ту минуту нож в руках держать!..

Несмотря на темноту, легко, однако, отыскивается и ее угол и она сама. Глухая и пустынная окрестная степь и темная-темная ночь не слышат ничего, что делается и кроется в этом каменном доме, за этой высокой оградой.

К рассвету Владимир Алексеевич выходил опять на площадку лестницы, будил ногой спавшую у порога заветных дверей верную дуэнью Домаху, приказывал ей пуще глаза беречь пленницу и сходил вниз. Внизу же иногда его покорно ждали те же услужливые Лепорелло: Абдулка или Самуйлик. «Ну, — думает Домаха, — барин теперь остепенился — одну знает!» А Владимир Алексеевич, нередко в ту же ночь до утра, скакал с ними верхом на другое свиданье, в какой-нибудь уединенный казацкий или колонистский хутор, где ожидали его новые, путем долгих исканий купленные ласки чернобровой Катри, Одарки или голубоокой немецкой Каролинхен. Оксана не знала, что и прибрать в голову, когда он уходил от нее. Только сердце усиленно билось в ее груди, как у перепела,

нежданно перемещенного с привольных диких нив, из пахучих гречих или прос в тесную плетеную клетку: сколько ни мечись, сколько ни стукай в сети глупою разбитою головою, не вырвешься, не порхнешь опять на вольную волю!

Были последние дни июля.

День клонился к вечеру. По полю без оглядки и без дороги спешил куда-то напрямик рослый, дюжий, загорелый и страшно запыленный парень в синем мещанском жилете, в новой черной свитке и в серой барашковой шапке. Он изредка останавливался у косарских артелей, подходил, что-то порывисто спрашивал и поспешно уходил снова далее. При повороте на Святодухов Кут он остановился как бы в раздумье: идти ли туда, или взять в сторону? Пошел было мимо, но одумался, махнул рукой и своротил опять туда. Отец Павладий столкнулся с ним у церковной ограды, идя зачем-то с ключами в церковь.

— Левенчук! Откуда?

— Я, батюшка.

Священник опомнился и более не спрашивал! Он молча пошел обратно в дом. Левенчук пошел за ним.

— Ну, вижу я, — начал, запыхавшись, священник, сев дома на крыльцо, — вижу, что ты, Харько, все знаешь!

— Знаю, батюшка!

— Где же ты это так долго был?

— Болен был, на пристани; чуть не умер.

— Да, ты похудел!..

В эти четыре долгие недели Левенчук точно похудел, но в то же время возмужал, будто вырос еще более и, загорев и закрасневшись от дороги, похорошел. Волосы скобкой, остриженные усы стали виднее: молодец молодцом.

— Что это в котомке у тебя? Где это ты так принарядился?

— Это подарки невесте и вам, батюшка! Да и как было не нарядиться, дожидаясь такого дня? Работы было вдоволь на пристанях, и выкуп готов — да невеста, должно статься,

не готова, батюшка! А я-то и хатку уж себе сторговал на Поморье, тихим трудом замыслил жить с нею...

Священник замотал головою, всхлипывая и смотря на Харька в испуге и в смущении.

— Убью, батюшка! — сказал неожиданно Левенчук, ударивши котомкой оземь, — убью его, зарежу, как собаку!

Глаза его сверкали. Лицо побелело.

— А потом что будет? — спросил священник, сам не зная, что отвечать на эту угрозу.

— Что вам, батюшка, каяться как на духу? — спросил в свой черед Левенчук.

— Говори как на духу!

— Ну, я подожгу полковника, запалю его со всех концов: клуню, овчарню, все зажгу, убью его и на себя руки наложу. Вот что!

Священник прошелся по комнате.

— Ах ты, душегуб, душегуб, Харько!

— Я-то душегуб? Нет, не я, а он! Да что мне теперь, ну? Думал, в бегах счастье найду... И тут его прежде нас, дураков, забрали! Дураки мы — вот что, батюшка! Право, дураки. Теперь я уж понял! Не то нам следует делать — вот что!

Священник встал, взял за полу Левенчука, повел его в спальню, разложил святой покров на столе, под образами, раскрыл на нем Евангелие и сказал:

— Беру с тебя присягу, Харитон: поклянись мне, что ничего того не сделаешь, на что повернулся нечестивый твой язык! Клянись, Харько! Я этого не попущу!

— Не буду я клясться, батюшка! Не буду!

— Клянись, Харько, клянись скорее, дурацкая твоя душа, а то донесу! Ей-богу, донесу!

— Доносите, доносите! А мы на вас надеялись, как на отца родного; вы же нам, несчастным, беглым, советы давали, укрывали нас, кормили и обнадеживали нас...

— Я-то? Ах ты, глупец, дурак Харько! Когда я беглых держал? Да нет, ты не уйдешь от меня! Клянись, Харько! Ты не понимаешь, что говоришь! Клянись! — повторял священник

Левенчуку, указывая на святую книгу и сам между тем трухнув не на шутку. — Давай присягу, а то свяжу тебя и донесу...

Левенчук подошел.

— Так слушайте же, батюшка: вот что будет теперь. Бежал я с неводом от моря, как весть о пропаже Оксаны дошла туда с людьми. Поверите ли — все жалели, как я опрометью побежал оттуда! По пути, на перекрестках, на мостах, у переправ, везде жалели. Народ зашумел, грозится, волнуется — так мне ли терпеть? Два дня я бежал, да вчера без души и упал в какой-то лощинке. Чабаны веберовские меня нашли, в корчму перенесли. Меня оттирали, кровь бросил один жидок... Вон рука моя еще и теперь перевязана; истомился я, а все-таки добежал до Ананьевки, а после до Андросовки. «Что, — спрашиваю у людей, — правда ли это?» — «Правда, — отвечают и все жалеют и там да на полковника указуют, — что греха не хотим брать на душу, некому больше! Это уж как змей лютый, как волк; кто попадет, съест наверно!» Так-то, батюшка, говорят про него люди.

Священник смотрел на него исподлобья. Он его и жалел, вместе и боялся.

— Так я уж, батюшка, вот теперь как надумал: пойду его просить: может, я его умолю, а может, не умолю, в ногах валяться буду! Не даст — не гневайтесь, батюшка... зарок свой я порешу...

Слезы бежали на подстриженные усы Харька.

Губы его тихо вздрагивали. Глаза тоскливо следили за священником. Священника передернуло, он взглянул в окно, закрыл книгу и сказал:

— Ну, коли так, так с Богом; я надеюсь, что полковник отдаст тебе Оксану. Нет у меня тебе благословения на злое дело; пожалей и меня, мои старые-то годы! А я сам буду писать Панчуковскому... Авось он отдаст Оксану. Да берегись только! Видишь, вон, твоего же приятеля Милороденко отыскивают, не уцелеть ему — в каторгу сошлют, проклеймят, а все за его проделки! Вон и приметы его уже опубликованы. Так и с тобой тоже будет; берегись!

Священник сел, надел очки, с трудом написал письмо, открыл сундук, достал оттуда деньги и, заметя, что в комнате стояли уже в слезах дьячок и старая дьячиха, сказал:

— Вот тебе, Левенчук, это письмо; а вот и твои деньги; я грешен, я позарился на выкуп и задержал твое дело. Ну, да Бог тебя благословит; достанешь ее — веди, обвенчаю и так; не достанешь ее — не хочу твоего добра! Фендрихов, эти деньги вычеркни из книги той, знаешь? Им уже у нас не быть, на церковь-то...

— Где быть, ваше преподобие! Деньги несчастные!

Левенчук торжественно поклонился в ноги попу, даже поклонился и дьячку с дьячихой, вышел за двери, и не успела взволнованная компания выбежать на косогор, где так часто Оксана выжидала с поморья Левенчука, как и след Харька пропал.

— Что будет, то будет! — решил священник, возвращаясь домой.

— Ничего не будет, чувствую! — отвечал, всхлипывая, дьячок.

Дьячок ревмя плакал.

Шел Левенчук час-другой! Солнце уже начинало садиться. Туман пошел яром. Вышел он на косогор и ударил себя в голову: «И тут не везет, треклятая доля. С дороги, на семи шагах сбился! Где же это я?» И он стал смотреть.

Стемнело. Дикие гуси вверху неслись к западу, чуть шелестя над его головою. Семья дроф, вспугнутых с ночлега, поднялась во ста шагах от него и побежала в сторону, мелькая между бурьянами. Ночные кузнечики трещали. Звезды зажигались. А в полуверсте огонек кто-то на ночь стал разводить...

Пошел Левенчук на огонек. Подходит: купеческая телега с товарами стоит; два купца на бурке лежат. Лошади овес с оглобель из мешка едят, котелок каши варится на таганке. Поздоровался Левенчук с купцами, подсел к ним. Видят те, что он все вздыхает; выспрашивать стали. Рассказал все Левенчук, как от своей барыни бежал, как тут жил, как девку полюбил, и кто она такая, и как ее отца зарезали. Купцы пе-

реглянулись, стали живее его слушать. «Ну-ну, говори, миленький!» Все передал Левенчук об Оксане, что слышал от нее самой и от других, в том числе еще и от Милороденко, когда он впервые шел в эти места. «Куда же дели того зарезанного?» — спросил старший из купцов. «В Таганрог отвезли; там он и умер, полагать должно». Помолчали купцы, расспросили еще об Оксане, жалели о ней до крайности, советовали Харьку обождать, не горячиться с хлопотами о ее спасении, направляли Левенчука с жалобой в суд и к градоначальнику и, наконец, посадив его силою с собою ужинать, объявили, что они сами торговцы, часто бывающие в азовских городах, торговали когда-то в Таганроге и в Севастополе, а теперь торгуют в Моршанске и что, если бы когда-нибудь Левенчук захотел бросить здешнюю бродячую жизнь, они ему предлагают место. «Дарма, что ты беглый! Видим мы, что ты за человек; отпиши только, и мы тебя вызовем. А писать так-то и туда-то. Да коли женишься на Аксютке-то, то и с хозяйкой своей приезжай! — заключили купцы. «А как твоего грабителя прозывают?» — «Панчуковский». — «Уж не он ли? — сказал один из купцов. — Верно, он и есть, барыня его у нас в городе чуть ли не проживает...»

Усталый и истерзанный душою донельзя, Левенчук заснул под телегою, а купцы, долго еще лежа у костерка, поодаль от него и от своего возницы, толковали промеж собою, все повторяя: «Он и есть; некому больше! Скажем его барыне, а то она, сердечная, сколько лет его разыскивает...»

IX

Беглые расшалились

Рано до света Харько вскочил, оглянулся. Купцов уже не было. Перекрестившись три раза на восход солнца, он сообразил свою дорогу и пошел по росистым еще сумеркам.

Щегольской домик Новой Диканьки вырезался перед ним, когда солнце стало уже всходить из-за красных кирпичных овчарен полковника.

Левенчук подошел к первой овчарне. Оттуда только что вышли овцы. Не найдя тут пастухов, он пошел к батрацким хатам. Из батраков кто умывался тут на дворе, кто богу молился у своего крыльца, земно кланяясь, а кто вел волов на водопой.

— Пан дома?

— Дома. А что тебе?

— В косари не нужно ли?

— А чего ж ты без косы?

— Бурлáка, братцы!

— Так! Ну, иди же до конторщика. Там сегодня расчет за эту неделю.

«Воскресенье сегодня! А я и забыл!» — подумал Левенчук.

— Шинок у вас есть? — спросил он, усиливаясь быть развязным и веселым.

— Э, да ты, я вижу, хороший человек! Не угостишь ли?

— Можно. Где же тут у вас водка?

— Пойдем, пойдем! — ответил батрак. — Откупщик тут всегда на косовичное время выставку становит. Он приятель барину! Вот и шинок наш!

Левенчук вошел в хатенку, где была временная выставка водки и где полковник обратно собирал по субботам большую часть денег, платимых рабочим в течение недели. Харько поставил новому знакомому полкварты.

— Рано немного, — сказал жид-шинкарь, — да хорошим людям можно!

Слово за словом, Левенчук узнал нравы барского двора — и когда барин встает, где его видеть можно, кто у него в дворне.

— Ты только крепись, — говорил хмелевший товарищ, — требуй хозяйскую косу и полтину серебром в день! Требуй — дадут.

— Ну, братику, а девка та, — спросил Левенчук, усиленно переводя дыхание, — та... знаешь, что от попа?.. Тут она?

Подгулявший батрак осмотрелся по хате. Шинкаря не было в ту минуту у прилавка.

— Тут... ты только никому не говори...

— Где?

— Наверху у пана живет... шш!

Левенчук вскочил.

— Куда ты?

— Будет уж, допивай ты, а мне пора в контору...

Левенчук вышел. Народ, собиравшийся к расчету, подваливал к шинку. Левенчук пошел к дому и не узнал сперва полковницкого двора: так этот двор изменился и уютно обстроился с той поры, как Харько сюда пришел впервые, неопытным бродягой и тут, встретившись с прогоревшим Милороденко, уступил ему свою порцию водки и тем ему сильно угодил.

Он ходил долго вокруг ограды, у ворот стоял, на мезонин смотрел. Видел он окна, вверху раскрытые, на балконе стул стоял. Он вошел во двор; прямо пошел к крыльцу и столкнулся на нем лицом к лицу с полковником.

— Ты косарь? — спросил рассеянно Панчуковский.

— Косарь.

— Очень рад, а это твой билет, что ли? — опять спросил Панчуковский, сося сигару и принимая от Харька письмо священника.

— Билет! — ответил Левенчук, сверкнувши глазами.

Панчуковский потянулся, взглянул на ясное, чудное утреннее небо, потом на первые строки письма — рука его дрогнула, он протер глаза, искоса посмотрел на Левенчука, дочитал, слегка побледнев, письмо до конца и долго не мог сказать ни слова. Письмо состояло в следующем:

«Владимир Алексеевич! Не будем обманывать друг друга. Вам сошли прежние ваши истории. Вы теперь похитили

мою Оксану. Это общий голос, не отрекайтесь; да и некому другому этого сделать. Умоляю вас, отдайте ее. Податель сего письма — ее жених, Харитон Левенчук, из таганрогских поселян. Отдайте девушку; вы уже ею, ваше высокоблагородие, насытились. Отдайте, пока она еще может быть им принята. Если прежние ваши действия остались безнаказанны, то за это новое кара Господня вас не пощадит. Богатство не спасет нигде до конца недоброго человека. Прахом пойдет оно у вас; вспомните глас старца, готового сойти в могилу. Эта кара близится. По духу же исповедника предупреждаю вас: не отдадите девушки, за последствия поручиться нельзя. Вам несдобровать! Послушайтесь меня. Ваш слуга *Павладий Поморский»*.

Панчуковский постоял. Левенчук также не говорил ни слова.

— Отец Павладий ошибается! — сказал полковник, закусивши губу. — Я этой девушки не знаю, и ее у меня нет.

Левенчук молчал.

— Ее у меня нет, и баста, слышишь? Скажи отцу Павладию, чтоб он ко мне не смел обращаться с такими письмами.

— Ваше высокоблагородие! — сказал, подступая, Левенчук. — Какой вам выкуп дать за нее? Я попу соглашался платить за нее на церковь двести целковых — возьмите триста; наймусь к вам в кабалу, в крепость за вами запишусь — отдайте только мне ее!

Полковник пожал плечами и, оглянувшись, улыбнулся.

— Глуп ты, брат, и только! Глуп, и все тут!.. Ее у меня нет!

Левенчук повалился в ноги полковнику. Он понял сразу, что с этим человеком правдой не возьмешь, и потерялся, позабыл весь закал, весь пыл своего негодования и своей мести.

— Ваше... ваше высокоблагородие! — вопил он, валяясь в пыли крыльца и целуя лаковые полусапожки Владимира Алексеевича, — я дома на родине похоронил жену молодую,

и двух лет с ней не пожил; здесь нашел себе другую. Барин! Отдайте мне ее! За что вы отняли ее у меня, погубили до веку нас обоих!

— Да говорят же тебе, братец, что ее у меня нет... Какой ты!

— Будет уж вам с нею, ваше высокоблагородие! Не губите ее. Отдайте, вы уж ею натешились... Будем знать одни мы про то! Отдайте...

Панчуковский отступил.

— Ищи ее у меня везде, коли хочешь; иголка она, что ли! Ну, ну, ищи! Не веришь?

И он вошел в сени: распахнул дверь в лакейскую, а сам стоял на пороге.

Храбрость бросила Харька. Он встал, начал глупо вертеть в руках шапку.

— Ежели я... — сказал он, задыхаясь от спершихся в горле слез, — ежели я... хоть чем, то убей меня Бог!.. Господи!

Полковник поворотился к нему спиной и ушел в комнаты, посвистывая.

Оглянулся Левенчук по двору, повел рукой по снятой шапке, подошел к кухне, там еще постоял; во дворе не было ни души. Петухи заливались по задворью. Воробьи кучами перелетали с тополей на ограду. Левенчук пошел за ворота и сел там на лавочке.

Он сам не знал, что и думать. У шинка собирался народ. Конторщик пошел туда, а к барину в дом Абдулка рукомойник понес.

За ворота вышел, с трубкой в зубах, в белом фартуке и ухарски заложив руки в карманы, поваришка Антропка, тоже из беглых, малый лет двадцати трех, отъявленный негодяй, часто битый за воровство.

— Ты чего тут сидишь, сволочь? — отнесся он задорно к Левенчуку.

— Может, сволочь ты, — ответил Левенчук, утирая слезы, — а я за делом!

— За каким делом? Проваливай! Скамейка барская! Вон, иродово отродье!

— А ты барский?

— Барский, полковницкий; я их холуй, — значит, сторож; а ты убирайся вон, сибирный твой род!

И Антропка столкнул Харька со скамьи.

Левенчук пошел опять к воротам.

— Ты куда, говорят тебе?

— Дело есть.

— Не ходи, побью.

— Э! Посмотрим...

— Что? Как? Это, значит, к полковнику наниматься идешь да еще и форсишь?

Антропка подбежал и загородил Харьку дорогу в ворота.

— Не ходи, ударю в морду!

— Попробуй! — ответил Левенчук, опомнившись и чувствуя снова прилив злобы и ярости.

Антропка ударил его в ухо. Левенчук зашатался и уронил шапку.

— А ну, еще! — сказал он, стоя бледный, как был, и выжидая нового удара.

— Бью! Что же? Ну, бью! — крикнул Антропка и опять ударил.

— А ну, еще!

— И еще бью! Вот как!

Антропка ударил еще раз.

— А еще будет?

— Будет и еще! — крикнул Антропка, свистнувши снова в упорно-терпеливое ухо Харька.

— А! — зарычал, в свой черед, Левенчук. — Теперь и ты уж держись; я тебе покажу, как добрых людей даром бить!..

И, как буря, он кинулся на поварчонка, смял его, как клок сена, сгреб под себя и стал его бить без милосердия по глазам, ушам и по затылку.

На неистовые вопли Антропки сбежалась вся дворня полковника, а мужчины и бабы его выручили.

— Кто это его, кто? — спросил Абдулка, явившись на подмогу другим, уже отливавшим водою до полусмерти избитого Антропку.

— Вот он!

— Кто это?

— А бог его знает кто! — отвечали бабы, указывая на Левенчука, входившего уже в шинок.

Абдулка побежал за ним вдогонку и на бегу, в сенях шинка, спросил сбиравшихся косарей:

— Где тут этот разбойник?

— Уж и разбойник! Разбойники те, что нанимают по два рубля, а расплачиваются по полтиннику! — ответили из толпы.

— Ты бил нашего повара? — запальчиво крикнул Абдулка, вскочив в шинок и с выкатившимися, рассвирепевшими глазами став перед носом Левенчука.

— Я бил. Ну, а ты чего?

Лицо Харька было зелено, губы его дрожали.

— Э, до меня так скоро не доберешься! — крикнул татарин, озираясь по хате, куда уже, чуя грозу, начинали собираться любопытные с надворья.

— Посмотрим!

— Посмотрим!

Абдулка скинул поддевку.

— Выходи на простор, — закричал он, — выходи из хаты на простор!

Конторщик, бежавший сюда, стал было его останавливать.

— Не замай, Савельич, а то и тебе бока намну, — бешено зарычал Абдулка и вышел из хаты, сопровождаемый конторщиком и толпою и на ходу распоясываясь.

— Что это они тебя? — спросили Харька оставшиеся в хате косари.

Левенчук бросил на стол три целковых.

— Пейте, братцы, за мою душу пейте! — сказал он тоскливо и вышел, также снимая свитку.

Не успел он показаться на дворе, как на него разом накинулись Абдулка, Самуйлик и прежде побитый поварчук.

Первые двое стали его вязать, а озлобленный Антропка схватил полено и стал им бить Харька по чем попало.

Часть косарей приняла сторону Харько.

— Пустите его, что вы, душегубцы! Ведите к барину, если он что сделал, — говорили косари. — Мы и сами пойдем жаловаться; нам расчет не тот дают!

— Нет, не поведем его туда! Тут его живого в землю зароем! — бешено кричал Абдулка, колотя Левенчука.

Мигом Левенчука связали.

— В суд его, в стан! — горланила полковницкая дворня.

Побежали за телегой.

— Еще веревок! — кричал Абдулка. — А! Ты в барский двор ходишь, да еще и дерешься! Веревок еще! Повозку скорее!

Привели лошадей, притащили повозку. Стали запрягать. Левенчук стоял связанный. Висок у него был расшиблен, и кровь текла из-под растрепанных темных волос. Антропка, опьяневший от бешенства и от прежде полученных побоев, ходил возле него и громко на все лады ругался. Бабы пугливо жались к стороне.

— Готово? — спросил отважно Абдулка, спешивший выиграть время. — Мы и барина не станем беспокоить! В суд его, разбойника!

— Братцы! — громко крикнул косарям связанный Левенчук. — Они меня побили, связали, в суд хотят везти! А сам барин ихний мою невесту украл... Я, братцы, Левенчук! Попова девка за меня просватана была... Она у полковника тут взаперти... в любовницах. Спасите, братцы! Не дайте праведной душе погибнуть!.. Спасите!

— Ну, еще рассказывать! — начал Абдулка.

Последних слов Харько недоговорил. Абдулка, Самуйлик и Антропка схватили его и потащили к телеге, снова угощая побоями.

— Э, нет! — отозвался тот самый батрак, которого Харько угощал с утра, загородя им дорогу. — Я сам пойду до барина! За что вы его бьете и тащите?..

— Да, да! За что? — говорили в толпе и косари, испуганными и озлобленными кучками сходясь к ним.

— Э, да что на них смотреть! Тащи его! Самусь, садись, вези его! Антропка, бей по лошадям!

— Нет, не пущу! — сказал охмелевший батрак, загораживая лошадям дорогу.

Тут прибежали с криками остальные косари из шинка. Произошла общая свалка. Одни тащили Левенчука к повозке, другие отталкивали его назад. Весть о том, что это жених воспитанницы священника, украденной полковником, облетела всех.

— Нет, нет, теперь уж не троньте его, оставьте! — заговорили косари разом и оттеснили Левенчука от Абдулки.

Подгулявший батрак ударил по запряженным лошадям, гоня их с пустой телегой прочь. Самуйлик кинулся их останавливать, а косари в суматохе совершенно отбили Харька, распутали ему руки и выпустили.

— Отдайте мою невесту! — сказал тогда бешено Левенчук, став перед слугами Панчуковского. Это уже был не прежний хуторской пастух. Степи изменили его.

Абдулка, повар и Самуйлик остались одни против остальных.

— Нет у нас никакой девки!

— Врешь, есть! Она наверху у барина вашего живет! — кричал Левенчук.

— Отдавай, а то силой возьмем! — гудели косари.

— Вот что выкусите! — ответил Абдулка, показывая кукиш, и пошел с товарищами к барскому двору, очевидно, потеряв надежду овладеть обидчиком закадычного приятеля, Антропки.

Левенчук, утирая кровь с виска, сел на крыльцо шинка.

— Дайте, братцы, хоть трубки покурить, коли с нами так поступают. Собаки и те лучше нас стали жить на свете!

Приятель его, батрак, с форсом подал ему трубку, сел возле него и обнял его, заливаясь слезами.

Толпа между тем шумела: «Как! Быть не может! Так этого самого невесту? И им спускать? Не заступиться за него? Где же тому конец будет?»

— Пойди, братику, — сказал Харько батраку, откашливаясь и харкая кровью, — пойди, хоть осьмушку вынеси! Все печенки ироды отшибли! Ишь ты, кровь пошла...

Косари орали более и более.

Полковник между тем, уйдя от Левенчука, подбежал к окну в кабинете и долго следил из-за занавесок, пока непрошеный гость не вышел за ворота. «Воротить его? Отдать ему разве Оксану?» — подумал он, но, почитав с полчаса газеты, успокоился, оставил дело так и пошел наверх к Оксане.

Оксана сидела в своей каморке, вышивая какую-то рубаху. Домаха сидела на полу возле нее, тоже что-то штопая.

— Оксана! Хочешь домой? — спросил полковник.

Она не подняла глаз.

— Что, если бы за тобою пришли, бросила бы ты меня? Неужели бросила бы? — спросил полковник.

Оксана встала, сложила шитье и поклонилась в ноги Панчуковскому.

— Пане! Пустите меня, заставьте вечно за себя Бога молить!..

В исхудалом, нежном и кротком лице ее кровинки не было.

Панчуковский хотел что-то сказать и затих. С надворья раздался страшный гул голосов, и одно из окон в мезонине зазвенело.

— Береги ее! — успел только сказать Панчуковский Домахе и выбежал на балкон.

Едва Панчуковский вошел туда, как увидел, что перед запертыми уже на замок его воротами стоит куча народу, а Абдулка, Самуйлик и конторщик бранятся сквозь затворы.

День между тем, как часто бывает на юге, нежданно изменился. Вместо жгучего, острого суховея, доносившего с утра под узорчатые жалюзи комнат сухой и волнистый шелест горящих в зное нив, небо стемнело, облака неслись густой грядой и накрапывал дождь.

— Что это? — громко спросил своих людей Панчуковский, склонясь через перила балкона.

— Косари взбунтовались, — робко ответил конторщик, — не хотят по полтиннику брать, требуют по два рубля.

— Ну, так гоните их взашей!

— Мы стали их гнать, а они в контору ворвались, стекла перебили, мы едва успели ворота запереть — все распьяно...

— Ваше благородие! — смело крикнул кто-то из толпы. — Отдай девку! А то плохо тебе будет!

Взглянул полковник: вся толпа в шапках стоит. «Эге», — подумал Панчуковский, сильно струхнул и медленно вошел в комнаты с балкона. Сойдя впопыхах вниз, он позвал к себе Абдулку.

— Что там такое? Говори правду.

— Плохое дело! Косари перепились, а тут еще бурлака тот пришел, девчонку эту требует...

— Отдадим ее, Абдул! Черт с ней! Еще бы чего не наделали... Что они? В ворота ломились?

— Запалим, говорят. Да нет, Владимир Алексеич, не поддавайтесь. Коли что, так я и ружье заряжу и по ним выстрелю холостым, напугаем их, они и разбегутся!

— Что же вы? — гудела толпа за воротами. — Где это видано, чтоб девок с поля таскать? Тут не антихристы какие! Мы найдем на вас расправу...

— Вон отсюда, подлецы! — закричал опять сквозь ворота Абдулка, не отпирая железного засова. — Что вы пришли сюда буянить? Вон отсюда!

— Ломай, братцы! Топоры сюда! — уже без памяти ревела толпа. — Не дают, так ломай! Пробьемся и возьмем силою у живодеров!

И в ворота снова ударили чем-то тяжелым, а потом оттуда наперли кучею все разом. Схваченные и прокованные железными скобами ворота только слегка заскрипели, но не подались.

Абдулка метался между тем что было мочи и ругался на все лады, грозя дерзким карою станового, исправника и самого губернатора.

— Что нам теперь исправники и ваши становые! Вы девку нашу отдайте! Тут наша воля, в степи-то нашей! До суда далеко! — выкрикивали голоса за воротами.

Полковник взбежал снова наверх. На площадке лестницы он натолкнулся на совершенно обезумевшую от страха Домаху. Старуха жевала что-то помертвевшими губами и, простоволосая, не успев накинуть на седую голову платка, дико смотрела на Панчуковского.

— Где она? — спросил полковник, идя поспешно мимо старухи.

— Там; это я ее заперла на ключ. Еще бы не выскочила к ним сдуру...

— Ну, береги же!

Он вошел в верхнюю комнату, бывшую к стороне ворот, и из-за притолоки окна увидел у ограды целый лагерь. Какие-то верховые явились... Народу было человек триста или более. Одни сидели, другие стояли или ходили кучками, как бы обсуждая, как исполнить затеянное. Трое лестницу какую-то с овчарни тащили. Остальные шли, разместившись по траве; горланили все.

«Вот и поди, живи тут в этой необъятной Новороссии, — мыслил Владимир Алексеевич, — тут чистую осаду Трои выдержишь; успеют и взять тебя, и ограбить, и убить, пока дашь знать властям хоть весточкой! Думал ли я дожить до этого? А! Вон еще что-то замышляют!..»

Прибежал наверх, запыхавшись, поваренок.

— Что ты, Антропка?

— Конторщик просит кассу в дом внести; неравно вломятся, боится, что растащут.

— Вломятся? В ворота? Что ты!

— Да-с.

— Ты почему думаешь?

— Стало, можно, коли между ними вон беглые ростовские неводчики появились и бунтуют, как бы чего по правде не было, ваше высокоблагородие.

Панчуковский еще раз глянул из-за притолоки. Новая картина открылась перед ним. Овцы его бродили врассыпную без пастухов. Шинкарь откупщика, зная уже нравы таких событий в степях, с еврейской предусмотрительностью запрягал себе лошадь за хатою шинка. А из двух батрацких изб, спустившись тайком в лощину, бежали вдали, по пути к камышам на Мертвую пятеро батраков, батрачки и мальчишки-табунщики потрусливее, со страху бросив в хатах и барское добро, и свои пожитки.

Панчуковский сошел снова вниз. В кабинете Абдулка быстро заряжал ружье.

— Вот я их! Я их!

И, зарядив, он пошел опять на балкон мезонина. Из толпы через ограду швыряли уже изредка камнями.

— Разойдитесь! — крикнул опять с балкона Абдулка. — Вас обманули; тут никакой девки нет! А плату сполна мы вам вышлем; только усмиритесь и не бунтуйтесь, братцы, вот что!

Град увесистых камней и побранок из толпы ответил на эти слова, через стены.

— Так стойте же! — крикнул Абдулка с балкона, приложился из ружья и выпалил.

Чей-то серенький конек заржал, побежал и, на пяти шагах споткнувшись, упал, убитый наповал в голову.

— Ты же говорил, что зарядишь холостым? — спросил, испугавшись, Панчуковский.

— Так им и надо-с! Шельмы, а не люди!

Осаждающие действительно были озадачены выстрелом, кинулись врассыпную и вдали, у хат и овчарен, снова стали собираться кучками. Кто-то громко грозил из толпы, что подожгут овчарни и батрацкие хаты. Другой топором помахивал издали.

«Что тут делать?» — думал полковник, ходя то вверх, то вниз по лестнице дома. Люди наскоро пообедали и ему стали накрывать на стол.

— Есть у ворот сторожа, Абдул?

— Есть, Антропка с собаками караулит; я их с цепи спустил...

— Ну, как бы дать знать в стан либо в город? — спросил Панчуковский. — Я-то их не боюсь, да как бы не подожгли чего! Ведь такого дела и ожидать было трудно...

— Ночью разве Самойлу верхом пошлем, авось прорвется через них!

Встал полковник из-за стола. Пошел с Абдулкой опять наверх. Смотрят: к толпе осаждающих подъехал какой-то фургончик парой. Сидевший в нем о чем-то говорил с косарями. Вот собирается отъезжать, на дом полковника смотрит...

— Маши, Абдул, платком или хоть полотенцем помаши, авось заметят...

Сбегал Абдул за полотенцем, свесился с балкона и давай махать.

— Кажись, из фургона махнули! — сказал Абдулка.

— Это тебе показалось, уехали... Ну, что же мы теперь будем делать?

Осаждающие будто притихли к вечеру, пошли к шинку. Настала ночь. Разумеется, ночью не спала ни на волос вся дворня полковника, карауля везде, чтобы буяны не перебрались где во двор через стены или в ворота. Говорят, что сам полковник на цыпочках, в продолжение всей темной, сырой ночи, не раз обходил дозором все уголки двора, прислушивался к побранкам и к вольным песням неунимавшихся буянов и три раза кормил собственными руками постоянно

голодных до той поры сторожевых собак, и те с охрипшими от надрыва горлами лаяли и метались по двору всю ночь. «Вот так Русь! — думал полковник. — Чего только в ней не бывает!»

Ночью, под предводительством Самуйлика, была сделана, в виде рекогносцировки, вылазка со стороны осажденных к колодцу. Партия смельчаков состояла из самого Самуйлика, двух кухарок, повара и прачки. Они очень осторожно вышли, миновали овраг. Но за ними ввязалась одна из цепных собак, наткнулась на сторожей у колодца, разлаялась, и их открыли. Поднялась тревога. От шинка двинулась куча в погоню. Смельчаки бежать. У самых ворот произошла свалка, и поварчука съездили сзади так по уху, что тот едва успел в ворота вскочить. Воцарилась снова тишина.

Ночью, страшно усталый, полковник вздремнул было на ходу, прилегши где-то в зале на диване. Вдруг его будят.

— Что такое?

Смотрит... Окна дома ярко освещены. В зале стоят также освещенные, бледные от испуга, его советчики, Абдулка и Самуйлик.

— Что это?

— Избы батрацкие горят, огонь к овчарням перебрасывается... Это они; тот-то бурлака, верно, поджег-с!

Молча взошел Панчуковский опять на балкон.

— Отдайте нам девку! Девку отдайте! — доносились голоса сквозь дождь с пригорка.

— Фу ты, пропасть! — сказал, в свой черед, не выдержав, Панчуковский. — Да что же это со мной делается? Иди, Абдул, бери Оксану, отдай им... Вот не ожидал!

— Мы уже ходили к ней, Владимир Алексеич; да она сама теперь напугалась: сидит и дрожит; боится и выглянуть на эти чудеса.

— С чего же это все нам сталося, Абдул?

— Жид-шельма, должно быть, удрал со страху; они, верно, разбили бочку и перепились.

— Кричи же им, Абдул, что я все отдам: и Оксану и деньги, какие просят, чтобы только унялись!

Стал опять кричать Абдул, ничего не выходит. И звонкий дотоле голос его едва долетал через ограду, в шуме и в реве пожара, истреблявшего батрацкие хаты. А от шинка неслись звуки бубна и песен, несмотря на дружный дождь, шедший с вечера. Но небывалая ночь кончилась. Стало светать. Густые туманы клубились вдали. Пожар не пошел далее.

От толпы подошла к воротам новая куча переговорщиков; все они были пьяны и едва стояли на ногах.

— Что вам?

— Мы до полковника... пустите; мы за делом...

— Зачем?

— Дайте нам девку нашу да бочку водки еще; мы уйдем.

— А кнутов? — закричал, не выдержав, Абдулка в щель ворот.

— Нет, теперь уж нас никто не тронет; мы бурлаки, а бурлаков турецкий салтан берет теперь под покров!

Такие толки действительно в то время ходили между беглыми.

Пока люди полковника переговаривались с пьяными депутатами, сам Панчуковский, совершенно растерянный, сидел у письменного стола.

— Не догадался я, забыл послать ночью верхового в город или хоть к соседям; кто-нибудь прорвался бы на добром коне. А сегодня уже поздно: они оцепили хутор кругом и, как видно, идут напролом! Поневоле тут и о голубиной почте вспомнишь.

Панчуковский написал наскоро письмо к Шутовкину, прося его дать знать об этих событиях в стан и в город, и позвал Самуйлика.

— Ну, Самуйлик, бери же лучшего коня да скачи к Мосею Ильичу на хутор, напролом; авось проскочешь... А ее я выпущу!

Вздохнул Самуйлик, вспоминая собственные советы и предостережения полковнику, когда тот замышлял об Оксане. Но не успел Панчуковский передать кучеру письма, как с надворья раздались новые крики.

— Что там? — спросил полковник и подбежал к окну.

— На ток, на ток! — ревела толпа, подваливая снова от шинка, — скирды зажигать! Не соглашаются, так на ток! Небось выдадут тогда! Валяй, а не то так и нивы запалим!

Опять загудели крики. Пьяные коноводы направлялись уже к току. Душа Владимира Алексеевича начинала уходить в пятки. Но в это время вдали, за косогором, звякнул колокольчик. Ближе звенит и ближе. Застучало сердце Панчуковского. Он вскочил и взбежал в сотый раз наверх. Разнокалиберный люд столпился у шинка. Раздались крики: «Исправник, исправник!» Не прошло и минуты, как толпа мигом пустилась врассыпную, кто по дороге, кто к оврагам, кто в недалекие камыши. Кто был с лошадью, вскочил верхом; все пустились в разные стороны. В сизоватой дали, из-за косогора, точно показалась бричка вскачь на обывательских. За нею, верхами же, скакали человек тридцать провожатых. То были понятые. Так всегда здесь в степи ездил на горячие следствия любимец околотка, исправник из отставных черноморских моряков, капитан-лейтенант Подкованцев. За ним, также вскачь, ехал еще зеленый фургон.

С форсом подлетев к растворенным уже настежь воротам Панчуковского, Подкованцев остановился, скомандовал понятым: «Ловить остальных; кого захватите, в кандалы! Лихо! Марш!» — въехал во двор, вылез из брички, взошел, пошатываясь, на крыльцо и в сенях встретился с полковником, у которого, как говорится, лицо в это время обратилось в смятый, вынутый из кармана, платок.

— Честь имею во всякое время, кстати и некстати, явиться другом! — бойко отрапортовал залихватский капитан-лейтенант, постоянно бывший навеселе и говоривший всем помещикам своего округа «ты».

— Ах, как я рад вам! Избавитель мой!

Панчуковский обнял Подкованцева, поцеловал его, хотел вести в кабинет и остановился. За спиной станового стоял полупечально, полуосклабившись, в той же знакомой синей куртке, рыжеватый гигант Шульцвейн.

— Какими судьбами? — тихо спросил, сильно покраснев, Панчуковский.

— Вы господину Шульцвейну обязаны своим освобождением от шалостей моих приятелей, беглых, если они вам что плохое сделали! — сказал Подкованцев.

Панчуковский в смущении протянул руку колонисту и указал ему на развалины сгоревших и еще дымившихся изб.

— Да, — говорил, поглаживая усы, исправник, — меня господин Шульцвейн известил; он меня за Мертвою нашел! Эк, подлецы! Кажется, мои беглые взаправду расшалились. Уж это извините; с ними тут не шути. Надо облавы опять по уезду учинить. Нуте, колонель[1], теперь бювешки[2], пока моя команда кое-что сделает. Эйн вениг[3] коньяку! А не худо бы и манже[4]; я целых три дня ничего не ел, за этими мертвыми телами. Трех потрошил, лето — вонь... тьфу! Ты, впрочем, не удивляйся дерзости своих обидчиков; это у нас бывало прежде чаще. Одному еврею-с живому даже голову отпилили беспаспортники; я ее сам видел. Вотр санте![5] — прибавил исправник, выпивая стакан коньяку. — Так-таки ее и отпилили пилой, да еще тупою; я ее и за бородку держал! Тут уж они в наготе-с!

Принесли закуску. Подкованцев уселся над икрой и над балыками.

---

[1] Полковник (*фр.*).

[2] От *фр.* buveur — пьющий, любитель выпить.

[3] Немного (*нем.*).

[4] От *фр.* manger — есть.

[5] Ваше здоровье! (*фр.*)

Шульцвейн кряхтел, ухмыляясь, потирал себе румяные щеки и масляные кудри и, сильно переконфуженный, похаживал возле окон. Улучив минуту, он отозвал Панчуковского в сторону.

— Скажите, пожалуйста, — начал он, с видимым участием схватив полковника за руку, — неужели это правда, за что поднялись на вас эти негодяи?

— Что такое? Я вас не понимаю.

— Да о девушке этой-то: говорят, что действительно вы ее похитили?

— Вы верите? Не грех вам?

— Как тут не верить? Я вот просто потерялся. Вы знаете, я свои степи часто объезжаю. Мой молодец вчера мимо вас ко мне спешил из Граубиндена, увидел здесь это дело, расспросил и прискакал ко мне, а я уж поспешил вот к исправнику.

— Очень вам благодарен! Но могу вас уверить, что эти пущенные слухи — сущий вздор. Я не похищал этой девушки, и ее у меня нет.

— За что же эти буйства, скажите, эти поджоги? Удивительно!

— Слышите? — спросил Панчуковский вместо ответа, обратясь к исправнику. — Шульцвейн удивляется, из-за каких это благ я подвергся тут такому насилию!

— Могу вас уверить, — отнесся через комнату Подкованцев, жуя во весь рот сочный донской балык, — за полковника я поручусь, ма фуа[1], как за себя! Это мой искренний друг, и дебошей делать никогда он не был способен — пароль донёр[2]!

— За что же, однако, это толпа решилась на такие действия?

Панчуковский улыбнулся.

---

[1] Признаться (*фр.*).

[2] Честное слово (*фр.*).

— Какой же вы чудак, почтеннейший мой! Не знаете вы здешнего народа! Мой конторщик сбавил цену на этих днях. Многие стали с половины недели, а пришли к расчету — все одно захотели получить и подпили еще вдобавок. Шинкарь перепугался, ушел, а они бочку разбили. Что делать! На то наша Новороссия иногда Америкой зовется! Ее не подведешь под стать наших старых хуторов: что в Техасе творится, то и у нас в Южнобайрацком уезде.

— Именно не подведешь, — гаркнул, утираясь, Подкованцев, — еще раз, вотр санте! А теперь, поманжекавши, можно и за дела... Ну что, Васильев?

На пороге залы показался рослый, бравый мужик. Это был любимый исправницкий сотский, как говорили о нем, тоже из беглых, давно приписавшихся в этом крае.

— Что, поймал еще кого?

— Шестерых изловили, ваше благородие, а остальные разбежались.

— Лови и остальных.

— Нельзя-с; в уезд господина Сандараки перебежали, граница-с тут за рекой...

— Вот и толкуйте с нашими обычаями; беда-с! Кого же поймали?

— Да из бунтовавших главного только не захватили. Он еще ночью бежал, сказывают, в лиманы, к морю. Да он и в поджоге не участвовал-с, как показывают.

— Главный? Кто же он? Как о нем говорят?

— Будто бы из бурлаков-с, Левенчуком прозывается... Он за эту девку их высокоблагородие-с... за нее и буйствовал и других подбил...

Подкованцев также подошел к полковнику, взял его под руку и отвел к окну.

— Экуте, моншер[1]. Ты мне скажи по чистой совести: украл ты девку эту? Ну, украл? Говори. Ты только

---

[1] Слушайте, мой милый (*фр.*).

скажи: я на нее взгляну только, а в деле ни-ни; как будто бы ее и не было... слышишь? Я только глазом одним взгляну!

— Ей-богу же, это все враки! Никого у меня нет!

Подкованцев почесал за ухом. Серые глаза его были красны.

— Ну, Васильев, — обратился он к сотскому, — заковать арестованных и препроводить в город! Отпускай понятых из первой слободы, а там бери новых и так веди до места... Марш!

— Насчет же опять той лошади убитой, бурлацкой, — спросил сотский, — как прикажете? Это их человек убил...

— Как приказать? Сними с нее кожу, и баста!.. На сапоги тебе будет! Ведь тоже беглая!

— Теперь же мы в банчишку, сеньор! — весело заключил исправник по уходе сотского, обращаясь к хозяину. — А вы, мейн герр, хотите? — подмигнул он Шульцвейну.

— Нет, пора домой-с. В степь-с надо.

Колонист походил еще немного возле окон, взял шапку, простился и уехал, вздыхая.

Исправник же до поздней ночи попивал морской пунш, то есть ром с несколькими каплями воды, играл с Панчуковским в штос, выиграл десять червонцев, поцеловал хозяина в обе щеки, сказал: «Не унывай, Володя! Мы дельцо обделаем и с виновных взыщем!» — и уехал, напевая романс: «Моряк, моряк, из всех рубак ты выше и храбрее».

— Адьё, милашка! — крикнул он Панчуковскому уж из-за ворот и прибавил: — Слушай, сердце! Мне часто в голову приходит: как я умру? Своею смертью или не своею? Был я в походах с Нахимовым и чуму перенес... Бог весть! Стоит ли об этом думать!

— Как кому!

Исправник уехал.

— Ворота, однако, на запор отныне постоянно! — сказал полковник слугам. — Благо, что отделались от одной беды; надо вперед остерегаться еще более...

— Аксютку же прикажете выпустить теперь? — спросил Абдулка по отъезде исправника, ухмыляясь и раздевая барина в кабинете.

Полковник развалился на диване и зевнул.

— Оксану-то?

— Да-с; что ее теперь держать? Мы разыщем другую...

— Нет! Пусть, Абдул, она еще поживет. Я поеду пшеницу на хутора молотить, так ты ее тогда вперед доставишь... Да не забудь и самовар туда с провизией отправить: а то я тогда без чаю там просидел.

Полковник успокоился. События, однако, приняли иной, нежданный, оборот.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В СИЛКАХ

X

Новое лицо — помещица из России

Дни клонились к осени. Жиденькие новороссийские садики по деревням становились еще беднее. Лист падал. Обитатели деревень более задерживались в домах. Комнатные цветы принимались с воздушных выставок обратно в дом за стекла. Из окон чаще гремели рояли. Книги северных журналов и газет читались более. На токах усерднее стучали молотилки.

— Ну-с, — спрашивал Панчуковского залихватский волокита, купец Шутовкин, встретившись с ним у кого-то из общих знакомых на пиршестве, — так ваша красавица чуть было вас не погубила?

— Да, был грешок. Что делать!

— Новую осаду Трои изволили выдержать?

— Выдержал, Мосей Ильич, пришлось испытать, нечего делать!

Они после сытного обеда гуляли в затихшем, но еще прелестном садике.

— Каково же драгоценное здравие вашей Елены-с? Я, чай, уже с овальцем теперь скоро будет? Моя же так давно уж с животиком переваливается.

Шутовкин сказал и, утираясь платком, засмеялся. Ему было душно. Вино и вкусный обед брали над ним силу.

— Ах вы, старый волокита! Не стыдно ли вам? У вас дети взрослые, учитель нанятой — почтенный студент... Смотрите, что о вас дамы толкуют, вы уж чересчур открыто действуете. Вон у меня тоже пленница живет, а так сокровенно, что никого не обижает и все ездят ко мне...

— Не могу, не могу; это уж моя страсть к бабенкам ослепляет меня. Что мне свет? Живу здесь вволю-с!.. Я потому и о вашей спросил-с, извините меня... Я люблю дело начистоту, свечей не тушу никогда-с и ни при чем... Я ваших обрядов-с не соблюдаю. Раскольник-с, что делать!

— Смотрите, однако, не приударьте за моею! У меня нравы гарема; попадетесь — голову долой, и сейчас в мешок и в воду! Я ведь тоже сродни туркам тут сделался. Право, край у нас роскошный, привольный. Ведь сюда кто ни попадись, переменится. Люди тут какие-то другие становятся. Вот и с вами...

— Так, так, а все-таки, Владимир Алексеич, у меня крестины раньше ваших будут! — посмеивался Шутовкин, продолжая ходить с полковником по садовой дорожке, над обрывистым берегом Мертвой.

— Ах вы, забавник! Лучше покайтесь. Лучше скажите вашему учителю, что срок его должку подходит, чтобы вез его скорее для уплаты кому следует, я поручитель, и у меня уж веди дело аккуратно...

Купец был на этот раз немало выпивши за обедом, снял на воздухе галстух, весело переваливался, шутил, пыхтел и беспрестанно ухмылялся. Сперва стал он рассказывать, как выгодно сбыл сало, потом об акциях заговорил, наконец, спросил совершенно неожиданно:

— Послушайте, полковник: вас тут некоторые не любят, считают гордецом! Правда ли, тут болтают, будто вы не вдовец вовсе, а что у вас где-то... извините... на Волге там, в России-с... жена законная есть, и говорят даже еще, будто старая-престарая и злая? Ну, скажите мне откровенно, правда это? Если правда, то поздравляю, дружище, отлично сделали, что бросили и ее и наши старые российские места-с!..

Панчуковский вспыхнул и остановился. Он долго не мог прийти в себя от нежданного вопроса приятеля, искоса посмотрел ему в глаза; но Шутовкин шел по-прежнему беспечно, будто ничего не сказал, переваливался и утирал отвисший, полный и потевший подбородок.

Панчуковский вздохнул и посмотрел на часы.

— Мосей Ильич!

— Ась? Что вы?

Он копался с подтяжками.

— Я долго тут остаться не могу, мне надо ехать.

— Куда же вы?

— Позвольте... Вы спросили меня о такой вещи, такой, что я...

— Да вы не сердитесь, душенька! Ну, что же делать! Была жена, была... понимаете?.. А теперь нету, и у вас Оксаночка живет. Тем только и разница между нами: я вполне кучу́ себе всласть, а вы частицей...

— Мосей Ильич, слушайте: если вы меня любите, прошу этого вздора никогда при мне не говорить! Ну-с... Слышите ли? Я не стерплю этого в другой раз! Понимаете? Я давно вдовец, повторяю вам, вдовец... лишился жены: в цвете лет она умерла, бедняжка, и я оплакиваю ее день и ночь... Эта сплетня мне особенно неприятна, и я прошу вас, требую именем нашей дружбы, услуги моей вам, молю вас — не упоминать ни мне и никому здесь другому о ней никогда. Жена моя умерла, и все, что я имел, явившись сюда, есть завещанное мне ее состояние. Я сам, точно, никогда ничего не имел. Так перед такими женами-с надо благоговеть, а не шутить, и да будет стыдно тому, кто осмеивает подобные чувства!

Панчуковский сказал это дельно, твердо, огорченным голосом и даже отвернулся.

— Ну-ну, не сердись, колонель! Ведь я пошутил. Я вас люблю, крепко люблю. А с нынешним вашим домашним благополучием вас от души и от всего сердца-с поздравляю. Товарищи мои, портовые купцы, смеются, что я живу на-

распашку. А бес их побери! Что, однако, у вас за новый случай произошел после этой стычки с косарями?

— Какой?

Полковник ходил еще взволнованный и кисло посматривал на обнаженные ветви сада.

— Да насчет вашего лакея, татарина этого.

— Ах да, правда! Вот случай, вот жалость! Бедняжку этого, Абдулку, я посылал за расчетом в городок, в хлебную контору. Он деньги привез; но дорогою где-то, несчастный, поел в шинке порченой соленой рыбы, приехал домой, мучился сутки и сгорел так, что ничего не могли сделать, и доктор был... Я доктора из города на подставных вызывал... Вы знаете, я сам готов околеть иной раз, а уж для людей я стараюсь. Тут у вас в Новороссии мы не помещики. Вольный труд здесь нашего брата поневоле очищает, делает человеком. И за это искреннее благодарение вашим чудным, привольным местам.

Полковник оживился, повеселел. Он добродушно стал разглядывать тихие туманные виды окрестных степей, открывшиеся перед ними с пригорка, на краю сада. Голос его звучал мягче.

— Что за прелестные места, Мосей Ильич, посмотрите: вон алексинская церковь белеет, верхушка ее чуть сверкает в тумане; вон чичибеевские курганы; вон обоз чумаков тянется... Ну, не счастье ли, не рай ли земной у нас?

— А вы на выборы собираетесь?

— Какой вы чудак! Что вы о выборах вспомнили?

— Да так-с. Часто я думаю, отчего это мы, купцы, исключены из дела земства-с...

Они прошли еще несколько по саду. Из дома звучала полька. Барышни затевали танцевать.

— Скажите, однако, какое несчастье! — продолжал Шутовкин. — Я все о вашем слуге думаю... Значит, у вас теперь лакея нет? Вы ищете нового?

— Нашел уже; благодарю вас.

— Где? Вот и отлично-с.

— У немца Шульцвейна, молодца из его хутора, что он возле Дону нанял. Спасибо немцу, хоть этим мне удружил, — уступил. Я его усиленно просил. Приходилось хоть самому сапоги чистить. Он у него рассыльным с осени был, такой проворный, бойкий, хоть и немолодой уже, кажется, человек. Он им доволен был, да раскусил, что он беглый, и отпустил его. Честный немец беглых недолюбливает. Трусит, боится, не то что мы с вами...

— Не Митька Базарный? Я того знаю: вор...

— Нет, Аксентий Шкатулкин.

— Аксентий Шкатулкин! Позвольте, позвольте, я что-то припоминаю: не было ли о нем публикаций? Должно быть, были. Верно, из неводчиков достал? Вы не слышали?

— А прах их побери! Я их не разбираю! У меня все почти беглыми идет работа; оно лучше и дешевле. Разве когда от этого пострадаю! Мой штат вольный, как вы знаете, милости просим всех! Я на моих беглых, как на гору, надеюсь. Ведь проведай обо мне петербургские журналисты, они меня за эти мои штуки со свету сгонят. Да что на них смотреть! Я, впрочем, как был в Питере, знакомство с ними шапочное вел. Славные люди, все бонвиваны. Бюрократы тамошние, однако, лучше, зрелее и дельнее. А все-таки, Мосей Ильич, у нас лучше живется, чем у них. Не правда ли? Клад, а не земелька; уголок непочатый, своя Алабама и Висконсин: ведь так? Сколько вы, позвольте, за сало рассчитываете получить осенью?

— Да тысяч двенадцать серебрецом опять в один раз получу.

— Ну, а я-с за мою пшеничку да за лен так тысяч сотенку целковых загребу... Ведь посев у меня теперь был сказочный-с. Так как же себя не побаловать бабенками после этого? Правда? В наших старых городах этих лакомств не знают настолько!

— Чуть, однако, беглые вас было не убили. Не мешало бы вам их побаиваться. Ну, да авось сойдет!

— Что мне их бояться! Деньги у меня припрятаны в таком местечке, что не скоро до них доберешься. В кабинете на стене и в спальне у кровати всегда готово оружие. Стены вокруг двора высокие, ворота надежные.

— Не в наружных ворах бывает опасность, дружище, а во внутренних. Вот что! Домашний враг опаснее всякого другого...

— Вы думаете?

Полковник оглянулся по саду.

— Домашняя прислуга, — сказал он шепотом, — куплена у меня такими деньгами, о каких здешним скаредам-помещикам и в голову не придет никогда. Я на мою дворню, как на самого себя, надеюсь!

— Да уверены ли вы, например, в этом-то новом, все-таки повторяю, своем слуге?

— В Аксентии?

— Да-с, в Шкатулкине, что ли, как вы сказали?

Полковник улыбнулся и опять по привычке посмотрел вокруг себя.

— Это, скажу вам, камрад, такое чистое, добродушное, простое и глуповатое создание, что прелесть! На днях я по ошибке дал ему для размена сторублевую вместо десятирублевой депозитки, впотьмах. Что же бы вы думали? Принес из алексинского шинка, смеется и говорит: вы только, барин, молчите, а мелочи дали лишних девяносто целковых. Я, разумеется, расчел свои деньги, вижу, что лишнего ничего не было. Но какова приверженность! А?..

— Радуйтесь, что и говорить! Но лучше берегитесь; знаете, какие слухи ходят: уезд наш наполнен фальшивыми монетчиками; на Сиваше, за Арбатской Стрелкой, разбойник настоящий показался; бродяги по донским дорогам пошаливать стали; почту уж с конвоем отправляют...

— Я спокоен и вам советую бросить лишние страхи.

— А ваша осада? Не подвернись приказчик Шульцвейна, не уведомь он исправника, ведь вы пропали бы даром, как муха-с...

— О, вздор какой!

— Вздор, подите же! А я повторяю, не будь у нас все так-то-с на Руси, где еще нагайка десятского да зычный крик капитан-лейтенанта Подкованцева-с тысячную толпу способны рассеять, аки ветерок облачка-с во поднебесье, то сослужили бы мы по вас панихиду-с, Владимир Алексеич!

Панчуковский, посматривая с пригорка, откуда и его Новая Диканька виднелась, курил сигару и посмеивался.

— Вы смеетесь?

— Да, смеюсь, потому что наша чернь еще глупа, тупа и безобразна.

— Не шутите, полковник, с нашими тихими и добрыми мужичками, не употребляйте во зло их кротости и смирения-с. Я сам из мужичков-с, честь имею доложиться...

— Вы, Мосей Ильич? Вы... происхождением?..

— Да, я-с, я был сибирским-с ямщиком, в юности в бабки игрывал, секали меня; землю пахивал своими собственными руками...

— Вы, вы?

— Я, я-с!

— Вот не ожидал...

И полковник невольно окинул глазами Шутовкина с головы до ног, будто впервые его видел.

— Чай, с презрением-с считаете меня дураком и за раскол-с? Дело нерешенное, ваше высокоблагородие. А я никому вреда не делаю. Заводы мои идут отлично! Я на армию свечи поставляю, в гильдию плачу; вон три воскресные школы на свой кошт соорудил в здешних городах и их содержу; книжек пропасть покупаю в Питере, хоть сам малость читаю; библиотеку в деревне у себя сочинить успел — заезжайте только читать! Картин из Москвы навез, почти всю выставку в последний раз там закупил, журналисту тоже там одному беднячку малую толику дал... Да-с. А войди ко мне в дом, на хуторе, где я живу, чего там только нет? И статуи из Греции-с, в магазине в Одессе купил, и фортепьян двое; цветы, ковры, бронза, всякие украшения, яства-с тончайшие,

вина... Учителя-молодца держу при детях, вы его достаточно знаете, школю их, чтоб не дураками вышли; в Москву в университет повезу и тут же во здравие их новую там жертву, что ли для науки этой, соблаготворю... А? Что? Чем же я не человек-то теперь, ваше высокоблагородие? Разве что в чинах только не произошел ничуть да в сенатских книгах помещиком не прописан...

Шутовкин разгорячился. За шейным платком снял сюртук, а наконец, и жилет. Несмотря на серый денек, ему было нестерпимо душно. Он сел на лавочку.

— Эка душно-то мне, душно! Природа уж у меня такая сильная. Я и девочку эту не из блажи какой похитил. Что делать! Слаб есмь человек, да и все тут! Ну, а как Русь-то наша в опасности, не дай Бог, очутится? Кто больше сыпнет деньгами-то? Я или вы, ваше высокоблагородие? Ну-ка, решите? Что?..

Полковник ничего на это не ответил. Пошли приятели дальше по дорожке. Вечерело. Шутовкин опять оделся; сполз, пошатываясь, с берега к реке, умылся, освежился и окончательно стал молодцом.

— Толстяк, жирный волокита! Так-то вы меня все и зовете! А моя барышня у меня на свободе вон ходит, в почете и уважении. А ваша? За что вы ее томите одну? Хоть бы их познакомить нам, душечка, что ли?

— Чудак вы, право! Ваше положение и мое! Это два разные света. Не могу я так шутить своими отношениями к людям, как вы.

— Не можете? Гм!..

Шутовкин посвистал и опять сел на скамеечку.

— А правда, что вы уж и ребрушки помяли вашей красавице?

— Опять сплетни! Да оставьте их, ради Бога; то о живой будто бы жене моей, то опять о каких-то моих жестокостях! И кто это вам мелет?

— Та-та-та! На-поди! Будто я уж вас и не знаю, камрад! Ведь вы зверь лютый; ну, что нежничать-то! Теперь

вот я мелю с похмелья. А тверезый я этого, может быть, и не сказал бы вам.

Приятели еще потолковали и пошли в дом, где подали уже свечи.

Намеки Шутовкина, однако, остались не без последствий для полковника. Панчуковский стал еще осторожнее с знакомыми. В это время ему прислали из Вены и из Парижа множество вещей для последней отделки дома: бронзы, деревянных резных поделок, обоев, тканей, зеркал и ковров. Русский человек уже не может обойтись без того, чтобы, мало-мальски устроив свои дела, не затеять отделывать и превратить свой дом в подобие Луврского дворца или, по крайней мере, магазина мануфактурных изделий, причем первые бренные барыши, потраченные с таким умом, обыкновенно на этом убивают и самое дело. Соседи съезжались теперь снова смотреть на диковинки полковника. Он был наверху блаженства и, указывая на разгружаемые транспорты ящиков с мебелью, зеркалами, фарфором и бронзами, повторял:

— Да, господа, я не мот, но человек земли, праха... Люблю пожить, люблю довольство за его поэтические лучшие стороны. Уж на пустяки я денег не брошу; зато эти у меня разные-с дубовые, ореховые и березовые столики, кресла и диванчики — прямо от Кейзерлинга из Вены; эти подражания гобеленам — из Парижа... Все здесь чудеса рук первых артистов!

— Вам бы жениться, жениться! — повторяли старушки-болтушки из соседок, всегда падкие подкузьмить ближнего какой-нибудь застарелой внучкой или золотушной и кислой племянницей.

— О! Владимиру Алексеичу некогда о таком вздоре думать, о женитьбе; у него столько дела, хлопот! — говорили тут же на это сами внучки и племянницы, лорнируя мебель, бронзы и гобелены, но в то же время не забывая изредка обратить лорнет, будто бы нечаянно, и на щегольской сюртучок самого полковника, на его лаковые полусапожки, затейливую часовую цепь, с колчаном стрел и с луком

купидона, между кучею брелоков, а еще более взглядывали они на его убийственные раздушенные усики и на нежно-томные, губительные и вместе ласковые глазки, когда он стоял между ними и ораторствовал.

Женский пол, в знак особого уважения, не переставал посещать, в сопровождении мужского пола, счастливого обитателя вновь созданного в этой глуши хутора Новой Диканьки. А полковник не переставал ликовать.

— Что старая Диканька! — говорили некоторые из его друзей. — Что из того, что ее вместе с старосветской умирающей Украйною воспел Гоголь! Эта старосветская Украйна была когда-то хороша! Теперь это все еще милая, но уже печальная и пустынная могила... Жизнь здесь, а не там, здесь, у нас, в нашей Новороссии! Здесь все надежды юга! Отсюда выйдет его будущность. Давно ли вот на этом самом месте один ветер пустынный бродил, бурьяны, ковыль да чертополох произрастали, перекати-поле прыгало; а теперь тут мигом вырос поселок, явился чудный дом, оживленное общество шумит, веселится, рояль гремит, чудеса света сюда стекаются.

— Искусственный плод все это! — замечали другие.

— Жениться, жениться, жениться вам! — продолжали в то же время шушукать полковнику болтушки-старушки.

На их улыбки улыбался и он, по-прежнему ораторствовал, шутил, спорил и пускался в объяснение живейших вопросов современности.

— Это не человек! Нет, это какое-то божество! — говорили о нем дамы, возвращаясь иной раз с веселой прогулки целым обществом в Новую Диканьку.

— Ну, божество не божество, — возражали суровые мужчины, нагруженные всякими яствами и тонкими питиями до отвала, — а человек он точно хороший. Главное — товарищ отличный; дока на дела и вместе не спесив.

Гости уезжали. Полковник садился за счеты, соображения, пускался бродить и ездить по хозяйству.

«Еще таких года два-три, — думал он, раскинувшись иной раз в кабинете на диванчике, с сигарой в зубах, — и

я буду в полумиллионе чистого капитала! Тогда я произведу расчет всем делам, все мелочное обращу в наличные деньги — и... куда же тогда? В Петербург? Да, многим там можно будет пыли пустить в глаза таким капиталом! Сперва поважничаю, вечера устрою там, вторники, что ли, или четверги. В финансовый мир попаду, станут ко мне ездить все действительные да тайные... Предлагать станут места... Разве в губернаторы тогда куда-нибудь поехать на время?.. Еще в министры так, пожалуй, попадешь... Вот, черт возьми, счастье! Да и женщин новых увидим! А дела пойдут все лучше и шире; устрою какое-нибудь общество на юге... Нет, Диканьки моей тогда не продам... А не лучше ли на старость куда-нибудь в чужие края, на Лако-ди-Комо или в Байский залив по пути сластолюбивых счастливцев, римских императоров?.. В Диканьку мою станут путешественники съезжаться, смотреть на ее устройство... И как подумаешь, все дело рук одного человека... одного!»

— Барин, барышня прогуляться просится, — прерывал часто в такие мгновения мечты полковника новый слуга его, Аксен Шкатулкин.

Вслед за этим слугою и вся дворня начала Оксану звать уже барышней.

— Прогуляться? Что? Я не расслышал, Аксентий...

— Да-с, на воздух-с. Затомилась, должно быть, наверху...

— А! Хорошо; иди ты с нею, побереги ее там, знаешь, пока...

Лестница тихо скрипела. В платочке, бледная, тихая, но такая же, как была, хорошенькая, Оксана пугливо и бережно спускалась с своей вышки, с мезонина, и шла освежиться за ворота, а когда не ожидали гостей, то и далее, в поле и к овчарням.

Ревнивый, или скорее чопорно-скрытный с товарищами, Панчуковский вовсе между тем не скрывался от своей дворни. Оберегательница Оксаны, старуха Домаха, иногда прихварывала, и полковник отпускал свою пленницу гулять либо с куче-

ром Самойлой, либо с новым слугой Аксеном. Самойло и в прогулках не покидал своего мрачного настроения, беспрестанно вздыхал, бормотал себе под нос не то молитвы, не то упреки и жалобы на свое горемычное положение, что вот живет он теперь, как пес бездомный, что у него виду-то Божьего нет, то есть паспорта, что заставляют его иногда нехорошие дела делать, и уж тут хоть что ни говори, а приказания барина ослушаться не следует, и что кто его и похоронит-то, когда он тут без вести пропадет, без толку мыкаясь, а что в России у него и женушка брошена, и детки малые там есть, верно, плачутся на него, житье свое бесталанное и беспомощное проклинают... Воркун был Самойло большой, на грудь он часто жаловался, что лошади полковника его как-то раз побили, когда он их наскакивал в четверне. Походит Самойло с Оксаной за воротами, кнутиком по траве помашет и воротится. Скучно ей было ходить с ним.

— Дядюшка, пойдемте хоть чуточку дальше, вон к овчарням, либо хоть к тому вон колодцу дойдем! — говорила Оксана, похаживая по травке.

— Нельзя, сердце, нельзя! Барин увидит; пора уж и домой. Теперь тоже ходи с тобой, а там лошадей пора кормить, коляску помыть надо беспременно.

— Ах, какой же вы, дядюшка Самойло Осипыч! Ну, хоть вон на тот пригорочек, дайте я сама добегу. Ноги дайте размять, сердце мое, вся душа во мне изныла... Какой он вам барин!

— Нельзя, о, и не говори лучше! Барин морду побьет: тебе ничего, а мне каково, как уйдешь?

— Да что же каково-то?

— Да как ты убежишь, говорю, от меня вовсе-то?

— Куда? Я? Бог с вами, дядюшка! И что вам приснилось!

Самойло не сдавался и ворчал поминутно, не покидая Оксаны и подозрительно поглядывая на свою спутницу. Оксана начинала плакать.

— Постылая-постылая, проклятая жизнь! Боже, Господи, — говорила она, — хоть смерть пошли, хоть кару какую

небесную, болезнь, чтоб я ослепла, горя своего не видала; чтоб красота моя пропала, чтоб и не смотрел он больше на меня, отказался бы от меня!..

Самойло вынимал из-за сапога трубку, набивал ее и, поглаживая седую широкую бороду, начинал дымить любимый тютюнец. Оксана смотрела вдаль. Слезы душили ее. Она старалась в сизом тумане разглядеть если не самый Святодухов Кут, то хоть бы путь к нему, хотя бы, среди печальных и обнаженных нив и сенокосов, холмов и лощинок, затерянную туда степную дорожку. По этой самой дорожке еще так недавно летел полный надежд на барыши студент Михайлов, невольная причина ее печального похищения. Вспоминаются Оксане еще недавние любимые ее песни, которым ее учила старая дьячиха. Она старается запеть их, стоя поодаль от Самойлы на пригорке, за оградою дома, но слова и голос ей не служат. И песни-то она будто уже все забыла. Она усиливается, напевает... Голос ее дрожит.

— Э, сердце! Да ты песни хорошие знаешь! Спой-ка еще, спой; я барину скажу, ты и ему запой, он тебе подарит что-нибудь.

Оксана Самойле отвешивала низкий поклон.

— Оставьте меня, дядюшка, увольте! Коли я жива, то не томите, меня в гроб заранее не гоните! Пропала моя честь, и душенька моя распропала... горько-с!

— Да разве тебе плохо тут жить-то, разве тебя не холят все? Или ты его и взаправду не любишь?

— Не спрашивайте меня про это; про это доля моя знает, бедная, горемычная... Маюсь я так-то у вас, почитай, как неживая.

Дважды, впрочем, в первые месяцы пыталась Оксана убежать. Один раз нашли ее на сеновале, куда она спряталась было, как-то уйдя до зари сверху из дому и ожидая, пока ворота отопрут. Потом она тайком переоделась в платье Домахи, повязалась ее старым платком, накинула на плечи ее шубейку и с ведром так дошла было уже до колодца. Но тут узнал и воротил ее поваренок Антропка. Сильно она

просилась у него, молила его, кланялась ему, обещаясь заплатить за свой побег.

— Э, сволочь! — заключил на эти вопли Антропка. — Еще на вас смотреть! С жиру беситесь! Марш назад, к барину-то! Чего слезы распустила! Туда же в недотроги мостится!

И он ее силой воротил, притащив в самый кабинет полковника, которого, впрочем, тогда дома не было.

Строгости надзора над Оксаною не прекращались.

— Пока она у меня, всем вам двойное жалованье, — решил Панчуковский, созвавший всю дворню по случаю этого второго приключения, — слышите? Всем двойное жалованье, сколько бы времени тут ни прожила.

— Слышим, — будем стараться-с!

— А тебе, Антропка, вот... за услугу!

Полковник бросил Антропке депозитку. Тот ему ручку поцеловал.

— Так я же, смотрите, не шучу. А уйдет, всех долой прогоню... Слышите?

— Будьте спокойны-с; мы уж не выпустим Оксанки-с.

— Да языки держите тоже на привязи; а выйдет что-нибудь — какая сплетка, кроме того, что прогоню, еще вздую. Слышите? Плети! Ведь вы меня знаете.

— Слушаем-с, как не знать! — ухмылялась беспаспортная дворня.

— То-то же!

Полковник в тот же вечер, после нового побега, отправился наверх к беглянке.

— А тебе, плутовка, не стыдно? Бросать меня, а? Ну, скажи, не стыдно? Что тебе отец-то Павладий? Лучше тебе там жилось, что ли, как ты там стряпала, дрова да воду носила?

Молчание.

— Домаха, уйди отсюда...

Домаха вышла за двери. Полковник с Оксаной остались одни.

— Оксаночка, не стыдно ли? Ты здесь, как у матери в холе! А бросишь меня, ведь я поймаю, что тогда будет? Ведь я со дна моря найду тебя опять!

Опять молчание. Полковник треплет пленницу по щеке, обнимает ее, целует, на колени к себе посадил.

— Ведь я тебя не упущу больше; ни-ни! Извини уж, шалишь! Никому тебя не отдам...

Новое молчание.

— А поймаю, извини: на конюшне, душечка, высеку... О, я злой на это! Чик-чик, чик-чик! Да!..

Оксана становится белее стены. Полковник обнимает ее еще крепче.

— Да, уж за это извини, я не люблю шутить! У меня будь, мое сердце, покорна — озолочу тебя, а непокорна — и сам прогоню, только прежде розочек всыплю... Ну, что же ты молчишь? Целуй же меня, ну, обними!.. Вот так! Да крепче, крепче... еще!

«Боже, Господи! Хоть бы ты убил меня тут! — думает Оксана, обнимая полковника. — Или хоть бы я на это змеей была, чтоб от моих губ-то он сырою землею почернел!»

— Да что же ты молчишь, насупилась, будто сердишься на меня? Э! Я этого тоже не люблю, ты знаешь! Ну, коли убежать хотела и тебя простили, так смейся! Смейся же, говорю тебе, смейся!.. Вот так, так... Ну, а теперь опять целуй!.. Так! И опять смейся!.. Покоришься, будешь по воле жить... у меня тоже мещаночка такая была!..

Оксана сквозь слезы обнимала Панчуковского, приневоленная, ластилась к нему, скрывала горе и муки свои. А когда она оставалась одна, то рыдала, весь свет проклиная; ей особенно мучительными казались немые стены ее вышки, и она долго-долго, сама не зная о чем думая, смотрела все на узенькое окошко с железной решеткой в своей комнатке да на двери, будто все ожидая кого-то и будто не веря еще, чтобы ее мучению не могло быть когда-нибудь нежданного конца.

Зато с новым слугой полковника Оксана любила гулять в те дни, когда более и более хиревшая оберегательница ее Домаха не сходила по целым дням с своего коврика, от ее дверей, из темного уголка на верхней площадке лестницы. Аксентий Шкатулкин был человек уже не первой молодости, сильно потертый, как видно, и помятый жизнью. Он держал себя весело, но вместе с тем как-то степенно и набожно, как многие русские люди, окончательно положившие перейти от широкой и загульной жизни к покаянию, если только этому покаянию выпадало на долю действительно когда-нибудь осуществиться. Он ходил чистенько, не пил, не шумел, не бегал в шинок, тотчас сошелся со всей дворней и часто молился вслух, особенно на сон грядущий. В его полотняной сумочке, когда он смиренно приплелся от Шульцвейна к полковнику, оказались и были замечены дворней кожаный бубен с погремушками и святцы.

— Да вы, почитай, не из духовных ли? — допрашивали его на первых порах дворовые полковника.

— О, никак нет-с! О, ей-же-богу, нет! Я простой-с... человечек так себе-с...

— Так, верно, вы из музыкантов чьих-нибудь, того-с, тягу дали?..

— О нет! И это, ей-же-богу, нет! И не из музыкантов.

— Так зачем же вам бубен да святцы?

— Когда мне скучно бывает, я помолюся; когда же весело — в бубен поиграю...

— Бррраво! — закричал на это кто-то из батраков. — Таких-то нам и надо!

Оксана, повторяем, не отказывалась гулять с Аксентием. Уйдет с ним за ворота, а там к батрацким избам, к овчарням, к колодцу, а часто и в поле. Сядет с ним на пригорке, слушает его, смотрит в степь на поля, как там на зиму под жито пашут, вороны за плугом ходят, или сама что-нибудь говорит Шкатулкину, облегчая душу.

— Вы вот, дядюшка Аксентий Данилыч, не то, что наш Самойло Осипыч.

— А как-с так, моя царица? Говорите.

— Да вы вон тоже приставлены, а добрее его.

— Вы полагаете-с? Быть тому не может-с! Так ли?

— О как же! И еще я-с впервые, можно сказать, вижу такую услужливость, хоть вы и стары-с, дяденька.

— Вы полагаете? Так-с! Пусть я стар. А вы бы меня полюбили, коли бы я, примером сказать, не холуй был, а тоже, положим, полковник-с? Отвечайте на это, барышня, а?..

Оксана повеселеет от шуток Аксентия и часто, бывало, шутит с ним, смеется от души. Они в поле и в карты на виду у всех играли. Либо Оксана шьет, а Шкатулкин сядет против нее, поодаль на корточках да посвистывает, в бубен играет. Полковник сам это видел иногда с балкона и хвалил Шкатулкина за услужливость.

— Вы, барышня, сиротка-с? — спрашивал Аксентий.

— Да-с. А вы?

— У меня не спрашивайте. Я непотребен-с...

— Как-с непотребны? Это как-с?

— Я бродяга-с чуть не сызмальства. Отца-мать хоть и помню, да что толку? Мало они меня учили, что таким дураком стал.

— Жаль вас, жаль, дяденька...

— Да что меня жалеть-то? Говорю вам, что я никуда не годен-с стал. Вы вот лучше, барышня, скажите... правда ли это, что вы... дочь убитого беглого-с бедняги, бурлачка-с?.. Того вот, что тут неподалечку когда-то был зарезан, тоже... извините... другим бродягой-с!

— Правда... ох, правда, дядюшка! Я самая и есть... А вам меня жалко? Кто вам сказывал?

Шкатулкин мялся на месте, закидывался навзничь, посвистывал и опять вставал. День вечерел. Они сидели у колодца, над оврагом, в виду широкой зеленой поляны, по которой паслись овцы и лениво ходил пастух.

— Мне-то вас жалко ли? — замечал Аксентий, оглядываясь. — Мне-то жалко ли?

— Да-с.

— Еще бы вас не жалеть-с, когда я... так сказать... с вашим батюшкой, выходит... с тем-то вот, значит, с зарезанным...

— Ну, ну?

— Я с ним, с вами, выходит, вместе и шел в это-то место, когда впервые бежал из России...

— Так вы, дядюшка?..

— Э! Уж вы, барышня, и допрашивать? Скоро больно! Я только говорю вам, знал вашего покойника батюшку и мертвым его видел, как хоронили его, бедняка, в Таганроге; в больнице он и умер-с... А вас вот только девочкою видел... Только вы никому ни слова про то — слышите? А то меня откроют. Ведь я тоже несчастный-с, в бегах от господ... Я и убежал сюда. А вы молчите: что толку-то сказать! Я вам не помогу... Моему же барину, полковнику, я ныне привержен, аки раб рабский, и готов за него в огонь и в воду-с.

Читатель, разумеется, уже угадал, что Аксентий Шкатулкин был не кто иной, как давно нами оставленный Милороденко, некогда друг и вожака Левенчука! Судьбе угодно было, чтобы в новых подвигах своих, спасаясь от поисков нахичеванской полиции, он попал теперь именно в дом главного свата всех беглых в крае, Панчуковского, чтобы встретиться у него с Оксаной, о детской судьбе которой первый он же передал когда-то бедному Левенчуку, идя с ним глухими дорожками на юг в степное приволье. И этой же судьбе, наконец, угодно было, чтобы Панчуковский, получив газеты от своего кровного недруга, отца Павладия, не прочитал в них публикации о последних беглых, с описанием примет Милороденко и его страсти к светскому разговору.

Оксана между тем сильно обрадовалась, что встретилась с человеком, хоть и преданным ее губителю-полковнику, но, как видно, с добрым, честным, разговорчивым и жалостным. Ее радовало на ее скуке и то, что между нею и слугою полковника затеялось даже и нечто сокровенное, тайна завелась; он видел ее когда-то в детстве, видел и бедняка, ее

отца, которого она сама не помнила, просил ее не говорить об этом никому, и она молчала, держала слово.

— Аксентий Данилыч, голубчик! — сказала она ему однажды, сидя с ним на крыльце и гадая ему в карты. — Я все вам скажу, про все загадаю, только сослужите мне службу!

— Какую?

— Помогите мне уйти к отцу Павладию или известите его, дайте мне воротиться к нему! — шептала Оксана, оглядываясь.

Шкатулкин на это громко расхохотался, так и залился колокольчиком.

— Ах, вы шалунья, барышня! Да разве это возможно-с? Да меня полковник за вас щелчком, одним махом порешит-с! Что вы! Да я ему предан... я ему предан, как отцу родному. Куда! Сказать правду, и родному отцу-то я вряд ли был бы так предан.

Оксана смиряла пылкие надежды, просила ей хоть огурчика тайком пронести, селедочки: ей начинало что-то жечь под ложечкой! Голова все кружилась. Аксентий на это усмехнулся, смекая о близкой радости полковника. Зато в другой раз сам Аксентий заводил такую речь:

— Барышня, а барышня!

— Что?

— У меня тоже к вам дело есть...

— Какое?

Это было в воскресенье. Самойле и Аксентию барином было поручено свозить Оксану в соседнюю греческую деревушку, в церковь, куда почти никто из православных помещиков не завертывал. Она давно просилась у полковника помолиться. Верные слуги исполнили приказ в точности. Освежили пленницу прогулкой и дали ей вместе с тем помолиться. Аксентий вошел с ней в церковь, дал ей сделать три поклона, поцеловать образ, прочесть молитву и вывел ее обратно. «Будет-с!» — «А как крикнула бы я в церкви?» — шутила дорогою Оксана. «Э, вы не заметили, там наши батраки были... барин и об этом распорядился...»

Итак, Оксана спросила у Шкатулкина, какое же у него к ней дело. Они ехали в коляске. Самойло сидел на козлах, а Шкатулкин рядом с Оксаной внутри экипажа. Они говорили шепотом.

— Вы вот меня все за старика считаете, барышня, а у меня душа молодая. Мне жаль вас, очень жаль, барышня! Скажите: что, если бы настоящий-то... ваш милый, Левенчук, что ли, он вдруг явился бы к вам?

Оксана побледнела и чуть не вскрикнула. Аксентий ее вовремя остановил.

— Любите ли вы его по-прежнему, барышня, своего-то дружка настоящего, мужика-то, нашего брата? Любите? Или вы совсем...

— Не мучьте моего сердца, Аксентий Данилыч...

— Да скажите, любите? Или вы от барина уж не отстали бы?

Оксана склонилась на грудь, руки ее упали, слезы выступили из глаз.

— Люблю... я-то люблю Левенчука... да только в глаза-то ему как я теперь посмотрела бы?.. И как он теперь меня захотел бы вызволить?..

— В глаза? Он-то?

— Да!

Аксентий посвистал будто про себя.

— Как вы, а я бы еще сызначала штуку барину бы сделал...

— Какую?

Аксентий ничего не ответил.

— Грех вам, дядюшка! Вы думаете, что я охотой...

Оксана залилась слезами.

Лошади добегали уже к хутору. Оставалось версты две.

— Дядюшка! — шепнула судорожно Оксана.

— Что, мое сердце? Фу, какая вы антиресная!

— Что вам дать за волю-то мою?

— Чем заплатить-то мне?

— Да.

Аксентий склонился к ее уху:

— Коли бы у вас хоть миллион был, барышня, а я, значит, моего барина, распредобрейшего Владимира Алексеича, ни за что бы не променял. Я пошутил-с! Будьте ему покорны во всем, аки я сам раб, смерд смердящий, верен ему! Это вам-с мой совет.

Подъезжая к воротам, Шкатулкин сказал опять:

— Вы обо всем, что я вам говорил, ни гу-гу. Слышите?

— О! Я-то никому...

— То-то же, барышня, а то ведь я и ножом пырну! Скажете — я, значит, пропал, а меня не замай — в острог-то не хочется...

Аксентий ловко отворотил конец рукава, и за лацканом показался нож. Оксана помертвела.

— Это-с я всегда про запас ношу. А вы будто ни про что и не слышали. Я здесь чужой, и вы чужие-с... Выдадите про мои лишние с вами разговоры, ведь ничего не выиграете. Пожалуйте-с ручку, сударыня, приехали! Миль-пардон! — добавил он громко, уже у крыльца.

Ловко выпрыгнув из коляски, Аксентий свел Оксану еще ловче по ступеньке наземь, потом в сени.

— Вам бы нашей барыней быть, повелительницей, полковницей! — весело заключил он, снимая шляпу с кокардой, когда Оксана в яркой алой клетчатой юбке и в дорогом платке и монистах входила с крыльца в сени. Полковник начинал одевать ее щегольски.

— Лошадей выпрячь да и выводить получше! — крикнул между тем полковник из окна кучеру, не без радости подхватя на лету слова Шкатулкина и самодовольно любуясь соблазнительной красотой Оксаны, ее здоровым полным станом, густыми русыми косами, побледневшим и слегка захудалым лицом, слегка впалыми томными глазами, и этим живописным украинским нарядом, шитой пестрыми шелками сорочкой, монистами и яркой алой клетчатой юбкой.

«О! Теперь я за нее спокоен, она не убежит! — решил в восторге полковник, провожая глазами щегольскую четвер-

ню любимых лошадей, удалявшихся в мыле и в пене к конюшне. — Вот я поеду на торги, пшеницу продавать в Бердянск, и ее возьму, в театр повезу, еще платьев ей понаделаю. Наряды кого не соблазнят!.. Да, кажется, она уже и беременная... Все в ней хорошо; пылу только этого нет; какая-то вялая будто, тихая да молчаливая...»

Где-то, у кого-то при каком-то разговоре у Панчуковского завязался спор о преданности владельцам крепостных дворовых. Полковник доказывал, что верность и честь — принадлежность одних людей благородной крови, что если есть звери породистые, то есть и люди породистые, люди белой кости.

— Я, господа, демократ в душе; но кровь, лучшие предания человеческой семьи — это такие вещи, такие, что я...

— Ах, полковник, ваша правда! — перебила его соседка Щелкова, протискивая свой чепец и свой чубук в кружок, по обычаю обступивший местного Токвила, — я вам расскажу свежий пример...

— Какой? Какой? — спросили слушатели.

— На днях я ездила к золовке моей, за Дон. На одной из этих скверных донских станций собралась огромная толпа проезжающих. Куча всяких подорожных лежала на столе, а лошадей никому не давали — ждали какое-то важное лицо третьи сутки...

— Это ужас, ужас! Вот наши почты! Вот злоупотребления...

— Не в том дело, — сказала Щелкова, — а вот в чем. Тут же сидела, скучая, одна почтенная и премилая дама, помещица из России. Она молчала, ни с кем не вступала в знакомство, вся в черном, и маленькая дочь с нею. Ее поразило необычайное происшествие: крепостной слуга ее мужа, кажется покойного уже, мальчик лет двадцати пяти, на которого она возложила в пути все свои нужды, все чемоданы и ключи ему сдала, — этот мальчик, пользуясь хорошей погодой — а погода тогда стояла чудная, — выходил

часто за ворота и на крыльцо станции... все смотрел вдаль, я сама это замечала, будто дивился нашим местам, еще подслеповатый такой и как будто загнанный, скучный, — смотрел-смотрел... Да как был в одном сюртучишке и замасленном картузе — и дал тягу в степи, пропал без вести.

— Это ужас! — шептали дамы.

— Какая же причина? — допрашивали мужчины.

— Гм! Простая-с! — злобно и вместе насмешливо ответила, кашляя, Щелкова. — Очень простая, как же вы не догадались! Уж это у нас народец такой, не вези его сюда! Как приехал, поставил нос по ветру, почуял волю — и драло! И край-то здесь, упаси Господи! Мне что! Я больше вольными работаю; да где денег-то взять, где взять их нам, горемычным?

— Что же, нашли этого лакея?

— Куда вам его тут найти! И бежал-то он, как говорят, потому, что через барыню ожидал попасть в чужие знакомые руки. Так на станции ямщики после толковали.

— Барыня же это кто такая?

— Перепелицына. Я в подорожной смотрела, Перепелицына из Моршанска.

Панчуковский чуть не уронил стакана с чаем, бывшего у него в руке, и едва мог скрыть волнение, охватившее его при этой вести.

— Как вы сказали? — отнесся он, сколь мог свободно, к Щелковой.

— Перепелицына-с... Так мне сказали, и в подорожной так прописано.

— Где же она теперь?

— В Севастополь, что ли, на могилу мужа, кажется, поехала.

— А мальчик?

— О нем она становому послала объявление и сильно-сильно была стеснена его бегством. Он, впрочем, ее не обокрал, и она его очень любила.

— Местечки-с! — насмешливо завершил этот разговор полковник.

После обедни у отца Павладия в одно воскресенье сидел в гостях причт другой вновь устроенной соседней церкви.

— Вы слышали, батюшка? — передавали весть Щелковой услужливые собеседники. — Тут возле, по донскому тракту, ехала помещица и ее лакей на дороге бросил?

— Нет, не слышал. Куда же она сама-то ехала?

— В Севастополь, что ли, — ответил соседний пономарь.

— Что вы, что вы! В нашем уезде, в нашем городе уже живет, поселилась и квартиру у моей тещи наняла! — возразил дьякон.

— Зачем же это она приехала? — спросил отец Павладий.

— По делам. Никого не принимает, живет тихо, в церковь только ходит к отцу Анисиму и, кажется, очень скучная. К дочке учителя искала.

— А лакей ее?..

— Так и пропал без вести; ключи от чемоданов унес, должно быть, по ошибке, а вещей ничего не тронул.

— А!

Панчуковский, неведомо ни для кого, нанял у колониста за Мертвою фургон и поехал за Дон. Там он легко нашел станового, которого имя узнал от Щелковой, явился к нему, будто бы от лица помещицы, у которой сбежал слуга, назвался чужим именем, предложил становому малую толику за справку, получил доступ к его переписке и с худо скрываемым трепетом сел читать объявление Перепелицыной о слуге. Становой, обрадованный в своей глуши нежданно упавшей с неба манной, толкал из приемной своих грязных ребятишек, извинялся, что жена его нечесаная попалась гостю на крыльце, и передавал какие-то новые политические слухи.

Панчуковский впивался глазами в каждую строку простого, по-видимому, и незамысловатого объявления. Из последнего только, кажется, и можно было узнать, что вот

бежал лакей Петрушка Козырь, а приметы ему такие-то, то есть почти никаких, как водится.

— Уж и край! — проговорил становой, как видно начитанный и литературно натертый малый. — Вон этого зовут Петрушкой! Да если бы сюда Чичиков из «Мертвых душ» заехал, и его бы, кажется, Петрушка тут от него бежал, почуяв здешнюю волю, о которой они там на севере-с и не предполагают...

Панчуковский, увидев в бледном и смиренном, по-видимому, становом такие литературные занозинки, сдвинул брови и, как ни занят был другими мыслями, резко спросил:

— Вы где учились?

— Из здешней войсковой-с гимназии исключен-с за стихи на инспектора классов-с.

— Гм! Когда же у вас времени хватает здесь за службой еще книжки читать?

— Находим-с. А вы тоже любитель просвещения?

— О, да! Да!

— И у вас книжки хорошие есть? Вот если бы почитать! Здесь один ученый журналист недавно проезжал на Тамань. Я узнал о его проезде через мой участок и тридцать пять верст за ним гнался, чтобы только увидеть его.

Панчуковский кашлянул, ничего не ответил и, кусая до крови ногти, опять стал перечитывать бумагу. Он встал, начал надевать перчатки.

— Куда же эта барыня проехала?

— Не знаю-с.

— Слугу не нашли?

— Где их тут найти! Помилуйте! У нас тысячи, десятки тысяч таких дел о беглых...

Панчуковский вышел на крыльцо.

— Одно могу сказать, — прибавил становой, в мундирном сюртучке сбегая с крыльца к фургону, — я стал вносить дело об этом-то Петрушке Козыре в опись да по алфавиту наткнулся на дело еще другого Козыря... Последнее тянется уже лет десять, и много становых на нем сменилось; оно об

одном лакее, которого зарезал какой-то косарь; и этого лакея тоже звали Козырем — он при смерти так объявил в больнице, где умер...

— Прощайте!

— Прощайте-с.

Панчуковский уехал, не дослушав последних объяснений станового. Его занимали другие мысли.

Становилась настоящая осень.

— Что, сударь, вы не поохотились бы теперь на зайчиков да лисичек? — спросил утром полковника новый его камердинер, Аксентий Шкатулкин, по своему обычаю, весело посмеиваясь перед барином, виляя добродушной и смазливой, хотя уже с седоватыми усами, мордочкой и играя живыми, подвижными глазками. Он бережно и степенно одевал ноги полковника в сапоги, а полковник лежал на диване в халате и лениво раскидывал мыслями: что ему в тот день делать? На душе его было светло-светло.

Полковник молчал. Солнце чуть глядело в окно. Камердинер снова заговорил:

— Я спрашивал, сударь, не манит ли вас теперь поохотиться с собачками или хоть с ружьем? Деньки вот бывают уж серые, мороз морозит, туманчики в поле прохладные переливаются-с! Вот бы в степь-то... а?

— А ты разве охотник? Тише надевай чулки: там мозоль вон есть.

— Был когда-то-с я и в охотниках! Был, да мало ли еще чем я ни был.

Шкатулкин вздохнул.

— Ты откуда бежал?

— Из-за Полтавы-с... Не верите? Ей-же-ей, не лгу!..

— И давно?

— Да лет десять-девять будет-с.

— Ну, скажи же ты мне, Аксентий, да по правде: где ты все это время бурлачил?

Аксентий умильно улыбнулся, кашлянул, сложил на руках платье полковника, стал в вежливую, вместе почтительную и шаловливую, картинку, губы сдвинул еще добродушнее, глаза окружил беловатыми, кроткими, смеющимися морщинками, брови насупил, вздохнул опять и ответил:

— Извольте, сударь, спрашивайте!

— Где ты был, я повторяю, за все эти девять, что ли, лет твоего побега?

— Везде был понемногу: где ночь, а где день, а где и того меньше.

— Так все бурлаки отвечают, а ты мне скажи по душе...

Аксентий засмеялся и глянул в сторону.

— Извольте. Спрашивайте опять, еще подробнее! — сказал он, шагнувши к полковнику ближе и опять свертываясь руками, ногами, головой и всем телом в ту же услужливую, любезную и вместе добродушную картинку. — Я вам все открою-с, все... Ну-с?

— Я тебя будто видел где... Будто ты у меня когда-то или работал, или просился работать? Я что-то, братец, помню тебя...

— А может быть! Нет, барин, нет. Я вас вижу впервое. Везде перебывал я в этом краю-с, а у вас не был! Был я и в Киеве, и в Житомире-с, и в Умани, и в Одессе, и в Пятигорске-с, а у вас не был, ей-же-богу-с, не был! Что вы! Разве мне лгать?

Панчуковский зевнул.

— Чем же ты промышлял в бурлаках до поры, как нанялся у Шульцвейна? Расскажи, брат, от скуки.

Аксентий опять кашлянул.

— Да не знаю, как вам и сказать-то...

— А что?

— Видите ли, сударь, вы холостой, вам можно сказать: господа это называют клубничкой-с! Я охотник, видите ли, до бабочек-с; люблю-с этот хрухт...

Панчуковский, не ожидавший такого ответа, сам прыснул со смеху.

— Как, как? Ах ты, шутник, что отмочил!

— Ей-богу-с! Я большой-с ходок по женским делам-с! Всю мою жизнь, можно сказать, на это потратил; видите ли, откровенно вам говорю: в ума помрачение впадал. И нет тут села, городишка, где бы я свиных дорожек к красоткам не топтал... Вот и седина уж пошла в усы и в бакены-с...

— Э, да ты мне находка, Аксентий! Я сам, братец, как видишь, любитель. С покойным Абдулкой мы многие дела решали. По правде, жаль его. Тут была у нас история из-за одной горожанки... Он мне тогда очень помог, и я этого никогда не забуду.

— Да-с, слышал-с; тут и градоначальник, кажись, сердился?

— Так ты все знаешь?

— Как не знать-с. А теперь зато, ух, славная, сударь, девочка у вас от попа. Мы про нее еще у Шутовкина слышали. Я и у него работал-с: он тоже ходок...

— Да ты у меня смотри, однако, Аксентий, ее не отбей! Ты еще мне рога наставишь! — шутливо заметил полковник.

— Как можно, сударь! Я дела-то эти знаю-с. У меня тоже барин в России был-с, и я был ему тоже вернейшим холопом, рабом по гроб моей жизни-с. Меня и они по этим-то историям-с наряжали. И скажу вам, у барина моего все толстухи были, пуд по восьми-с, по десять... Да что-с? Я и здешнему исправнику-с, господину Подкованцеву, одну гречанку поставил, девицу неизмеримую-с, сущую королеву Бобелину-с...

— Так ты и Подкованцева знаешь?

— Служил им тоже недели две. Уж без этого нам, беглым, нельзя-с. А господин исправник здешний — сущий отец нам, бурлакам-с; без него наше царство пало бы-с. Ведь мы народ-с иной: по натуре своей живем. Ну, и бывают приключения; когда разгуляешься очень, непотребность какую сделаешь, он-то и вспорет, а велит у себя отслужить — и дело с концом. Далеко не тянет. А то иной раз продуется он с господами морскими офицерами в карты, и прямо уж

нам скажет: эйн вениг аржанчика[1], братцы-бурлаки, — это, значит, деньжат дай ему малую толику...

— И вы даете?

— Даем; как не дать! На то он наш отец-командир. Без него и невода-с по всему здешнему вольному поморью, и донские гирла, да и ваши, сударь, степные-то, вновь поселенные, хутора опустели бы. Что птицы вольные, так и мы, бродяги, любим волю; не тесни нас только, а мы от работы не бежим!

— А правда, Шкатулкин, что в донских гирлах, в камышах и возле Нахичевани беглые стали теперь паспорты печатать и всем раздают, а недавно стали и ассигнации стряпать? Как бы поживиться, братец, разменять этак сотенку-другую трехрублевых на ваши сторублевые?

Шкатулкин побледнел. Панчуковский этого не заметил.

— Не знаю, сударь, я по этой части не ходок-с... Мое дело — сапожки почистить, коней или верблюдов напоить, в саду состоять. Как в старину, вон, шляхта говорила: «Кульбачить коня и хендожить буты». Вы — барин добрый, мы вас знаем; вы нас покрываете, содержите, и я бы вам сказал, да ничего не знаю... Чтоб мне почернеть, как та мать сырая земля, коли я что про это знаю.

Так объяснялся с полковником Милороденко-Шкатулкин, которого в то время именно земские власти разыскивали, как одного из коноводов нахичеванской шайки фальшивых монетчиков и делателей паспортов.

— На всякий, однако, случай, сударь, чтобы наш отец-командир господин Подкованцев не придрался к вам когда-нибудь за меня, то вот вам и мой билет.

Он достал из бокового кармана пачку бумаг, лизнул палец, отделил не без труда из них новенький паспорт и подал его полковнику.

Панчуковский покрутил носом и усмехнулся.

---

[1] Немного денег.

— Знакомое дело! — сказал он. — Зачем ты мне это даешь? Ведь я же знаю, что это не твой билет. Вон и подпись какого-то городничего, прямо несообразная.

— Как несообразная? Это как-с?

— Да ясно — фальшивая, братец, и все тут!

— Нужды нет; держите. Я уж вам отслужу... И то я с вас против паспортных да вольных вполовину договорил жалованье!

Полковник взял билет, умылся, оделся, причесался и пошел наверх к Оксане. Пленница в эти дни уже не так строго содержалась. Она и по двору ходила, и в поле одна ездила с кучером в дрожках кататься.

Оксана особенно вдруг стихла и будто ожила, повеселела. Она заметно стала оправляться, а полковник начал невольно к ней привязываться. Заботы к ней и ласки становились без конца. Кроме Домахи в услужение у нее показалась еще какая-то девочка. Оксана сидела наверху только днем, а комнату ей отвели уже рядом с кабинетом полковника.

Не успел полковник прийти к Оксане, пожурить ее за затворничество и свести, шутя и напевая, вниз, в кабинет, не успел он сесть на диван и посадить Оксану себе на колени, обнял ее и стал учить раскуривать папироску, потайная дверь в одном из шкафов кабинета отворилась и из комнаты, отведенной Оксане, сквозь занавес просунулась любопытная голова Шкатулкина.

— Что тебе? Надоел, братец! — сказал Панчуковский с досадой, что так нечаянно прервали его шалости с дамой его сердца.

Оксана вскочила и тихо отошла к окну.

— Извините, сударь, я не знал, что тут ходить нельзя, сквозь эти двери. Тронул задвижечку, а она сама это — чик! — и отворилась... Я сам даже испугался...

— Да зачем ты сюда пришел?

— Барышне, сударь, счастье послано-с, караван на верблюдах с виноградом пришел. Не купите ли-с? Свежий, преотличный!

— Ступай; я сейчас приду.

Шкатулкин вышел.

— Ты, Оксана, смотри, не бросай так ключа от твоей комнаты; не пропало бы что у тебя! Видишь, все уж ходят через нее и в мой кабинет...

— Нет, не буду бросать ключа; я забыла...

— Пойдем же виноград новый покупать.

Полковник и Оксана вышли на крылечко. Солнце к обеду выяснилось. Туманы исчезли, и день сверкал чудным последним осенним блеском.

У ворот толпился веселый люд, дворня и батраки. Ряд заманчивых, туго нагруженных крымскими плодами, двухколесных арб стоял под оградою. Высились двугорбые, длинноногие верблюды. Татары в низеньких шапочках суетились возле, вынимая напоказ синие и зеленые гроздья.

Полковник купил запас винограда, велел запрячь резвую четверку, сел с Оксаной в фаэтончик, посадил на козлы Шкатулкина и покатил в степь, с ружьем — не наскочит ли где-нибудь на дроф или на диких гусей, а то и на своих в поле посмотреть!

— А ведь у меня весело, Шкатулкин? — крикнул Панчуковский на козлы.

— Весело — и Боже! — как весело! Ей-богу-с, вы особый из господ! Я люблю-с таких, как вы...

— Четверня каково мчит, Аксентий?

— Подхватывает, ажно дух мрет... ух! так ажно, будто лижет кто, лоскочет за сердце...

— Не русскому ли, братец, тут житье?

— С капиталами оно точно...

— Как с капиталами?

— Да у вас чай, сударь, казны достаточно?

Панчуковский помолчал и носом покрутил.

— Есть, братец, да и расходы большие! Все больше в обороте; дома... редко что есть...

— Ну, и дома таки, верно, перепадает! Не может быть, сударь! А вот я у немца этого Шульцвейна был, так анти-

христ даже без свечей по вечерам сидит; все рассчитывает и на это, скаред.

— Мирно он живет со своей женой?

— Все целуются-с старые черти-с, ажно противно! Я более по лакейству способен, а они меня все по хлебопашеству пускали; ну, я у них к вам и отпросился. А как я был у Шутовкина купца, так тот как свинья-с: либо пьян, либо деньги считает! А дом — дворец. — Сударыня, поздний цветочек! — сказал нежданно Шкатулкин, вскакивая дорогой с козел, срывая цветок в поле и поднося его Оксане.

Та засмеялась, не брала его. Она хоть и покорилась, или, как отзывался о ней полковник, акклиматизировалась, но при людях еще сильно дичилась.

— Бери! — сказал полковник. — А ты, Аксентий, за свое? А?

— Я, сударь, уж Домаху-с вашу решился соблазнить! Вам молодка, а мне старуха.

Полковник смеялся от души.

Весело пробежали лошади верст двадцать в оба конца и на румяной, прохладной вечерней зорьке, все в мыле, снова подкатили полковника к крыльцу.

Темным вечером, после ужина, Панчуковский отпустил дворню спать и решился, однако, посмотреть, что делает его новый, такой развязный, слуга. Он вышел на крыльцо. На площадке, на верхних ступеньках, лежали его сапоги, сапожные щетки и стояла баночка с ваксой. У крыльца же, под окном, уже раздетый, в одной рубахе, несмотря на сиверкий вечер, стоял Шкатулкин. Он молился вслух на восток, вздыхал, зевал, почесывал себе грудь, руки и спину, поглядывал по сторонам и усердно клал земные поклоны.

«Слуга надежный, коли такой верующий! Это лучший признак! — подумал полковник и пошел в кабинет. — Спасибо немцу; хоть этим мне пользу настоящую сделал».

— Так ты, братец, набожный человек? — спросил слугу наутро полковник.

— Грехи замаливаю. Поклялся покаяться, остепениться. Вон, проседь в голову идет; дал зарок, без шуток, покаяться и трудом в мирные люди перейти...

— Ну, достал полковник слугу! — говорил отец Палладий дьячку. — Ты видел? Ведь это Милороденко у него.

— Видел.

— Ну, жаль же, что он газет тогда не читал! Да Бог с ним!..

«Ах ты бедняк-бедняк, Харько! Вот обработали, — рассуждал между тем как-то на крылечке Милороденко-Шкатулкин, наслышавшись вдоволь на месте уже, в Новой Диканьке, о происшествии с Левенчуком. — Ей-богу, и смешно и жалко! Да и задал же ты, братец, тут полковнику копоти, напугал его здорово. На добро я тебя привел сюда! Где же ты сам-то теперь, друг Хоринька! Вот бы повидаться! Наговорились бы, натешились, вспоминаючи былые времена, как я тебя-то от омута избавил, утопиться тебе не дал и сюда на вольницу привел. Только, по правде, не по-кавалерски здешние кавалеры с тобою, вижу, поступили: вместо того чтоб тебе самим-то женщин вдоволь по старине предоставить, а они у тебя же еще бабу отняли, девочку-невесту! Не то прежде тут было; свет не тот стал! Боком вся земля повернулась! Куда ни глянь, все уж здесь другое будто стало, а не прежнее, когда тебе, бурлачку, все, бывало, предоставляли. Тут вон уж и сечь-то нас, вольных, стали, и разыскивать строже. В города же и не поткнися: полицейский, смердов сын, зверем лютым стал, так и рыщет и норовит тебя либо в морду, либо за шиворот! Где же ты, Хоринька, где, однако? Вот я теперь десять целковых в месяц жалованья получаю; вот оно! А тогда? Получали меньше, да лучше жить было. Не попасться бы, однако, не узнали бы тут у полковника! Да нет, вся дворня незнающая. И барин сам не выдаст; а то прямо в Сибирь... Вон намедни одного бродягу снабдил я серенькой депозиткой... Что же?

Погубил его! Девятнадцать лет он у Небольцевых табунщиком был, а попался; повели бедняка сперва к его барину, а оттуда прямо на Урал пойдет. Он обиделся, ушел, прошлялся, а теперь через меня и пропал...»

Раз съездил полковник в город, заезжал там, среди разных коммерческих дел, на почту и воротился перед вечером сильно не в духе. Он ездил один с кучером. Прошел он через лакейскую сурово. Шкатулкин над чем-то у стола здесь портняжил, быстро вскочил, принял с барина пальто и вышел на крыльцо.

— Что это, Самойло Осипыч, барин наш сердитый такой приехал? — спросил он, сейчас прочитав на лице барина невзгоду.

— Из почтовой конторы вышел такой...

— Письмо, что ли, какое получил не по нутру, или денег от кого ждал?

— А шут его гороховый знает! — ответил Самойло, поглядывая с козел в окна. — Откуда ему деньги! Верно, письмо какое из Расеи получил.

— А барин сам откуда?

— Сказывают, с Волги, что ли; из Моршанска, надо быть... Служил в гвардии; да, должно статься, от долгов бежал сюда...

Аксентий дождался сумерек, внес в комнаты свечи, барину подал чай и, пока барин делал приказчикам распоряжения на другой день, сходил на вышку к Оксане, поиграл с нею и с Домахой, по обычаю, в карты, в свои козыри, и пошел к барину в кабинет постель стлать. Он вошел в кабинет со стороны залы. Перед альковом, где за занавесками стояла кровать полковника, он увидел на столике хлыст барина, шляпу и распечатанное письмо.

«А! — подумал он. — Уж не обо мне ли розыски?» Подбежав на цыпочках к дверям в залу и в комнату Оксаны, он постоял, постоял, послушал и, будто убирая со стола, стал, нагнувшись, читать письмо. Прочтя его до конца раза два, он положил его обратно на стол и задумался. Смысл

письма, очевидно давно лежавшего в конторе, через которую полковник не переписывался, был ему непонятен; тем не менее оно его заняло.

«Что это за госпожа Перепелицына из Моршанска?» — думал Аксентий, склонясь над столом.

Вот что было писано в этом письме:

«Любезный друг, Владимир Алексеевич! Семь лет прошло с тех пор, как вы меня бросили. Я вам не мешала нигде: ни в вашей службе, ни в свете, ни в семейной жизни. Я жила в заброшенном, отдаленном городке; вы блистали в высшем кругу. Вам понадобилась в гвардии лучшая обстановка: вы потребовали мой капитал и дали слово, когда устроитесь с квартирой и с эскадроном, перевезти к себе и ту, которая для вас пожертвовала всем. Я тогда была больна от родов. Я вам, не кончив лечения, выслала полную доверенность. Вы взяли, вместо части, весь капитал. Вам понятно положение мое, когда вы приехали ко мне в зимнюю страшную стужу и объявили, что все мое состояние вами проиграно в карты в петербургском клубе... Вы хотели стреляться; вы были вне себя. Я вам простила, хоть осталась из богатой женщины нищей. Вы сказали, что думаете начать другую жизнь, хотите бросить службу и заняться частными делами, что теперь это увлекает всех. Я снова осталась одна в том же маленьком, заброшенном, отдаленном городке. Я ждала вас год, другой, третий. О вас пропали все слухи. Вы исчезли в толпе других, бросивших тогда столицы для частных спекуляций в губерниях. Наконец, ваша участь стала меня терзать. Невежда, как вы меня когда-то называли, грубая провинциалка, дочь уездного малограмотного купца, я томилась в одиночестве, скрывала от всех причину вашего отсутствия. Я боялась расспросами указать на следы нашей страшной истины, ждала и ждала. Вы исчезли без следа. Смерть? Я уже с нею тогда мирилась. Но вы были живы и забыли о нищете. Семья от меня отказалась. Вы знаете, как эта грубая, алчная семья терзала меня и прежде за вас... Желая вам угодить, я занялась книгами, музыкой, тайком

стала брать уроки. Мои средства скоро совершенно истощились. Затворница с детства, как вы меня знали, после двух счастливых годов, погибших навеки, я опомнилась, посоветовалась с двумя-тремя близкими людьми. Мы решили снова, что слухи неверны и что вас нет на свете. Я уже тогда была здорова. И как не вовремя явилось мое выздоровление! Тьма сгустилась надо мною. Я продавала мои вещи. Я стала ездить по монастырям. Саше нашей пошел уже девятый годок. Я была в Киеве, Воронеже, в Москве. Одна ворожка мне наворожила и сказала: «Он жив, он жив; моли Бога только; он к тебе воротится и красоты твоей довеку не погубит!»

Володя, друг мой, жив ли ты? Что я, безумная! Ты не любил меня; ты, не любя, из расчета, сошелся со мною! Ошибаюсь ли я, тобою брошенная, измученная, забытая, презренная? Не помяни, Володя, меня лихом, невежду-дикарку, если ты жив! Хоть в нищете живешь, хоть в нагольном тулупе ходишь — воротись ко мне! Наши моршанские купцы, родня мне, проездом с Дону, о вас, Владимир Алексеевич, от одного обиженного вами бедняка прослышали. Вы ли это, или я, безумная, ошибаюсь? Но они говорили мне много странного, непонятного? Будто вы в богатстве живете, развратничаете в том крае, слывете магнатом. Не однофамилец ли вы тому, кто мне глаза завязал? Объясните мне, пишите. Всему есть границы. Я долее не потерплю. Вы были в гвардии голышом; я вам одежду справляла, долги ваши платила. Слушайте: если... если я открою истину, если вы окончательно не что иное, как ловкий человек, как плут, замысливший поиграть мною, выжать из меня последние нужные соки и потом бросить меня, как негодный лимон, то я найду на вас суд и расправу. Билет в сто пятьдесят тысяч серебром, вероятно, теперь не проигран. Сроку я вам даю месяц... Следы ваши я открою теперь во что бы то ни стало... Я даже сама тогда явлюсь к вам... Ваша покорнейшая слуга Настасья Перепелицына.

P. S. Так я подписываюсь своим прежним именем. Приобретенного после я не уважаю. Володя, родненький, или ты шутишь, не погуби меня... Пощади!»

В конце письма стояли год, число месяца и адрес писавшей, то есть Моршанск.

«Кто же эта госпожа Перепелицына? — продолжал думать Милороденко, облокотясь на стол и держа в руках простыню и подушку с постели полковника, как будто продолжал стлать ее, — верно, его полюбовишка. Да и хват же барин!.. Да и денег же должно быть у него вдоволь: десятками тысяч владел! Так и есть: верно, купеческую дочку соблазнил и стянул капитал полюбовницы; так бы и мне с моей барышней сделать... Дурак был!..»

В комнату с шумом вошел Панчуковский и прямо кинулся к столу.

— Что ты тут думаешь, Аксентий? — крикнул он в досаде.

— Я-с? Что вы-с! Я постель стелю-с.

— Постель стелешь?

Полковник подозрительно посмотрел кругом и накрыл письмо на столе записной рабочей тетрадью.

— Стели же, пора, да иди! Меня приказчики разбесили...

— В секунду-с. Я, вон, ходил к барышне; в карты с ними поиграть, ловко играют-с — обдули нас с Домахой; по носу били!

— Постой, однако, — сказал будто в раздумье полковник, все еще глядя на стол, где лежало письмо.

— Чего изволите-с?

— Дай вон мне с того шкафа из журналов «Отечественные записки»...

Милороденко пошел к полке. Панчуковский на него смотрел в волнении.

— Не то; ты берешь «Библиотеку для чтения»; прочитай надпись — видишь? Мне нужно «Отечественные записки».

— Никак нет-с, не могу-с... не знаю-с...

— Разве ты неграмотный?

— Неграмотный! — простодушно ответил Милороденко. — Э, сударь! Когда бы я был грамотный, я бы в писари нанялся, да и нашей-то красавице книжечки бы читал! Меня еще мой барин принуждал читать. Я, — говорил он тогда, — тебя, Аксентий, в приказчики приготовлю, учись! Что ж, туп я был, так и остался... Как чурбан, бывало, стою и смотрю в книгу: там *ма* сказано, а я говорю *ва*...

«Ладно!» — подумал Панчуковский и, как будто мимоходом, быстро спрятал письмо в стол под замок, а требуемую книгу взял сам.

— Теперь иди, голубчик Аксентий, спать; я сам разденусь. Буду еще читать и счеты сводить сегодняшние...

— Счастливо, сударь, оставаться! Да Богу Господу помолитесь: он всегда покой дает. Я вон был буян и кутила, а теперь молюсь и чувствую покаяние.

— Ты думаешь? Хорошо!

Ночью Милороденко снова подкрался с надворья к окну барина и стал смотреть: сквозь просвет в занавесках была видна часть комнаты. Полковник сидел перед письменным столом; на столе лежало то же самое письмо. Лицо полковника было пасмурно. Он грыз усы и ногти, закидывался на спинку кресла и два раза хватался за голову. Потом Панчуковский встал, достал из особого ящика ключи, выбрал один из них и нагнулся со свечкой к боковой, гладкой стороне стола. Милороденко не было видно, что он там стал делать. Верно, открыл какой-нибудь потайной ящик, потому что достал оттуда много бумаг, стал перебирать, вдруг оглянулся — замер было, будто послышав от комнаты Оксаны шаги, переждал, вскочил, добежал туда, удостоверился, что эти двери заперты, сел опять и стал снова копаться в бумагах... «Э, верно же, все про любовницыны угрозы соображает! А в том-то ящике, должно статься, и его деньги!» — подумал соглядатай.

Далее Милороденко ничего не видел. Возясь над столом и зацепив за занавеску окна, Панчуковский невольно уничтожил остальной просвет в стекле и тем прекратил послед-

нюю возможность наблюдений над собою. Милороденко тихо спустился с откоса фундамента; держась за водосточную трубу, стал осторожно на землю, вошел в сени, почистил сапоги барина и стал опять, по обычаю, у крыльца усердно вслух молиться, собираясь спать, вздыхая и почесываясь. К его молитвам привыкла вскоре и вся дворня.

XI

Отдача долга

Шутовкин передал учителю поручение полковника, и бедняк Михайлов, прогоревший на неудачной афере со льном дотла, взял у хозяина все свое заслуженное жалованье, занял еще часть у соседа под часы, сосчитал сумму и поехал, вздыхая, к отцу Павладию расплатиться с весенним долгом. «Проклятые чумаки! Подвезли столько льну, что совсем разорили! — думал студент. — Не удались мечты!»

Святодухов Кут много изменился с тех пор, как в чудную майскую ночь молодой аферист летел сюда с радужными надеждами на барыши и в то же время добровольным соглядатаем тайн тихого и уединенного уголка.

Теперь он с тоскою вступал в осиротевший, печальный двор отца Павладия. Совесть грызла его невольно, не сознавая тогда могущих быть последствий, и он был замешан в грустной драме, смявшей счастье этого смиренного приюта.

Двор студенту показался как-то особенно пространным, а церковь совершенно низенькою, и маковка ее уже будто не так сверкала золотом, как в ту улетевшую чудную, привольную и незабвенную ночь. Роща стояла безлистая, обнаженная. Сквозь ее редкие вершины уныло синел пруд. Ветер посвистывал, обрывая с веток последние листы. Дом священника был стар; побелка на нем потемнела от дождей, а местами с его стен осыпалась глина.

Подъехав на этот раз в тележке хозяина, Михайлов вошел в ворота и у плетня под сараем увидел священника. Отец Павладий с топором копался над колесом, остановился и сразу не узнал гостя.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте... Кто вы?

Священник наставил к глазам ладонь.

— Вы меня не узнали?

— Извините, не узнал...

— Михайлов.

— А! Теперь узнал... Что вам нужно? Деньги, что ли, привезли?

— Что это? Вы сами с топором работаете?

— Да! Нечего делать; надо же чем-нибудь жить нам, горемыкам. Сам теперь вот я и лошадей пою, и свиней кормлю, и дрова рублю, и все починяю! Что делать! Такова уж наша участь!.. Была прежде и работница, да ваш же донжуан украл, свел ее со двора...

Михайлов молчал. Кровь хлынула ему в голову.

— Я в этом не виноват! — сказал он, растерявшись.

— Что же вам угодно, однако? — сухо спросил священник.

— Я вам деньги привез; благодарю за ссуду...

— Пожалуйте в комнату; я сейчас туда приду за вами. Извините, теперь у меня прислуги нет, молодой человек. Так-то-с; не прогневайтесь... Уж чаю некому подать-с!

Михайлов пошел, думая: «Да, поделом мне! Дело скверное, а началось оно и сделалось почти через меня!»

Он печально вошел в комнаты. Там было все по-прежнему. Тот же запах воска и ладана, та же чистота, те же свежие скатерти, пучки трав у образов, журналы и газеты кипами по столу и по стульям. Он взглянул: многие были не разрезаны, а другие даже в пакетах нераспечатанные. Вошел отец Павладий.

Сняв шляпу, он остановился у порога. Тот же подрясник, тот же гарусный старенький пояс на нем; та же красноватая

мясистая лысина и утлая косичка, перевязанная полинялой ленточкой. Но маленькие, красные, вспухшие глазки были будто еще меньше и печальнее, борода заметно побелела, и лицо осунулось. Он размахивал серой пуховой шляпой, собирался все что-то сказать резкое и суровое и не говорил.

— Ну-с, молодой человек, ну-с, так-то-с; да, спасибо вам, одолжили! Очень, очень вам благодарен! Просто разодолжили, профессоров ваших надо благодарить...

Студент сидел, не поднимая глаз.

— О чем вы это говорите, отец Павладий? Разве я...

— Я говорю о вашем друге, о господине Панчуковском. Спасибо вам и ему за внимание. Берега нашей Мертвой ознаменовались таким романом, который бы прямо на бумагу да и в журналы! И чего вы медлите его опубликовать?

— Да вы ошибаетесь, отец Павладий, вы смешиваете меня с полковником... Что же общего у меня с ним?

Студенту было совестно; он понимал, что кривит душою, он тогда угадывал затеи полковника.

— Что нам, современным людям, — продолжал священник, не отходя от порога, продолжая нелепо размахивать шляпой и не слушая Михайлова, — что нам бедные люди, всякие голыши сельские!.. Ограбить их, осмеять, отнять у них последние утешения и радости! Вот что. Да-с. Мало вам, господа, гребчих да городских продажных красавиц! Вы на наши тихие захолустья взъелись! И тут вас недоставало! Подло-с, да, подло! Извините.

— Да послушайте, что вы! Разве это ко мне относится?

Священник с досадой бросил шляпу на кушетку и сел на стул. Потом он опять вскочил и схватил со стола какую-то книжку.

— Ну, читайте, читайте! Что тут пишут, а? Порочат зло, проклинают ложь, насилия и неправду! А вы что сделали? Куда же ваши повести после этого годятся, ваши комедии и драмы, когда вы, ученый человек, с вором съякшались — с вором, который по ночам гарцует, в чужие дома врывается и все безнаказанно творит, благо для этого

есть у него деньги, связи и положение в свете? Я же везде искал и везде получил отказы на него! Для меня в этом деле все погибло, все! Он смело и явно купил все свое дело, все свои новые утехи...

Священник замолчал. Грудь его тяжело дышала, руки тряслись, лицо побагровело.

— Позвольте вас спросить, наконец, господин Михайлов, отвечайте мне: для чего вы захотели спекулировать? Вам деньги были нужны?

— Да-с, я вам тогда говорил зачем, — ответил студент, теряясь более и более.

— Но вы обеспечены чем-нибудь? Уроки имеете? Зачем же и вы захотели еще более доходов? Отвечайте! Потребность времени, роскошь? Зачем вам были нужны эти новые барыши, за которыми вы погнались, заняв у меня деньги?

— У меня мать-старуха в Одессе, дочь убитого поручика и жена бездомного капитана, моего покойного отца. Ей есть нечего на старости.

— А! У вас нищая мать! Вы для нее! Так зачем же вы не медленным трудом захотели улучшить свое и ее положение, а кинулись на быстрые барыши? То-то и дело! Где нечестные скорые доходы, там и товарищи-подлецы под руку попадаются. Так-то-с... Уж вы извините меня. Пожалуйте деньги-с... Я свое сказал. Хоть вы и не совсем виноваты, а хвост, батюшка, замарали... Не говорите: вы знали его умыслы...

Священник судорожно сосчитал поданные деньги, сходил в спальню, вынес оттуда расписку студента и резко подал ему.

— Слушайте, господин Михайлов! Вы еще молоды; много надежд у вас впереди; а я уже мертвый человек: одной ногой стою в темной могиле и другую тоже заношу туда. Кончайте получше курс ваших наук, да не кидайтесь на болезнь нашей Новороссии, на ее торговую горячку. Немало огромных средств и дарований она унесла к погибели; артистов сделала взяточниками, публицистов-с некоторых — во-

рами; оскотинит она, погубит и вас. Осмотритесь, приглядитесь к жизни: жизнь не терпит скачков! Вот хоть бы у меня мой садик и роща. Они теперь хороши. А ведь я тридцать лет сидел и тридцать лет трудился над ними! Читайте, учитесь, работайте... Извините меня, старика. Вы что более всего любите? Ну, скажите мне, что?

— Естественную историю, музыку-с... Особенно музыку...

— Ну, из естественных наук займитесь хоть ботаникой, степные травы собирайте, сушите; ведь имя составить себе можете одним здешним травником. Да Гумбольдта-с, Гумбольдта читайте, а не на манер бердичевских факторов маклакуйте! Или хоть нашими украинскими песнями займитесь. Эх, что за прелесть эти песни! Когда я был еще в Чернигове в бурсе, я много ими занимался и пел их пропасть со скуки, гуляя в семинарском саду да зубря мертвящие латинские вокабулы. Жена же моя покойница их отменно пела... Так-то-с! Украинские народные песни создадут еще со временем своих Моцартов-с...

Михайлов просидел у священника до вечера. Много переговорил он с ним, а еще более переслушал. «Эка, дельный человек! — думал он о нем. — И в какую глушь закинут!»

Простился он с отцом Павладием, растроганный до глубины души. Он клялся заняться науками, бросить аферы.

— Прощайте, господин Михайлов. Желаю вам счастливого пути в вашу Одессу, да не возвращайтесь более сюда!

— Как можно! Я еще хочу взглянуть на ваш очаровательный Святодухов Кут, на ваши ключевые воды, на ваш сад и пруд!

— Пропадать им, видно, как и всему тут! Вы, я чай, слышали, какая участь постигла моего бедного помощника, дьячка Фендрихова?

— Нет, не слыхал... Что такое? Боже! Вы меня пугаете. Я его помню, видел его у Щелковой...

— Он после Покрова, нынешнюю осень, ослеп...

— Ах, бедняк! Где же он теперь? Вот бедняк, право!

— Да тут еще у меня на кухне живет; изредка в церковь на клирос ходит, только совсем ослеп, как есть. Должно быть, ветром на него каким пахнуло, или роса такая пала. В две недели и ослеп... Или, скорее, просто такая уж, верно, ему судьба была на роду написана.

— Так вы теперь одни?

— Нет, его жена мне помогает, но у нее свое дитя есть; а я выписал, жду вот племянника к себе в причт; этого паренька, видите ли, выгнали из нашей семинарии тоже за разные разности; ну, я его к себе и сманиваю. Не скучно хоть будет... Парень даровитый, вот как и вы, науку прошел; только боюсь, не испортился бы тут...

Михайлов стал сходить с крыльца.

— А про мою воспитанницу что-нибудь слышали? — спросил с усмешкой священник. — Ведь вы когда-то ее у меня, помните, видели, и она вас тоже тогда, кажется, заняла?

— Нет, не слышал. А вы не знаете, что с нею теперь?

— Как же, как же, теперь уж я все знаю: у Панчуковского она поселилась окончательно; да то диво, что, говорят, ему отдалась совершенно и даже... стыжусь вам сказать... таково уж наше время... и помяните мое слово, Панчуковский поплатится, и поплатится сильно... А она?!

— Что же? Говорите!

— Говорят... уж и беременна от него... не прячется и открыто стала с ним ездить. В мой угол тридцать лет никакая людская напасть не проникала; я как в гнезде ласточки жил. А теперь что случилось!..

Михайлов пожал плечами, вздохнул, простился с священником и уехал. Шутовкина он не застал дома. Хозяин его был где-то по коммерческому делу. Было поздно вечером.

Ученики Михайлова уже спали. Он сел к роялю, склонил к его клавишам грустное лицо и свои белокурые пышные кудри, стал было играть и невольно заплакал... Потом он снова начал играть и играл с увлечением до утренней зари.

«Я буду артистом!» — подумал он, забываясь радужными грезами.

Солнце взошло.

У рояля, на кушетке, навзничь лежал и крепко спал Михайлов. Что ему снилось? Музыка, естественная история или новые соблазны спекуляциями?

Бог весть...

В доме у соседей Панчуковского, братьев Небольцевых, на Екатеринин день, день именин их старушки матери, был праздник и большой съезд гостей. В числе других, разнообразных и разноплеменных лиц околотка, был здесь и полковник.

В осеннем темно-зеленом пальто, с орденской ленточкой в петлице, по-прежнему раздушенный и распомаженный, Панчуковский, однако, был, по-видимому, как будто не в духе. Столпившись в курительном кабинете, вдали от девиц и дам, гости-мужчины по-былому толковали о минувшем лете, о близости закрытия приморских портов, о ценах хлеба, каменного угля, о видах на весенние продажи сельских сборов и о местных скандалах всякого рода. Сидя на мягком диванчике и сверкая перстнями, запонками и щегольскими розовыми ногтями, Панчуковский, по обычаю, вскоре оживился и завладел общим разговором.

— Так вы думаете, что мы можем ожидать, с близкой реформой крестьянского быта, переселения народов к нам с севера, скорой колонизации здешних земель? Шалишь! Нет, господа, этого не будет! Будь я подлец, если не так!

— Отчего же? Вы все намеками говорите, полковник...

— Отчего? Вот забавно!

— Да-с, непонятно что-то...

— Оттого, что в наш век странствия новых гуннов и аланов невозможны. Да-с, новые Атиллы у нас — это английские-с паровые машины, ливерпульские да клейтоновские локомобили, молотилки-с и всякие черти! Вот нашествия чего мы должны ожидать и от чего должны откупаться, как старинные города и села откупались от диких варваров! Труд

поселян, дешевенький крепостной труд, он только нам и давал доход, повторяю, при крепостном состоянии; а теперь все вздорожает, и земледелию отныне шабаш!

— Позвольте, позвольте: почему вы так думаете, что к нам не двинутся переселенцы из великорусских губерний? — спросил Митя Небольцев, старший из братьев-хозяев.

Панчуковский громко и резко захохотал:

— Ах вы, простота-простота, душечка! Ну, бросит ли наш туляк, владимирец или пскович свою дымную лачужку, бедную ниву и родичей, чтобы явиться к нам в гости? Да он скорее пойдет в Москву на фабрики или на барки на Волгу на заработки, чем решится к нам переселиться. Через сто лет, так, не спорю; а теперь оставьте, господа, надежды. Не верьте вы нашим чухонским Штейнам и новоиспекаемым Кавурам с Невского проспекта! Ведь в Питере, куда ветер подует, туда и все песни летят! Был у меня там один приятель-чиновник; верите ли, если бы вот ваш, Адам Адамыч, пудель ему сказал, что в моде, положим, голубые шляпы, он бы в департамент тотчас голубую шляпу надел...

Слушатели рассмеялись.

— Как, как, Владимир Алексеич? Пудель? Голубые шляпы?..

— Право! На этого же самого чиновника на даче воры как-то напали; что бы вы думали? Он залез под кровать и стал оттуда впотьмах лаять собакой. Это собачье искусство только его и спасло, дачу ограбили, а его оставили в живых.

Лакей внес водку перед завтраком. Хозяева суетились. Слушатели, в восхищении от острот Панчуковского, похаживали, шушукались. А он ораторствовал, не переставая.

— Что мне, господа! Я не от личных огорчений говорю. Я счастлив, богат, свободен как ветер, хоть и эгоист, господа, и считаю в душе это чувство лучшей рекомендацией человека.

— Не всегда, полковник! — возразил опять Митя Небольцев, желавший хоть чем-нибудь оспаривать бойкого местного краснобая и идола. — И у вас бывают невзгоды! Вы

вот перебили у Шульцвейна степь, а саранча на ней все травы съела!

— Зато у меня с прошлогодней пшеницы и со льна теперь одним золотом семьдесят тысяч целковых в кассе лежит, не считая депозиток...

Полковник повел глазами. Перед его носом в это время стоял его новый камердинер, Аксентий Шкатулкин, и вежливо ждал минуты ему что-то сказать.

— Прикажете лошадей отпрячь? — спросил он тихо барина, когда тот замолчал.

— Нет, я сейчас после пирога уеду! — ответил громко полковник и прибавил шепотом: — Не лезь, когда тебя не спрашивают. Жди, после пирога велю запрягать...

— Куда вы, куда? — заговорили хозяева и гости разом.

— Надо домой; есть дела!

— Останьтесь, ради Бога, останьтесь. В кои-то веки вас дождешься!..

Полковника упросили, и он остался.

Он продолжал:

— Следовательно, я состою в кругу недовольных по убеждениям, а не из личностей. Я за себя молчу. А прислушайтесь вы к толкам в степях, на проселках и широких столбовых дорогах, в шинках и на возах с снопами, у переправ мостов и по взморью. О чем толкует народ здесь и везде?

Слушатели тревожно молчали, утопая в табачном дыму. Полковник встал и дико оглянулся по комнате, закидывая за уши волосы.

— Народ готовит нам шутки-с, господа! Да, да, да! Зовите меня алармистом, иллюминатом... Я народ наш знаю, я вращался и вращаюсь в нем! Он готовит нам такие шутки-с, что нам не расхлебать!.. Один косарь косил у меня этим летом. Я любил с ним говорить. Раз он меня на днях спрашивает: «Видно вы, барин, проглотили черта с хвостом, что так разумны; скажите мне, правда ли, что нам волю хотят дать?» Я говорю: «Правда, мой миленький; только

имейте, говорю, терпение, ждите». — «Да, оно так, — отвечает он мне, — только пошли у нас слухи по ярмаркам, по церквам, по шинкам, по дорогам тут и по распутьям, что не одну волю нам дадут, а также и всю землю вашу навеки». Вот и подите-с!.. Затевают кашу... А я народ знаю, и меня народ любит; я популярнее всех вас — а что они со мною было сделали! А?

Панчуковский замолчал. В кабинете кто-то вздыхал, точно будто кто плакал. Он оглянулся: помещица Щелкова, от простуды бывшая с завязанной шеей, тихо подошла из залы и держала платок у глаз. Она закашлялась и ухватила полковника за полу.

— Месье Панчуковский, скажите, Бога ради скажите, наконец, чего нам еще ждать, чтобы я могла, имела силы вовремя все сделать, приготовиться? Я женщина глупая, слабая, все меня пугает, все...

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! — раздался голос из залы.

— Господа, молебен! — объявили братья-хозяева. — Наше духовенство опоздало немножко! Да расстояния виноваты; наш приход в Андросовке, за тридцать верст... Пожалуйте. Обычаи дедовские мы соблюдаем.

— А мы с вами, Авдотья Петровна, после потолкуем! — сказал Панчуковский. — Видите, молиться зовут; а ведь я ретроград и плантатор, как меня здесь обзывают: нельзя, система требует.

Гости вышли в залу. Тут уже блеском сияла толпа раздушенных дам и барышень. Легкие и воздушные очаровательные платья их напоминали близость приморских городов и возможность самых тесных сношений с чужими краями. Свежие итальянские шляпки, турецкие шали, лионские шелк и бархат; марсельские и греческие духи били в нос каждому. Черные брови, смуглые личики, легкие станы, живые движения... «Вот она, наша-то Новороссия! — шептал за молебном Панчуковский, подталкивая Митю Небольцева. — Отрадно отдохнуть от работ и наживы, глядя на наших кра-

савиц!» Щегольской камердинер полковника в зеленом ливрейном фраке, с бронзовыми пуговицами и при цепочке, также был тут, выйдя из лакейской, стоя у дверей и молясь богу. Молодой красивый священник, из херсонских греков, читал в нос и гнусил нараспев, так и пронизывая всех зоркими глазами из-под черных широких и густых бровей. На нем была ярко-лазоревая ряса в каких-то серебряных звездах и блестках; на груди наперсный крест, а пояс и нарукавники — вышитые гарусом и стеклярусом.

Студент Михайлов, стоя тут же со своими птенцами, невольно вспомнил отца Павладия и его уединенную, бедную и старенькую обстановку. Впереди всех стояла, вся в белом, именинница, семидесятилетняя мать хозяев, первая переселенка из помещиц сюда, на Мертвую.

После молебна стали закусывать. Гости опять столпились в кабинете, как ни старались Митя, а потом и Сеня Небольцев обратить их в гостиную к дамам. Полковник, куря сигару, постарался опять начать разглагольствовать, стоя перед Щелковой.

— Вы толкуете, Авдотья Петровна, что с Дону, из казаков, если и их коснется реформа, к нам двинутся руки. Пустое-с! Извините. Знаю я этот почтенный и воинственный народ...

— Что, что? — подхватил Митя Небольцев. — Я казаков люблю, народ лихой; там я был влюблен, господа, недавно и не позволю их бранить — извините...

— Отсталые люди, несовременная татарщина, господа, эти ваши казаки! Что за военные арматуры в наш мирный век у каждого из них, вместо гражданских наклонностей! Что за учителя при саблях и что за чиновники при шпорах! А встретитесь вы с ними на пароходах, которые уже врываются в их Дон, или в домах где-нибудь, куда уже являются наши и заграничные журналы: сидят, молчат и хлопают глазами либо пьют... За пуншем да за картами только их и услышишь! Да что и слышать: дичь, беседы Тамерланов!

— Э, камрад! Повторяю: не нападайте так на моих лихих казаков! — перебил опять Митя Небольцев. — Поссоримся! Я один за всех их на дуэль вас вызову! Вздор вы говорите.

— Да уж если на то пошло, так слушайте! Был у меня приятель тут по соседству, исправлявший должность учителя уездного училища, и захотел он нажиться, поехал к ним, к казакам-то, на Дон, там библиотеку где-то публичную открыл. Последние деньжонки, бедняк, на нее убил. Что же бы вы думали? Приходит к нему подписаться на чтение сын какого-то ихнего там не то купца, не то горожанина; залог оставил. Рвение к литературе показал; признался, что круглый невежда, что учиться хочет, и попросил ему выбрать что-нибудь для чтения. Учитель-библиотекарь выбрал ему Белинского, Грановского там, что ли. Радуется, что такое стремление v малого заметил. Что же бы вы думали? Через неделю приходит кучер от батюшки этого малого и приносит обратно книги. «Старик, — говорит, — прислал ваши книги обратно; готов и залог вам оставить задаром — только не давайте его сыну больше ничего читать: от дела отбивается!»

Все начали ахать, возражать, уверять, что это преувеличения.

— Что вы, господа, этому не верите? — возразила невпопад, не расслушав дела, Авдотья Петровна Щелкова, желая поддержать полковника. — Я сама от детства ни одной книги до конца не прочитала; все некогда... книги — вред, да и не для нашего брата степняка они писаны! Недаром я бросила Рязань и сюда закабалилась!

— Нет, нет и нет! — заключил полковник. — Если справедливы слухи о близкой, наконец, реформе крестьянской, наши села запустеют, хлебопашество упадет! Мы разоримся, обнищаем все. Если бы, господа, я был американец и жил с вами не в России, а, положим, в Виргинии или в штате Мэриленд, я в случае войны за невольничество стал бы открыто на сторону закабаления негров...

— Негров? Вот мило! — сказали некоторые дамы, под общее увлечение входя также в кабинет и протеснясь к полковнику. — Это что-то из «Хижины дяди Тома»...

— Пустозвоны ваши литераторы! — крикнул, наконец, с запальчивостью Панчуковский. — Ну, чего они не напичкали в этот сборник всякого вздора! Что за святость страданий у этих скотов? Что за поэзия побегов и воспевание освобождения от труда! Ведь рабство — это труд, а труд — кусок хлеба, а хлеб — честь, нравственность! Уж не вздумают ли идеализировать и наших беглых беспаспортных бродяг, месяца полтора назад заставивших меня, из-за расчета с негодяями-косарями, выдержать правильную осаду?..

— Ах, месье Панчуковский! — лукаво разахались дамы и девицы, знавшие между тем настоящую причину соблазнительного скандала, посетившего полковника. — Расскажите: как это с вами было? Мы не знаем... Чего добивались у вас эти мятежники? Мы тогда перепугались, мужья ружья готовили...

Панчуковский вздохнул и смиренно опустил глаза.

— Сожгли у меня все-с, набуянили, стекла в доме перебили, шинок у откупщика насильно распили!

— Вы же на них искали?

— Искал. Но разве вы не знаете наших судов? Кое-кого поймали; но это все оказались не прикосновенные к делу! Их выпустили, а главных, то есть главного зачинщика, не нашли...

— Кто же этот главный? — спросила со смирением Иуды Авдотья Петровна, натершая порядком язык, тараторя всем об истории Левенчука и Оксаны.

— Беглый пастух какой-то помещицы, взбунтовавший три артели косарей требованием надбавки заработанной платы при расчете, сверх условия... Тоже известное дело...

— Где же он теперь?

— Говорят, убежал в донские плавни и камыши, известный всем притон наших разорителей.

— И его товарища, месье, разыскивают. Милороденко или Александра Дамского по прозванию, — заметила,

кашляя, Щелкова, — тот так уже прямо ассигнации стал делать и с ним, говорят, везде был заодно. Я брала у отца Павладия газеты и о нем читала. Моя Нешка, ma servante, messieurs[1], тоже с этим Милороденко подружилась было, когда он еще у Шутовкиных год назад шлялся. Этот еще опаснее. Смел, говорят, до невероятности. Мне его описывали. На взморье он в прошлом году с двумя лодками турецкую кочерму ограбил... Я хоть его и не видела, а кажется, сразу бы узнала...

— Да, — возразил насмешливо Панчуковский, — и Троекуров у Пушкина хвастал, что узнал бы разбойника Дубровского сразу, а Дубровский у него три месяца учителем прожил... Вы читали «Дубровского»?

— Я ничего не читала и в Рязани, а здесь и подавно некогда.

Слуги в это время убирали закуску в зале и все слышали. Слуга полковника нежданно скрылся и за обедом вышел с подвязанным глазом.

— Что это у тебя, Аксентий? — спросил его рассеянно Панчуковский за обедом.

— За девочкою тут, сударь, погнался за двором у сарайчика, а она меня и съездила кулаком в глаз! — шепнул Шкатулкин ему на ухо.

Полковник в это время ел индейку с жирным фаршем, любимое свое блюдо. Он громко рассмеялся, повеселел, и все с ним повеселели.

— А сдастся? — спросил также шепотом слугу полковник после обеда. — Сдастся твоя героиня?

— Сдастся! У старой барыни их здесь целый гарем-с: останьтесь, сударь; попозднее можно поохотиться. Я взял бубен с собою и заманю их всех к кучеру Конону в хату...

— Посмотрим! Надо осторожнее...

---

[1] Моя служанка, господа (*фр.*).

После обеда, во время десерта, приехал Мосей Ильич Шутовкин. Сластолюбивый забулдыга-купчик был на этот раз прифранчен, в тонком сюртучке и чистом голландском белье. Это было после того, как Панчуковский выходил с дамами во двор и плясал с дворовыми девушками трепака. Это была его специальность на всех дружеских съездах.

— Что вы на пирог к нам не приехали? — спросил Шутовкина Митя Небольцев. — Мы вас ждали! Верно, опять шуры-муры где-нибудь затеяли? Благо, детей к нам вперед послали...

— Ванну моей царице Пентефрии делал-с, так и провозился с ее туалетом; к родным ее отпустил!

Молодежь, бывшая уже снова в доме, прыснула со смеху. Пошли передавать друг другу ответ Мосея Ильича.

Шутовкин стал между тем искать глазами Панчуковского, увидел его в кругу дам, по обыкновению в положении оратора, и поманил его пальцем.

— Подь сюда, полковник, подь сюда! — сказал он ему, оглядываясь.

Панчуковский подошел. Шутовкин отвел его в сторону и не отпускал его руки. Собственная жирная и теплая рука Мосея Ильича дрожала.

— Владимир Алексеич, принимай меры! — начал он степенно и без шуток, упершись в него серыми и добрыми, будто испуганными глазками.

— Что такое?

Душа у полковника замерла, чуя что-то недоброе.

Шутовкин оглянулся кругом и продолжал говорить шепотом:

— Ты от меня скрывал, а бес тебя и попутал! Я вчера из города прибыл; маклачил там кое с чем, с чиновниками видался. Ходит, душечка, там слух, что... одна помещица какая-то... Перепелицына, что ли, приехала и тебя насчет каких-то денег разыскивает.

Панчуковский вздрогнул и позеленел.

— Ну?

— Она тебя разыскивает, справки собирает о твоих делах. Ты ее в любовницах держал, что ли, или венчан с нею? Говори!

Панчуковский молчал, не поднимая глаз. Эта весть, видимо, его окончательно сразила.

— Капиталы ты у нее взял, что ли, деньги увез какие? Много?.. Да говори же! Я тебя, Володя, спрашиваю, или ты и от меня скрываться? А брудершафт зачем мы пили с тобой намедни?

Панчуковский опомнился.

— Все это вздор; это сумасшедшая баба, и все тут! — сказал он. — Я ее не приму! Кто меня заставит? Ведь так? Я от нее отрекусь. Ну, отрекусь окончательно!

Шутовкин отвел его еще далее в угол.

— Да она тебе законная, что ли, говори? Это главное. Коли что, то мы ее и спустим! Вот тебе рука моя, брат! Ведь я у тебя в долгу, разве ты позабыл? Без тебя бы я тогда ни-ни, ничего бы не сотворил! Уж отстоим, небось; нам эти бабьи дела не впервое. Или ты и в самом деле у нее капитальцу царапнул да сюда в наше приволье тягу дал? Да и почему она Перепелицына, а ты Панчуковский, коли вы, может статься, точно повенчаны? Какие там слухи ходят?

Панчуковский оглянулся, закусил губу, помолчал, прищурил глаза к стороне нарядной толпы. Подавали уже свечи. Все кругом шумело, лепетало. Рояль гремел. Ставили столы для карт. Аксентий с хозяйским слугой курил на раскаленных плитках лоделавандом, прогоняя запах недавнего обеда.

— Молчи, дружище Мосей Ильич, до времени, как будто бы ты ничего не слыхал и не знаешь. Я тебе все после расскажу. Будешь молчать? Руку, товарищ!

— Вот она. Ни-ни! Я... о, я никому ни слова!

Шутовкин и полковник обнялись и крепко поцеловались.

— А крестить будешь у меня, Володя?

— Буду.

— Постой еще...

— Что?

— Если же это, слушай, точно твоя жена... гм! и придется тебе с ней опять зажить по закону, девочку-то твою ты мне отпустишь, что ли, а? Уступишь?

— Никогда, никогда этому не бывать! — сказал полковник. — Я, слава тебе Господи, еще с ума не сошел, чтоб менять кукушку на ястреба...

Они об руку друг с другом вмешались в нарядную толпу. Давно гремел звонкий рояль. Молодежь пустилась в пляс; южная страстишка попрыгать брала верх. Танцевали тут всегда до упаду. Играл Михайлов.

А полковник, снова оживленный и бойкий, стоя в дамском кругу, в гостиной, опять ораторствовал:

— Наши новороссийские степи — это, медам, рай земной! Засухи, саранчу, пыль — все мы можем победить и преодолеть. Людей только нам дайте, людей, этих-то белых негров поболее. В каждом месте этой степи поройте колодец, ключ раскопайте, и сухая, как уголь, черная земля изумит вас плодородием; стада сами к нам придут. Мы об Америке вздыхать позабудем. Свои Куперы у нас будут.

— А теперь, месье Панчуковский? Как вы теперь считаете Новороссию нашу?

— Теперь?.. — Панчуковский иронически улыбнулся.

— Да-с.

— Теперь наши степи напоминают мне украинскую сказку о том, как обыкновенно перед бедою будто бы в хаты кто-то белый все с улицы заглядывает, считая по пальцам живущих там, спящих и работающих. Народ говорит, что перед последней здесь чумой, при Екатерине, что ли, на степных курганах рано поутру видали все двух женщин; это были две моровые сестры: младшая — жизнь, а старшая — смерть; они дрались и таскали друг друга за волосы, споря о людской судьбе и готовя народу бедствия. Таких-то сестриц и я все будто теперь вижу тут с недавних пор! — заключил Панчуковский, кланяясь. — И вы меня не уверите; нам беды с ожидаемыми

реформами не миновать! Прощай, веселая, спокойная и счастливая сторона! Все здесь вымрет, переведется и зарастет лопухами и чертополохом...

— Какие страсти! Какие ужасы! — шептали дамы, теснясь вокруг него и лорнируя.

— Я уж и ружье приказчику купила, а револьвер у меня всегда теперь под подушкой! — заключила Щелкова. — Не уверите вы и меня, чтобы у нас прошло все мирно. Моя Нешка мне вчера платок швырнула со злости.

— Гений, а не человек! — шептали другие дамы, имевшие дочерей. — И как жаль, что неженатый.

Панчуковский оставил дам, незаметно прошел сквозь веселую толпу танцующих в зале, взял тайком шляпу, тихо вышел на крыльцо, переждал, пока запрягли ему лошадей, сел и полетел домой на своей крылатой четверне.

— Отчего же это вы, барин, не дождались и так рано уехали? — спросил дорогою Милороденко с козел, с сожалением качая головою, — а я уж кой-кого подготовил...

— Черт их подери! Я терпеть не могу, братец, этих наших веселостей, особенно же танцев... То ли дело с простыми девочками, где-нибудь под вербой — она пышет, пляшучи, а ты ее целуешь! Не люблю я барышень!..

— Ничего, сударь, и это; тут барышни обнаковенно с голыми плечиками бывают... Я всегда в таком случае люблю их танцы и постоянно смотрю из передней-с.

Приехав домой, Панчуковский сел за бумаги; под видом ревнивых предосторожностей в отношении к своей любимице, действительно почувствовавшей признаки интересного положения, он велел опять запирать ворота и все входы и выходы. От главных же дверей в доме ключ взял к себе в кабинет, а на ночь кругом запер весь дом собственноручно.

— Мне это, сударь, невыгодно! — заметил шутливо Аксентий, его раздевая.

— Отчего?

— Вы понимаете-с...

— Ничего! Переждешь, брат. Днем наверстаешь, спи в передней! Теперь уж на дворе и холодно; да говорят еще, будто какая-то шайка из острога разбежалась. Подкованцева под суд отдают...

— Шайка-с? Подкованцева? — спросил, перепугавшись, Милороденко.

— Да.

— Ну, так и точно, лучше побережемся! Бедняк, бедняк! Жаль этого-с исправника. А вы за мною — спокойно спите... я ведь покаялся, я нынче монах-с. Любите меня, а я уж по-христиански обойдусь с вами...

Осень кончилась. Пролетели громадные воздушные армии перелетных птиц. Настала гнилая, бесснежная приморская зима, длинные ночи, короткие холодные деньки, с зеленеющими полями, стадами овец в степи, быстрыми и краткими налетными метелями и изредка хмурым, сердитым небом. Снег падает и тотчас почти тает либо заметет степь, дороги. Все замерзло; вот стал зимний русский путь. Завтра дождь, послезавтра адская грязь. Арбы вязнут, верблюды и волы тонут по брюхо. Одна езда верхом становится возможною. И опять холод, опять тепло. Два дня погрело солнышко — и уж летят снова дикие гуси, журавли; аисты ходят по пустырям, пеликаны — по озерам и лиманам. В деревнях барыни на крылечки выставляют цветы на воздух. Овцы опять движутся на подножный корм в поле. А февраль еще на дворе. У прибрежья в синих волнах снуют лодки, корабли показываются. Невода опять тянут. Костры горят. Торговля зашевелилась. Конторские маклеры рыщут по городам. Но небо опять нахмурилось, налетели с севера тучи, и Новороссия, южнорусская Италия, опять становится мертвой, суровой Скифией.

Слухи о мадам Перепелицыной прошли было и замолкли. Панчуковский совестился ехать в город и лично хлопотать. Он решился показать вид, что спокоен, а потом и в самом деле успокоился. Михайлов уехал в Одессу.

XII

Похождения Милороденко

— Твой соперник, твой Левенчук, наконец, пойман! — такою приятной и неожиданной вестью порадовал Панчуковского приятель — исправник Подкованцев. — Он пойман в партии неводчиков, близ Мариуполя, и доставлен по месту преступлений ко мне в уезд. Теперь от вас, от тебя, друг Владимир Алексеевич, зависит помочь и мне: меня, брат, упекают под суд за покровительство нашим бродягам. Так ты мне своими связями помоги; а я, пока состою при месте, запроторю твоего соперника туда, куда и Макар телят не гонял. Приезжай, потолкуем.

«Я же его упеку! — свирепо подумал полковник. — Все равно теперь нечего делать, поеду!»

Панчуковский слетал к Подкованцеву, условился, как и куда спустить бродягу Левенчука, а кстати, посоветовался и о том, что предпринять с происками уже начинавшей ему надоедать помещицы Перепелицыной, появившейся в соседнем городе. Было положено: Левенчука избавить от допросов и от следствия по делу о взбунтовавшихся косарях, а скорее послать его, как бродягу, к его помещикам; если же он их не назовет, то прямо в Сибирь — как не помнящего родства, а о госпоже Перепелицыной пустить в окрестностях молву, что на нее падает подозрение в соучастии с продавцами фальшивой монеты, сделать у нее через приятеля-городничего обыск, напугать ее, а потом и предложить ей уехать обратно в Россию.

— Левенчук пойман! — сказал полковник Шкатулкину, воротясь домой в радости от условия с Подкованцевым и спеша обрадовать этой вестью своего слугу.

— Пойман-с? Быть не может! Ай да полиция-с! — сказал Аксентий, сделавшись между тем белее мелу. — Где же-с он?

— Ведут еще в цепях, по этапу!

— Зачем же в цепях, ваше высокоблагородие? Это прижимки-с.

— Как! Да ведь это он был тогда главный-то бунтовщик с косарями!

— А! Я и забыл! Куда же его ведут, сударь?

— Должно быть, в Сибирь пойдет.

— Так-с. Жаль парня! Ну, да на то уж ваша барская воля! Значит, чтоб не мешал счастью...

Полковник перед тем нарочно постращал Шкатулкина вестью, будто бы где-то бежала шайка воров из острога, для того чтоб тот лучше берег дом, по ночам запираемый с обоих выходов самим Панчуковским. Теперь же вдруг слух этот на самом деле сбылся. Антропка ездил для кухни за говядиной в город и услышал там, что действительно из соседнего острога через дымовую трубу бежали арестанты.

— Вот, видите ли, — сказал полковник дворне, — чего доброго, еще Левенчук, может быть, убежал! Пропадем мы, право, все, если не будете беречься; запирайте же постоянно на ночь все двери в хатах и ворота во двор да собак спускайте с цепей. Ты же, Домаха, отныне не отходи сверху от дверей Оксаны; теперь она стала спать наверху, так чтоб что-нибудь ее не напугало. Ты знаешь, что теперь надо ее беречь да беречь; сбереги ее, я тебя отблагодарю; видишь, какая она стала!.. Я думаю, к Николину дню родить будет... Как же! Точно к Николину...

Итак, полковник спал снова один в кабинете. Дверь через шкаф в соседнюю комнату, отведенную было Оксане, он постоянно запирал. Куча не прочитанных за лето книг и журналов лежала теперь на столе в кабинете, возле кровати Панчуковского, и он, задергиваясь пологом и предварительно взяв к себе ключи от дома, ежедневно, ложась спать, читал до глубокой ночи. Тут постоянно роились в его голове все главные предположения и дерзкие, небывалые мысли о новых спекуляциях. Иногда он вставал, подходил по мягкому ковру к столу, садился писать, незримый более с надворья, вследствие недавно, к зиме устроенных плотных внутренних став-

ней, и нередко заря заставала его утром еще в кресле в теплом куньем халате, за выкладками, соображениями и письмами. Его переписка была более коммерческая, деловая.

На гумне в это время домолачивалась пшеница. Стоял также еще громадный ряд скирд ржи и прочего менее ценного хлеба и большие скирды свезенного овцам со степи сена. Молотила паровая машина. Полковник ежедневно ходил на гумно, стоял над рабочими и оставался там до глубоких сумерек. Шкатулкин же обыкновенно, управившись в доме и поиграв с барышней и с Домахой в карты, выходил на крыльцо, сидел тут, курил, смотрел, как догорали недолгие порывистые зимние деньки, либо посмеивался, сплевывая в сторону и труня над разными дворовыми лицами, сновавшими с утра до ночи из кухни в амбар, из амбара в ледник, в погреба, за двор и в дом, и поджидал тут барина.

Раз захотелось Панчуковскому пойти ночным дозором на ток, где лежали большие вороха намолоченной, навеянной и еще не ссыпанной пшеницы в клуне, посмотреть, нет ли плутовских следов к воротам или через канавы, не пользуется ли кто лишним сеном из его же наемных дворовых, державших скот на барском корму. Снег перед тем только что снова выпал после обеда и запорошил белым пушком всю окрестность, двор, овчарни, гумно и батрацкие избы с клетушками.

Было темно. В трех шагах нельзя было видеть человека. Но полковник смело пошел; в кармане его был, по обычаю, револьвер. Аксентий копался в доме, в буфете, готовя чашки к чаю. Полковник по пути кликнул Антропку и пошел с ним. Они миновали батрацкие избы, где уже почти все затихло и спало, прошли овчарни, мельницу и поднялись на взгорье к току.

— Сбегай, брат Антропка, домой: я забыл спички; принеси! А я тут подожду. На обратном пути закурю сигарку; да также фонарь принеси — легче будет назад идти. Я буду ждать у клуни.

Антропка побежал. Полковник пошел вперед.

Снег почти неслышно шелестел под ногами. Все молчало в мягком, свежем воздухе. Из верхнего этажа дома полковника, через ограду, мерцал огонек из слухового окна Оксаны. «И так это она скоро покорилась и забыла своего жениха! — думал полковник. — Чем женщин ни купишь! Или эти украинки по правде скотоваты?» Со стороны поля, из какой-то отдаленной, степной овчарни доносился лай собак. «Это, верно, волки там похаживают, набегают из соседних камышей!» — раскидывал мыслями полковник.

Вдруг ему послышался шорох шагов за оградой гумна, в стороне, противоположной той, куда скрылся Антропка. Кто-то не то шел, не то ехал возле хлебных скирд, за канавою.

«Кто бы это был такой? — подумал Панчуковский и замер... Волос зашевелился у него на голове. — Вор не вор, зачем же он едет от поля? Это, верно, не наш, чужой!»

— Кто здесь? Эй! Кто ты? — крикнул Панчуковский.

Незримый путник не отзывался.

— Эй, говорю тебе, — отвечай!

— А ты кто? — спросил грубый голос, и шаги направились к полковнику.

— Сторож.

— Нет, погоди! Ты барин сам?

— А хотя бы и барин? — сказал Панчуковский и заикнулся.

— Ну, стой же, коли твоя судьба на то привела!

Незнакомец зашевелился. Панчуковский не успел подумать, зачем это он велел ему подождать и что значили его слова о судьбе, — даже пьяным ему показался незнакомец, — как мгновенно в пяти шагах от него что-то невыносимо ярко блеснуло, раздался оглушительный выстрел, а в упор перед ним с ружьем обрисовался Левенчук.

— Что это ты? — крикнул Панчуковский, пошатнувшись.

— Шел подстеречь тебя, барин, и посчитаться с тобою навеки; а ты и сам подвернулся... Не прогневайся!

— Кто здесь? Эй, держи, лови! Вор, разбойник! Туши скирду! — закричал Панчуковский, очнувшись и поняв, что выстрел в него не попал. Пыж от выстрела попал на хлебную скирду, которая дымилась.

— Кто, кто здесь? — отозвался не своим от страху голосом Антропка, прибежавший между тем с фонарем.

— Ну, жалко же, что у меня не двустволка! — сказал между тем Левенчук. — Я б тебя уложил.

Антропка кинулся тушить скирду. Полковник выстрелил из револьвера раз, другой и побежал вдогонку за Левенчуком; но последний скрылся в потемках.

— Стойте вы тут, а я сбегаю за лошадью; людей еще позову, и мы по следу теперь его мигом разыщем!

— Дело! Беги, а я здесь пережду! — говорил Панчуковский, едва переводя дух.

— Нате спички, держите, насилу разыскали их с Аксентием в кабинете. Ах ты, ирод, так ты не покаялся! С ружьем пришел!

Антропка без памяти побежал снова домой. Панчуковский отыскал на земле брошенный Антропкой фонарь, нагнулся, закрыл его полой и зажег в нем свечу. Руки его дрожали. Он прислушался: по полю в другом конце от гумна кто-то бежал... Полковник стал искать следов. Шаги беглеца были отлично видны по свежей пороше; верхом, с фонарем, легко его было найти. Лишь бы не зарядил он опять ружья и снег бы снова не пошел. «А! — шептал Панчуковский. — Вершком левее, и весь заряд сидел бы уже в моей груди, а я метался бы, как отбегавший свой век заяц! Где смерть-то моя ходила!.. И надо же было пойти дозором на ток и на него, беглого из острога, наткнуться!» Сердце его усиленно билось; кровь стучала в висках. Поднимался легкий ветерок, будто метель собиралась. «Боже, когда бы снег не пошел, чтобы его разыскать! Добраться бы мне, наконец, до него! Какова дерзость? И что делается со мною, непостижимо! Откуда такие напасти?» Раздался громкий конский топот. Прискакали на блеск фонаря на батрацких лошадях Антроп-

ка, приказчик, летом бывший причиною неудовольствия косарей, и еще четыре работника, наскоро, даже без шапок.

— Вот вам фонарь; скачите, догоняйте, молю вас, ловите его!..

— Слушаем-с! Вряд ли уйдет!.. Разве где лошадь припасена у него, али снег успеет запорошить следы.

— Разве и мне не поскакать ли также с вами?

— Еще чего бы не было! Лучше оставайтесь. Домой идите... Мы мигом обознаем все! — крикнул из-за канавы приказчик, и верховые поскакали.

Панчуковский пошел к дому, он был в сильном волнении. Начинал действительно падать снег. Не успел он до ворот дойти, как повалили огромные хлопья.

«Уйдет, уйдет! — думал Панчуковский. — Пропало мое дело. Вот бы поймать его! Что до суда и следствия, а я бы его еще сам пробрал...»

Во дворе было тихо. В кухне не светились уже огни. Было освещено по-прежнему только окно наверху в доме, у Оксаны, да в лакейской виднелся Аксентий, смиренно копавшийся с иглою и с какою-то одежей у свечки. Сторож, по местному названию «бекетный», не сразу отворил на оклик барина ворота. Слухи, действительно немаловажные, ходили о шалостях местных грабителей и воров, и все держали ухо востро.

— Кто на очереди? — спросил Панчуковский.

— Самойло.

— На же спички, Самуйлик, да беги скорее в кухню, зажги конюшенный фонарь и давай его мигом мне! Есть дело; может быть, сейчас также поскачем с тобою; оседлаешь тогда мне жеребца!

Седой хрыч Самойло спросонков у сторожки едва разобрал слова полковника, пошел, переваливаясь, и воротился из кухни с зажженным фонарем.

Панчуковский наскоро передал ему о случившемся. Отворили конюшню; Самуйлик побежал в каретник взять седло, как за воротами раздался снова шум и громкий крик приказчика: «Отворяйте!»

— Стой! Погоди! — сказал Панчуковский и сам пошел, прислушиваясь к говору за воротами.

— Да отворяйте же! — кричал приказчик. — Это мы, свои! Лисицу поймали!

Самойло звенел ключами. За воротами кто-то тихо охал.

Верховые въехали во двор. Подвинули к лошадям фонарь. Полковник взглянул. Антропка сидел на седле, качаясь. Он весь был облит кровью...

— Что это? Кто тебя ранил?

Антропка молча указал в сторону, хватаясь за бок.

— Живодер, сударь, успел опять зарядить ружье и, выждав нашу погоню, выстрелил...

Панчуковский выхватил у Самуйлика фонарь, поднес его к человеку, связанному уже по рукам и ногам и прикрученному за шею к седлу приказчика. С волосами, упавшими на лицо, запорошенный снегом, перед ним стоял, мрачно понурившись, Харько Левенчук.

Сперва было полковник его не узнал.

— Ты меня опять поджигать пришел?

— Тогда не поджигал; вы на меня донесли, меня ославили; так я уж думал один на один посчитаться...

— А, вот что! Слезай, Антропка! Батраков остальных сюда! Держи его! А! Так ты признаешься? Слышите вы все?

Самуйлик судорожно заметался. Приказчик убрал в конюшню лошадей. Левенчука привязали к коновязи. Полковник, по-видимому, не горячился, говорил тихо, но свирепел более и более. Сбежались другие перепуганные батраки. Их расставили на часах. Кто был потрусливее, того отослали обратно. Готовилась сцена, какими иногда увеселял себя полковник.

— Розог сюда, палок!

— Чего бы еще не было от этого? — шепнул было Панчуковскому приказчик. — Лучше бы его так доставить в суд.

— Молчать! Я вас всех переберу! Розог, кнутов, палок.

Явились и кнуты, и розги. В доме было все тихо. Туда никто не входил, и там ничего не знали. По-прежнему светились тихие окна Оксаны и Аксентия.

— Нет, душечка! Нет, голубчик! — шептал Панчуковский. — Пока до суда, так ты опять еще уйдешь из острога в печку, а вот я тебе перемою тельце, переберу по суставам все твои косточки... Клади его, Антропка! Самуйлика сюда! Где он? Ну, живее!.. Куда он тебя ранил, Антропка?

— В бок, дробью-с...

Явился Самуйлик, скорчил грустно губы, да нечего было опять делать — воля барская...

— Он, сударь, вольный, может статься! За что вы его бить хотите! — отозвался, сняв шапку, один из батраков.

— Молчать! — орал уже на весь двор Панчуковский. — Каждого положу, кто хоть слово пикнет! Клади его, бей; а ты, Антропка, хоть и раненый, считай... Огня мне; пока выкурю сигарку, не вставать тебе, анафема!

Началась возмутительная сцена...

Левенчук, как лег, не откликнулся, пока над ним сосчитали триста ударов.

— Довольно! — сказал полковник, — повороти хохла да посмотри: жив ли он? Что хохол, что собака — иной раз их и не различишь...

Левенчука повернули к фонарям лицом.

— Так вот она, воля-то ваша, братцы! — простонал Левенчук, чуть шевелясь от боли. — А вы лучшей тут искали?

Толпа с ропотом шумела...

— Ну, ну, не толковать! Воды ему, окатить его да дать напиться! — крикнул полковник, отходя к крыльцу. — Это кто? — спросил он, наткнувшись на кого-то в потемках и поднося к его лицу фонарь.

То был Милороденко... На нем черты живой не было.

— Барин! Зачем вы так тиранили человека? — спросил он.

— Так и учат скотов! Да если и вы все его защищать станете, лучше убирайтесь на все четыре стороны. Лишь бы

лес был, а волки будут... Я, брат, военная косточка и шутить не люблю.

Милороденко пропустил барина молча мимо себя.

Но едва полковник скрылся в доме, он опрометью побежал к конюшне, где так неожиданно наткнулся было на истязания былого приятеля.

— Где он, где он? — шептал разбитым голосом Милороденко, расталкивая батраков.

— Вон, Аксентий Данилыч, водою отливают; замер горемыка, чуть его бросили... Как бы чего барину не было!..

— Барину? — закричал Милороденко — А человеческую душу загубил, так про эту душу и не вспомните? Еще воды сюда! Снегу на голову — водки в рот. Эй, на вот целковый, сбегай в шинок!..

Очнувшиеся батраки зашевелились перед новыми приказаниями. Стадо людское шло туда, куда пастух вел, кто бы он ни был...

Прошло часа полтора. В кабинет полковника вошел Аксентий. Он молча положил ключ от каретника на стол, у подушки Панчуковского. Глаза его были заплаканы, волосы всклочены.

— Ну?

— Извольте ключ-с; приказчик прислал...

Милороденко не поднимал глаз от полу.

— Связали? Уложили его в каретнике, как я приказал?

— Заперли связанного. Утром можно в город послать-с... Только знаки, барин, будут видны — не было бы чего...

— Ложись спать да двери запирай! Не твое дело! Терпеть я, братец, не люблю рассуждений. Это ты мог делать у Шульцвейна, у других...

Аксентий покорно ушел. Прошло еще с полчаса. Все замолкло. Огни везде опять погасли. Ворота со скрипом затворились. Умолкли и собаки, лаявшие под этот необычный ночной шум.

Полковник встал, выпил залпом два стакана воды, надел халат и туфли, обошел весь дом, увидел Домаху, спавшую у дверей Оксаны, зашел на Оксану взглянуть, увидел Аксентия, с смирением агнца храпевшего уже на коврике в лакейской, воротился в кабинет, запер его на ключ изнутри и с легкою дрожью улегся снова в постель, задернув атласный полог. Он долго не спал, слышал, как часы наверху пробили два и потом три, как петухи прокричали вторично. Наконец он забылся.

Ему все снились отрадные картины. В потайном железном английском сундуке его кассы, врезанном в его письменный стол, грезилось ему, лежат уже не сто пятьдесят тысяч рублей тайно увезенного жениного капитала, а вдвое против этого. Оксана дарит ему сына, толстенького гетманца, с черными кудрями, и нарекут ему имя также Владимир. А по пустынной, зимней степной дороге, на север тянется под конвоем длинный этап: впереди его идет в цепях Левенчук, а сзади — уличенная Подкованцевым в сношениях с фальшивыми монетчиками супруга Владимира Алексеевича, рожденная купеческая дочка Настасья Гавриловна Перепелицына. Сон длится далее. Хутор Новая Диканька уже расширился, превратился в мануфактурный и промышленный городок. Полковник назначен военным губернатором, управляющим и гражданской частью. Высятся кирпичные фабричные трубы. Каменные корпуса поднимаются по улицам. Извозчики ездят. Дремучие рощи окружают собственный дом полковника. «Это уже и отца Павладия перещеголяло!» — думает Панчуковский и вместе с тем в испуге просыпается...

Что это?

Комната его странно осветилась. В дверной секретный шкаф вошли беззвучно какие-то лица. Над постелью его стало что-то высокое... Он вскрикнул и, обезумевши от смертного ужаса, кинулся за края полога.

— Ни слова! — звонко сказал стоявший над ним. — Теперь уж молчи, барин; теперь уж наша воля, — это видишь?

Смотрит полковник: его слуга Аксентий стоит над его ухом и держит собственный револьвер полковника.

— Что ты, Аксентий? С ума сошел?

Шкатулкин, уже одетый в платье своего барина, видно, не шутил.

— Барин! — сказал он. — Ты теперь молчи; пикнешь слово — вот тебе Бог святой — пулю в лоб пущу! Нам что теперь? Все подавай свое — и баста! Пролежишь смирно — жив останешься...

Панчуковский оглянулся: за пологом стоял освобожденный, истерзанный им за три часа назад Левенчук. В руках последнего был нож.

— Боже! Не сон ли это? — шептал Панчуковский, пугливо взглянув на окровавленные во время истязания волосы и взбитую бороду бледного, как труп, Левенчука.

— Что же вам нужно? — спросил полковник. — И что это ты, Аксентий, затеял?

— Ты теперь, ваше высокоблагородие, уж тоже молчи! Пистолет-то твой, как видишь, у меня! На, Хоринька! — прибавил Милороденко, подавая пистолет Левенчуку. — Держи эту штучку да посади барина-то, обидчика твоего, обратно на постель, то есть положи его сразу в лоб-то, коли что затеет, а мне некогда! Да ты, может, барин, хочешь знать, кто я? Спасибо за угощение: я Милороденко! Не удалось покаяться, как видишь...

— Ну, теперь слушай уж и ты! — сказал, переступая с ноги на ногу, Левенчук. — Садись и молчи; я тебя уложил бы тут навеки... так старший не велит! У нас с ним свои счеты...

Панчуковский упал обратно на постель. Он уже и за ногу себя ущипнул, все еще полагая, не спит ли, и охать принялся, и даже попросту заплакал. Верзила Левенчук стоял перед ним, как каланча, изредка шевелясь и косясь на него.

Милороденко, между тем облачившись в платье полковника, им же почищенное с вечера, с обычной юркостью заметался, хлопоча, по комнате, и, увидя, что пригрозил полковнику достаточно, успокоился и стал даже пошучивать:

— Вот, барин, ты не захотел его давеча помиловать, вольного-то человека, беглого, пташку Божию посек, теперь и не прогневайся! Вся твоя дворня перевязана; рты у каждого заклепаны, как бочоночки, — мы вот и распоряжаемся! Ты, я думаю, удивился немало? Теперь уж ты нам ответ дашь: я, сударь, повторяю, Милороденко! Не веришь? Ей-богу-с!..

И он шнырял по комнате. Кругом было тихо.

— Боже, Боже! Что они только с нами доныне делали, Хоринька. Правда? — заключил Милороденко, укладывая в чемодан все, что было поценнее из вещей в кабинете, и потом прибавил: — Ты, барин, думаешь, что я шучу? Как решился я освободить приятеля, он прямо шел тебя убить...

Панчуковский вдруг вскочил, кинулся к двери и крикнул громко: «Сюда, сюда, люди! Грабят, режут!»

Голос его звонко отдался по комнатам.

— Шалишь! — перебил его, загородя ему дорогу, Милороденко. — Ну, Харько, где теперь те бечевочки, что мы на их барскую милость приготовили? Видно, без этого и с ним не обойдется!

Левенчук достал веревку, при помощи франтовато одетого Милороденко с силой ухватил Панчуковского, зажал ему рот, наставил к виску его пистолет, и в два мгновения полковник, связанный, как чурбан, лежал уже на кровати. Милороденко не без грубости заткнул ему рот концом простыни, причем полковник ощутил скверный вкус мыла, обернул его лицом к стене и прибавил:

— Ну, слушай же теперь, барин, в последний раз: теперь уж не шути; или ты не веришь? Чуть обернешься назад, аминь тебе! Нож в спину по рукоятку! Лучше лежи, а не то пуля.

— Харько! Гайда! — шепнул он Левенчуку.

Приятели сорвали планку с потайного замка в рабочем столе, подмеченную заранее Милороденко, вскрыли замок и ящик, вытащили связку бумаг, нашли мешочек с золотом, несколько связок депозиток. Руки у Милороденко дрожали. Левенчук тяжело дышал. Все уложено в другой чемоданчик.

— Бери! Скорее! Неси на двор!.. Нет, лучше стой над ним, а я понесу!

Милороденко выскочил из дому. Там на дворе он сложил все в кучу под крыльцом, где так часто молился. Осмотрелся еще раз, обежал кухню, амбар, подворотную сторожку. Везде было тихо. Собаки были убиты. Перевязанная дворня лежала спокойно. Освободив Левенчука, Милороденко, по очереди с ним, перевязал всех мужчин и баб, поодиночке, с барским пистолетом в руках, свел их в один из погребов и с забитыми ртами посадил туда, пригрозив выпустить каждому кишки, чуть кто голос подаст. Да уже одно сознание, что он Милороденко, сковало рты всем невольно.

Выкатив фаэтончик полковника, Милороденко вывел его лошадей, пока еще было темно, к погребу, сбегал с фонарем, освободил оттуда обомлевшего от страха Самуйлика, вывел его, с угрозами заставил запрячь фаэтон, связал его опять, толкнул в погреб, уложил чемоданы и забежал обратно в кабинет.

— Что, смирен теперь наш князь? Ты теперь молчишь барин, а? А не хочешь ли мы тебе девочку хорошенькую достанем?

«Вот опростоволосился! — думал полковник, жуя отвратительную простыню. — Того и гляди зарежут! Боже! Хоть бы в живых оставили!..»

— Какой ему черт теперь, молчит! — свирепо сказал Левенчук, сплюнул в сторону. — Да пора уж, чего ты там возишься?.. Пора отсюда вон...

— Ну, стой же еще малость... Надо и о твоем, голубчик, добре подумать.

Левенчук вздохнул и сел:

— Да, пора бы! Жил ты тут сколько времени, хоть бы догадался освободить ее!

— Уж я тебе обещался, только молчи! Не знал, где ты. Да и что ей сталось! В холе жила, я с нею в карточки баловался... А я у тебя в долгу — помнишь, за порцию?..

Милороденко поднялся наверх по лестнице. Полковник слышал, как там на мезонине произошла возня. Кто-то не своим голосом взвизгнул, тяжело рухнулся и покатился вниз по ступеням. Опять все затихло. «Домаха отплачивается, бедняга!» — подумал полковник.

Та же потайная дверь в шкафе отворилась в кабинет. Показалась опять голова Милороденко.

— Теперь, Харько, бросай его; иди сюда! Ну, скорее, светает!..

Левенчук ступил в соседнюю комнату.

Там впотьмах стояла, опустя голову, судорожно рыдавшая Оксана.

— Ну-ну, барышня, перестаньте, целуйтесь да идите скорее! Пора; ой, ей-же-ей, пора! Поймают, тогда все пропало. Теперь уж и у тебя, Хоринька, хвост навеки замаран.

Он толкнул одурелого от встречи с Оксаной Левенчука. Левенчук вывел Оксану. Внизу лестницы стонала Домаха.

— Ты, Оксана, молись Богу, — шептал Левенчук, — а я тебя прощаю — не ты виновата...

— Барин, а барин! Слушай! — сказал Милороденко, входя в кабинет. — Я тебе сослужил службу; надо же было и посчитаться. Задавить тебя, повесить, зарезать — все одно что плюнуть. Мы тебя так кидаем, живи, только не дерись больше с людьми православными! Тронешь кого пальцем — аминь тебе, помни! Где ни буду, явлюсь хоть с того света! Да постой, полежи еще маленько; встанешь раньше сроку, пока сам я тебе крикну, — убью; пришлю Левенчука; он раз по тебе дал промах, теперь уж не промахнется. Прощай! Живи — и нам на твое счастье пожить хочется.

Милороденко вынул все ключи, запер обе кабинетные двери снаружи, связал еще покрепче Домаху под лестницей собственным ее же фартуком, вскочил на крыльцо и запер дом на ключ со двора. Уже заметно светало. Оксана сидела в фаэтоне. Левенчук, склоня голову к ручке экипажа, стоял возле. Они грустно шептались...

— Ну, пташки мои, готовы? Освободить ее для тебя, сердце Хоринька, всегда было нетрудно; да куда бы она делась без тебя? А ты вот что подумай: я тебя не обидел... я берег ее... Это за водку, помнишь?

Еще раз подбежал Милороденко к погребу, постучал, погрозился, велел всем снова дожидаться и молчать, пока и их он позовет, тихо отпер ворота, вывел четверню за ограду, воротился назад, запер ворота изнутри, перелез через ограду по лестнице, вынесши предварительно из каретника Левенчуку кучерской армяк, одел его, посадил на козлы, а сам сел в полковницком отставном военном пальто и в фуражке с кокардой в фаэтон к Оксане. Лошади тронули, выехали шажком за клуню, за косогор. Левенчук стал по ним бить что было мочи; они подхватили вскачь и унеслись скоро из виду. Может быть, никогда еще их быстрый бег не приносил на земле столько счастья. Оксана плакала, колотясь головой о стенки фаэтона.

Долго ждал связанный полковник со всеми своими домочадцами условленного знака освобождения. Уж совсем рассвело, солнце взошло. Батрацкие хаты задымились. «Что за чудеса!» — думали батраки, ничего не знавшие о заключении вчерашней истории и видя, что из полковницкого двора никто не показывается: ни кучер не ведет лошадей на водопой, ни приказчик не идет звонить к конторскому столбу. Сошлись работники к ограде; ворота заперты изнутри. Постучались, стали кричать; никто не отзывается. Крики их были слышны в погребе; но перевязанные там не могли ни крикнуть, ни двинуться, да и заперты были тоже на ключ. Опомнилась прежде других и нашла средство действовать старая Домаха. Она разорвала ветхий фартук, опутавший ей руки и ноги, тихо обошла комнаты, постояла, хныча, у дверей кабинета, тщетно силилась их отпереть, пробовала выйти на крыльцо — и там двери снаружи были заперты. Она взошла, охая, наверх, увидела народ за воротами, сначала и его приняла за разбойников, потом узнала кое-кого из своих и решилась подать ответ в форточку двери над балконом.

— Что, бабушка, там у вас такое? — пугливо спрашивали голоса из-за ограды.

— А у вас, братцы, что? Ох, напугали, окаянные! Несчастье стряслось!

— Ворота заперты, и никого не видно со двора...

— И тут двери кругом заперты...

— Ды ты, тетка, отбей чем-нибудь!

— Чем же отбить?

— А где барин?

— Не знаю. Тут чудеса были, да и только...

— Ты дверь выставь на балкон, замок дверной отопри, а замазка и так отскочит...

Домаха успешно выставила дверь на балкон.

— Простыни свяжи, бабушка, да и опустись наземь! — суетливо кричали голоса из-за ограды.

Домаха явилась с простынями, осмотрелась, что разбойников нет, и наскоро передала, что случилось ночью в доме. По ее словам, все внутренние комнаты были заперты, и барин в доме не откликался.

— Боюсь, как бы не убиться, братцы...

— Не убьешься! Получше свяжи, тогда и нам отворишь двери и ворота, невысоко...

Старуха связала толстым жгутом простыни и стала прикреплять их к балконным перилам. В это время со степи показался верховой. Ничего не подозревая, он тихо подъехал к воротам. Это оказался рассыльный местного откупщика. Он слез с лошади.

— Здравствуйте, братцы!

— Чего ты?

— К приказчику.

— Погоди, ты видишь, что у нас делается! И приказчика не найдешь...

Ему рассказали, в чем история.

— Где же ваш барин? — спросил удивленный рассыльный.

— Где? А Бог его знает где...

— Да я его встретил под Андросовкою!

— Как под Андросовкою!

— Именно же под Андросовкою; в коляске на ваших конях и поехал; должно статься, рано выехал! И ваших коней и коляску знаю; только кучер, пожалуй, что и не ваш. Волосатый такой. Еще полковник высунулся и поглядел на меня; а я ему шапку снял.

Батраки переглянулись. Что за притча! Задумалась и Домаха.

— Куда же это он поехал?

— Не знаю; с ним и ваша-то, знаете?

— А! в самом деле, братцы, где наша Оксана? Да где и остальные?

— Не замайте, не мешайте! — говорила старуха, привязывая простыни к балкону и мостясь перелезать через перила.

Охая и крестясь, она перевалилась за балясы, повисла на воздухе и благополучно стала спускаться вниз. Шутки смолкли. Все чуяли узнать что-то недоброе.

Домаха спустилась наземь, перекрестилась еще раз и отперла ворота. Все гуртом вошли во двор, ошарили все углы, кухню, сараи; нашли очумелых от страха пленников в погребе, освободили их, вывели на воздух.

— Кто это вас?

— Милороденко, братцы! Ох, Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси...

— Как Милороденко? Откуда он взялся?

Приказчик и Антропка первые оправились и стали ругаться.

— Это же он и есть окаянный, Аксентий-то наш, что барин у немца нанял; это и есть Милороденко, что господа у Небольцевых толковали и что суд его разыскивает! Он у нас и жил...

— Снял же я живодеру этому шапку! Да не нарядить ли вам за ними, ребята, погоню? — сказал рассыльный откупщика.

— Да, ищи теперь ветра в поле!

— Однако же, что с домом да с нашим барином сталось? Где он?

Расспросили еще раз Домаху, взломали двери с парадного крыльца, вошли осторожно, осмотрели все комнаты. Все на своих местах. Подошли к кабинету; двери заперты и без ключей.

— Надо ломать двери...

— Надо.

— Кузнеца сюда!

Явился кузнец, тот самый батрак, что Левенчука когда-то защищал. Руки его дрожали. Долото не попадало в щель. Сломали замок превосходной лаковой дубовой двери, вошли в кабинет и сперва за запертыми внутренними ставнями ничего не разглядели. Отперли ставни, отдернули полог — и судите, каково было общее изумление, когда на кровати оказался связанный и с заткнутым ртом полковник.

Его освободили. Измученный и нравственно убитый со стыда и злости, он долго не знал, что говорить и делать; наконец, наскоро расспросил каждого, что с кем было, отпустил всех и остался с приказчиком и с Самуйликом.

— Так и лошадей нет? — спросил он, опустив голову и кусая до крови ногти.

— Уведены-с тоже...

Панчуковский быстро подошел к столу, увидел вскрытый потайной ящик, разбросанные бумаги, ухватился за голову и упал без чувств... Кое-как его оттерли, дали воды напиться.

— Все погибло, все погибло! — кричал он, как ребенок, и бился об стену. — О Боже, Боже, все погибло! Лошадей, хоть каких-нибудь лошадей! Садитесь верхами, скачите, ищите их! У меня украдены все деньги... все!

Новый ужас обнял дворню. Забыв тревогу, усталость и недавний страх, все, кто мог, вскочили на машинных, даже малоезженых табунных лошадей и поскакали.

— Десять тысяч целковых тому, кто найдет их и воротит мои деньги! — кричал Панчуковский с крыльца, бегая то в конюшню, то за ворота.

Написаны повестки в стан, в суд, в полиции трех соседних городов.

К знакомым и к приятелям посланы особые гонцы.

Панчуковский взошел наверх. Комната Оксаны была пуста.

«Разом какого счастья лишился я! — подумал полковник. — Говорят, что человек идет в гору, идет и вдруг оборвется... И правда!..»

Полковник бродил по дому, проклинал весь мир, звал к себе поодиночке всех, кто еще возле него остался, советовался, кричал, сердился, делал тысячи предположений, рвал на себе волосы, беспрестанно бегал на балкон, смотрел в степь, наводил во все стороны ручную подзорную трубу и плакал, охал, как малый ребенок.

Из посланных некоторые воротились к обеду, другие к вечеру, третьи вовсе еще не воротились. Ответ был один: никто ничего не открыл. Беглецы ускакали без следа.

На рассвете длинной темной ночи, в которую никто в доме и во дворе полковника не заснул ни на волос, к крыльцу Панчуковского с громом подъехал экипаж.

— Немец приехал! Шульцвейн! — сказал кто-то, вбегая к полковнику, который лежал, обложенный горчичниками, в постели. На столе стояли склянки с лекарствами. Доктор сидел возле.

«Опять его судьба ко мне в такой час заносит!» — с невольной досадой подумал Панчуковский и молча, с грустною улыбкою протянул руку входившему в кабинет колонисту.

— Ist es möglich?[1] — спросил Шульцвейн, грубыми и неуклюжими шагами подходя к кровати Панчуковского. — Есть ли какое вероятие в том, что разнеслось теперь о вас?

— Все справедливо! — тихо сказал полковник, качая головою из подушек.

---

[1] Возможно ли это? (*нем.*)

— Кто же это все сделал?

— Слуга, рекомендованный вами.

— Ай-ай-ай! И я причина вашего разорения, может быть, гибели? Ах, mein Gott, mein Gott![1] Я бесчестный человек!

Панчуковский попросил его прийти в себя, успокоиться, сам сел и попросил сесть гостя. В той же синей потертой куртке, с теми же длинными костлявыми ногами, румяный и белокурый колонист уселся, охая и поминутно ломая руки.

— То, что случилось со мной, Богдан Богданыч, могло, наоборот, случиться и с вами. Не в рекомендации дело; вы его не знали и за него не ручались. Дело с беглыми, как видите, у меня оборвалось...

— Но я, я!.. Через меня! Ах, mein Gott, mein lieber Gott!

— Вы мне порекомендовали этого негодяя, зато от вас я впервые узнал и о моей красавице... Что теперь от вас таиться? Шутка судьбы?

Отчаянию и неподдельной горести Шульцвейна, однако, не было границ. Он ходил по комнате, размахивал мозолистыми руками, останавливался, делал тысячи предположений о поимке грабителей, вызывался сам их искать, сам своими средствами; предлагал на первое время часть собственного капитала к услугам полковника, для его первых хозяйственных оборотов.

— Сколько же они у вас всего похитили?

— За двести тысяч... да-с!

Шульцвейн падал на диван, топал уродливыми ногами, вопил, осклабляя розовые сочные губы до ушей, стонал, бил кулаками в стол, себя в грудь и кричал: «Двести тысяч, двести тысяч!»

— Да что вы так выходите из себя? — уже иронически спросил полковник.

---

[1] Боже мой, Боже мой! (*нем.*)

— Это деньги нажитые, трудовые! Я знаю труд! Я его знаю! Боже мой, Боже, когда бы их нашли! О, если бы их нашли!

— Вы видите, я спокоен. Мне жаль более моей красавицы. Видите, я вам сознался...

Утром подъехали другие соседи: братья Небольцевы, Швабер, Вебер, Авдотья Петровна Щелкова. Шутовкин вошел, похрамывая и проклиная дорогу. Он особенно нежно и с чувством пожал руку полковника.

— Душа, Володя! Я тебя лучше других понимаю; не денег тебе жаль, ты жалеешь другого сокровища — ее! Она готовилась тебе подарить ангела-сына или, может быть, дочь.

Шутовкин, едучи к новому другу, выпил.

К обеду прискакал Подкованцев. Он был смирнее, не попросил по обычаю ни бювешки, ни манжекать, внес портфель, достал оттуда какую-то бумагу, подал ее Панчуковскому и, обратясь к присутствующим, сказал:

— Меня, господа, берут у вас, гонят в отставку; вы меня не отстояли, а увидите — без Подкованцева вам житья не будет.

— Нет, мы вас не отдадим...

— Не отдадите? Теперь уже поздно! Зато я тот же-с, как и был! Вы бы послушали прежде мои новости: фаэтон, господа, полковницкий я нашел, и его сюда уже везут...

— Нашли, экипаж нашли! — закричали слушатели и сбежались поздравлять полковника. — А лошади?

— Один экипаж пока, — печально заключил исправник, — экипаж и два пустые чемоданчика на берегу моря, an bord de la mer, messieurs![1] только покамест и нашли! Но найдем и остальное. А лошади пали, загнанные вскачь на сорока пяти верстах... Жаль их!

— Как же это нашли?

---

[1] На берегу моря, господа! (*фр.*)

— Видите ли: новые чиновники-чистуны брезгают приемами отцов и дедов, а мы еще живем по старине. Я гаркнул на моих соколиков, значит, созвал ближайших к городу моих приятелей, то есть разных мошенников-с — извините, — и сказал эйн вениг такое наставление: ищите — и обрящете, толцыте — и отверзется, а чтоб вы мне полковницкие вещи разыскали! Всех переловлю!

— И нашли!

— Нашли пока одно; может, найдем и другое...

Присутствующие стали строить новые планы поисков.

— Деньги Владимира Алексеевича в золоте, значит, появятся либо в портах, либо в Нахичевани. Надо там следить! Да и как следить? Стан за сто верст, суд за сто двадцать! Этакая даль, пустыня...

— Ничего из этого не будет! — решили другие. — Денег не воротишь! Надо облавы на этих проклятых беглых сделать; это от них все бедствия идут, оттого что у нас людей без паспортов держат.

— Да вы же их, Дмитрий Андреевич, держите больше всех нас, вы же! — сказал кто-то Небольцеву.

— Хороши и вы. А кто кучера моего передерживал в прошлом году, а?

— А мою девку-с?

— А моего табунщика?

— Да он же не ваш!

— А чей же?

— Он тоже беглый, а не ваш; я потому его и держал.

Авдотья Петровна Щелкова вбежала впопыхах.

— Мосье, фаэтон Владимира Алексеевича привезли!

Все выбежали на крыльцо. У конюшни действительно стоял весь избитый и загрязненный фаэтон. Его привезли на обывательских. Самойло держал его рукою за колесо.

— Что, брат Самуйлик, не думал дожить до такой жалости? — спросил кто-то.

Покачал седой головой Самуйлик и ничего не ответил. Все дворовые ходили как шальные.

— Конец, нам, видно, приходит! Бога мы вконец прогневали!

Гости толпой стояли на крыльце, шушукаясь: «Двести тысяч, двести тысяч! Это еще небывалое дело в крае!»

— Как, однако, экипаж отделали! Да и погода грязниться стала. Ишь как потеплело; облака не зимние бегут, будто весной пахнет. Как бы сегодня дождя не было! Распустит — засядем все мы тогда здесь у полковника на неделю...

— И в самом деле, господа, пора бы по домам, — сказал Вебер.

— Погодите, исправник еще ждет сегодня одной справки: он на плавни, в камыши послал лазутчиков: не туда ли скрылись беглецы?

— Весной запахло, больших барышей Подкованцев лишится; теперь от контрабанды им только и житье настает! Недаром же он у моря терся, что там так скоро нашел брошенный фаэтон!

Перед вечером приехал нарочный верховой из-за Андросовки с вестью от лазутчиков — от соседних греков.

Действительно, по слухам, беглецы перебрались к Дону и скрылись в его гирлах, в камышах. Бросив фаэтон, они наняли у каких-то неводчиков повозку, а потом сели на отходившую береговую барку, прошли часть пути водою, по взморью, и скрылись по направлению к устьям Дона.

К ночи еще более потеплело. Пошел дождь. Гости бросились по домам. Исправник заночевал у полковника.

Утром Подкованцев проснулся; над степью плыли теплые непроглядные туманы. Снег исчезал. Поля отдавались уже картинами нежданной-негаданной весны. Мигом в сутки распустило так, что исправник в обеденное время другого дня выехал от Панчуковского в тарантасе, гуськом, в двенадцать лошадей. И то поехал, еле-еле тащась, в океане невообразимой грязи. Дождь пошел и лил три дня сряду. Стала небывалая распутица.

Зато тут же, между двух-трех дождей, среди еще не сошедшего снега, откуда взялась зелень. В степи показались

озерки; мелькнули весенние цветы. В облаках затурликали журавли. Потянулись вереницы гусей. Через новых три-четыре дня в одиноких затопленных оврагах, покрытых лесками, загремели недалекие крымские и кавказские гости — соловьи. В воздухе запахло почками тополей. Дни прояснели. Подул с юга крепкий морской ветер. Туманы уплыли. Пышно засинело у берегов море. А Дон, дробясь мутными потоками песчаных гирл, бурлил, кипел, шумел и катил к нему свои пенистые и привольные воды.

Окна выставлены, о шубах и помину нет. Плуги бороздят уже степи. Стада высыпали в поля. Теплый душистый пар струится и стелется над тихими, веселыми долинками и пригорками. Стада овец пасутся, утопая в парках. А солнце весело-весело катится, и каждый, радуясь отходу недолгой зимы, мигает, с любовью взглядывая на ярко сверкающее небо.

XIII

Облава на беглых

Ускользнув от преследований полиции, Милороденко, Левенчук и Оксана пробрались к вечеру того дня, в который на хуторе Новой Диканьке произошло такое событие, к глухой Сасуновой балке, невдалеке от морского берега. У Милороденко были везде приятели и помощники. Загнав полковницких лошадей, он очень скоро достал у какого-то прибрежного неводчика новую тройку, и на ней беглецы еще несколько времени проскакали на телеге по взморью. У песчаной пустынной горы они пересели на парусную барку и пошли морем. День был пасмурный. Лодка обошла в тумане ряд береговых мелей и причалила у тощего, чуть видного в камышах, ручья. Тут Милороденко сказал: «Стой, братцы, тут мы выйдем!» — бросил гребцам договоренную плату, надбавил еще на водку, и беглецы пошли вверх по течению

ручья, а лодочники, обрадованные невиданным заработком, поспешили снова в море.

Ручей вытекал из степного оврага Сасуновой балки. Там вечер, а вскоре и ночь застала беглецов. Притащя на себе остальные чемоданы, они вошли в камыши, окружавшие истоки ручья, выбрали место посуше, на склоне оврага, у прошлогоднего стога сена, накошенного тут кем-то по низу балки, и сели отдохнуть.

— Ну, Хоринька, не знаю, как ты, а я у лодочника захватил хлеба и рыбки. Садись с подругою да закусывай, чем Бог послал.

— Не то у меня на уме теперь, чтоб хлеб есть! Оксана, возьми ты; не затощай, — дорога еще не завтра кончится...

Оксана взяла хлеб и рыбы.

— Куда мы денемся теперь? — спросил Левенчук. — Что это вы с нами сделали, Василий Иваныч?

— А! Как куда? Как что я сделал?

— Зачем это вы у полковника деньги взяли?

— Деньги? Шалишь, братец! Ах ты, простота, простота. Да деньги-то всему сила. С ними, брат, теперь нам море по колено будет, а счастье в ноги нам будет кланяться!

— Не будет!

— Будет!

— А как не будет? Как поймают-то нас теперь, в кандалы закуют да по острогам морить станут, а после в каторгу сошлют, и еще палач-то тебя кнутом отдерет?

Милороденко засвистал, засмеялся, от смеху по траве покатился и опять сел степенно и с достоинством.

— Глуп ты есть и теперь, человече; глуп, брат Хоринька, вижу я, ты и по сей день, с той поры, как я вел тебя сюда! Помнишь ты те дни и те ноченьки, поля без дорог и овраги такие же, как вот и эта трущоба? Вел я тебя тогда ими и уму-разуму поучал. Многое я тебе пророчил, да не все сбылось из того! Не все сбылось, многое переменилось тут, а все-таки признайся и скажи, брат, так ли ты здесь дни-то свои коротал, на

этом приволье, по неводам, у моря осенью и зимой, или летом по степям здешним, как жил ты, положим, у своей-то госпожи?.. Ну, говори!

— Конечно, оно так; а все-таки, как подумаю: чего же мы с вами, дядюшка, и тут дождались? Бить нас и тут били, невесту у меня и тут отняли...

— А энтакой чемоданище, да еще полный денег-то, решился бы там в своей-то степи украсть, пастухом-то за стадом день-деньской ходючи? А? Говори, ну?

Милороденко взял меньший чемодан и еще в отблеске серенькой, влажной зари раскрыл его. Левенчук увидел связки бумаг и между ними пачки ассигнаций.

— Почитай тут тысячи, десятки тысяч. А? Ведь не решился бы?

— Куда мне! Разумеется, не посмел бы...

— То-то же; а тут ты вон другой человек стал! Тебя, значит, обидели, ну, и ты спуску не дал, да еще где? В самых, так сказать, апартаментах, в кабинете их высокоблагородия полковника, да еще и самого барина-то за белую глоточку этак подержал — не шали, дескать, мы сами люди... не обижай нас! Мы тут вольные!

— Так оно так, да только деньги эти напрасно мы брали! Куда мы их денем? За ними и погоня крепче будет. Поднимут всех чиновников за нами теперь, всех становых и заседателей. Взяли бы одну Оксану, они бы нас бросили сегодня же! Что мы им?

— Барышня, целуйте его! Видите, какова-с верность-то! Ну, целуйте же его, а то буду сердиться!

— Ох, Василь Иваныч! — сказала Оксана. — Уж мне ли не клясть моего мучителя и врага? Не вам ли я на него плакалась? А погубят нас эти деньги; пропадем мы все за них, и я говорю.

Милороденко помолчал... На дворе стемнело окончательно.

— Вылезь, Хоринька, на шпинек да глянь, все ли тихо кругом; а там покалякаем, сползешь опять.

Левенчук выбрался из оврага, долго слушал, приглядываясь во все стороны, отошел несколько в степь и воротился.

— Ну? Никого не видно?

— Никого.

— Вот же что я надумал, слушайте! — решил Милороденко. — До утра мы выспимся, а утром деньги сосчитаем и поделимся.

— Ничего нам не нужно, Василь Иваныч, — ответили разом Левенчук и Оксана, — мы уж условились; вместе втроем нам оставаться и бурлачить долее нельзя.

— Куда же вы? Так меня уж и бросить затеяли?

— Спасибо вам, а только мы так положили: доберемся до Дону, сядем как-нибудь на барку какую-нибудь, пройдем до Качалина, а там на Волгу и Волгою либо в Астрахань, либо в Моршанск — один городок такой там есть, и меня купцы хорошие туда звали. Я уже и пачпорт припас заранее тогда еще. Они обещали спрятать от всякого дозора и приписать в своем городе...

— Пачпорт? Откуда?

— В гирлах достал.

— У Проскудина Феди?

— У него.

— Ну, это моей фабрики, я угадал! Далее, братец! Говори далее...

— А далее, что Бог даст. Там и станем жить. Что мы! Дела злого никакого не сделали; нечего и суда бояться, хоть бы и узнали нас когда, что мы беглые.

Милороденко вздохнул.

— Туда, так туда! Идите с Богом. Рад, что вызволил вас. Оно точно, проживете себе, коли такие уж купцы звали. А там и волю, должно статься, скоро скажут всем. Ну, а деньги?

— Деньги берите вы: на что они нам?

— Как? Все?..

Дух у Милороденко замер. Он тронул чемодан.

— Все.

— То есть решительно, как есть, все до копейки?
— До копейки.
Милороденко шапку снял и перекрестился.
— Господи! Услышал ты молитву мою. Теперь я богач, каких и в сказках не бывает. Добился, значит, и я до своего! Куда же я теперь пойду-то?
Левенчук и Оксана молчали.
— Пойду я за Несвитай; там у меня солдатка знакомая одна, кума есть. Деньги закопаю у нее, разведаю в гирлах, у камышников наших, нельзя ли пробраться за Кубань, либо за Маныч, к киргизам, или на Кавказ. Можно — возьму и богатство, нет — после за ним приеду. И заживу же я, брат Хоринька, теперь уж как следует. На церковь дам, сиротам, бедным раздам какую часть... Что из того, что мы вот беглые? Я-то уж, положим, совсем, пожалуй, порченый, многое затевал. Да зато тихо жил в последнее время у полковника. А вы вот и вовсе ни в чем не повинные. Да присмотрелся я и ко всем-то нашим, что живут вон хоть у полковника. Люди как люди; и как за него-то стояли еще! точно за отца родного, точно его подневольные, крепостные. Я кучеру его Самойле этому чуть кишок не выпустил, как пошел тебя освобождать и развязывать в конюшне, а он на стороже был у ворот ночью. Не совладай я с ним, все бы пропало; да и все они так. А отчего? Нужны они ему больно, он их содержит получше иных-то господ, ну, они за него и горой! Придет времечко, Хоринька, ты с своей хозяйкой дождешься лучшего часу, станешь спокойно жить, припеваючи, а меня тогда не поминай, брат, лихом... Все у меня зудит и теперь еще, точно пихает куда; я уж и не гожусь с вами-то. Ну, а как деньги эти я провезу да на франки и сантимы либо на эти пиастры турецкие променяю, так еще нос утру не одному... В Турцию проберусь, трех жен куплю разом... пашой буду... бес их подери! А полковник-то, я думаю, горячку теперь порет! Да не найдет нас; есть у меня такие уж приятели, весь край меня знает. Береги, значит, только друга, а денег дам вволюшку теперь всякому.

Утром рано беглецы вскрыли чемодан. Оксана высунулась из оврага и стерегла, не явится ли какой признак погони.

— Мы, брат Хоринька, от Мертвой недалеко, окружили ее; так тут надо быть умнее! Ты там что ни говори, а вот бери, на тебе денег! Без них вам не ступить шагу.

Милороденко дал Левенчуку сверток червонцев.

— Не возьму! — ответил опять Левенчук. — Пускай они пропадают. У меня свои есть. Недаром же я старался, ее-то ожидаючи! Я другой человек, чем ты, Василь Иваныч: я, брат, Бога боюсь.

И он вынул из-за пазухи кошелек.

— Дурень, голубчик, дурень! Ох, дурачье вы все! Да что делать! Ну, разводи теперь огонь. Бога!.. Да и я-то его боюсь, только не так, как ты. Ну, разводи же огонь...

— Зачем?

— Увидишь.

Левенчук высек огня, собрал сухого камыша и развел на дне оврага костерок. Стог был недалеко.

Милороденко, обшаривший аккуратно чемоданы полковника, золото и серебро завернул особо, а пачки с ассигнациями, банковые билеты и разные счета, бумаги и письма медленно еще раз осмотрел и понес со вздохом на ярко разгоревшийся огонь.

— Что вы, дядюшка, что вы? — крикнул Левенчук.

— Не замай! Пусть горит оно и прахом пойдет, не добром нажитое: туда ему и дорога! Еще довезу ли я его и спрячу ли. А накроют нас, ему же опять отдадут. Да и так уж я тут убытки нес, на этих-то ассигнациях, может, скажут еще, что и это рук наших фабричное дело. А золото как-нибудь провезу...

Левенчук удержал его и убедил лучше все, чего он не возьмет с собою, спрятать в сено.

Оксана без мысли и слов смотрела сверху оврага в одинокую степь. День светлел более и более. Туман уносился. Овраг выходил из утренних сумерек. Камыши шелестели.

— Как бы, однако, стогу не зажечь чужого! — заключил Милороденко, шевеля огонь, чтобы он скорее догорал, и видя, что с костра искры иногда летели на стог. — Какой-нибудь добрый человек своей скотинке сена припас! Побереги его, Харько, пока костер догорит, да и до лясу! А я переоденусь тем временем.

Левенчук исполнил просьбу Милороденко и сберег стог, куда тотчас спрятали остальные деньги и чемодан. Беглецы переоделись и пустились вверх по оврагу. Левенчук надел прежний свой мещанский наряд, а Милороденко достал из чемодана статское пальто полковника и другую шапку. В верху оврага, верстах в трех, был вольный шинок. Там Милороденко в шинкаре-конокраде нашел старого приятеля. Левенчук и Оксана оставались в овраге. Милороденко принес им перекусить и объявил, что за час перед тем тут проскакал становой с двумя гарнизонными солдатами.

— Теперь прощайте! — сказал он. — Коли хотите, идите в Святодуховку; через неделю я достану коней и приеду за вами. Поп вас пока укроет в байраке!

Незадолго перед тем между господами-землевладельцами прошла молва, что явился с зимы новый губернатор и что он вознамерился принять брошенные было его предместником крутые меры против беглых. Ему обещал свое горячее содействие ближайший градоначальник, особенно злившийся на бродяг за распространение побережной контрабанды. Все опять мгновенно окрысились на беспаспортный народ, точно до того времени его здесь не подозревали. Стали сновать во все стороны тайные гонцы. Писались экстренные предуведомления по земской и по городской полициям. Потребовали готовности к содействию в случае надобности близстоявших военных команд и в особенности ловких на эти знакомые уже в крае дела донских казаков. Одни из владельцев земель, рыболовен и фабрик радовались этим ме-

рам; другие, и большая часть, говорили против них. «Край беглыми только и держался, — толковали последние, — не будь их, он запустеет; жди еще, пока эти земли заселятся законным путем, пока северное народонаселение сюда хлынет!» — «А история с Панчуковским? — возражали первые. — А постоянные грабежи по взморью, конокрадство в степях, несоблюдение условий найма, убийства, общее растление нравов здешнего сельского населения, ввиду покровительства с нашей же стороны бродягам?» Споры местностей и мнений опять загорелись. Возобновилась снова и здесь вечная и знакомая миру сказка войны Белой и Алой роз. Андросовка шла против Антроповки, Небольцевы спорили с Шутовкиным, Щелкова с Шульцвейном, Мертвые Воды с Доном, а Вебер с своим родичем Швабером. Прошла весть, что кое-где уже оцеплялись города и пригороды. Земские власти делали нежданные обыски деревень и одиноких степных хуторов. Остроги переполнялись беспаспортными, дезертирами и особым сословием местных бродяг, выдающих себя за людей, не помнящих родства. Под конвоем гарнизонных рыцарей прошли партии пойманных и дознанных беглых. Зашевелилась вольница, смиренно жившая на всей вольготности по нескольку сладких и тихих лет. Иные найдены седовласыми и с кучей детей от новых, в бегах припасенных, хозяек. Сколько лет они уже в бродягах, этого и они сами не скажут, не помнят. «Кто ваши господа, где они?» — «А Бог их знает! Живы ли наши господа теперь, мы не знаем!» — «Когда же вы бежали?» — «До первой еще холеры, в персидскую войну, от набора!» Сгоняли в города самозванцев — мещан, сапожников, плотников, неводчиков, столяров, слесарей и пастухов. Одних ловили, другие сами шли, заслышав ловко пущенный кем-то слух, будто беглым будут в правлениях раздавать земли и водворять их на прижитых ими местностях в качестве вольного народа.

Кучи фальшивых паспортов загромождали в полициях допросные столы. Очистив города, власти отрядили отдельные

обыски по деревням. Дошла очередь и до тихих окрестностей Мертвой.

— Эка невидаль, что люди без паспортов живут! — ворчал ослепший дьячок отца Павладия, Фендрихов. — Опять, вторично, замрет наша окольность по Мертвой.

— Молчи, Фендрихов, не ропщи! Сказано бо в Писании: ропот гневит Господа, и кийждо бо спасения не обрящет! А лучше молись: авось все обстроится, и да мимо идет чаша сия. Не в первый раз нам с тобой терпеть! Помнишь, как люди здесь мерли?..

Так говорил отец Павладий, сильно хворавший и подавшийся с зимы. Он уже почти не выходил из дому, не заглядывал, по обычаю, в свою любимую, весело зеленевшую рощу, или все сидел на крылечке, смотря на косогор в степь за церковь, будто кого поджидая. Но Фендрихов, от слепоты ли, или старости ставший очень сердитым, не унимался и все ворчал, сидя с ногами на лежанке в спальне, перед кроватью священника.

— Сказуют, что для порядка! А где порядок? Ты лучше прежде насели вертоград[1] твой, тогда и требуй, чтоб там все было начистоту. Вот хоть бы и наша Оксана. Что же, что она дочь беглого? А жила же у нас, как святая, весь девичий век! Взяли ее, увели, и все у нас осиротело. Вот так и вся земля тут запустеет, ваше преподобие. Так-то-с!

— Об Оксане ты не говори! Слышишь? Не говори! Лучше мне не вспоминай о ней вовсе, и только!

— Не могу, не могу, отче...

— Вот тоже хоть бы и ты, Фендрихов. Ты стар был и хотя-таки с ленцой, а все же церковь подметал как следует, да и подметал, пожалуй, тоже только по большим праздникам. Ну, вот и прислали нам иного дьячка; положим, Андрей наш и молод, и все содержит в чистоте. А что? Душа моя

---

[1] Вертоград — сад (*старосл.*).

ни к чему тут при нем не лежит! И в ограду идешь, ключи берешь; дорожки подметены, песочком усыпаны; бежит Андрей в халатике, суетится, услуживает, а не то, братец, не то... Все не то стало!.. Мир не туда идет!

— Куда же он идет?

— К последнему времени идет...

Так отец Павладий говорил Фендрихову про нового дьячка Андрея, своего же родича, который по поводу исключения своего за грубости инспектору семинарии, несмотря на окончание первым учеником курса, был лишен незадолго перед этим сана священника и права на приход и командирован сюда, в наказание, в простые причетники. Он покорился печальной участи, охотно принялся за должность при дяде, сильно обрадовался, что нашел у него множество книг; предался со всем пылом молодой, жаждущей знания души, стал в часы отдыха (а его, Боже, сколько здесь) охотиться с ружьем по окрестностям и сразу заслужил любовь прихожан. Как-то, съездивши в город за новыми церковными книгами и для расчета в консистории по доверенности отца Павладия, по свечному сбору, он познакомился там с учителем уездного училища, затеявшим, как мы говорили, открыть по соседству публичную библиотеку и сильно в этом разочаровавшимся, и разговорился с ним о том о сем. Он достал у этого учителя еще десяток-другой любопытных книг и, между прочим, стал жаловаться на свою судьбу. «Вы, мой любезнейший, сделайте так, как я! — возразил учитель. — Купите десть-другую дешевенькой серой бумаги да и пишите ваши наблюдения над местными нравами, записок своих не бросайте: они вам пригодятся! Видите, как здесь все быстро меняется; край строится заново. Уже на моих глазах многое изменилось. Вон и дончаки, слышно, затевают улучшения, помышляют о железной дороге и о пароходстве. Не захотите сами в литературу пуститься, вот теперь стать, как я, газетным корреспондентом, — отошлите свои наблюдения в географическое общество!» — «Помилуйте-с, еще мне достанется; что я есть такое теперь, по поводу оказан-

ного неуважения моего, так сказать-с, извините, к взяточнику-с и казнокраду, нашему бывшему инспектору семинарии? Я — дьячок и только-с». — «Ничего; многие ваши уже выступают на поприще. Покупайте бумагу и пишите. Слышно, и ваш священник пишет какое-то рассуждение?» — «Отец Павладий-с?» — «Да». — «Так точно-с, пишет что-то, только он больно стал хиреть...» — «А что ваш роман с похищением его воспитанницы? Где она?» — «Бог весть; сказывают, снова ушла с прежним любезным». — «Смотрите же, пишите записки. Библиотека мне не удалась; но я вновь тут около одного мещанинишки, кирпичного заводчика, захаживаюсь; он раскольник, может быть, даст деньжат на журнал; так мы тут тогда на Мертвой, в городке, типографию откроем и журнал станем издавать. Трудитесь, любезнейший; от нас, бурсаков-с, многого ждут теперь; вот что-с! Когда б Белинский был жив, мы бы его заманили в покровители». — «Да, да! Когда бы Белинский!.. Вот душа-то была! Мы его тайком теперь в семинариях читаем». — «Ну, коли не Белинского, к другим литераторам письмо напишем, — есть хорошие люди! Они нам откликнутся! Что ж, что мы нищие и что вокруг нас одни златолюбцы да угодники мамоны живут, тупые, отсталые и злые люди? Мы на них не посмотрим; мы будем работать. Ведь у нас паспорты есть; нас не выгонят, не выведут, как этих теперь бедняков беглых. Так или не так-с?» — «Извольте-с; согласен. Что же это за записки надо вести?» — «О жизни-с, да и о прочем...»

Так беседовали новые приятели, бездольные горячие головы.

Между тем затеянные меры против бродяг шли энергически своим путем. Власти хватали и разыскивали беспаспортных, а между последними в то же время являлись примеры такой прыти, какой прежде и не бывало.

— Жили смирно беглые, никто их не замал! — ворчал снова на лежанке Фендрихов. — Стали тревожить их, пошли шалости! Вот так и с пчелами бывает: трудятся

златые пчелки — смирны, ничего, а развороши их, и беда — озлятся.

И точно, дерзости беглых в ту весну превзошли все границы. Осада Панчуковского, небывалая покража у него громадной суммы его же беглым слугою — все это были вещи нешуточные. На берег близ Таганрога с английского судна тогда же высадили и скрыли как-то ночью баснословное количество контрабанды: чаю, сахару, шелковых и шерстяных тканей, пороху и остальных изделий на сотни тысяч рублей. У какой-то переправы высекли квартального, гнавшегося погоней за открытым беглым мясником из городка. На базаре в Керчи зарезали менялу среди бела дня и увезли в свалке его деньги. На дороге, в степи, ограбили губернаторшу. Возле Сиваша, в гнилых болотах, появился настоящий разбойник, какой-то дезертир Пеночкин. О нем и о его похождениях пошли уже настоящие сказки: что будто бы он на откуп взял все пути по Арбатской Стрелке, собирает калым с каждого проезжего и прохожего на сто верст в окружности, что его пуля не берет, что вся его шайка заговорена от смерти, что он зарекся ограбить Симферополь, Феодосию, а потом Мелитополь и завел часть летучего отряда даже на вершинах Чатырдага. Местное воображение и толки разыгрались.

— Слышали вы, какие ужасы рассказывают?

— Слыхал, но не всему верю, как другие, недавно еще, впрочем, считавшие наших беглых пуританами, по чистоте их нравов.

Это говорил Панчуковский, встретившись с колонистом Шульцвейном у мостка, у переправы через бурлившую еще Мертвую.

— Куда вы, Богдан Богданович, едете? Помните, как мы тогда-то встретились с вами, также в степи под Мелитополем? Много воды утекло с тех пор!

— А вы куда?

— На облаву хутора нашей Авдотьи Петровны.

— И я туда же по делу, кстати, разом к ней за речкой и своротим.

— Да-с; не ожидал я от нее. Какова барыня! — сказал Панчуковский.

— А что? Я все это время в отлучках был, по своим овчарням...

Дюжий колонист поправил волосы и стал пугливо ждать ответа.

— Да у нее вчера нашли шестьдесят пять беглых; так и жили у нее слободой. Сегодня продолжают обыск. Это, должно быть, последним подвигом Подкованцева будет.

— Что же, разве с этим добрым Подкованцевым опять что-нибудь случилось?

— Да, говорят, дали ему последнее испытание: коли не выкажет здесь особой бойкости в поимке беглых, его отставят.

— А ваше дело? Покража этой баснословной суммы?

— Что за баснословная! Еще наживем-с.

Колонист покосился на полковника.

— Что же, едем к соседке?

— А! поедем. Это любопытно!

— Не только любопытно, но и поучительно! — сказал полковник. — Да надо бы его теперь и на церковный хутор нашего отца Павладия направить. Этот священник — известный передержчик беглых; его бы рощу да байраки обшарить.

— Нехорошо, полковник, нихт гут![1] — возразил с горечью честный немец, отъезжая от моста. — Вы с ним враг теперь и на него напускаете такие страсти. Вы мстите ему? Вы? Фи! Нехорошо!

— Так ему и надо; теперь каждый думай о себе.

— У вас же, полковник, все беглые похерены?

— Нечего делать, придется и мне с моими проститься — сам ездил в город, привел уже одну партию настоящих работников; всех переменю, ни одного теперь бродяги не стану

---

[1] Плохо! (*нем.*)

держать, ну их к бесу! Только теперь еще молчу; разом всех прогоню...

Полковник с немцем поехали к Авдотье Петровне, над которою стряслась такая черная беда в виде наезда исправника по поручению губернатора.

Отец Павладий между тем в тот день перед вечером был изумлен появлением нежданных гостей.

Он, по обычаю, теперь сидел с утра до вечера в зале, в старом потертом кресле перед окном, читая какую-нибудь книгу, и собирался тогда переместиться на крылечко, где он на воздухе любил ужинать, как во дворе его у кухни произошла суета. Сперва вбежал было к нему, шелестя новым камлотовым подрясником, его племянник — дьячок Андрей. Но Андрей вскочил только в сени, постоял как бы в раздумье и выбежал опять на крыльцо. Слышались голоса; говорил кто-то шепотом. Заскрипели половицы под знакомыми пятками Фендрихова. Слепой друг долголетней жизни отца Павладия вошел, ведомый своим преемником, и, ощупывая стены и притолоки, остановился в зале у дверей. Лицо его изменилось и сияло необычайным чувством радости и ликования.

— Что такое с тобою, Фендрихов? Ты на себя стал не похож!

Священник заложил очки на лоб и, ожидая чего-то невероятного, покраснел; руки его дрожали, косичка моталась на затылке.

— Говори же, что там такое? Ну? Что ты глядишь на меня, Андрей?

— Оксана, батюшка... она сама... пришла с Левенчуком! Идите отворяйте церковь, венчайте их скорее!

Отец Павладий встал и вышел в сени. Ему навстречу на пороге поклонились до земли Оксана и Левенчук. Он сперва было не узнал Оксаны. Измученная столькими событиями, она сильно изменилась в лице, но была так же хороша, если еще не лучше...

— Оксана, Оксаночка моя! — залепетал отец Павладий, всхлипывая, дрожа всем телом и крестя лежавшую у ног его Оксану.

— Благословите нас, батюшка, отец наш названый, меня и его благословите! — сказала Оксана, также плача и не поднимаясь.

— Благословите и венчайте; за нами скоро будет погоня! — прибавил Левенчук. — Нам либо вместе жить, либо умирать!

— Погоня? Куда? Ко мне! Это еще что? Этого не будет!

— Сюда, батюшка, сюда; мы покинули барку у Лисьей Косы, а сюда приехали на неводской подводе. Нас по барке найдут; мы всю ночь ехали на чумацком возу под рогожами с мешками муки.

— Вставайте, вставайте! Бог вас благословит! Ах вы, соколики мои! Ах ты, Оксаночка моя! И ты, так вот, это как есть, на возу-то тряслась...

Священник недоговорил. Он не мог без слез видеть своей нежно любимой питомицы. Она стыдилась глаза поднять.

— Нужда, батюшка, всему научит! — грустно сказала Оксана. — Неволя как добьет, то и воля не всегда лихо залечит!

— Андрей! Фендрихов! Живо! Ключи где? Отпирайте церковь! Огня давайте да в кадильницу ладану!

Слепой и зрячий дьячки засуетились. На дворе наступила ночь.

— Свидетели есть у вас?

— Вот их милость будет! — сказал Левенчук, указывая на молодого дьячка. — Наш возница-неводчик заручится тоже, и довольно, — а тетка Горпина?.. Она еще жива? Дитя ее живо?

— Живы, живы! Хорошо. Поспешайте, а я вот ризу возьму.

Левенчук пошел звать подводчика. Оксана вздыхала, крестилась, подходила к каждой вещице в комнате, тро-

гала ее, пыль с нее обметала, целовала и слезно плакала-плакала.

— Здравствуйте и навеки прощайте! — шептала она.

— Расскажи же ты мне, Оксана, как это тебя украли? — спросил священник сквозь двери, наскоро переодеваясь в спальне.

Оксана передала все, что могла успеть.

— А он-то, антихрист, он-то? Изверг-то этот? Как он-то мучил тебя?

Оксана молчала, не поднимая заплаканных глаз.

— Ну, да я не буду тебя допытывать; горе, горе такое, что и трогать-то его не следует! Смотри же только, Оксана... хоть дитя-то теперь твое незаконное будет; хоть оно прижито тобою... в неволе, насильно, а все-таки береги себя, береги и его; оно все-таки плод твой, дар Бога живого! Не проклинай его, корми, люби и воспитай! Даешь слово?

Священник вышел и торжественно стоял перед Оксаной.

— Разве я уж, батюшка, нехристь какая, что ли? Что случилось, было против моей воли; я вся измучилась, изболела. За что же оно-то мучиться будет? Да и что нас еще ожидает? Ведь мы — бродяги, бродяги, батюшка! Нам места нет...

Она снова громко зарыдала и упала на стол, обливая слезами его знакомую, вылощенную столькими годами тесовую крышку.

— Господь смилуется и над вами, Оксана! Пойдем в церковь.

У паперти Фендрихов беседовал с Левенчуком. «Так ты это ее так, как есть, принимаешь, с чужою прибылью?» — «Что делать, принимаю!» — «Молодец парень! Руку!..»

Все вошли в церковь. Свечи уже горели. Слепой Фендрихов чопорно стоял в стихаре на клиросе, готовясь петь. Священник возгласил молитву. Свидетели опрошены, записаны. Отец Павладий скрепил своей подписью их спрос и обыск. Молодые поставлены перед налоем. Священник взмахнул кадильницею. Запели молитвы. Надеты венцы.

— Любите ли вы друг друга, сын Харитон и ты, дочь моя, Ксения?

— Любим.

— По своему ли согласию и по своей ли воле венчаетесь?

— По своему согласию и по своей воле.

— Бог вас благословит!

— Аминь! — пели дрожащие и вместе радостные голоса с клироса.

Это была та самая церковь, где впервые некогда увиделись Левенчук и Оксана. Акации и сиреневые кусты, одевшись яркой кудрявой зеленью, окутывали по-прежнему церковь, и она в них тонула по крышу. Выщелкивания соловьев мешались с возгласами отца Павладия и с клиросными перепевами. Поменяв кольца венчаемых, связав им руки и обведя их вокруг налоя, священник кончил обряд, поздравил их, заставил поцеловаться, обнял их и сам в три ручья расплакался. Плакали Фендрихов и молодой дьячок. Старая Горпина, не сберегшая год назад Оксаны, также тихо плакала в церковном углу, прижимая к груди дитя свое, некогда так лелеянное Оксаною.

— Что же у тебя есть, Горпина, молодых угостить? — спросил священник, выходя в ограду. — Они теперь князь и княгиня у нас!

Темным церковным двором, со свечами, все воротились к дому.

Вошли в комнаты и там накурили ладаном. Оксана села беседовать с Фендриховым. Священник занялся с Левенчуком.

— В прошлом году я с тебя требовал выкупа; теперь я сам тебе дам на подъем. Ты, чай, без копеечки теперь обретаешься, горемыка?

— Спасибо, батюшка, за все; будет чем вспомянуть вашу милость!

Священник ушел в спальню, порылся в заветных сундучках и вынес Оксане радужную депозитку.

— Вот тебе, Оксана, мое приданое! Обживетесь где, известите меня — еще будет... Ведь я тебе отец и воспитатель! Эх, счастлив я теперь больше, чем когда был...

Оксана поклонилась ему в ноги.

Священник сел опять к Левенчуку.

— Слушай сюда, слушай, Левенчук! — спросил он шепотом. — Те же деньги, казна-то полковника где? Милороденко где?

— Я, ваше преподобие, про то не мешаюсь. Товарищ мой взял их, точно; да я ему не судья. Мы его скоро бросили; мы сами себе люди, и он себе человек! Я чужого никогда не брал и брать не буду....

— Так и следует, так и следует; ну, спрашивать я больше не буду... Я, брат, тебе верю во всем...

Горпина накрыла на стол, поужинали все вместе. Были вынуты три бутылки какого-то заветного вина. Призывали и молчаливого приморского возницу к угощению.

Так сидели пирующие, беседовали и попивали, мало расспрашивая и щадя друг друга. Далеко за полночь дом священника затих. Все в нем заснуло. Не успело утром солнце взойти, поднялся в доме шум.

Вбежала старая Горпина к священнику.

— Батюшка! Там от немца с горы ряд каких-то людей показался! Не то идут, не то едут, словно понятые с сотским!

Все выскочили за ворота. Точно: со стороны хутора Вебера двигались какие-то фигуры.

— Спасайтесь, поезжайте, бегите! Это обыск, обыск! — закричал священник, и все опрометью кинулись во двор обратно. Левенчук бросился наскоро запрягать с подводчиком воз. Но выехать они не успели. Священник посоветовал волов опять распрячь, закатить воз в сарай, а всем спрятаться в байрак. Левенчук с Оксаной так и сделали, побежали туда.

Пройдя наскоро мимо церкви к пруду, они вошли в крайние кусты, и некогда дорогой им ракитник опять скрыл их в своих зеленеющих развесистых кущах.

— Как тебя звать? — спросил священник ухмылявшегося неводчика.

— Степанком.

— Ты же, Степан, поезжай сам в поле, им же навстречу, будто так муку везешь. Слышишь? А я, будто гуляючи, за тобой следом пойду...

— Извольте.

— Валяй, Степан!

Волов опять запрягли.

Воз поехал, а за ним пошел отец Павладий; в полутора версте от Святодухова Кута их встретил исправник на дрожках и за ним человек сорок понятых с сотским. С другой стороны, из-за хутора Вебера, показывалась в поле, под предводительством другого сотского, новая толпа понятых. Все действовало по заранее составленному предположению.

— Воротитесь, отец Павладий! — сказал исправник, улыбаясь, держа в руках бумагу и останавливая священника. — Я все понимаю... воротитесь!

— Как так! Я не согласен; это насилие сану! — сказал священник.

— Сотский, возьми подводу и этого батрака: извините, отец Павладий! Не угодно ли вам сесть со мною на дрожки? Волы эти краденые, а батрак ваш — известный контрабандист Савва Пузырный, — мне дали знать только что наши лазутчики, что он к вам отвез и главного из разыскиваемых нами беглых...

Священник оторопел, засуетился, потерялся.

— Пожалуйте-с и покажите нам, где у вас укрылись здесь главные бродяги, беглый чабан помещицы Венецияновой Харитон Левенчук и ваша бывшая воспитанница, а попросту-с его любовница, не помнящая родства-с, девка Ксения.

Отец Павладий очнулся.

— Вы забываете, милостивый государь, уважение к моему званию! У меня никого нет из беглых и не было, я

ничего не знаю и прошу вас подобных обвинений мне не предъявлять всенародно!

— Полноте! — сказал, улыбаясь, Подкованцев. — Исполняю свой долг; прошу вас садиться со мною. Не задерживайте нас!

Нечего делать, священник сел на дрожки.

Они подъехали к святодуховскому двору. Двор и сад наскоро были оцеплены толпой понятых. Другие понятые оцепили байрак и пруд.

Исправник распоряжался скоро и как-то беззвучно метался; везде все устроил, стал на крыльце, спросил: «Все ли на местах?» — велел вынести к крыльцу стол, разложил бумаги, достал кисет с табаком, набил трубочку, поставил свидетелей, улыбнулся и начал было допрос, но потом остановился.

— Что же вы не продолжаете? — спросил священник, вышедши к исправнику.

— Подождите, не торопитесь! Вот мы еще гостей подождем, свидетелей, чтоб протокол составить как следует! Я вам не судья — будут судить другие!

Священник сел в стороне, на особом стуле. Он думал: «Боже мой! Что, как их найдут?» Подъехали старший Небольцев и с ним еще кто-то.

— Грех вам, батюшка! — сказал он, подходя. — Вот-с нас всех известили, что вы главный притон нашим грабителям в своей роще устроили!

— Кто же вам это сказал? Так про меня одного и сказали?

— Все говорят.

На отце Павладии лица не было.

— Понимаю, вы меня обвиняете в покровительстве беглым, что через меня они смелы и дерзки стали. Господа! Я тридцать лет тут, в этой пустыне, прожил; при мне строились и возникали ваши села и некоторые ваши города. Недочеты, обманы, всякие притеснения возмутили ваших беглых. Они мирно доселе жили. Край

здесь изменился, нравы другие пошли. Не я беглых передерживал; обыщите других.

— Вы слышите, слышите? — спрашивал исправника Небольцев.

Подъехали Шульцвейн и Шутовкин. Эти обошлись с священником мягко и вежливо.

Вставали уже, составив предварительные статьи протокола, чтобы идти, как загремели колеса и послышался знакомый звук колес и рессор полковницкого фаэтона, и Панчуковский, по-прежнему щегольски разодетый и веселый, выпрыгнул из фаэтончика, ловко снял красивую соломенную панаму, подал дружески руку всем, кроме священника, поклонился исправнику. Священнику же он сказал, обмахивая платком пыль с лаковых полусапожек: «А мы с вами, батюшка, старинные друзья, не правда ли?» Священник кашлянул и сухо отворотился.

— Ну-с, — начал Подкованцев, — очень рад буду, господа дворяне, что при вас лично привелось мне исполнить мой долг; коли это мне не удастся — гоните и судите меня сами...

Все сошли с крыльца. Общее молчание было мрачно и торжественно.

— Сотские, начинайте. Сперва с кухни и с амбара, а потом в погреба и на чердаки! Дом я сам обыщу.

— Так она здесь? — страстным шепотом допытывал Шутовкин полковника.

— Здесь! — рассеянно ответил Панчуковский, вспоминая роковую чудную ночь, когда он похитил здесь Оксану.

— Почему вы узнали?

— Приказчик мой их обознал, у шинка Лысой Ганны, знаете?

— Знаю, знаю! Так и ее прежний жених тут?

— Здесь, должно быть.

— И она, как была, еще с овальцем? Вот полюбуюсь крошечкой! Доведется-таки и мне ее увидеть!..

Облава началась, как на охоте. Гонцы шли тихо с дубинами, а сотские по крыльям порядок держали. Они осматривали каждый хлевушек, каждую ямку и все уголки. Обыскали кухню, амбары, погреба, конюшенный сарайчик и дом. Не нашли никого, кроме забившейся под свиное корыто и перепуганной до полусмерти тетки Горпины. Обыскали церковную ограду, даже церковь, пруд и сад.

— Они в байраке! Я знаю! — шепнул Панчуковский, подходя к исправнику, обыскавшему между тем дом священника.

— Соединить всех понятых вместе! — крикнул Подкованцев. — Сотские! Да идти дружнее; не пропускать ни единого кустика, ни одной водомоинки.

— Послушайте! Десять тысяч целковых вам! — шептал между тем Панчуковский исправнику. — Это будет не взятка, а благодарственный законный процент! Ради Создателя — найдите их, через них вся моя разграбленная касса найдется!

— А я полагал, Володя, что ты и по правде более за красоточкой этой хлопочешь? — возразил, шутя, Подкованцев.

— Куда мне! Я уже о ней забыл и думать! Спросите Шутовкина; я ему ее обещал передать...

Священник сам не свой стоял поодаль от господ и сыщиков. Он силился быть спокойным, но сердце его било тяжелую тревогу. Облава пошла к байраку. Понятые стали более густой цепью с обоих краев оврага. Часть из них стала по опушкам настороже. Все же остальные пошли внутрь в ракитник и в камыши к ключам. Долго они шли, тихо шелестя между кустами и деревьями.

— Это совершенно во вкусе «Хижины дяди Тома», — заметил Митя Небольцев.

— Далась-таки опять вам эта галиматья, эта хижина! Ну, послушайте, господа! — продолжал Панчуковский. — Ну, есть ли хоть тень сходства между нашими беспаспортниками и американскими поэтическими неграми, или между

нами, господа, и тамошними рабовладельцами? Как небо и земля!

— Как небо и земля! — сказал и Подкованцев, идя за сотскими к месту выхода гонцов. — Уж там, как у нас, бювешки не дадут...

— А что? Ничего нету? — спросили зрители.

— Ничего! — лениво ответили гонцы, вразброд выходя на опушку. «Что бы это значило? — подумал Подкованцев. — Куда же они делись?»

— Стой, стой! Держи его! Стой! — нежданно и в разлад крикнули голоса понятых в чаще байрака.

Все остальные гонцы также кинулись туда. Изумленным взорам исправника и помещиков открылась драка в гущине камыша, над ключами. Куча понятых старалась кого-то осилить. Ловимый отмахивался дубиною и кидался на всех.

— Не подступай, убью! — кричал он.

— У него и нож! — кто-то обозвался в толпе, и понятые отшатнулись.

Подбежал исправник.

— Лови его, хватай! Чего вы стоите! Бери, вяжи его!

Понятые опять кинулись, навалились гурьбой на пойманного, сбили его с ног; произошла схватка на земле, и опять толпа отхлынула. Трое из нее охали, хватаясь за руки и за лица. Кровь текла по их рубахам.

— Братцы, не тронь меня: я Пеночкин; я зарученный! — бойко проговорил пойманный, выпрямляясь. — Тронете меня, всем пропадать!

— Врешь! — раздался сзади голос Панчуковского. — Берите его, это Милороденко; стреляй в него из ружья, сотский, только бей насмерть, коли заупрямится!

— Ружье сюда и мне! — крикнул исправник. — Сдавайся, мерзавец, или я тебя положу...

Толпа зашумела. Священник глазам своим не верил. Он желал видеть Левенчука и Оксану, а прежде их увидел человека, которого назвали роковым именем Милороденко.

— Как ты попал сюда, негодяй? — спросил он его. — Ты меня погубил: ты в моей роще спрятался!

— Батюшка, не бойтесь! Они тронуть вас не посмеют! Что делать! Я здесь случаем-с. Пропал теперь совсем! Так пусть их высокоблагородие вас не тронут, ослобонят далее от обыску, я их казну им укажу, она у меня далеко запрятана, да я далеко, видите, не ушел — пути мне пересек господин Подкованцев. Я тут-то, поблизостям, это, и шлялся! А не исполните просьбы моей, будете задаром срамить батюшку, — умру, а ничего не открою!

Панчуковский переговорил с исправником, понятых созвали. Священнику объявили, что так как один из главных грабителей и преступников пойман, то дальнейший обыск более не нужен.

— Это вам, однако, вперед, батюшка, наука, — сказал Небольцев, — будьте осторожнее! А то мы недаром вас подозревали.

— Мастера вы все, господа, учить; не раскаяться бы после!

Милороденко добровольно сдался. Погодя еще и как бы подумавши, он крикнул... Из байрака, как после узнали, из водомоины, полной листьев и всякого хлама, вышли Левенчук и Оксана. Изумление было общее.

— Край чудес! — шептал торжествующий Подкованцев.

Всех найденных тут же связали, осмотрели, заковали, и сам исправник с Панчуковским посадили Милороденко и Левенчука в фаэтон, повезли их в город для допроса. Оксану повезли особо, в тарантасе исправника.

— Не повезете ее со мною, — сказал Левенчук, — ничего не узнаете про деньги, хоть убейте сразу нас обоих.

Делать нечего, Панчуковский уступил, даже защитил Оксану от взоров любопытных, а Шутовкину, который, млея, лез посмотреть на нее, даже погрозил поссориться.

Поехали исправник и Панчуковский, не мешкая. На половине дороги их встретил становой, с новою толпою понятых.

— Что такое?
— Настоящего Пеночкина поймали!
— Где поймали? Где он?
— В степи тут, в шинке, вот он!..

Толпа раздвинулась — у телеги, привязанный к ее колесу, стоял и посмеивался действительный Пеночкин.

— Связать его покрепче и также в город! Ай да денек! Теперь уже в отставку не выгонят; лишь бы жилось на свете...

— В город, в город!

Фаэтон полетел. Милороденко стал о законах рассуждать.

— Ты же где этим статьям про уголовные законы учился? — спросил его исправник дорогою.

— В академии художеств, в остроге-с тутошнем, где я впервые всю суть познал-с и превзошел.

— Как в остроге?

— Известное дело-с; у нас там свои-с профессора и адъюнкты есть! Вот, когда был женат на барышне, в Расее-с, у нее братец двоюродный в студентах был-с и жил часто с нами; так нет-с, его профессора супротив наших куда хуже, наши почище будут. Ихние только о книжках...

XIV

Приморский городок

Фаэтончик, запряженный новой четверней, летел вскачь опять той самой дорогой, по которой некогда полковник встретился с Шульцвейном. Опять степь пышно зеленела. Опять по ней густо цвели, ее заливая, желтые и всякие цветы. Десять человек казаков скакали верхами возле.

— Эх степь, степушка! — говорил Милороденко, водя кругом грустными и вместе смеющимися глазами. — Раздольице ненаглядное! Не нам вот с Левенчуком больше то-

бою любоваться! Теперь уж я пойду подошвы топтать по нашей Расеюшке! Пожил я таки, господа, вволю; и у вас, господин Подкованцев, и у вас, полковник, нанимался; что? Бес взял — на дворянской девице был женат, пожил, постранствовал в свое удовольствие! Вот теперь и попался. А все отчего? Что паспорта настоящего мне господином не выдано: раб я подневольный был, есмь и опять буду, значит, вовеки... Господа, позвольте табачку! Я знаю, становые больше коллежского секретаря, а исправники больше титулярного не бывают! Я же еще теперь пока настоящий миллионер! Владимира Алексеича казна ведь, господа, еще у меня спрятана...

Панчуковский сидел бледно-зеленый, но показывал вид, что тоже отшучивается.

— Дайте ему, Подкованцев, табаку на папироску! А у меня пистолеты, нечего их бояться! — прибавил он шепотом.

— На, вор, только штуки со мной какой не выкинь: не осрами и не погуби меня! Я за тебя вон награду получу...

— Помилуйте! Я же и у вас служил; люди мы свои, законы-с и уважение знаем-с.

Дорогой они остановились, опять осмотрели закрепы Левенчука и Милороденко.

Стемнело, когда исправник и Панчуковский, после двухкратного перевала на пути, взятия новых провожатых и перемены лошадей, въехали под шлагбаум присутственного, значит чиновного, хотя весьма утлого и невзрачного приморского городка, лежавшего близ речки Несытой. Их окликнул часовой у городской гауптвахты. В городских воротах, не могши высоко поднять связанной руки, Милороденко попросил ему приподнять шапку, и перекрестился.

— Вот как! Еще и крестишься! — сказал, суетливо оправляясь и едва говоря от усталости, исправник.

— Меня Сенька Кривой, один тоже вот острожный приятель, в Киеве, учил при проезде каждого часового креститься. А он знал все знания; антиминсы из православных церквей все раскольникам крал и поставлял. Его, клейменого,

прогнали сквозь две тысячи и сослали в каторгу-с. У него кума в остроге была.

Подъехали к дому градоначальника. Подкованцев, не веривший своему счастью в поимке таких героев, спешил ими оправдать себя.

— Что значит, господа, приморский воздух! — заметил Милороденко развязно, зевая впотьмах. — Как свежестью запахло! А все-таки, Владимир Алексеич, я вам денег не отдам — они, считайте, пропали.

Солдаты окружили фаэтон. Исправник сбегал к дежурному чиновнику. Через четверть часа вышла новая, вызванная из соседней кордегардии, команда под ружьем.

— Это тот самый Милороденко, — сказал Подкованцев чиновнику, — а это тот самый его товарищ — Левенчук, что ограбили на днях вот их, господина Панчуковского; доложите его превосходительству, что я их сегодня выследил, поймал и лично доставил.

Принесли фонари. Арестанты молча стояли. Чиновник сбегал к градоначальнику.

— В мешок их! — крикнул чиновник, воротившись. — Велели их в острог вести, в секретную.

— Прощайте, барин! За вами еще жалованье за два месяца! Не поминайте лихом; с Амура писать буду! — крикнул Милороденко Панчуковскому.

Подъехала в тарантасе Оксана. Всех повели в острог.

Градоначальник дал полковнику слово сделать арестантам допрос в ту же ночь и допытать их о деньгах.

— Во всем сознаюсь, будьте спокойны! — развязно прибавил Милороденко. — Мне ведь надо позаботиться о моем друге Левенчуке и его приятельнице-с... Их только спасите...

— Браво, браво! — сказал Подкованцев, уезжая в гостиницу. — Как мы скоро дело обделали! За вами, полковник, теперь ужин.

— Не только ужин, целое вам наследство! Это вам лучшая пенсия за службу!

Отправились в гостиницу. Туда вскоре явились частный пристав, уголовных дел стряпчий, два чиновника особых поручений по казусным делам. Подано шампанское, заказан лукулловский ужин. В лучший нумер поданы карты. Завязался штос. Проиграли до ясного белого дня, не вставая.

— А ваша супруга, полковник? Она до сих пор здесь в городе живет? — спрашивали подкутившие собеседники.

— Действительно, моя жена, брошенная мною, приехала сюда в город. Но она обзавелась тут, господа, утешителем: какой-то учитель. Вы уже запоздали...

Все захохотали. Еще цинически поострили над m-me Панчуковской.

Гости разошлись, пошатываясь. «Вот чудная душа, этот Панчуковский! — повторяли все, уходя, — сейчас видно, и бонвиван и настоящий аристократ!..»

Утром весь город заговорил о случае с Панчуковским, который сюда завертывал редко и которого здесь более знали по слухам. Он являлся к градоначальнику. Последний оказался его знакомым по Петербургу и чуть даже не сверстником по службе в другом ведомстве. Главных чиновников Панчуковский тоже объездил. Дело его закипело. Преступников стали ежедневно допрашивать. Но те вдруг заперлись о деньгах, что никогда их не видали и не грабили полковника. «Зачем же вы бежали от него?» — «Избавили украденную им у священника девушку».

Шли толки о том, что дело принимает новый вид, что чуть ли Панчуковский сочиненным слухом о пропаже денег не думает замять дело о собственных похождениях с воспитанницей священника.

Это говорила молодежь из чиновников. Люди зрелые ударились на соображение, как выманить у преступников сознание в том, куда они спрятали такую чудовищную сумму. Следователи входили в секретную, заставали Оксану на соломе больную, молчаливую, Левенчука возле нее, а Милороденко на коленях перед образом: он молился и

действительно, казалось, не был виноват ни в чем из того, в чем его винили.

Прошло две недели. Полковник начинал вопить о медленности наших допросов, доказывал, что мы рано бросили пытку...

В обед в нумере Панчуковского сходилась вся городская аристократия. Кушали, играли в карты, пили. Передавали слухи и о деле, и об арестантах. Прокурор сообщал постоянно все новости о них: о чем они сегодня говорили, какие данные вновь сообщали.

— Жаль эту девушку, — говорил иногда прокурор, — она такая тихая, скромная, все плачет; и возлюбленный ее, кажется, малый смирный и жил прежде честно. Они, впрочем, назвались нам мужем и женою на допросе.

— Вот это забавно, — сказал Панчуковский.

— Да, вы не верите, мы собрали справки; и точно, они обвенчались после поимки их, у этого самого вашего священника, отца Павладия, где она жила воспитанницей.

— Чудеса! Как скоро успели!

— Зато их коновод, Милороденко этот, вам, Владимир Алексеич, настолько близкий, — существо непостижимое! Он во всем сознался: и в занятии контрабандой, и в связях с нахичеванскими фальшивыми монетчиками, а в грабеже ваших денег не сознается!

— Нельзя ли как, хоть одним глазом, посмотреть на этих арестантов? — спрашивали прокурора частные посетители полковника.

— Меня одна дама просила на Милороденко взглянуть.

— Меня просила моя невеста взглянуть на эту девушку, нашу героиню!

— Нельзя, господа, нельзя теперь никак!

— А когда же?

— Дня через три можно.

— Слово? Честное слово? Отчего же через три дня?

— Честное и благородное, вот вам моя рука; сам я и поведу. Им кончится тогда весь предварительный допрос.

Туда же я, к вашим героям, посадил и нашего другого героя...

— Кого, кого?

— Пеночкина, дезертира, вы слыхали? Этого разбойника с Сиваша! Он на прошлой неделе взят под шинком Лысой Ганны и доставлен сюда, по соприкосновенности в главных преступлениях с нашим городом. Так я и его вместе с Милороденко к Левенчуку посадил. Им дан теперь лучший и надежнейший каземат во втором этаже, рядом с башнею. Небось не уйдут.

— Есть же что-нибудь еще новое о деньгах?

— Завтра преступникам последний допрос, сегодня они как-то взволнованы от моих розысков и просили их отложить. Завтра, завтра наутро все решится. Им поставится главная улика — жид Лейба из шинка Лысой Ганны. Он видел Милороденко и Левенчука в день их побега от полковника, и они ему показывали какой-то чемодан. По справкам и приметам это чемодан полковника.

— Так мне, выходит, еще ожидать? — спрашивал полковник. Его начинало мучить; он чувствовал, что дело его гибнет.

— Дня два еще подождите, ведь дело идет не о десяти рублях. Сами будете и следить завтра за допросом и открытием вашей покражи.

Панчуковский со вздохом принял предложение прокурора, осведомился о городских удовольствиях того дня и узнал, что в городе в тот вечер был театр. Он взял билет и пошел туда почти нехотя.

Ему не очень весело сиделось в театре. Играли какой-то избитый водевиль. К нему подсел секретарь градоначальника, правовед и франт, пустота и неизвестно почему желавший казаться близоруким. «Что вы поделываете?» — спросил он. «Хочу выписать из-за границы себе на содержание итальянку». Острота эта пошла по театру.

В конце представления нежданно пронеслось между зрителями волнение. Вошел в партер бледный полицеймейстер-

молдаванин. Окинув залу мутным взором, он не сел на свое место, а подошел сперва в первом ряду кресел к городскому голове, ему что-то сказал, голова сейчас оставил театр; потом полицеймейстер вошел в ложу градоначальника, куда уже перед тем по пути заходил, и с ним тотчас также уехал из театра.

— Что такое, что случилось? — шушукались зрители. — Пожар, что ли?

— Опять отличилась наша полиция: все главные арестанты бежали два часа назад из острога! — ответил кто-то вполголоса в креслах.

Панчуковский вздрогнул, встал, подошел, задыхаясь, к разговаривавшим. Занавес в это время опустился. Никто не аплодировал. Все занялись роковой вестью. Вокруг секретаря градоначальника столпился весь партер.

— Они подняли половицу под нарами в каземате, — говорил, щурясь и лорнируя ложи, секретарь, слышавший разговор головы с полицеймейстером, — распилив ее гвоздем из оконницы, стали каждую ночь опускаться под пол; между полом верхнего этажа и сводом нижнего проникли в башню, запертую у нас, как известно, в остроге за негодностью с давних пор, сошли по лестнице башни вниз, начали копаться под стену башни, прокопались под наружной оградой, и сегодня главные, а за ними и остальные ушли. Они копали нагишом, а землю в рубашках таскали и рассыпали под полами. Там вся команда рыщет теперь с фонарями; погоня поскакала...

— Кто убежал? — спросил Панчуковский, еще не веря своим ушам.

Голос его дрожал. В глазах у него помутилось.

— Все главные воры и негодяи, Пеночкин, например, да и ваши-то... да-с... Милороденко и Левенчук, а с ними тоже и эта, знаете, полковник, женщина... Наш бедняк полицеймейстер совсем потерялся. Генерал велел поднять на ноги все городские полицейские силы...

Шумно разнеслась по городу ошеломляющая весть.

Панчуковский без памяти выскочил из театра. Извозчиков уже публика разобрала. Он почти побежал в свою гостиницу. По дороге, у одного освещенного дома он остановился перевести дух. Из полуоткрытого окна неслись звуки рояля. Пел чей-то приятный женский голос. У ворот стояла щегольская пролетка; кучер дремал, завернувшись в армяк.

— Чьи лошади?

— Учителя. А вам что?

— Какого?

— Головы-с... — ответил кучер, увидев на Панчуковском кокарду и приподнимая шапку.

— Кто ваш учитель?

— Михайлов, Иван Аполлоныч.

Панчуковского озадачило.

— Из Одессы? Бывший студент? Что у Шутовкина в том году жил?

— Так точно-с.

— А у кого это он? Квартира тут чья? Я что-то не разберу...

— Настасьи Васильевны-с, полковницы Панчуковской-с...

Панчуковский отскочил. Из окна в это время раздался голос:

— Софрон, ты тут? Подавай.

— Сейчас.

Не помнил Панчуковский, как добежал до гостиницы.

«Так вот она, судьба-то, с кем жена моя сошлась! — мыслил он. — Правду же, значит, говорят городские толки! И она явилась искать со мной сближения? Письма ко мне писала, а теперь справки против меня собирает! Процесс затевает...»

На столе в нумере гостиницы он застал письмо исправника.

«Не я, Владимир Алексеич, виноват, если вы сдались на здешние городские власти после того, как я вам поймал ва-

ших похитителей, и не протестовали против того, что они в одном каземате соединили Левенчука, Милороденко и Пеночкина, уже сидевшего здесь в остроге и прежде бежавшего; в эти дни они обдумали и исполнили дерзкое небывалое дело. Полицеймейстер тут кругом виноват. Но я опять предлагаю вам свои услуги. Теперь уже надо нам самим действовать! Из ближайшей подгородной корчмы мне сейчас донесли, что след бежавших показался по направлению к Дону, к гирлам, и именно к неводам купца Пустошнева. Там место самое глухое и удобное для скрытия. Держите это пока в строжайшем секрете; сейчас нанимайте тройку добрых лошадей, возьмите с собой оружие, выпросите себе у генерала жандарма в провожатые, переоденьтесь получше и спешите ночью же ко мне. Я вас буду ждать в стороне от большой дороги, у трех курганов, называемых могилою Трех братьев, на девятой версте. Посылаю с нарочным. Желаю от души успеть.

Ваш *Подкованцев*».

Панчуковский съездил к градоначальнику, выпросил себе в провожатые жандарма-солдата, переоделся, достал у хозяина гостиницы охотничий штуцер, зарядил один его ствол картечью, а другой — пулей, сел на приготовленную добрую тройку и поехал. Он платил щедро. Все смотрели на него с сожалением.

Ужас пронимал его при одном помышлении, что все его труды, усилия пропадали навсегда.

«Дурак я, дурак! Зачем я так надеялся? Может быть, деньги в это время уже были бы у меня в руках! А я занялся городскими удовольствиями; на стены острога понадеялся... две недели ушло! Селедками бы покормить было, хоть через сторожа, этих арестантов; за червонец эту пытку бы сотворили — и дело было бы в шляпе».

Ночь была непроглядная. Ветер шумел. Дождь срывался. Панчуковский подъехал к девятой версте, своротил влево. У могилы Трех братьев его окликнул Подкованцев.

— У! Я продрог! Вот бы теперь бювешки, колонель, если нет ничего поманжекать! Нет ли выпить чего? Что вы так опоздали?

— Вот вам бутылка рому, я захватил. Долго в театре я просидел, ваше письмо три часа меня ждало; не знали, где я!

XV

В гирлах и плавнях на Дону

Тройки тронулись рысью. Месяц не вырезывался. Лошади бежали дружно. Многое думалось Панчуковскому. Он вспоминал лучшие свои дни здесь, в степях, риски по хозяйству, волшебные барыши, любовные похождения, покражу минувшим летом Оксаны, картины выдержанной им осады, замысел выписать себе итальянку, — невольно вспомнил и лица Милороденко и Левенчука у своей кровати, в ночь грабежа, городской театр, музыку в освещенном окне и ответ опрошенного кучера. «Она мне изменила... тем лучше! Мне легче будет жить по-старому! Но Михайлов... помощник мой!.. Я этого не ожидал...» Исправник где-то в потемках останавливался, вылезал из телеги, с кем-то говорил, шушукался, и они опять ехали. «Что за таинственные отношения здешних земских властей к земству! — думал Панчуковский. — Тем лучше...»

Заря еще не занималась, когда обе тройки подъехали к какой-то песчаной косе. Тут они переменили лошадей, опять поскакали, опять сменили лошадей, уже невдалеке от тоней купца Пустошнева, и втянулись в камыши. Пустошнев был друг Подкованцева, всегда ему помогал по службе. Но тони его, бывшие в самых донских гирлах, особенно были пригодны для пристаней контрабандистов, по причине ряда отмелей и островков за камышами, прилегавших к ним у взморья, и здесь-то часто совершались дела, по которым

после начинались грозные и энергические следствия. Это было лакомое место для исправников. Они же смотрели сквозь пальцы на передержку здесь беглых.

— Вы потерпите тут, а я на минутку к молодцам зайду! — сказал Подкованцев. — Вы будьте спокойны, я дал вам слово и сделаю. Тут надо самим работать. Им негде уже отсюда пройти, кроме вон того места! Слышите, пароход тут где-то пыхтит. На это они, наверное, рассчитывать будут; не может быть, чтобы они ушли без сильной помощи снаружи острога. Подумайте, Милороденко располагал столько времени и такой огромной суммой. Им здесь быть! Они затевают уйти в чужие края...

Исправник слез с телеги, накинул мужичью свиту, взял пистолеты и пошел. Панчуковский приподнялся в свой черед, посматривая кругом.

Исправник посоветовал ему еще втянуться в гирла.

Панчуковский двинулся в чуть бледных сумерках.

— Да вы ступайте, братцы, за мной! — сказал исправник ямщикам. — Тут дорога плоская, рытвин почти нет. Ступайте шагом, пока я крикну: тогда и остановитесь.

Подкованцев шел, чуть видный впереди, медленно подвигаясь между исполинскими камышами, то узкими, то широкими прогалинами. Дорога шла песком. Скоро она пошла будто книзу. Под ногами лошадей стали плескаться лужи. По сторонам, среди нескончаемых зарослей, дремучих, во все стороны идущих камышей, то здесь, то там мелькали белые полосы озер. Вербовые ветви тронули впотьмах по лицу Панчуковского. Стало в воздухе влажнее, но так же тепло, душисто и чутко. Легкий ветер зашелестел было тростниками и затих. Туман и облака поплыли с неба. Пояснело. Стало еще теплее. «Это плавни!» — думал Панчуковский, склонил голову и будто слегка вздремнул, усталый донельзя и качаемый ровными колебаниями легкой телеги. Сквозь мгновенную дремоту он услышал издали тихий оклик Подкованцева: «Теперь стойте! Я скоро приду; надо опять своротить к одной тут хатке!» — открыл глаза, потянулся и

оторопел от чудной картины плавней, которая вдруг развернулась перед ним, будто выходя из какой-то дымки, из какого-то заколдованного тумана...

Солнце еще не показывалось. Но бледный отблеск, предшествующий заре, уже освещал в разных местах окрестность.

Дон, сливаясь с притоками и дробясь сам на множество рукавов, шел здесь, уже не похожий на реку. Это было громадное пространство вод, потопивших землю, холмы, луга и песчаные наметы, или, скорее, собрание самых разнообразных рек, ручьев и островов, поросших исполинскими камышами. Главной реки почти не было видно. То здесь, то там, будто спеша к морю, будто обгоняя друг друга, справа и слева вырывались из чащи камышей новые ручьи. Луга и острова потопляются разливом гирл до начала жаров, и потому донские плавни в это время посещаются только рыбаками да теми, кого нужда заставляет в них скрыться. Кое-где эти обнаженные пространства, эти зеленеющие вершинки, а большею частью сплошные песчаные кучугуры покрыты ольховником, вербой и лозой. Сюда иной раз, по брюхо в воде, перегоняют на пастбище рогатый скот и лошадей. Но тучи мошек и комаров скоро прекращают возможность к таким перебродкам. Скоро все плавни пустеют. Разве иной бедняк из рыбаков, бродя в лабиринте здешних островов, озер, камышовых зарослей и песчаных мелей, бросит сети и накосит на лодку для лошади полкопны сена или молодого зеленого тростника.

Заря близилась.

Панчуковский не мог оторваться от картины гирл, шумящих, грохочущих и бегущих в пене и в камышовых холмах. Перед ним во ста шагах, за мелким бродком, стало выясняться огромное, тихое, светлое, как зеркало, озеро. Это было не озеро, а тот же Дон, в конце долгого пути завернувший в затишье трех песчаных горбов и целой дубравы лоз и тростников и легший здесь на отдых. По этому тиховодку шагала какая-то серая тень, с длинным носом. Вот заалелся в первых лучах света у нее хвост; она повернулась...

цапля. Пролетело новое дуновение ветра; вздохнуло утро. С разных сторон опять отвернулись новые завесы...

Там опять открывается цепь мелких, бесконечных островков. Здесь блеснули окраины красного, будто окровавленного соляного озерка. В чаще лозы отозвалась лягушка, за нею другая, сотни, тысячи, и целый разлив болотных стонов огласил воздух. А камыши открываются далее и далее, слились целыми рощами, лесами, темные и величавые, шелестя широкими султанами и листьями. А вот раздался крик журавлей где-то далеко-далеко. Вправо мелькнули крылья мельницы, потопленной в острова и лозы. Что-то шелохнулось в воздухе и загудело далее и далее, будто откуда-то пронесся последний отзвук неслышного пушечного выстрела. На самую телегу, в упор на Панчуковского, порхнув через камыши, налетела какая-то легкая, длиннокрылая птичка. Свободная и дышащая испугом и влагою, она робко и ясно взглянула в его глаза своими круглыми мерцающими глазами и в два взмаха опять взвилась и унеслась в нескончаемые ряды камышей, островов и журчащих, неумолкаемо бегущих ручьев. Панчуковский спросил своего жандарма:

— Бывал ты здесь?

— Как не бывать!

— Много рыбы тут ловится?

— Всякая бывает: бычки, синец, белизна, осетры, стерляди, баламут, значит, мутящий сельдь, он воду мутит...

Панчуковский взглянул вперед. За тиховодным озером, по которому, незадолго прогуливаясь, прошла покинувшая сон цапля, небосклон стал еще яснее.

Небо вдали, наконец, подернулось отблеском зари. На окраине небосклона, за камышами, перебегали белые зайчики. Что-то особенно раздольно шумело. То море вдали пенилось и бурлило у берегов, обдавая песчаные наносы широких гирл кудрявым белым прибоем. Ветер еще не смолк. Чайки с криком носились по темному еще взморью. Влево выходили из тумана чуть видные мачты судов, шедших всю ночь по морю под парусами или

стоявших вразброс у неводских пристаней по Дону. Вправо виднелись верхушки рыбацких землянок, крошечный домик купца Пустошнева, курени по притокам Дона. С некоторых крыш поднимался уже дымок.

Воротился, запыхавшись, Подкованцев. Он вел на поводу оседланную лошадь.

— Помилуйте, мне совестно, право! Чем я вас достойно отблагодарю? Вы спасаете мое состояние, честь, жизнь мою, и все сами делаете! — сказал Панчуковский.

— Помилуйте, ничего! Здесь иначе нельзя. Другой тут бы армию понятых потребовал, казацкую команду, а я все сам. Видите, какие места. Здесь я недавно чаи открыл: люди Пустошнева мне все покорны. Между нами сказать, я делюсь с ними законными призами. Меня тут без них чуть было не изрубили на первых порах греки-контрабандисты. Когда-нибудь, как счастливо обделаю ваше дело, покажу вам: у меня плечо перерублено. Кажется, в таких историях когда-нибудь-с пропаду, как собака...

— Что же наше дело? — спросил с лихорадочным трепетом полковник.

— Шш! Берегитесь извозчиков! Они нас не знают! Думают, что мы простые полицейские сыщики по контрабанде. Сидите же, сидите, камрад, тут; приказчик мне другую лошадь дал там! Давайте еще бювешки — надо допить бутылочку этого рому! Если что надобно будет, я выстрелю из пистолета, тогда вы скачите ко мне. Они уже здесь где-то, верно, вон в тех трясинах ждут; на заре, как заметили наши сыщики, какие-то люди с больной женщиной подходили к куреням. Это они, они; им негде пройти, как здесь... Я разослал стражу по берегам, верховых и пеших, чтоб не дать им сесть где-нибудь на дуб или на лодку и не удрать к пароходу. Вон, видите, какое-то паровое судно стоит, да еще, кажется, английское. Они тут смело теперь шляются. Там, должно статься, мы их и накроем... Ночью буря где-то была, а здесь сильное волнение, их, верно, не приняли на лодку.. У меня на все есть открытые листы...

Подкованцев, одетый мужиком, но с пистолетами под армяком, побежал снова камышами.

Панчуковский скинул тулуп, остался в одном сером простом кафтане, сел верхом на приведенную довольно крепкую лошадку, перекинул через плечи гостиничный штуцер, врезался еще глубже в более высокие и густые камыши и стал ждать. Кругом уже ярко сияли озерки и трясинные болота. Дичь начала стрекотать, кричать и стонать на все лады. Гуси загоготали невдалеке, поднялись громадной стаей и с звонкими перекликами потянулись к морю. Панчуковский ждал, соображая свое положение. Ему невольно опять представились брошенный Петербург, модный свет, балет, Невский проспект, блистательные товарищи. Он взглянул на своего вислоухого пегаса, на свой дырявый серый кафтан, помыслил, что через полчаса он может сделаться окончательно банкротом, чуть роковым беглецам каким-нибудь волшебным, нежданным оборотом дела удастся уйти с берега. «А остальному свету нет до меня дела! Где решается моя судьба...» Яснело более и более. Возле неводских куреней задвигался народ. Какие-то пешие побежали ко взморью; какие-то всадники поскакали...

Панчуковский невольно в это мгновение подумал:

«Что, если все погибнет, если их не поймают и мои деньги, все мое состояние пропадет, исчезнет без следа навеки? Что, если будет свалка, меня кликнут сигналом, я поскачу и меня убьют? Будь что будет! Я пожил, повеселился. Я ловил каждое мгновение жизни, пил сладость из каждого цветка, бросая его потом, как негодный. Убьют — туда мне и дорога! Смерть раз бывает в жизни. Ну, значит, так и на роду было написано. Жил в деревне у отца, потом в Петербурге, потом женился, состояние взял; жена надоела, жену бросил, сюда приехал — жизнью поживиться на этом раздолье, — тут выходит и конец. А если не убьют?.. Если не убьют, а возьмут одно состояние, все состояние, как есть, все до единого средства к жизни... что тогда? Вот любопытно:

хватит ли у меня силы воли избавиться лично, собственной охотой, от такого позора и унижения? Хватит ли у меня ума, безумия, горячки покончить эту шутку... самоубийством? Позор после роскоши, цепи и нищенская сума после воли и счастья!..»

Раздался чуть слышный сигнальный выстрел. Дымок забелел над песчаными откосами.

— А! Сигнал! Подкованцев не врет. А я уже начинал думать, не возьмет ли он взятки с того же Милороденко и не пропустит ли его: теперь у соперника моего денег больше! Двести тысяч!.. О двухстах тысячах идет дело, а в этой пустыне их спасают всего двое: я да сам исправник...

Владимир Алексеевич поскакал на выстрел, вперерез бежавшим вдали по берегу людям. Едва он выскочил из лимана, пробегая донские гирла и плавни, и поднялся на возвышенную, плоскую прибрежную отлогость, чудные картины опять, как нарочно, открылись перед ним. Утро заливало уже море алыми лучами...

Поморская последняя ширь и гладь расстилалась, синея, во все стороны. Кое-где по зеленым буграм и песчаным косогорам мелькали беленькие придонские хутора и побережные слободки. Дикая, суровая и бедная растительность, между песчаными долинами и наметами, сверкала в блестках утренней росы. Солнце выкатывалось слева, со стороны кавказского небосклона, гоня последние волнистые туманы и выясняя более и более, пышнее и пышнее берега, суда, камыши, плавни и синее хмурое море. Бойкий донской конек скакал во всю прыть по знакомой, родной равнине. Панчуковский пришпоривал лошадь и напряженным взором следил вдали какую-то непонятную суматоху. Сновали люди у берега; кто-то махал шапкой, звал других, голоса уже слышались...

— Что тут? Где, где? — закричал Владимир Алексеевич, доскакав на высокий пригорок и с него окидывая глазами все кипевшее еще от ночного ветра взморье.

— Вона, эвона! — отвечали неводчики, почесываясь и не узнавая в подъехавшем серокафтаннике барина, да еще и полковника.

Они указывали на берег, где кто-то садился в лодку, суетливо понукая гребцов, упиравшихся веслами и не хотевших ехать.

Панчуковский поскакал туда. Это был Подкованцев.

— Я исправник, — кричал последний обезумевшим от досады и бешенства голосом, — я исправник, подлецы! Везите, везите меня! Вот они...

— Кто, кто? — спросил Панчуковский, кружась на разгорячившемся коне. — Да отвечайте же, Бога ради? Кто?

Исправник отбил лодку, вырвал у одного из гребцов, едва стоявших спьяну на ногах, весло и оттолкнулся от берега.

— Наши, наши вон, на баркасе едут, уже к пароходу спешат. Проклятый край! Анафемский край! Эти олухи так и не дают лодки; да разве я беглый какой! Исправник тут пешка ничтожная; на сотни верст раскинуты притоны мошенников, а тебя никто не слушает. Они споили за ночь этих олухов. Тут все заодно!

Панчуковский увидел на парусном дубе знакомцев: Милороденко, Пеночкин и Левенчук гребли; Оксана, укутанная платком, сидела на корме. Гребцы на дубу были, очевидно, не русские, из греков или турок. Поднимался опять свежий ветер. Прибой был сильный. Дуб относило влево к берегу. Исправника течением потащило вправо. Подкованцев орал на бежавших по берегу других неводчиков, звал их, божился о чем-то, колотил себя в грудь, ругался... Дуб стал заходить за бугор на мели.

Владимир Алексеевич выждал, соскочил с лошади, ухватил штуцер, спустился на колено, прицелился в дуб из штуцера и выстрелил сперва картечью, а потом пулей. Дуб был шагах в трехстах от берега. Картечь засвистела по волнам... Гребцы на дубу с насмешкой поклонились. Пуля также

никого не зацепила. На дубу путники сперва засуетились было, но стали опять спокойно смотреть на берег.

— Лодок, лодок! — орал Подкованцев, бывший сам, как известно, когда-то во флоте, и выбивался из сил, гребя одним веслом. — Лодок! Тут участь человека гибнет, моя служба пропадает!

С берега, из гирл, справа потянулись востроносые лодочки. Их кидало, как пробки, по волнам. На иностранном пароходе разводили пары.

Дуб, подхваченный попутным ветром, распустил парус и, выбравшись из-за прибережья, пошел быстрее. Плывших на нем уже трудно было разглядеть. К Панчуковскому, также почесываясь, подошел неводский приказчик и узнал в нем барина.

— Верно, тульское-с, простое ружье у вас? — спросил он, снимая шапку. — Либо вы промахнулись, ваше высокоблагородие! А лошадка вынесла вас хорошо...

— Нет, я, кажется, кого-то зацепил. Одним, кажись, меньше на дубу стало. Я что-то не вижу хорошо. Неужто не успеют обогнать их наши береговые лодки? И отчего тут пушек нет?

Приказчик наставил ладонь к глазам.

— Все, барин, все целы на дубу; я их считал, когда они садились вон за той косой. Это албанский пароходик, под аглицким флагом: переселяющихся татар-с все эти дни тут неподалеку забирал и ногайцев из дальних аулов, а нынче ему идти. Пушек же, барин, не наставишься везде: ишь, наша Расея-то раскинула свои границы!

— Да разве туда беглых допускают, позволено береговой стражей?

— Всяко бывает, барин, всяко... даже...

Последних слов приказчик недоговорил. Дуб стало опять гнать к берегу. Ему наперерез поплыл Подкованцев. Вдруг на дубу сверкнул огонь, дымок заклубился. Что-то зашуршало в воздухе. Панчуковский ахнул: Подкованцев навзничь перекинулся со своей лодки через борт. На берег, где стоял

Панчуковский, начал сбегаться народ. Исправник был убит наповал; дуб поплыл далее; новый порыв ветра; сидевшие на дубу зашевелились, распустили другой парус и направились к пароходу; лодки их не догнали. Пароход тронулся и пошел на всех парах.

— Мертвый, ваше высокоблагородие, — сказал другой жандарм, когда сторожевые лодки привезли на берег бедного Подкованцева и положили его на песок, — череп вон своротило. Видно, пуля-то у разбойников аглицкая-с, да и штуцер дальнобитный. Шагов на полторы тысячи хватил и задел ловко-с; на прицел так по воле не возьмешь — я сам в ратниках в Севастополе был... Ах ты, горе какое! Ах-ах!..

Полковник стоял, не помня, что вокруг него делалось. Явились соседние сотские. Произведена по береговой страже тревога. Посланы гонцы в город. Оттуда казенный пароход к вечеру пустился в погоню за названным транспортным пароходом. На высоте Керчи, в проливе, его догнали, остановили, осмотрели. Работал телеграф. Но острожных беглецов на том пароходе не оказалось. Ночью и на другой день был дождь. Пользуясь туманом, вероятно, беглецов где-нибудь высадили на кубанский, волновавшийся тогда берег либо на другое иностранное судно. На этом же албанском пароходе сидели только грязные, в лохмотьях ногайцы и часть переселяющихся в Турцию побережных татар.

Так было донесено градоначальнику.

— А деньги, мои деньги? — вопил Панчуковский, оставшись еще в городе. Все пожимали плечами. Остальных незначительных острожных беглецов вскоре переловили. Те далеко не пошли: все поймались по соседним кабакам.

Тело Подкованцева привезли в город. Панчуковский рассказал любопытствующим свое дело. «Какою жалкой и позорной смертью умер бедняк Подкованцев!» — толковали горожане и знакомые. «А достойный был человек! От руки каторжников, беглых жизнь кончил! Этого у нас еще недоставало! А еще отставить хотели такого достойного человека!..»

Имя полковницы Панчуковской, урожденной Перепелицыной, стало между тем произноситься всюду в городе, сделалось модным именем. К ней являлся с визитом полицеймейстер, градоначальник пожелал с ней познакомиться. А до той поры, всю осень и зиму, она тщетно всех просила, хлопоча о разделке или примирении с мужем.

— Да она, говорят, глупенькая! — толковали городские дамы. — Она купеческая дочка, что ли? Ее Панчуковский, говорят, бросил из-за какой-то ее измены.

— Таков он, чтоб жена у него изменяла! Это он ей ежечасно изменял и теперь изменяет...

— А ее роман с этим учителем?

— Какой вздор! Михайлов уроки ее дочери дает... Ведь это теперь артист; слышали вы, как он играет! В один год чудеса сделал! Он ее дочку учил играть, а матери давал уроки пения...

— Так, так! — говорили, недоверчиво качая головами, словоохотливые местные дамы. — Значит, они дуэты страстные вместе распевают? Спекуляции же ваш артист оставил?

— Бросил совершенно: он теперь собирает и записывает украинские народные песни, кладет на музыку и хочет издать, и оперу пишет на какую-то малороссийскую повесть Гоголя. Дарование замечательное...

Нежданно-негаданно явился в город священник отец Павладий и привез прямо в дом градоначальнику найденный кем-то в овраге, при снятии стога, чемодан. В чемодане были деньги. Панчуковский опять было окрылился; но от высшей власти из Петербурга явилось секретное предписание наложить арест на все имущество Панчуковского, а его обязать подпиской не выезжать из города. Друзья жены полковника ожили. Зато он снова и окончательно потерялся. Новая Диканька также ускользала. Ему посоветовали обратиться в сенат. Полковник, однако, поговорив с судьей, оделся и полетел к своей жене с предложением мировой. Голова его горела. Сердце било тревогу.

— Настасья Васильевна, прости меня! — сказал он, входя к ней и опускаясь на колени. Дочка его выбежала с куклой из гостиной, увидела незнакомого ей человека и остановилась. — Прости меня, Настенька! Я много перед тобою виноват: я тебя обидел. Господь меня наказал — прости для нашего ребенка!..

В это время из гостиной вышел прокурор.

— Я давно хлопочу за вас, полковник, — сказал он. — Это вещь более невозможная: по личному ходатайству вашей жены, брошенной вами более девяти лет, ей выслали разводную.

В городе продолжали толковать о неясных отношениях Панчуковского к его жене. Их печальный роман еще не давал многим пытливым головам спокойно спать. Как всегда водится, образовались два кружка: один стоял за мужа, другой — за жену. Одни говорили: «Муж изверг!», другие: «Хороша и жена! Она вот что, вот что и вот что делала!» Толки, разумеется, вскоре приняли новый соблазнительный оттенок. Говорили по-прежнему, что у госпожи Панчуковской не только здесь, но и в Моршанске были тайные и явные любовники, что ее здесь весь город с этой стороны узнал, что даже торговки стали о ней легко относиться. Именно, будто кто-то подкутил и крикнул как-то: «Извозчик, к полковнице! Знаешь?» — «Как не знать полковницы, извольте!» Так будто бы нагло и свободно ответил городскому пьянчужке-офицеру извозчик. Сторона мужнина приводила другие примеры. «Коли так, то отчего же не изменять и самому Панчуковскому? Вот он услышал о поведении жены; может быть, и помириться с ней был бы не прочь, а молва о ней пошла, он назло ей и вспомнил опять старину — с цыганками стал водиться, неприличный пикник за городом с чиновниками затеял...» — «А ограбить жену?» — «Что же тут состояние? Найденных в стоге денег ему не возвратили. Наложили секвестр и на его хутора. Да разве это что-нибудь значит? Он подал апелляцию в сенат, а сам переехал в Новую Диканьку. Что же из того, что они подвели

против него такие подкопы? Что, наконец, из того, что он на женины деньги все дела повел, на них купил и хутор? Это уже их счеты, их... И нам между ним и женою дела никогда не решить!»

Эти толки длились недолго. Город вскоре был поражен последнею и общей прискорбной вестью...

Владимира Алексеевича Панчуковского его дворовые, вновь нанятые люди, подняли убитым на ярмарке в Андросовке. Смертельный удар ему был нанесен неизвестно кем в переулке, в конце ярмарочного дня. Оказалась разбитой голова: кто-то с непомерной силой ударил его сзади чем-то вроде гири. Началось шумное следствие. Взяли под допрос всю его дворню. Чиновники-дельцы не открыли, однако, ничего, что бы наводило на верную причину убийства Панчуковского; полагали, что в противозаконном передержательстве беспаспортных людей надобно было искать главной и ближайшей причины насильственной смерти полковника. «Что вы, господа, вздор несете? — перебивали их чиновники из молодого поколения. — Да его беглые слуги ему служили получше многих крепостных! Они его столько раз сами спасали...»

«Ну, счастлив и Подкованцев, что погиб от этого следствия. Мы бы и его запроторили туда, куда Макар телят не гонял! Он был главная опора беглым».

Господа чиновники, однако, скоро получили приказания не фантазировать на предмет мнимой виновности беглых из дворни полковника, не ссылать их и не теснить, а судить, как всех людей на свете, ожидая дальнейшего решения о приписке их к месту оседлости.

Кто-то принес в гостиную градоначальника такое известие:

— Бедная Панчуковская! Да дайте ей, наконец, средство вырваться из этой тины сплетен и пересудов. Скоро ее станут винить и в смерти мужа, тогда как дело оказывается иное...

— А что? Разве есть что-нибудь новое?..

— Как же-с! Полковника убили, это вы знаете. Пойман некто Петрушка Козырь, крепостной лакей покойного отца Панчуковского, живший при жене полковника и бежавший от нее по дороге сюда, как вы, верно, слышали. Он любил барыню, служил ей верой и правдой десять лет, а бежал, узнав, что ему опять было суждено попасть к барину. Верно, солоно было и у батюшки полковника всей семье Козыря. Брат Петра этого, Касьян Козырь, бежал сюда давно, еще от батюшки полковника. По справкам теперь оказалось — как бы вы думали, что? — оказалось, что этот Касьян некогда с малюткой дочерью шел сюда, был на дороге зарезан, умер в Таганроге в госпитале; его дочь попала в воспитанницы священника, на Мертвой, она-то после и была похищена полковником... Петрушка же Козырь на днях был пойман, бежал из квартиры станового пристава, где на справках и допросах узнал судьбу своего погибшего брата Касьяна и его дочери, да, недолго думая, стакнулся еще, верно, с Левенчуком, явился на ярмарке, нашел в толпе покупателей полковника, подстерег его и убил наповал, из-за угла в переулке...

— Где же делся убийца?

— Исчез без следа.

В конце июня, после смерти полковника, жену его ввели во владение всем его имением. Шульцвейн предложил мадам Панчуковской уступить ему земли, постройки и все обзаведения с движимостью на Новой Диканьке. «Вам теперь, без энергии покойного вашего мужа, не управиться с этим имением. А у меня есть свободный капитал, и я поведу дело выгоднее, уплатив вам за все наличными». Бедная и измученная Настасья Васильевна с радостью продала Новую Диканьку, переуступила Шульцвейну и аренду мужа по другой земле, где были овчарни и знакомая читателю пустка — место первой сцены ее мужа с Оксаной; расплатилась со своими моршанскими кредиторами; продала немцу и

заграничный фаэтончик, с четверней новых бойких дончаков, возивших ее мужа постоянно вскачь, простилась с соседями и уехала обратно в Моршанск.

— Климат на юге России невыгоден оказался полковнице, — толковали горожанки, — иначе бы она не уехала.

— Нет, это не то! — толковали мужчины, зараженные и здесь спорами новейших публицистов. — Пора для частной деятельности мужского пола высших сословий на Руси настала, а для женщин еще не пришла. Да будь жив полковник, так и он, кажется, долго не протянул бы своих предприятий. Оборвись еще у него два-три дела, вроде поедания саранчою его степей, и он, наверное, через год опять бы служил в коронной службе. Эти акционерные компании, эта губернская провинциальная деятельность наших передовых людей — только поветрие. Увидите, все наши новейшие стремления и так называемый собственный труд кончатся одним: наши имения, фабрики, леса, земли и воды... все здесь скоро попадет в аренду либо к немцам, либо к жидам...

Через месяц, вслед за Панчуковской, уехал в Моршанск и Михайлов. Прошел слух, что он еще в Новороссии сделал ей предложение и по смерти ее мужа получил от нее слово.

Недавно чудным, теплым, чисто украинским деньком, по обычаю, подарила осень южные степи. Солнце, слегка будто отуманенное, грело по-летнему. Паутина летела во все стороны. В поле было тихо, травы пожелтели, но лист с деревьев в одиноких оврагах еще не облетел. Эти красивые лески стояли, горя всем разнообразием измененных, доживающих последние дни листьев: светлым пурпуром диких яблонь и шиповников, ярким золотом кленов и лип, серебром осокоров и синеватым густым багрецом терновника, дубков и орешников. В это время поморские новороссийские степи по красоте не имеют себе соперников. Слетаясь с севера, перед отлетом за море, в это время дичь здесь кишмя кишит. Стаями ходят дрофы, гуси темно-серыми отрядами пасутся

по пустырям, будто стада овец. Журавли кричат, производя свои воздушные смотры и разводы под облаками, свертываясь в треугольники или развертываясь в длинные, подвижные, необозримые колонны. Иной раз по часу и по два они летят, застилая небо. В это время в степях из людей уж почти никого не увидишь. Чумацкие обозы, в ожидании близкой распутицы, не тянутся более с севера в портовые конторы по широким дорогам. Хлеб свезен. Одни скирды сена торчат еще то здесь, то там, служа седалищем для молчаливых и важных орлов и коршунов всякого вида и роста.

Затих и оделся в пышные цвета и оттенки и овраг Святодухова Кута. Роща ракитника отливалась всеми яркими блестками. Пруд синел и просвечивался сквозь ее обнаженные опушки. Несколько юрких птичек шныряли в деревьях, высвистывая свои последние песни.

А в домике отца Павладия готовилось грустное событие. У стола, на котором всегда кучами лежали газеты и журналы, сидел, насупившись, посторонний священник, какой-то рыжий, золотушный, тощий и длинный, с подвязанной щекой, отец Геронтий. Он сидел тревожно, косясь на стол перед окном, где новый святодуховский дьячок Андрей, чуявший недоброе, с грустью устанавливал наскоро соленую закуску. В спальне же раздавались тихие одинокие стоны. Там, на лежанке, сидел старый слепой дьячок Фендрихов, а на скамье его жена, с ребенком на коленях, и какая-то знахарка-старуха, из соседних казачек. Отец Павладий, простудившись на отправлении одной требы, умирал от горячки. Лекарей в окрестностях, разумеется, не было. Он часто забывался и бредил; но иногда приходил в себя. Свидетели его уединенной жизни на Мертвой молчали, вздыхая и прислушиваясь к нему, как говорится, ожидали отлета души. Но не сдавался крепкий, в пустынном воздухе состарившийся священник.

— Осиротеет, опустеет окончательно мой дом! — проговорил отец Павладий, взглянув кругом себя. — Но

не опустеют здешние окрестности. Не один владелец, Фендрихов, другой найдется... Ох... тяжко мне... тяжко. Вот уж и манифест весною прочитали. Не забудут вас, господа! Людям становится лучше. Беглых несчастных станет меньше. Придут сюда люди всякие, теперь уж по воле. Фендрихов! Не поминай меня лихом. Кто б тут ни был, проси служить службы по мне да по бедным, по несчастным и по схороненным тут переселенцам. Ох... да смотрите... рощу-то, сад, прудок мой берегите... А про Оксану-то, про Оксану... Ох, благослови ее, Господи Боже, сироту эту! Где-то она? А? где?

В ночь на другой день отец Павладий умер. Фендрихов рассчитался с хоронившим его священником туго и не без прижимок. Он был в отставке, следовательно, самостоятелен.

Молодой дьячок, по смерти строителя Святодухова Кута, тотчас подвергся гонениям нового священника, так как все дядино имущество становой передал ему, кроме части пожитков, отданных Фендрихову, с коровами, пчелами и овцами отца Павладия. Новый священник стал осуждать направление мыслей своего причетника, ославил его перед епархиальной властью за вольнодумство и за заведение переписки в запрещенном образе суждений.

Дьячок Андрей временно, скрепя сердце, выбился оттуда в другой приход; но судьба ему улыбнулась. Колонист Шульцвейн, хотя и лютеранин, выхлопотал ему оправдание. Шульцвейн начал приобретать влияние и на Мертвой. Андрея сделали опять причетником святодуховской церкви. Колонист часто, владея теперь Новой Диканькой, заезжал к нему беседовать.

«Молодцы немцы! — думал дьячок, завидя приближение его зеленого фургона. — Не зевают — все прибирают к рукам!»

— Что толкуют ваши прихожане? — спрашивал колонист, протягивая дьячку мозолистую руку и осклабляя белые здоровые зубы. На нем была прежняя синяя куртка, а длин-

ные костлявые ноги в тех же высоких сапогах, не без аромата дегтя.

— Какие-с, Богдан Богданыч?

— Помещичьи! Как они, по соседству, смотрят на новое свое положение, опубликованное вам теперь?

— Будем, говорят, ждать.

— Беглые же попадаются и теперь? Видите ли вы их тут иногда хоть в церкви? Ведь это было прежде одно средство спастись: это был предохранительный клапан для былой машины вашей... понимаете?..

— Нет, реже стал этот народ; почти что вовсе их нет. Многие пошли добровольно на север-с, в Россию.

Шульцвейн молча уехал. Он не переставал любить Святодухова Кута, много помогал в его дальнейшем процветании: все поглядывал на плод трудов отца Павладия, на подцерковный прудок в роще, думая: «Нельзя ли бы и тут хоть мойку для шерсти устроить или пивной завод? Место отличное!..»

— Он ненадежный, — говорили, однако, некоторые о Шульцвейне, — он затевает уехать и продать все земли; увидите, что это случится...

К осени жена ему собственноручно сшила новую куртку и купила ему вместо серебряных золотые часы. Но он их спрятал.

— А что же участь Милороденко, Левенчука и Оксаны? — спрашивали иногда городские дамы, которых еще занимала история этих беглецов с Панчуковским.

— Говорят одни, что они через Кубань и Кавказ в Турцию пробрались; другие же толкуют, что они попались где-то, не то в Анапе, не то в Редут-Кале; какой-то татарин-выкрест будто выдал их...

— Ну, что же с ними сделали?

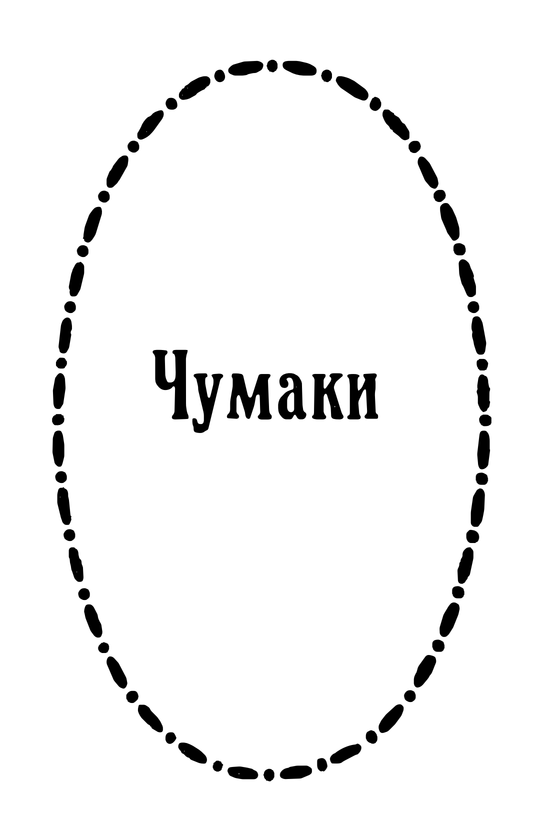
— В остроге, верно, сидят где-нибудь. Да нет, не может быть: хоть священник и нашел деньги Панчуковского, но

ведь значительная доля из этой суммы была в золоте и серебре, и ее не оказалось, — что-то более трех тысяч рублей. На эти деньги со стороны их соумышленники им и помогли, значит, уйти из острога; на них же они могли пройти через все наши пограничные пикеты и ушли, вероятно, если не в Анатолию, так на каком-нибудь купеческом судне в Молдавию. А эта сторона в такой теперь сумятице, что там укрыться и пристроиться, особенно еще с деньгами, очень легко. Да там же немало живет и наших прежних, уж давно оседлых и отлично пристроившихся беглых. Плати только исправно подати да живи смирно — дело твое и улажено...

В ноябре стала продавать имение, вследствие окончательного неуспеха своих дел, и помещица Щелкова. Шульцвейн и ее землю купил.

— Каков, а? — говорили о нем помещики и горожане. — Скоро весь уезд будет в его руках! А если переменится выборный ценз, он будет иметь сильный голос и в нашем будущем земском устройстве... Куда ему уезжать? С нами останется!

— Что ж тут удивительного: немец, да еще и не русский, а иностранный, немецкий немец!


Чумаки

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК 1856 г. О НРАВАХ И ОБЫЧАЯХ УКРАИНСКИХ ЧУМАКОВ

I

Зима

Степные метели. — Былые судьбы чумачества. — Чумаки сто лет назад. — Рассказ очевидца, запорожца Коржа. — Анекдот о чумаках. — Общий вид зимы. — Календарь степей. — Святки. — Зимовля волов. — Статистические данные. — Зимняя лень

Иногда в степи начинается что-то странное. В воздухе не то, чтобы очень холодно и ветрено. Одни галки густыми тучами носятся над землею и разыгрываются на метель. Метель начнется, и долго помнят о ней в степи. Но на юге знают несколько родов метелей, украшая их затейливыми названиями. Одна — мря, когда в воздухе стоит просто непроглядный туман, а снег медленно опускается влажными хлопьями и за ночь заметает все дороги и села. Другая — шкви́ря или завийныця, когда по полям, без устали, откуда-то летит ветер и несет не то дождь, не то ту́ман, не то снег, что-то все вместе. Третья — завирюха, вдруг поднимется, сухая и резкая, кружа целые горы оледенелого инея, точно избитое в мелкие блестки стекло. Ей иногда предшествует четвертая

еще, называемая «фуга́» или «пи́ша», которая начинается какими-то странными взлетами птиц и состоит в том, что по беспредельной коре гололедицы, укрывшей степь, несутся полосами сухие, стекольчатые вороха снега. В такую метель, называемую еще низово́ю, потому что снег играет понизу, по земле, небо обыкновенно стоит ясное, безоблачное, все залитое алым или синеватым отблеском. И наконец, «верхняя», или «валова́я», метель. Эта уже не шутит и особенно дает себя знать. Медленно, иногда в несколько дней, соберутся громадные, серые тучи и облягут небо, точно осадный лагерь какого-нибудь войска. Тучи забелеют, сдвинутся плотнее; снег хлынет, и весь свет исчезнет. Тогда ни днем, ни ночью нет уже спасения. В сельских церквах тогда безостановочно нарочные сторожевые звонят в колокола. Где есть ружья или домашние пушки, там стреляют время от времени холостыми зарядами. Этим дают знать о близости жилья путникам. Тогда последним обыкновенно, почти в виду жилья, приходится прибегнуть к известному средству спасения: остановиться, на произвол судьбы, и быть засыпану снегом с головой, причем для дыхания в снежном своде пробивают окно и, чтобы проезжие могли найти засыпанных, сквозь верхний слой выставляется наружу какой-нибудь шест. По этому шесту часто находят и спасают тех, которые не имеют силы разрыть завалившего их сугроба. Быстрота степных метелей непостижима. Однажды зимой, в бурю, в помещичьей усадьбе готовились ужинать. Двор усадьбы, как во многих безлесных южных имениях, был не огорожен. Одиноко на равнине стояли дом, кухня, амбар, погреба. Лакей принял от повара суповую чашу и пошел из кухни к дому. Одно из окон дома светилось. На дворе метель становилась шумнее и шумнее. Хозяева сели за стол; ждут лакея, его нет. Стали искать, кликать, послали неподалеку верховых. Последние сами насилу воротились. На другой день лакея нашли в ста шагах под усадьбою, с суповою чашею в руках. Он сбился с дороги,

между кухнею и домом, блуждал, пока мог, сел под стог и замерз.

Известен также анекдот о мужике, который ночью в метель наткнулся в поле на увязнувшую карету губернатора и, подъехавши к ней с возом, слез и постучался в освещенное окно кареты, окликая: «Добрый вечер! А что хозяин дома? Нельзя ли переночевать?» Когда такие метели приходят, взорам открываются странные картины: исчезнувшие дороги с маковками чуть видимых столбов и деревни, засыпанные буквально от завалинки до труб. Взойдет солнце, и начинается любопытная работа. Украинец, о котором говорится, что «его лень родилась прежде его самого», выползает кое-как из хаты с лопатой и принимается за рытье нор и тропинок от порога к сажу, где откармливается кабан, к амбару, откуда жена достает всякие припасы, и к калитке в огород, потому что через него идет дорога в шинок, оставляя нередко неотрытыми ворота, хотя бы от этого нельзя было заехать со двора на улицу. Такие кротовые ходы остаются надолго, пока новая завирюха или оттепель не изменит их вида. Ленивые домовики тогда без просыпу лежат на печи, благо в хате тепло и подати, оплаченные еще осенью, позволяют вольготно покуривать тютюн, выросший на грядах у соседа же. Приди в такую пору к хуторянину гость, все ему рады. Только не обеспокой хозяина. В такую-то пору ленивейшие из ленивых, именно чумаки, уже ровно ничего не делают. Хлебопашец еще хлеб молотит, ремесленник ремеслом занимается. А чумак что? Основанное на дешевизне подножного корма, занятие его зимою еще потому не может иметь места, что волов почти нигде не куют, а без подков на гололедице раздвоенные копыта последних легко разрываются. Итак, что же делают чумаки зимой, в ожидании весны и начала своих пустынных переездов? — Они отдают своих волов на зимовлю по деревням, где много сена, и на винокуренные заводы, где волов откармливают так называемою ба́рдою, остатками теплой хлебной жижи. Чумакам с весны нужны волы сильные, в теле, и потому они ничего для них не жалеют и

откармливают их до отвала. Но прежде, нежели мы опишем жизнь чумака зимой и для этого коснемся нескольких черт, в которых он, среди домашнего очага, сближается в общем с другими местными сословиями края, объясним читателю, что такое чумак и как составилась его самобытная личность. Слово *чумак* прежде объясняли именем чумы, которую будто бы чумаки завозили из Крыма, почему и чумную дегтярную рубаху они носят. Назначение рубахи мы увидим ниже. Имя же *чумак* по-татарски значит просто перевозчик. Чумаки теперь покрывают всю Малороссию. Но они были и в старину. Об этом кроме общеизвестных народных песен, из которых отрывки мы приведем в своем месте, свидетельствуют и письменные источники. В числе печатных сведений, к которым мы должны здесь для полноты очерка прибегнуть, господин Скальковский в «Истории Новой Сечи, или последнего Коша запорожского», при описании старинных дорог и торговли на Украйне и Запорожье, между прочим, приводит много любопытных данных о былых судьбах чумачества. «В те отдаленные эпохи (говорит г. Скальковский, пользовавшийся богатствами южнорусских архивов), кроме вооруженных запорожских отрядов, укрытого в тернах ружья, гайдамаков, бесчисленных стад и табунов и кое-где белеющейся хаты-зимовника, ничего не встречал путешественник. Дорог не было, кроме «отвечных шляхов» (путей), по которым шли караваны за солью в Крым, за рыбою на Дон и в Запорожье с хлебом и товарами к Очакову. Эту дорогу именовали в Польше Черным шляхом, по причине опасностей, сопровождавших путешественников, а в простонародье Шпаковым, по имени первого атамана-путеводителя Шпака́, умевшего водить чумацкие караваны по прекрасным долинам и близ воды, не заходя в села и не подвергая чумаков опасности в пустынях. Она, начинаясь от Волыни, доходит до Умани, а оттуда, по тайным тропинкам, по глубоким оврагам и по берегу степных речек, доходила сперва до Балты, после до Ольвиополя и, наконец, до Никитиной переправы на Днепре. Другой торговый путь в степях назы-

вали Муравской дорогой. Пробравшись по вершинам Ворсклы до вершин речки Берестоватой, впадающей в Самару, идет он, к югу через все почти запорожские паланки до границы, или реки Конские Воды, и тут уже переходит на крымскую сторону. Степь запорожская не походила на степь ногайскую или уральскую. И в самом деле, если какой-нибудь путеводитель Шпак, этот Патфайндер украинской пустыни, приобретает славу за знание тропинок и бродов, водопоев и перевозов, с другой стороны, и само Запорожье было населено христианами, уважавшими путника. Здесь чумак находил пристанище у белой хаты-зимовника, обыкновенно стоявшей на берегу глубокой речки, в уединенном овраге или у вырытого колодца. Хозяин зимовника, запорожский казак, обыкновенно был и шинкарем-трактирщиком; следовательно, безопасность ватаг чумацких была для него не только долгом, но и источником прибыли. Он знал, что слава доброго зимовника распространяется скоро, не только на Украйне, но и за границей. Но, перешагнув за Днепр, у Никитина перевоза, чумак мазал свою рубашку и одежду дегтем, из предосторожности чумы и гадины; заряжал ружье, доставал с воза пику, а на груди вешал в мешочке «билет» с «казенною печатью», подписью русского пограничного чиновника и с переводом ярлыка на турецкий язык. В ногайской степи нет уже ни сел, ни зимовников. От запорожской границы до Перекопской башни не будет уже ничего, кроме табунов и стад татарских. Хорошо еще, если в каком-нибудь ауле жил местный ага или мурза: русский ярлык охранял чумака. Но в голой степи ногайцы не боялись никого, и зарезать двух, трех чумаков, отнять у них скот и хлеб считалось молодечеством. А сколько обманов на соляных озерах, сколько обид при Перокопской башне, от всякого рода турецкого чиновного люда, от всяких дыздарей, имамов и каймаканов... В «Кратком описании Малой России», рукопись которого принадлежит в Одессе г. Филипповичу, о странниках старой украинской степи говорится следующее: «Ездючи же на тех пустошироких степях, где не имелось ни

единой тропинки, ни следу, как на море, однако, потянутся ватаги, добре знаючи проходы, с великим опасением ездили. Не имея же себе чрез один и другой месяц огня, единожды в сутки весьма скудной пищи, толокна и сухарей толченых кушали и, коням ржати не допуская, будто дикие звери, по тернам и камышам крылись. Познавали же на тех степях путь свой в день по солнцу, и по кряжам, и по могилам; в ночь же по звездам, и ветрам, и речкам». Торговля запорожская делилась на сухопутную и водяную. Водяная была с Турцией, через Очаков, на турецких и греческих кораблях. Из Очакова корабли, получая ярлыки от сараскира-паши, входили в Днепр до Сарай-Сечи, на реке Подпольной, где Текели, в 1775 г., при разгроме Сечи, нашел целую запорожскую флотилию. Сухопутная шла по степям через чумаков. Пейсонель, бывший консулом французским при хане крымском и которого запорожец Строць и другие видели в 1760 году, с ханом, в лагере близ Днепра, так писал об этой торговле в 1788 г.: «Казаки украинские и запорожцы приходят в Очаков, привозя баранье сало, табак, снасти, пеньку, русские полотна, дрова, точильные камни, уголь, сушеную рыбу и рыбий клей и увозя оттуда греческие и аккерманские вина, соль, сушеные плоды, растительное масло, мыло, сафьян и седла». Из переписки запорожских старшин, приводимой в отрывках господином Скальковским, видно, что из Крыма и Турции запорожцы вывозили еще оружие, свинец, конские сбруи и другие предметы, как-то: «для гетмана соку лимонного и оливы, прованского масла; для гетмана двух ослиц с жеребятами, рыбы четыре короба. Один из старшин, получавших подарки при раздаче жалованья на Запорожье, как говорится в современном донесении: «Чем будучи доволен, велел поднесть до несколько чарок водки и, между прочим, спрашивая, какие бывают в Сечи с Туретчины в привозе вина, говорил: «Не возможно ль с тамошних приморских мест и из Цареграда вывоз сделать под осень зовемой по-гречески стридии, а по-здешнему «устрицы»? О чем егда от толмача объявлено, а нам на усмотрение дал

верхний маслак скорлупу». Эти-то первые потребности, кроме притекавших товаров из России, мехов, сырых кож и хлеба, были, вероятно, причиною образования целого сословия перевозчиков, получивших на границе от турок имя чумаков. Это тем более сподручно казакам-поселенцам на своих зимовниках, среди семей, становившихся все менее и менее воинственными, что, по словам кошевого Григория Федорова в челобитной от войска императрице Елизавете 1755 года, «войско запорожское низовое из давних лет и ныне хлеба не пашет, да в степных местах и весьма малый род (урожай) бывает». Из Крыма везли еще серые смушки, для гетмана «белых верблюдов», шелковые ткани, особенно термоламу, которой казаки, идучи на войну, обещались привезти своей красавице столько, «чтоб сверху колокольни достать до земли». Но главнее всего в этом случае была крымская соль, доныне первая цель всей торговли, производимой чумаками. Теперь чумацкие возы редко идут порожняком в Крым за солью. Тогда же, при недостатке внутренней торговли с Россией, они, кроме водки и хлеба, мало везли товаров по пути в Крым. На Днепре был их главный переезд на крымскую сторону. Прибытье их для Запорожья было так важно, что Кош очень часто считал долгом писать своим представителям в русскую столицу, что «ватаг чумацких еще нет, но что ужо понемногу идут и везут хлеб или водку», — или, что, наконец, их «такое множество, что даже припасы в Сечи и на Никитском перевозе вздорожали». Как только время добычи соли наступало, ханские пристава над соляными озерами учтиво о том извещали Кош, что, например, как написано от 1764 года Баба-Имамом, приставом тузлы перекопской: «Благодарение Богу, сего году, уже выстояние сделав, соль произошла изобильно; да притом уже воды и травы у нас в Крыму, также и на пути везде, изобильно; так что очень спокойно ныне для чумаков и для скота достанет». Крымское правительство при этом брало со всякой повозки у Перекопской башни по 70 копеек ассигнациями, что запорожцам казалось обременительно, и они об уменьшении платы за

соль вели беспрестанную переписку с консулами при хане. Чумацкие ватаги, шедшие за солью в Крым, тогда переправлялись через Днепр на Никитином перевозе. Идущие же на Дон за рыбою переправлялись в Кодаке. Видя прибыль от этой чумацкой торговли, запорожцы старались даже учреждать собственные мосты и перевозы через речки и протоки в ногайской стороне. На этих переправах бралась плата за перевоз. Ханы также жаловали своих каймаканов и дыздарей, комендантов «за многия службы и посылки от его ласки» правами устроить мост на той или другой речке. Последние иногда перепродавали эти права на мост и сбор запорожцам, как на реке Белозерке, за 40 рублей ассигнациями в год. И запорожцы взимали перевозные пошлины со своих и чужих, на землях ногайцев и крымцев. Но рядом с этой беспечностью последние позволяли себе делать и всякие грабительства, захватывали чумаков с их добром в плен и продавали туркам, как ясырей — невольников, на работы в галеры и крепости. Наконец, чумаки способствовали еще тогдашней торговле Украйны и Запорожья с Польшей, чему также приводит господин Скальковский несколько любопытных доказательств. Таким-то образом, образовавшись еще в смутные для страны времена, чумачество мало-помалу приняло вид нынешних мирных странников. Тогда ватаги их, эти «караваны украинской пустыни», требовали смелости и отваги. Перешагнув рубеж своих степей, на крымской стороне они делались истинными «героями степи», жертвами засухи, голода, жажды, разбойников своих и чужих и притеснений местных мурз в каймаканов. Для этого чумаки тогда запасались ружьем и копьем, а в случае набега ногайцев ставили свои возы так, что делали из них укрепленную засаду. Словом, они смело встречали врага. Теперь племя их переродилось. Крымцы и ногайцы усмирены. В степях вырыты везде колодцы, и всюду уже кипит народонаселение. Но память о первобытных чумаках не исчезает. Кроме того, что теперь еще есть семьи в разных местностях края, где деды, отцы, сыновья и нынешние внуки и правнуки «чумакуют» и пере-

дают предания о дедах из рода в род; эту память поддерживают еще и народные песни. Летописец Новороссийского края говорит справедливо, что «на 100 украинских дум верно будет 80 о чумаках, 10 о любви, а остальные о гайдамаках». Личность нынешнего чумака, в общем, сходна с личностью остальных украинских простолюдинов. Но, кроме этого, чумак еще хранит в себе черты, как бы завещанные ему отдельно особенностями старинного казачества. Обрисовку этого переходного образования казака в мирного чумака превосходно представляет господин Костомаров в своем сочинении «Об историческом значении русской народной поэзии». «Отражением угасшего рыцарства, — говорит он, — является в Малороссии чумак. Казака вызвала к деятельности потребность народная; а чумака произвели положение Малороссии, общественные нужды и народный дух. Малоруссы окончили свое воинственное призвание; настали времена другие. Сабля заменилась косою, пушка плугом. Но Малороссия, с такими широкими, привольными степями, могла ли вмещать в себе людей, которые бы мирно обрабатывали скромный уголок и не разлучались бы дальше ближнего ручья? Мог ли малороссийский народ, разыгравши такую шумно-трагическую роль, забыть ее вдруг? Природа любит постепенность. От этого, прежде чем казак обратился в поселянина, он стал чумаком и бурлаком. Чумак по занятиям мужик, по духу казак. Собственно, в чем состоят занятия чумацкие? В перевозке фур соли, вина, рыбы, хлеба: кажется, самое вседневное назначение! Но так ли смотрит на него малороссиянин? Чумак находит какую-то славу в своих путешествиях. Вместе с тем, что «пошли наши сыночки денег добывать», народная песня говорит: «и славы заживать». В наше время песни казацкой гетманщины переделываются в чумацкие. Так, Морозенка в Слободской Украйне величают вместо «казаченька» — «чумаченьком». Есть песни, где сначала говорится о конях и татарах, а кончается волами и мазницами. Интерес ли, собственно, движет его? Нет, с интересом соединяется что-то другое: безотчетное какое-то вле-

чение к путешествиям, приключениям, товарищеской жизни и самопроизвольное отрешение от семейственных связей. То же, что оттеняло характер казака. Извоз чумацкий во многом и доныне похож на воинственный поход их предков». Здесь еще раз должен я коснуться печатных источников, чтобы противопоставить благодушие старинного украинского простолюдина не менее своеобразному благодушию нынешнего. В «Устном повествовании очевидца, бывшего запорожца Николая Леонтьевича Коржа» приводится следующий рассказ о способе, каким на Запорожье решали тяжебные дела. Передаем его вкратце, подлинными словами рассказчика. Когда случалось, что два казака поспорят или подерутся на зимовниках или скотом потравят хлеб или сено, то оба они, купивши на базаре по калачу, идут «позываться», судиться, в паланку, околоток, к которому принадлежат, и, положивши калачи на стол, становятся возле порога и кланяются судьям. Судьи начинают спрашивать: «Какое ваше дело?» Обиженный рассказывает первый. Судьи опрашивают обидчика. Обидчик сознается, что действительно ему «шкоду сделал» и в хлебе, и в сене, но не может его удовольствовать, потому что тот «лишнее требует». Паланка тогда посылает освидетельствовать убыль обиженного и опять спрашивает обидчика: «Что же, братчику, согласен ты заплатить?» Обидчик опять отвечает, что он и «рад бы, да тот лишнее требует». Тогда паланка обоих их отсылает в Сечь. Тут новая история. Тяжущиеся избирают курень обиженного. Вошедши в курень, они кланяются атаману: «Здоров, батьку!» — «Здравствуйте, садитесь! Ну, в чем дело?» Ему передается тяжба. Зовут атамана куреня, из которого обидчик. Оба атамана уговаривают их помириться, чтобы даром «не мордували» начальства. Никто не берет, и обидчик стоит на своем, говоря: «Что же, когда он лишнее требует». Тогда атаманы говорят: «Пойдем все четверо к судье». Казаки покупают опять калачи и идут к судье. Тут та же причина: оба стоят на своем. Тот говорит: «Он меня обидел», — а тот: «Он лишнее берет». Видя, что ничто уже не поможет, тяжущиеся

и атаманы идут в курень кошевого. Калачи также кладутся, и также рассказывается вся история. «Ну, — спрашивает Кошевой обидчика, — так ты не согласен обиженного продовольствовать?» — «Ни, ясневельможный пане, — отвечает обидчик, — не согласен!» Кошевой выходит из куреня и кричит своим челядинцам: «Сторожа́, киёв!» Слуги бегут и несут палки. Тогда вельможный говорит: «Ну, ложись, братчику! Вот мы тебя проучим, как пра́вду делать!» Казак ложится, а кошевой говорит: «Сторожа́, на руках и на ногах садитесь; бейте его добре киями, чтоб знал, почем ковш лиха!» Когда кии «начнут между собою разговаривать» по ту и по другую сторону, виновный казак «все молчит и слушает, что скажут». И когда его уже хорошо попотчуют и кошевой при этом скажет «все, что нужно», его отпускают, спрашивая: «Может, тебе еще прибавить?», — на что, разумеется, тот уходит без оглядки и вперед уже в суде не «позывается». Вошло в пословицу, что ни о ком в свете нет столько анекдотов, как об англичанах и малороссах. Большая часть рассказов о последних относится непременно к чумакам. Стоит сойтись кучке русских с украинцем, речь о лукавстве и лени чумака заходит при первой шутке. Есть даже специалисты в этом роде. Большая часть этих анекдотов, без сомнения, ловкие выдумки, ради красного словца. Но, надо сознаться, эти выдумки основаны прямо на природных свойствах наших героев. Известен анекдот о чумаке, с которого сонного сняли сапоги. В Москву чумаки в прежнее время, за недостатком хороших сообщений, на своих волах часто возили шерсть, соль и хлеб. Там в особенности ходит много о них рассказов. Известен анекдот о чумаке, которого часовой в Кремле хотел оштрафовать за считание галок на Иване Великом. Одному чумаку товарищ на ярмарке жаловался, что у него украдены деньги, которые он было спрятал на возу. «Э, бо ты дурень! — ответил ему товарищ. — Ты б так сделал, как я!», — показывая, что он деньги спрятал за пазуху; но, не нашедши их там, начал искать за голенищами, потом в шароварах, приговаривая: «Ты б так сделал,

как я!» Оказалось, что и у него украли деньги. Ехали два чумака на одном возу и вели отвлеченный разговор о земле, небе, светопреставлении и о домовых.

— А сколько, друже, скажи ты мне, будет верст до неба?

Тот вынул изо рта трубку, посмотрел вверх, сплюнул и ответил:

— Версто́в, может быть, семь будет!

Собеседник тоже посмотрел.

— Э! дурень, дурень! Где же там семь верст, когда ни одного шинка не видно?! Больше!..

А попробуйте чумака допросить о чем-нибудь! Он отвечает вашими же вопросами.

— Ты пьян, бестия? — спрашивает его после какой-нибудь схватки у корчмы становой.

— От чего ж я пьян?

— Да это видно; вон и на ногах не стоишь.

— Где ж я не стою?

— Да как же; вон от тебя и водкой несет!

— Как несет? какою водкой?

— Ну, да вон и другие говорят, что ты пил!

— А пусть тому и глаза вылезут, кто видел, что я пил!

В Крюковом Посаде, предместье Кременчуга, куда гужом привозится из Крыма соль и где ежедневно летом толпится несколько тысяч и десятков тысяч чумаков, споры и ссоры между последними бывают беспрестанно. Но как их судить? Какое терпение не лопнет при способе их отвечать и отделываться?

Один чиновник земской полиции рассказал мне следующий случай. Пришли два чумака судиться из-за кожуха (тулупа). Дело в том, что они шли из Перекопа с фурами и один другому дал во время жары на сохранение тулуп, а тот взял его да и пропил в первом же кабаке, пока приятель его тоже лежал без ног. Надо, значит, доказать, что один у другого взял тулуп и не отдал.

— А ведь мы же шли? — спрашивал истец.
— Шли.
— Мне же стало душно?
— Стало.
— Я же тебе его отдал?
— Отдал.
— И ты же его взял?
— Взял.
— Где же он?
— Что?
— Тулуп.
— Какой?
— Что я тебе дал.
— Когда?!

Минута молчания. Истец начинает снова:

— А ведь мы же шли?
— Шли.
— Мне же стало душно?
— Стало.
— Я же тебе его отдал?
— Отдал.
— И ты же его взял?
— Взял.
— Где же он?
— Что?
— Тулуп.
— Какой?
— Да что я тебе дал.
— Когда?!

И дело опять начинается словами: «А ведь мы же шли?» Чиновник кончил тем, что позвал «дневальных» и обоих тяжущихся высек... Но я бы не кончил, если бы продолжал приводить анекдоты о чумаках. Зимой чумаки предаются усиленной лени и редкой неподвижности, обусловленной полным довольством жизни и сознания, что еще осенью, получив чистый барыш по своему промыслу, они

окупили свои нужды. Изредка только чумак встанет с печи, отправляясь взглянуть на небо и на корм своих ненаглядных волов. Зимой чумаки сливаются с общим настроением быта всей Малороссии, и только привычному глазу заметны их личности, по несказанной, привольной лени, тяжкой на подъем и чуждой всяким треволнениям. Впрочем, видоизменения времени года невольно разнообразят и эту жизнь. Чумак все-таки член общей семьи, потому что собственно не составляет отдельной касты, а принадлежит к другим сословиям края: к государственным и помещичьим крестьянам, военным поселянам и колонистам. Среди сел он заметен только изредка, по своей зажиточности и устранению от общих дел. Вид его выясняется в поле, в степи, при первом дуновении весны и подножном корме для скота. Преемственность ремесла по обычаю, от деда к отцу и от отца к сыну, также кладет на него свой оттенок. Первый снег приковывает чумака к месту. С той поры одна его мысль — «выгодувать» (выхолить) волов к весне. И он кормит их сам или отдает на винокуренные заводы, на ба́рду. Пристроились волы, ему все уже остальное трын-трава. «Покою мий, покою любо мини́ с тобою!» — повторяет он и, со стойкостью истинного сына степи, смотрит с утра до вечера с печи, как жена хлопочет по хозяйству. «Ты печку затопила?» — спрашивает он, ощущая приятную теплоту нагретой печи. «Затопила!» — «А по́ воду пойдешь?» — «Пойду». — «А на дворе холодно?» — «Холодно». — Ну, нехай (пусть) соби́ (себе) же холодно!» — замечает он и плотнее прижимается в угол печи... А между тем дни идут за днями. Тепло было так уже давно, что и не вспомнишь.

Август-серпень сменился сентябрем, который на «пегих волах ездит» по полю и у всех, даже «у воробья заводит брагу» — довольство; октябрь-грязник ведет за собою ноябрь-листопад. А вот пришел и декабрь-студень. Бабы смотрят: если будут теплые святки, будут молочные ко-

ровы; а светлые святки, нёские куры. Разумеется, есть исключения; не все чумаки сидят зимою без дела. Новейшие барышнические наклонности обуревают кое-кого и из их брата. Есть такие, что держат по тридцати пар волов, для чумачества, да ими же в промежутках и землю обрабатывают, и наемщиков для этого держат для всех работ по хуторянскому хозяйству. У таких обороты большие, и всякая деньга идет в строку. Что делают люди, то и они. Зима у них не пропадает даром. Чуть птичка, именуемая суси́дкою, чиликая, прилетела на двор и накликала первый снег, за рекоставом приходят Егорий-с-гвоздем и Никола-с-мостом, окна наглухо законопатились, и груды замерзли. Бабы, благо в полях все работы уже кончились, тотчас принимаются по-зимнему приготовлять хаты. Образни́ца, осененная чтимою иконою Межигорской Богоматери, украшается воткнутыми пучками засушенных цветов желтой гвоздики, васильков и бессмертника. Иконы — все работы борисовских маляров. Страстна́я свеча припасена на случай пожара и грозы. Тут же в мешочке, для скоропостижных или «скорописных» болезней, привешивается ладан и артос, а для умирающих то полотенце, которым священник отирал с престола пыль. Над дверью, в стенной впадине, ставится «крещенская вода» для окропления перепуганных детей и видящих дурные сны.

Все бывает на хуторе, все пригодится. Надтреснутый обломок зеркальца вмазывается заново, близ голубого висячего поставца с посудой; хоть хозяйка сама и не молода, да к ней заходят молодицы, она для них и держит. В иной хате хозяину за восемьдесят лет, а хозяйке под шестьдесят, и оба бездетные. Тут также кипит работа. Хозяин, лет тридцать ходивший чумаком, уже только сидит дома да, вздев на нос рогулькой оловянные очки, коли грамотный, читает духовные книги и молится. А хозяйка, как сновала и тарантила, бранясь, в двадцать лет, снует и тарантит по хате и теперь. «Ах ты, горе мне с тобою, — восклицает она, ворочая лоханки и

перебирая в печи, — Боже ж ты мой, Боже! То ходил он, шлялся с фурами по свету, а теперь, как чурбан какой, сидит!» А смиренный хозяин, чистоплотный и всегда в белой рубашке, не обидевший жены ни одной побранкой с той поры, как женился, пока не стал весь белый как лунь, только почешет грудь да изредка скажет: «Ох, жинко, ты бы лучше на́ймичку (работницу) взяла! Смотри, ты уже стара и чуть ходишь; ведь тебе уже за полвека почитай есть!» — «Э! Нечего мотать; управимся и без нее!» И действительно, старуха управляется.

Чуть свет, бабы уже встают, или, как говорят в степи, рушатся. Иногда еще на дворе темно и солнце не скоро выглянет «с того света», а они уже вскочили, постель свернули в комок, подпоясались и идут из теплой хаты либо за водой, либо за топливом. Смотришь, в воздухе чуть только стало «благословиться на свет», а уже дым из труб поднимается. Хозяйка старается особенно угодить мужу обедом и потому знает для этого много средств. Любимые блюда при этом — хлебные с маслом и творогом: вареники, бала́буха, товче́ники; лими́шка, кули́ш, пу́тря и галушки, с пирогами всякого рода. Обедают на хуторе часов в девять утра или в десять. После обеда хозяйка, перемывши посуду, достает мотки прясть. С сумерками опять топится печь. Давши семье поужинать, хозяйка садится опять прясть и ткать, если умеет и если в хате стоит ткацкий стан. Тут без побранок хозяйка опять не обходится. И будь хозяин самого безукоризненного нрава, приноси с чумацкого похода все деньги сполна, читай в церкви Апостол на клиросе, а дома молитвы по праздникам, кури усердно ладаном в особой, поливяной курильнице по всем углам хаты, или, если умеет, в часы журбы́ снимай со стены гусли и разыгрывай канты и стихирны, она все-таки найдет, чем его попрекнуть. Отмалчивается со вздохом хозяин, зная, что зима не долга и с весною покажет он бабе хвост: ищи только! Эта черта покорности мужа жене общая на Украйне. Случаются там такие молодцы, что под брань хозяйки совсем обабятся и уже на домашнем хозяйстве ничем

от нее не отличаются: месят тесто, заправляют дрожжи, доят коров, шьют на сторону сорочки и ходят, как знахарки, шептать над больными, и даже к родильницам, в качестве повивальной бабки. Дает себя знать такой «бабич» только на гулянках, когда выпьет и пойдет, вспоминая юность, отплясывать в гопаке такие выкрутасы и выхилясы, что зрители только смотрят-смотрят и, покачавши головами, разойдутся. Ужинают на степи часов в пять вечера. Кто особенно не занят делом, тут же и ложится спать, чтоб не портить сві́тла. Часов в семь вечера на свободе уже не слышно человеческого голоса и только кое-где в окне брезжится огонек. Чумацкие слободы, то есть такие, где поселяне преимущественно занимаются извозом, самые богатые. Эти чумацкие гнезда, как их называют, известны на юге наперечет. Тут ведут чумацкий промысел гуртом, оптом. У иного пар тридцать, сорок и пятьдесят волов; а у другого при этом в найме еще десятин сто и двести земли, снята на откуп винокурня, лес, участок по винному откупу, человек тридцать рабочих, и в горшке, где-нибудь, замазано под печью или закопано в саду тысяч сто ассигнациями чистогана. А вы на то не смотрите, что он ходит чумичкою — в сермяге и порванных сапогах, снимая шапку всякому земскому и горожанину. За сапогом у него для оборотов полная киса... И чего, в самом деле, недостает зажиточному чумаку? Изба новая; хозяйка, глядишь, молодая, расторопная. Скота и птиц, хлеба и всякой рухляди вдоволь. А нет детей, и то не беда. Есть на это всякие знахарки, которые, кроме того, и все другое знают и делают: сбрызгивают сглаженных недобрым глазом, выливают «переполо́х», или испуг, заваривают «со́няшницы» от живота, лечат детскую чахлость и старческую вялость, шепчут на зубы, сводят «куриную слепоту», сговаривают бельма, открывают злые чары и дают «прогоревшим» и убогим на разживу «неразменный рубль». Есть и такие, что утешают тоскующее сердце, дают зелье на след худого человека, чары на ветер, по ветру отгадывают вора, заговаривают от случая в дороге, от крови и зубной скорби и ото всего избавляют:

от икоты, живота, от войны и мора, голода и семейных распрей.

Такие знахарки далеко известны, и, заведись хоть одна по соседству патентованного доктора, к нему не пойдут с хуторов ни ногой. И пока хозяйки хлопочут и суетятся, задают корм овцам и птице, прядут и шьют, стирают и полощут, муж старается ни на волос не изменить своего положения на печи. Место его там неприступно. «А ну, жинко, найди мою трубку!» — говорит он только изредка, и лень ему даже сказать, где лежит трубка. «Ищи там, где табаком воняет!» И она ищет, раболепно выполняя волю мужа: на то она жена. А в остальное время за то раздается ее брань, и она костит на обе корки.

А дни летят... Явился январь — сечень, за ним идет февраль — лютый, хотя уже и бокогрей. Первый дает себя особенно знать.

Но вот «трещи, не трещи, и минули водохрещи». Если на небе, в ясную морозную ночь «яркие звезды» — будути «белые ярки» у овцы. Семь метелей, по народному мнению, непременно сопровождают семь главных морозов: михайловские, введенские, екатерининские, никольские, крещенские, сретенские и власьевские. Были теплые дни на Петра-полукорма и Тимофея-полузимника. На Тараса не спи долго, наспишь «кумаху-лихоманку», одну из двенадцати лихорадок, где есть и «пятница», и «тетка», и просто «она»... Случись оттепель, гурьбы ребятишек высыпают на улицу. Они за холодами тоже, как сурки, спят под печкой с утра до вечера. Крики раздаются на улице. Ребятишки сделали из снегу головатого великана и кидают в него комьями. Взрослые к рождественским святкам охорашиваются и стар, и млад.

Важные хуторяне ходят с подбритыми затылками и подстриженными усами. Девки в лентах и красных сапогах, бряцая на морозе железными подковами у каблуков, подпрыгивают и пересмеиваются. Святочные песни поются на святой вечер. Прежде всего раздаются песни о Пречистой

Деве. Потом молодежь переходит к песням о любви: «Ой, рыбка ж ты, рыбка, ты моя пава, святый вечер!», «У нашего пана хорошая пани, святый вечер!», «У пана Ивана дочка стояла; она убиралась, в церковь снаряжалась. В церковь панночка взошла, как расцвела; тихо-тихо стала, та так и засияла. Тут миряне были, у нее спросили: что ты, королевна или царевна? — Я не королевна и не царевна — отцова дочка, панна Марьяна». Это колядки. Песни «щедривки» или подновогодние прославляют общую щедрость и гостеприимство: «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на весь вечер: пане господáрю, с праздником проздравляю!» На «Мла́нки» или Васильев вечер ребятишки собираются гурьбой и идут с мешками по морозу под окнами, стучась в подоконницы и двери и распевая: «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кольцо колбаски!» Хозяева хат поднимают окна и, благодаря певцов, кидают мехоношам кто хлеб, кто кусок пирога, кто колбасу или лепешку. А взрослые девки, взявшись под руки, ходят толпою по улицам и поют: «Ивашко встал, луком забряцал; зовет братьев в поле — там кузница на дереве, а девка в тереме». Вдруг сыплются на девок из-за угла хаты или из-за сугроба снежки. Проказы парней угадываются, и девки их поддразнивают новой песнью: «Поехали парни на ло́вы, до зеленой дубровы; там поймали комара-звонаря; стали они суды судить, стали комара делить». Утро Нового года особенно заветно счастливому хозяину. Если, по обычаю, севши с вечера под этот день за стол, он за грудою пирогов не увидит против себя сидящей хозяйки, то, значит, долго можно ему будет спать на заре. В этот вечер крестники и крестницы дети одеваются чисто-начисто и сходятся к крестным отцам и матерям, неся в мисочках пирог, хлеб и квасок, кланяются и говорят: «Батько да матерь прислали вам этого; вечеряйте на здоровье». А наутро довольного хозяина угостят подарком особого рода. Толпы своих и чужих детей, ожидавших у порога только первого дневного луча, врываются в хаты с рукавицами, шапками и платками, полными зерен гречихи, овса, гороха, проса

и другого хлеба, швыряют зерна по хате, в усы и в бороды хозяев и приговаривают все разом: «На счастье, на здоровье; уроди, Боже, жито, пшеницу и всякую пашницу! Сито, сито, кидает жито, куда махнем, там и хлеб найдем; с того колосочка будет муки бочка! Мы того желаем, с праздничком поздравляем! С Новым годом и с Василём!» Хаты гладко-нáгладко выметены и вычищены. В глиняных курильницах у образов курится ладан. Священник заходит с крестом и молитвою, освящает и кропит святою водою все окна, двери и домашние предметы, на счастье и довольство целого года. Хозяева, в чистых рубашках, только поклоны кладут, потряхивая кудрявыми головами, и подводят к кресту детей и внуков. В праздник двери всякому отперты. У иного сидит в гостях кум из соседней слободы, у другого бедненький родич, у третьего бессрочно-отпускной солдат из своих же соседей. Хозяин рад гостю и потчует его, чем Бог послал, а хозяйка уже и души в нем не чает, лишь бы был солдат да ласковый. Случись же на юге моряк, так не знают, чего ему и поднести. В село Падалицу, близ Ворсклы, пришел лет двадцать назад, Бог весть откуда, отставной матрос, без роду и племени, сделал на свободе хозяину одной хаты деревянную ложку, с якорем на ручке, понравился ему и до сих пор там живет, любимый всеми. Никого не беспокоит вопрос, зачем он тут и когда уйдет. У него неимоверной величины бакенбарды, которых он половину запускает за воротник. Окруженный иногда мужиками, которые захотят посмотреть еще раз, «каков-таков есть на свете матрос», старикашка, уже весь белый, как пух, обыкновенно бодрится, говорит: «А смотрите, какие у меня бакенбарды!» — вынимает бакенбарды из-под воротника и показывает всем окружающим. А окружающие говорят: «Вот оно что; вот он каков-таков на свете матрос!» — и расходятся от него, качая головами...

На святках справляются девками любимые их гадания. Много трогательного в особенностях украинских гаданий. Сборы начинаются с песен. Передаю некоторые из них в

переводе, насколько можно передать особенности местного говора. Кто побойчее, начинает общеизвестными о любви, и потом это изменяется на десятки ладов.

«Ох, ты, красавица, горда да пышна; отчего ко мне с вечера не вышла? — Ох, как же мне выходить, станут вороги судить! — Пускай судят, как и разумеют; придет пора, что и не посмеют!» Идя в избранную для вечерушки хату, поют:

Уж все куры на нашесте,
Петух на пороге;
Уж все парни на улице,
А мой на дороге.
Не топила, не дымила,
Стало в сенцах дымно;
А как выйду я из хаты,
Станет ему видно.
Чьи-то пчелы середь сада;
Мои по долине;
Ох, кто любит черны очи,
А я — голубые!
Ох, месяц ты, месяц ясный
Не свети другому,
Только милому, как будет
Он идти до дому!
И не видно ж его дому,
Видно только грушу;
Туда ж, туда позывает
Рано-поздно душу.
И не видно его дому,
Видно только дубчик,
Возле него, недалеко,
Живет мой голубчик!

Веселье охватывает всех. Выражения песен становятся еще жарче, еще ласковее:

Ох, когда бы мне да те уж маляры,
Написали бы мне милого они,
Написали бы мне малого они
Край кровати, изголовья, у стены!
Написали б мне в подарочек его,
Как на пташку б все глядела на него!
Написали б против самого стола,
Все глядела б на него, на сокола...

Или такая:

Ох, на горе, под горою,
Сидит голубь с голубкою;
Они себе целуются,
Целуются, милуются...
Когда б моя красавица да такая,
Как голубка у голубя молодая;
Я ее все целовал бы, миловал,
А до печи бы кухарочку нанял;
А уж к ней самой татарочку...
И я сам бы по водицу ей ходил,
Мою б милую за рученьку водил!

Сборы кончены. Хата наполняется подругами. Гадания начинаются, и в этом случае без участия мужского пола, занятого в тот вечер другими своими весельями. Одна за другою вошли молодые подружки, и все не с пустыми руками. Та под полой шубы, тайком от матери, принесла яиц и масла; другая принесла петуха; третья — пару кур, муки и соли; четвертая — пшена и молока. Все это похищено у матерей, а нередко и у соседей, что, впрочем, не строго взыскивается обычаями вечерушек. Водка покупается на общую складчину по грошу или по гривне. Начинается топка печи, мешение теста для пирогов и сдобных лепешек; при этом шум, смех и новые песни. Зажженная лучина освещает разубранные головы и шитые рубахи. Между хлопотами рассматриваются наряды. «Вот сумасшедшая! Говорит, что не пойдет за Прокопа Микищенка! Слышите, сестры? — восклицает круглая, увесистая девка, румяная, как пион, и с звонким, как трещотка, голосом. — Ну, чем он не человек?» — «Человек хороший, да я уж знаю, отец ее отдает за писаря!»

Слова относятся к дочке чумака Терешки Головни, невольно первенствующей между подругами. Высокая, полная, с русой косой, шириной в ладонь и на голове с целою лавкой лент, алых, синих, зеленых и парчовых, стоит она в пол-оборота к огню, степенная и гордая, не двигая ни рукой, ни бровью, как истинная богачка-хуторянка, и слушает даже с опущенными глазами. Большие серые глаза так и смотрят в душу, а брови,

широкие и черные, как два подорожных жука, сошлись и не расходятся. Не всегда она так носит косу. Иногда подберет ее и расплетет ее надвое, положит на голове, укрыв ее только запросто одним венком из темно-синих васильков или утыкав всю ее маком, гвоздиками и калиной. На плечах зеленая шерстяная кофта, на ногах красные сапожки, на шее пять или шесть ниток мониста, красных и синих гранатов, наследие еще ее покойной бабки. Изредка только она усмехнется. Таких красавиц читатель видел, вероятно, не раз в Малороссии. «Ну, скажи, скажи, — допытываются у нее подруги, толпясь к ней и рассматривая то монисто ее, то серебряный дукат на груди, то самую сорочку, — коли отец силой отдаст за писаря, что ты тогда?» — «Утоплюсь, а не пойду!» — твердо отвечает пышная красавица, причем только подвески дрогнут в ушах. На это раздаются восклицания ужаса и удивления. А маленькая, востроносая девочка, рябая и всего двенадцати лет, тем не менее тянувшаяся везде за большими и до этого с молчаливым изумлением глядевшая на все, при этом даже вскрикивает и выпускает из рук припасенного живого петуха. В напряженной памяти ее надолго, до поздней старости, остается виденное: и печка с горшками, и тесто на столе, и толпа подружек, и гордая красавица в шерстяной кофте и с дукатом. Но вот пироги замешены; лепешки с маслом, называемые орешками, обжарены; сделаны еще и сластёны, род оладьев, плавающих в масле; и пиво вынуто на стол. Начинают есть и гадать. Прежде всего набирают в горсть кутьи, также припасенной на сходке, и, выбежав за ворота, слушают, где отзовутся на селе голоса или в дальнем поле лай собак. Дыхание затаено. Где послышится звук, там и суженый. Морозная, звездная ночь дышит чутко; там потрескивает от холода плетень, там раздается по ветру говор под корчмою, оттуда несутся крики и будто смех, точно в той стороне тоже гадают и парни перехватили гадальщиц. «Пойдем скорее и мы, а то еще и нас переймут!» — говорят они и, обмерзнувши, гурьбой бегут в хату, долго постукивая каблуками в сенях. «А что, не загадать ли на семя?» — «Давайте, давайте!..» У многих оказывается в башмаках, на левой

ноге, на дне, конопляное семя, гостившее там уже целый день. Его высыпают, подбирают и несут из хаты на дровни, где дрова лежат, или на куросáдню, где куры на ночлег садятся, и там посыпают им по земле, приговаривая: «Кто мой суженый, ряженый, с тем я сегодня во сне буду коноплю брать!» Затем, кто побойчее, вызывается подслушивать под окнами и на слышанном основывать свои догадки о судьбе. Для этого вызвавшаяся берет теплый пирог из печи, приглашает с собою двух-трех помощниц и бежит сторонкой под хатами, останавливаясь и подслушивая, пока не простынет пирог. Отряд несется, высматривая чутко, нет ли засады парней, и с торжеством или уныло возвращается в хату. «Ну, что, ну, что? Слышали?» — «Слышали, да ничего хорошего! Стоим мы, а в хате у Максима тихо, тихо, точно никого нет, и кто-то хнычет; должно быть, сирота его, Оксана!» Или: «Как пришли мы, а старик Бобрик и потянулся за столом, зевнул да и говорит жене: сватать — не сватать дочку, а отдавать замуж, так уж и припасай шубу!» А иногда выходит просто чепуха. «Смех, да и только, сестрицы; пришли мы к хате бочарá Карбованца, а он, должно быть, пьян, что ли, и говорит: шельмовский, говорит, индюк; не дает спать, скребется под лавкою; я тебе, говорит, такому-сякому!» Гадание на петуха и на кучки ячменных или других зерен, рассыпанных по полу, с мысленным значением такого-то и такой-то заключает гадальный вечер. Шум и гам поднимаются по поводу разных сметок и открытий. Только что вдоволь развеселились и уже, как это бывает, все разом говорят и ни одна не слушает, когда в припертые снутри, на случай парней, наружные сенные двери раздается сильный стук. Все замирают от испуга. «Это, девки, хлопцы!» — «Куда хлопцы, это вернулся сам старый!» — говорит шепотом подружка-хозяйка, за отлучкою отца в город тайком пустившая к себе гостей на вечерушки. С этим словом в печь вкатывается ведро воды, огонь гасится, горшки впопыхах летят под лавки, стол очищается, заслонка приставляется к печи, и гостьи, ухватив что попало из принесенного, выскакивают в сени и прячутся в камóре, на чердаке и за бочками. Нежданно воро-

тившийся хозяин входит и шарит по хате впотьмах; причем дочка, соображая в уме, ушли ли вовремя подруги, недвижно лежит на печи, будто спит как ни в чем не бывало. «Что за бес! — ворчит долго еще старик, не найдя огня и шаря по лавке. — Точно домовые какие или овцы повыскакивали из-под ног, как входил, да и пивом будто пахнет!» Гадания для иных еще зимою сбываются. В одно утро дочка заботливого отца только что оделась и принялась за работу, в окно постучали. Отец переговаривается с сватами, перевязанными через плечо ручниками (полотенцами). «Мы слышали, что у вас есть гусочка, а у нас есть гусачок, — говорят сваты. — Так как бы сделать так, чтобы их спарить и чтобы они уже вместе ходили и паслись?» На это отвечает отец: «Рады господам сватам, милости просим!» — и «ручники забраны», сватовство устроено. Разнообразные обряды свадьбы занимают надолго тихий уголок... Но что это? Неужели уже зима отходит?

Февраль-бокогрей невидимо и негаданно уже вносит первое чуткое тепло. В воздухе еще по временам морозит так, что пока успеешь ухватиться за нос, а он и побелел, галки кружатся веселее. Не оглянешься, как и верхние колья плетней, и углы хат на подсолнечной стороне в полдень, сегодня робко затаяли, к вечеру опять обмерзли, а завтра и обнажились вовсе от снега. Небо становится ласковее, голубее. Почесывается и чумак-хозяин, чаще вставая с печи, где пролежал всю зиму, и чаще наведываясь к волам. Волы — первая забота чумака. Они имеют большое значение вообще для целой Малороссии, и как рабочая сила для хлебопашества и перевозки тяжестей, и как предмет торговли, где продают их гуртами на убой для мяса и сала. Кроме того, здесь от рогатого скота идут в торговлю молоко, кожа, шерсть, рога и кости, и для топлива так называемый кизяк. Молочным сбором питается вся семья; на волах пашется земля, и ими же производится весь чумацкий извоз. Многие занимаются скупкою бычков нескольких месяцев, откармливают их и продают по второму и третьему, получая за рубль десять рублей. Но ничто не сравнится с переносчивостью собственно

чумацких волов. Какова должна быть их сила, когда от ранней весны вплоть до поздней осени они возят на себе по 50 и 60 пудов тяжести на парном возу, совершая в это время в три конца, в Крым или на Дон и обратно, до 2000 верст, и еще в промежутках по две и по три недели таскают на себе плуг! За то же чумацкие жены зимой холят телят в хате, молоком и всякими пойлами, почти наравне с собственными детьми, а сами чумаки ничего не жалеют для своих волов. Они ищут рослых, крепких и выносливых животных. У иного чумака держится пар десять, двадцать и тридцать волов, и все на подбор, серые, смурые, черные и поло́вые, так часто воспеваемые в песнях. По пятнадцатому году хорошие, а по двенадцатому и десятому похуже, волы уже бракуются и продаются гуртовщикам на убой. Собственно причина брака — ранняя потеря зубов, которая при зимнем корме на теплой ба́рде, имеющей еще свойства окисляющие, является и того ранее, именно на восьмом и девятом году. Барда, жижа, остатки от хлебного вина, вытекающие в виде киселя в особый чан ежедневно при винокурении на заводах. Там она несколько остывает, и ее черпают в корыта для пойла состоящих, по условию, при заводе волов, коров и свиней из околотка. Чумак, имеющий несколько пар волов, если не сам идет, то нанимает на это время работника. Он является на винокурню и условливается с хозяином ее, сколько ему нужно ежедневно барды и почем за четверть ее, отпускаемой каждый день, в продолжение винокурения, то есть от начала октября до весны. Волы на этом пойле становятся тучны и жирны, что особенно помогает при продаже гуртовщикам на убой старых, беззубых волов, не могущих уже откормиться на сене; но эта тучность не продолжительна и проходит скорее, чем если бы волы были откормлены на хорошем сене. Одно можно сказать, что почти без исключения на всех винокуренных заводах в Малороссии на зиму чумаки откупают барду и с весною не нахвалятся видом скота. Повсеместное же падение винокуренных заводов от уничтожения вольной продажи вина в Малороссии в последнее

время оказало дурное влияние на скотоводство. Чумак без барды не обойдется. Может быть, это еще происходит от той же лени, легко допускаемой при таком нетрудном уходе за скотом. При корме бардою, во избежание болезни десен и языка, волам дается вперемежку еще небольшое количество соломы. Падежи, почти поочередно, в пять и в семь лет раз, уничтожают огромные стада рогатого скота на юге. Кроме того, от дурного ухода, засух, раннего изнурения работою и неосвежения стад новыми породами убыль и измельчание степного рогатого скота ежегодно становятся более и более заметными. «Любовь любовью, а свекор свекровью», — говорит пословица. Несмотря на все заботы о волах, чумак иногда с ними выкидывает странные вещи. Ни с того ни с сего возьмет да и прогуляет их до одного где-нибудь в корчме. Я знаю любопытный случай. Брат знакомца моего, богатого торговца сушеными грушами и чумака под Ольшаною, Харьковской губернии, Николай Сизён пошел за рыбою на Дон с пятьюдесятью парами волов, зазимовал там в ожидании лова рыбы и весеннего пути, для возвращения восвояси, да где-то на линии, близ речки Белой, всех их, до одного, и пропил... Под Изюмом, где в семье у одних чумаков по имени Забашты считается до ста пар волов, и у всех двухсот окольных чумаков до двух тысяч пар волов — для перевозки в донские земли и в Крым глиняной посуды, главных поделок окрестных поселян, а оттуда рыбы и соли, — подобные проделки также бывают часто. В нынешнем году от повсеместной засухи на юге начался снова сильный падеж по Донцу и по Торцу, Харьковской губернии, и в других местах юга. Мер к прекращению падежей доныне не открыто никаких; предохранительные же средства мало действуют, по общей беспечности народа. Когда Текели брал Сечь, немецкого генерала удивило, что столь славные запорожцы едят из простых корыт. Старшины и отвечали ему: «Хоть с корыта, да досыта, а хоть с блюда, да до худа». Этой пословицы придерживаются доныне все зажиточные истинные сыны Украйны. Как бы ни был богат малоросс-простолюдин,

он не оставляет своих привычек ходить в той же грубой суконной свитке и бараньей шапке, также держит в строгости и умеренности семью, не давая воли жене на мотовство. Только в хате его чище и просторнее. Стол гладко выструган и покрыт белой скатертью. На нем постоянно лежит свежий хлеб с солью. В печи рядком и на полках стоят лоханки и горшки. У двери ушат с водою и дижа для опары хлеба. Всякий хлам развешан на длинной жерди, от печи до другой стены: заячья шубка дочери на голубом китайчатом подбое, лисий шушун хозяйки, крытый зеленой полосатой набойкой, шаровары самого хозяина, мотки шерсти, шитое полотенце и связка лука. Из-под этой рухляди глядит с запечки неподвижное лицо счастливого хозяина. В ожидании весны он дремлет за трубкою, зевает и рассматривает, как утром луч солнца прорежется и осветит край печи, порог и кадку с водою; как к полудню он перейдет на пол, протянется от потолка вдоль потемневших от времени икон и к вечеру исчезнет, оставивши все в темноте. Или следит, как, за отсутствием по работам во дворе хозяйки, тишину хаты нарушает только одна любимая хозяйкина хохлатая наседка: то чопорно выйдет одна с хохолком на голове из-под лавки на середину хаты и бережно ступает, поводя головой и рассматривая, нет ли кого у миски с кашей, забытой на столе, то опять скроется под помост, на отсиделое гнездо свое, и по полу, усыпанному свежим песком, только останутся значки следов от осторожных ножек ее... Уже старинных запорожцев изображали сильно ленивыми и неподатливыми на подъем. Насмешливые картины на самой Украйне в каждом кабаке представляют их с этой стороны. Под одной подпись: «Сидит казак на жнивье да штаны латает; жнивье его... в спину колет, а он жнивье лает». Другая подпись говорит: «Казак когда не пьет, так блох бьет, а все-таки не гуляет». Не гуляют с этой стороны и нынешние представители запорожцев. Киргиз по целым дням способен просидеть на кургане, поджав ноги, и с его вершины глядеть в туманную даль родной степи. Чумак также может по целым неделям

зимой не слезать с печи и глядеть оттуда то в потолок, то на пол, то на стены, куря трубку и едва-едва пророняя ленивые слова. Зато чуть пахнуло весной, чуть потянул с юга знакомый, особенно теплый и полный какой-то музыки и обаятельной неги ветерок, он уже на ногах. Грудь его высоко вздымается, он подтянул пояс, тревожно глянув в окно, и говорит жене: «А что, жинко, должно быть, уже весна на дворе?» — «Может, и весна!» — замечает покорно и робко жена. И оба выходят взглянуть на порог хаты, смутно вглядываясь в окружающее...

II

Весна

Предшественники весны. — Степное половодье. — Постепенный возврат зелени и появление птиц. — Чумацкий хутор. — Общее между вербой, волом и чумаком. — Календарь весенних примет и поверий. — Веснянки. — Весенние чумацкие ярмарки. — Первые подряды в отъезд. — Новейшее видоизменение чумацкого промысла. — Чумак Андрей Сизён. — Павло Бобрик. — Сборы в путь. — Сорочка, прощание. — Роль петуха. — Отъезд

Та вже́ же весна, та вже́ кра́сна
Из стри́х вода капле:
Ой, вже́ ж тоби́, чумаченько,
Мандривкою па́хне.

Народная песня

Весна действительно близко...

— Э! Да и бесова же была зима; дала, чтоб ей не легко было, знать себя и лысым, и плешивым! — говорит чумак, поглядывая на возы и стоя уже на крыльце, против солнца, в рубахе и без шапки. Белые клочковатые облака как-то неспокойно бегут в вышине. Что-то незримо подступает. Еще в воздухе морозит, еще под ногами хрустит, а в лицо пашет уже приветливым, праздничным теплом — не теплом, а чем-

то на него похожим. Как выйдешь в полдень и станешь середь двора, кругом слышится какое-то движение. Вдохнешь свежий воздух, точно вдохнул легкий пар вина. Кажется, хмель струится всюду. И куда ни пойдешь, то же самое. Каждый, входящий в хату, вносит с платьем своим свежесть и благоухание: от шапки, рукавиц и пояса пахнет весною... И она не за горой: огромный, тощий, исхудалый грач летит, каркая, над снежной поляной. Рыжий байбак вскидывается от зимней спячки, становится на задние лапки у норки и пускает по степи пронзительный свист. А вот и цапля. Низко летит она, Бог весть откуда, и, тяжело взмахивая крыльями, опускается на еще обледенелые реки. Не оглянешься, как в одно прекрасное утро земля просыпается в зареве тревожной, туманной и теплой, весенней зари. На севере для водворения весны, как для будочника или дворника, нужны заступ и лом, топор и лопата, и долгий-долгий майский зной. На юге весна приходит и водворяется разом, снимая и унося зиму врасплох. На севере солнце еще церемонится. Тут же ничто не превозмогает его ликующей силы. Выглянет оно из-за вершины пологого косогора или из-за леса и весь день смотрит без устали. Под палящими лучами его, как по мановению волшебника, все дымится, обрушается, шумит, ревет и в парах и в тумане улетает в небо. Улетают сугробы и наметы, кряжи и снеговые водопады. Вчера еще перед глазами вдали оттенял поле белесоватый кряж холма, кое-где только тронутый еще черными подпалинами. С полудня тогда же он точно задымился и в море солнечных лучей будто стал колыхаться, плавая в тумане. Прошла ночь, снега уже нет. А на месте его, через новую ночь, проложены уже свежие краски новой яркой зелени, как будто выросшей под снегом.

Едва успели упасть с крыши первые брызги капели, под косвенным утренним лучом быстро затаяли болота и ложа родников, и вся окрестность превратилась в сверкающие водные стекла, по которым от ветра бежит и стелется паутина. Пронесся слух, что затопило соседнюю балку, громадный

степной овраг, изобилующий приземистым кряковистым лесом. Деревня в волнении. Балки очень опасны. При затоплении их пути прерываются. На вид они ничего. Иногда подъедешь к ней, смотришь, она почти пустая, снежок облегает бока, и на дне воды по колено. А въехал, не успеешь добраться до другого берега, как где-нибудь подмытый сугроб прорвало, вода хлынула, затопила балку до краев, и воз с путником, всплывая и вертясь в мутном потоке, уносится по течению. Хорошо еще, если его скоро выкинет на берег или он зацепится где-нибудь за дерево. Несчастий на этих балках не обираются, и никакие мосты на них не удержатся. За балками идут степные речонки. Смотришь, грязная, ничтожная, летом едва сочится в тине или между камышами, а тут разлилась и раскидывается версты на две по лугам. Тогда переезжают через воду на плавучих помостах, которые ходят не по канату, а отводятся на веслах выше по берегу и пускаются по течению, при помощи руля. Водою выносит их версты полторы или две ниже, причем не обходится, чтобы сколоченный наскоро помост не покачнулся и не упали с него в воду либо стог сена, либо испуганный шумом реки вол, либо шапка зазевавшегося поселянина, либо сам поселянин. На самых больших реках в степи нет еще сносных мостов, и, например, на Донце в Изюме, где пролегает важная отрасль чумацкого пути, устроен для сохранности такой мост, что лед идет в половодье через него. Вскрытие реки в деревнях встречается как праздник. Чуть «щука хвостом пробила лед» и он тронулся, на берег высыпает целая деревня. Начинается с любопытства, но потом все тут застаиваются и проводят целые дни, кто с лоханкой, кто со взятым под мышки бельем, когда его еще нельзя мыть в реке, а кто и так, ради говора и соображений других. Тут же появляются гречаники на лотках, сластеницы с жаровнями, и открывается настоящий рынок. А вода бежит, шумит, сносит плотины и мельницы. Мальчишки среди улиц, пересеченных такими же реками и ручьями, в малом виде ставят на руслах из дощечек самодельные мельнички и заплетают

из прутиков и соломы плотины. К вечеру как будто подморозит... Выйдешь на крыльцо, кругом тихо, только дальняя собака где-то лает. А между тем в темноте кругом раздается прерывистый плеск и неугомонное шуршуканье бегущей под заборами и в разных уголках воды. По целым часам стоишь и слушаешь, как вода то закипит под плотиной за селом и шум ее мимоходом долетит с ветром в тесный дворик, то зашевелится и зашелестит у сарая, пробуравя тихо норку под сваленной у плетня соломой, то мелкими звонкими каплями, как горох или дробь, посыплется впотьмах с крыши, будто льдинки обхватило бродячим теплым ветром и они под его струей вдруг затаяли...

Прежде всего показывается мелкая прошлогодняя зелень. Сок еще не всходил по ветвям. Но из влажного, пригретого чернозема уже пробиваются первые травы, тут же на юном росте прямо и расцветая. Кажется, что они выходят из земли не стебельками, а готовыми уже венчиками. Голубые колокольчики пролесков сменяются лиловым рясом, ряс сменяется желтым редисом и ландышами. В марте потянулись первые стаи журавлей, прилетели жаворонки; за ними явились утки, ласточки, аисты и ежи. В апреле прилетела кукушка. Лесной кулик порхает у корней еще обнаженных деревьев. Соки в последних восходят выше и выше. На гладеньких сизоватых сучьях появляются первые цветовые куколки. Еще листьев нет, а из мелких почек уже выглядывают востроносые лепестки белых молоденьких венчиков. Прошел день, и не узнать где-нибудь целого угла в затишье сада. Яблоки и груши цветут позже. Терн и черемуха начинают прежде всего. Приземистые, тонкоствольные кусты терна, точно выточенные гладкими прутиками из лилового коралла, усеиваются натыканными без числа молочными шариками. Еще день, терна опять не узнать. На ветвях все еще ни листочка, а шарики распустились звездочками и в одну ночь окинули кусты точно снегом или пухом. Все сливается в белую стену. Будто выросли из земли серебряные

кусты. И от них несет острым запахом меда. А кругом еще шумнее. Появилась в болоте лягушка; за нею показался комар и мошка. На вскрывшиеся, еще липкие побеги листьев вяза и липы прилетел, жужжа, рогатый майский жук. Показались грозные тучи. На отростках озими отродилась гусеница; на листьях ясени явились «майки» — шпанские мухи. Ударил первый гром. Сада не узнаешь. Там на дорожках уже чернеют ямки и дырочки пауков и козявок. Подорожный жук, по обычаю, ползет уже задом к своей норке и катит туда через соломинки тщательно и суетливо скатанный из всякого хлама шарик. Бирюзовая букашка поднимается с листка и, проносясь в воздухе, раскидывает на диво несколько пар кисейных и чешуйчатых крылышек своего нарядного панциря. А вот и соловей. В глухом, приземистом кусте крыжовника сегодня он звякнул невпопад, как будто не выпелся и не узнал еще собственного голоса. Даже покажется, будто к ночи, при неудачном начале, он и улетел. Но приходит другая, тихая и душистая заря. Тот же соловей перебирает уже смелее свои лады. Завтра ему то там откликнется товарищ, то здесь двое или трое. Через день вы насчитаете их в своем саду, на десятине и того менее земли, чуть не дюжину. А послезавтра, когда чуть станет брезжиться день, или, как говорится, «благословиться на свет», они отзовутся под окнами, всякие ожидания будут превзойдены. Сад застонет от криков, свистов и песен соловьиных и не соловьиных. И это пойдет до конца весны. Притом же, что ни день, то опять обновка. Там распустилась шелковистыми кудрями береза, здесь клен стал из клейких комочков выпускать свои зонтичные листки, точно сжатые пальцы из зеленого кулачка. Зацвели яблоня и груша, первая розовыми, вторая белыми чашечками. А яркая зелень уже устилает землю и глушит между деревьями. Толстобрюхие, череватые ящерицы шныряют в траве. Станешь в полдень, когда уж жарко и ищется невольно тени, под столетнюю грушу,

усыпанную цветами: по ветвям ее снуют без числа, с звонким жужжанием пчелы, и кажется, что это не груша, а все натянутые струны, из которых каждая сама звучит как очарованная. И как быстро развивается девочка, вчера еще дитя с отрочески-неокругленными и неразвитыми членами, так же быстро развивается и вся эта окрестность. Нежные распуколки дали цвет; все одевается в зеленые и пестрые брачные уборы. Еще три-четыре недели, и природа, как мать, нежно прижмет к груди своей новых нарожденных детей домовитой и хлопотливой семьи своих воздушных и земных обитателей.

День вырос. Труженики зимы, портные, скорняки и ткачи, выносят, по обычаю, со смехом и толкотней во двор обверченную нитками зимнюю мучительницу, *свечку*, и там секут ее кнутом, приговаривая: «Теперь весна, а не зима; лежи до осени, а нам посветит и солнце!» Не более чем где-либо в это время забот и хлопотни на чумацких хуторах.

Поведем туда читателя, и поведем в самую глушь, в один из отдаленных старозаимочных чумацких хуторов, хоть, положим, близ Днепра, к чумаку Роману Бала́бухе, которого дед, тоже Роман, как выселился в сердцах из села Кононовки, где ему стало тесно, и как сел хутором на дороге, в овраге, близ Днепра, так хутор тот и назвался *Роман при дорози*.

Но если вы пойдете, Роман при дорози откроется еще не скоро. Прежде вы будете идти степью, мимо озер, где то там, то здесь откликается крик дикого гуся или журавля, а направо и налево идут громадные зеленые, цветущие лесами балки. В стороне, чуть накалится воздух, над дрожащей чертой синеющей дали показывается ма́рево, мираж, созидает и рушит под степью, то выше, то ниже, либо реку, либо лес, или целые очертания туманных городов и башен, с остриями каланчей и рядами домов. Волны этого марева становятся то белыми, то сизыми, как дым, то зеленоватыми и, плывя, исчезают за холмом, на котором обрисовывается

издали очерк длинноногого журавля, который заснул на одной ноге, поджавши другую и выставивши на воздух острый нос. Вы идете ближе к поворотке, мимо одинокого колодца, где прохожие стада поятся в полдень и вечером. Из-за косогора мелькает какой-то шест и выставляется рогуля: то показываются верхи деревянных «журавлей» на колодцах хутора, еще скрытого под горой в овраге. Вот и сам хутор. Пять или шесть хат, врассыпку, торчат по откосам трех оврагов, сошедшихся здесь в один огромный лог. Между хатами взбираются на гору и идут книзу сады. На дне лога белеют тремя уступами три пруда, один ниже другого, соединенные плотинами. Огороды окружают их влажные бока. Это все дело рук старого Романа и его нового потомства. Но вас поразит глубокое молчание хутора. Ни один звук не долетит в это время до ушей, разве только отзовется где-нибудь, роясь на куче сора, петух да при входе на хутор взовьется от пруда и с хлебного тока, отодвинувшегося в бок от хат, согнанная появлением гостя исполинская стая голубей, которая взлетит и, кружась, застелет на время от солнца весь лог. Это значит, что время спорое и что хозяин шутить весною не любит: всё, что было на ногах, как говорится, до последней кошки, ушло в поле на работу. Тропинка ведет с вершины холма, от трех мельниц, ставших по струнке рядом на ветре, к обиталищу самого хозяина — Романа Андреевича Бала́бухи. Это тоже хата, крытая соломой и выбеленная снаружи, только попросторнее. Другие хаты занимаются второстепенными родичами чумака, выселившимися с ним и по его милости. Правду говорит украинская пословица: «Поп в огороде равен воеводе». Как не быть счастливу Роману Андреевичу? С крыльца обиталища его открывается весь лог, как на ладони. Сбоку и у ног идут сады с вишневыми, яблочными, грушевыми и другими щепами. Из гущи одного из них выглядывают курень и ряды белых ульев пасеки. Двор загорожен амбарами, сараями, клетями и погребом. К последнему примыкает на столбах саж для откармливания кабанов. К особому загону для волов, содер-

жимых с неимоверной заботливостью, пристроен навес, где свалены зимние дровни, старые возы и всякие деревянные поделки. По случаю весны на веревке, перекинутой от сарая к погребу через двор, развешана разная рухлядь: заячьи тулупы, запасные шаровары, шубы, шапки и полсти. На сучке березы повешено ведро. Куры прохаживаются перед крылечком, усыпанным песком. Рыжая кошка, с воробьем в зубах, крадется под амбар. А среди двора, правильной вереницей, стоят уже тридцать оснащенных возов, готовых отправиться в путь. Широкая тень, несмотря на зной, покрывает их и часть хаты. Пять исполинских дуплистых верб стоят у последней, поддерживая в воздухе кудрявые шатры своих ветвей и листьев, точно выстроенные в воздухе на столбах замки... Есть что-то особенно привлекательное в украинской вербе. Ее уживчивость в степи изумительна. Стоит ленивому простолюдину воткнуть в огороде или у плотины колышек, стоит ему, задумавшись, опереться на палку и позабыть ее вынуть из земли, и верба, разрастясь, лет в пять-шесть покроет и его огород, и пруд, и хату. Вид бедной, одинокой вербы, на большой пустынной дороге, под вьюгами и непогодами, поставленной для тени и для развлечения взоров, невольно трогает. Шум ее ветвей в осень, когда уже все укрывается в тулуп и изредка показывает нос на пороге, сильнее наводит тоску при мысли о прошедшем лете. Под вербу садится сельская семья в теплые вечера ужинать. К ней, в песнях, в смутные времена Украйны, обращались осиротелые матери и невесты. В южнорусской сказке в вербу, воображением народа, превращена от слез сестра убитого на войне брата. Верба, наконец, вместе с чумаком и волом имеет какое-то единство. Уживчивость в степи, при всяких мытарствах и невзгодах, чумака, вола и вербы удивительна. Вол и чумак в дороге, без жилищ и без средств укрыться от холода и бури, неразлучны. Тяжело ступая, почти едва передвигая ноги, оба они идут, один под ярмом, другой сбоку с кнутом, едва помахивая им только по воздуху, и незаметно делают переходы в тысячи верст. Верба, посаженная кое-как,

из пенька, из колышка, взращенная тоже кое-как, на бедной или вредной почве, на распутье дорог или у тинистой плотины, тоже терпит, растет и все переносит. И недаром песни выводят нераздельно вола, чумака и вербу; где вол, там и чумак, где чумак, там и верба. И зато с каким томительным унынием, с какой безмолвной грустью прислушивается иногда чумак к шуму листьев вербы, состарившись и не наживши своим ремеслом ничего, при общих невзгодах... Она говорит ему о лучших временах, когда еще только была посажена, а теперь сквозь ее своды уже едва виднеется золотой рог месяца. Много воды утекло с той поры: и она вся в дуплах; и он — бедняк бедняком! Но мы долго засиделись на хуторе Романа Балабухи. Пока он с работниками управляется в поле и собирается в отъезд, посмотрим, что вообще в это время делается в других местах и у других чумаков... Календарь степей имеет и на весну свои особые приметы. Еще с той норы, как на Сретение зима встретилась с весною, а с сорока мучеников, хоть и было еще сорок утренников, все шло, как предсказывали старожилы: в марте солнце стало парить землю, в апреле стали преть покосы, на Руфа рухнули последние снежные залежи, а как пришел Ерёма-запрягальник, хозяева стали запрягать волов. После Авдотьи-кузнечихи, смененной Ириной-урви-берега и разрой-снега, подул теплом Алексей-теплый; Егорий-с-водой сменился Николой-с-травой. На Благовещенье уже весна совсем поборола зиму. Тогда уже перестали зажигать свет в хатах и начали выходить спать в клети, сараи, оставляя в хатах одних больных и старух. Поселянин-земледелец не теряет времени. Апрель-травень «богат, хоть и неравен». Чуть развернулась березовая почка, сей яровое. Овес сей хоть в воду, да лишь бы в пору; хоть и на снег, да в сумёт, он и рукавицу прорастёт. На Зосиму выпускай пчел; Зосима им покровитель, вместе с Савватием. Припасай пашню и берегись двух Юрьев, весеннего и осеннего, голодного и холодного, а там — что Бог даст. Да и мало ли работы с самого начала весны у пахарей и чумаков? У чумака — заготовление фур, поправка на лето возов, по-

чинка колес и осей, покрышек на соль и на рыбу. У пахаря — заготовление яровых семян, спуск со дворов зимней воды, припасение льда в погреба, копание гряд в огороде, расчистка дворов и крыш, поправка изгороди, ульев. Птичка «посметьюшка» давно уже чиликает: «Покинь сани, возьми воз». А вот апрель-травень на исходе. Идет май-цветень. Скоро станет от жары и мошек скот маяться. Соловьиный день пришел и привел песни — веснянки — на хутора. И точно, где тогда нет песен? Все в венках и в лентах, девки сбегаются впопыхах за какой-нибудь надобностью в хату, за перстнем в сундуке, за другими серьгами или новым платком, и целый день их туда не загонишь. «Пусть потешатся», — думают старые, не останавливая их, и сами празднично бродят по зазеленевшим лескам и тенистым лощинам или с утра до ночи сидят на завалинках, на открытом воздухе, радуясь весне и теплу. А песни звучат в садах, огородах, лесках и на улицах. В других местах России говорят: «Прилетел кулик из-заморья, вывел весну из-затворья». Приветствуя тепло, зелень и воды, хуторянки поют (перевожу опять их песни):

Ой, под мостом, мостом,
Трава зеленеет;
За хорошим мужем
Жена молодеет...

Ой, под мостом, мостом,
Плеснулась рыбка;
Я ж у тебя, мать ты моя,
Все росту не шибко...
«Пусти меня, мать, из хаты,
Я не заплутаюсь;
Только парней подзадорю,
Да тем и покаюсь!

Ой, весна, весна
Степь развеселила;
А не только поле,
Как долины — горы;
А не только речки,
Как у нас сердечки!
Ох, пойду я да в зеленый тот лесок,

Вырву, выломлю кленовый там листок:
Напишу я на нем грамотку
Пошлю ее к отцу старому
Что велит ли по лесочку мне гулять,
Или в хату с вечериночки бежать?
Ты гуляй, гуляй на воле под горой,
В жизни дважды не бывать уж молодой!
Выйдешь замуж, на веселье не пойдешь,
А под старость про былое вспомянешь!
Ох, весняночка, весняночка,
Ты румяна, будто паночка,
Ты садочки в цвет да листья одеваешь,
Будто милому рубашку вышиваешь...

«Ох, заря-заря, вечерняя, лихая!
С кем ты, девка, перед вечером стояла?» —
«Я с тобою, мой чумаченько, с тобою,
Под зеленою, кудрявою вербою
Я с тобою, с чернобровцем-молодцом,
У тебя рубашка с шитым рукавом!»

Хороводы почти не прерываются. Взявшись под руки, девки ходят и поют:

В огороде шафран, шафран,
Там Ивашко, как пан, как пан,
Близ него же, как петрушечка,
Там стоит его Марусечка.
«Ой, гляди ты, берегись,
Близ меня не становись,
Мой кудрявче, мой кучерявче!
У меня ли муж ревнивый да лихой,
Помыкает, как былиночкою мной;
Не велит мне, старый, тешиться,
Не велит мне, старый, нежиться!
Чуть на улицу тихонько я пойду,
Чуть под вечер хороводец заведу,
Уж за мною три посылочки:
Что как первая попреки все,
А вторая-то нагаечка,
А уж третья-то и сам идет!»

Недалеко и до покосов. На Аграфену-купальницу ударил первый гром. Слышавшие его не пропускают случая и ки-

даются, чтобы не болела спина, подпереть плечом или всем станом, что случится: стену, забор или воз, равно как и для волос подставить голову первым каплям дождя. У ребятишек на первый дождь даже есть своя песня: «Иди, иди, дождик, сварю тебе борщик; цебром-ведром, дойни́цею — холодною водицею!» В густой чаще кленов раздался голос иволги; ребятишки и ее окликают: «Иволга, иволга, свинью сосала, поросенка украла!» А она на их голос перезванивается и будто отвечает: «А ты кобылу!» Так по крайней мере они уверяют. После святой недели идет поминальная неделя, или проводы. С Фомина понедельника идут все на отцовские и дедовские могилы, поминать покойников. Священник, в рясе и с крестом, обходит на тихом погосте поминальщиков и читает молитвы. В мае никого уже не удержишь в хате. Недаром он цветень. На Зилота идут собирать лечебные зелья. Народ следит за всходами и примечает. Если на Мокия выпал дождь, будет лето мокрое. На Обновление Цареграда боятся царя-града. С Сидором кончаются и «всякие сиверы». А Пахом пахнет уже настоящим теплом. На Вассы не сеют ржи, чтобы не завелись в ней васильки. Зато на Елену сеют лен. Начинаются «цветные игры». Появилась сорока, школяры несут на поклон учителю-дьячку сорок бубликов, кренделей. В лесу вьют венки, выкликают кукушку; а под вечер на улице играют в «хрещика», «лозу», «горицвет» и «коршуна». Но вот зазеленели яровые хлеба; озимые растут и прячут уже в себе зайца. За первыми всходами яровых, за подсевками и досевками гречихи, овса и гороха, поселяне сажают, на перевернутом плугу, увитом венками, какого-нибудь парня и возят его по ниве. Федосья-колосница требует дождей. С Юрья скот ходит уже по опроставшимся сенокосам. В густых, сочных травах, на лугах и в садах кипит хлопотливая деятельность птиц и маленьких зверьков; в лиственных тайниках, в зеленых уютах, везде заведены новые семьи. А выйдешь в поле, как будто уже душно. Крики и свисты смолкают. Ликующее население степи сменило свое приволье тихими заботами о новорожденных крылатых и чет-

вероногих. Ночь не так студена, нет уже в ней прежней живительности и прохлады. Воздух как будто становится тесен. Земля накаляется. На кольях заборов и мелких кустарников появляется востроносенькая, беспрестанно чиликающая, красноперая птичка. Народ указывает на нее и говорит, что это «птичка-жажда», не находящая под зноем нигде покоя и просящая у людей пить. Ей даже кое-где ставят в черепке воду. Календарь степей с весны поворачивает на лето. В воздухе уже нестерпимая тяжесть и духота... Но обратимся к чумакам.

Первое столкновение с народом весною у них бывает где-нибудь в маленьком местечке, на ранней мартовской или февральской ярмарке. Тут надобно на них поглядеть. Это все щеголи на базаре и лихачи. Заломивши на «бакирь» смурую шапку, в белой или черной свите до земли на плечах, ходит чумак по базару, с трубкой в зубах и кнутом в руках. Изредка только махнет кнутом на торговку, хлестнет жида слегка по спине, почеломкается, поздоровается с товарищем, постоит перед загородкою торгуемых волов, да, глянув на свои смазанные дегтем сапоги, сплюнет в сторону и опять принимается курить. Чумак в особенности большой охотник до весенних ярмарок, где можно купить или продать вола, главное — встретиться с приятелем-гуртовщиком; не глядя на него, а глядя на волов, сказать: «А, да у тебя хорошие волы!» — и, не купивши ничего, выпить с ним добрую кварту водки. Уже он не пропустит ни одной такой ярмарки. Вставши рано поутру, в день храмового праздника слободы, где будет ярмарка, он тайком оденется и гаркнет на работников: «Бабьи сыны! Да где же это видно, чтобы человек так долго спал? Солнце уже вон где, а они все еще, как кабаны, брюха выставляют! Демко́, Левко́, Пана́с, Baку́ла! Вставайте, ярмарку проспали! Ну, гайда, запрягайте мне сивых!» Все вскакивают; сивые запряжены, и хозяин отправляется на слободу, гордо восседая на вершине воза, наваленного соленой

рыбой, сушеными грушами, если случатся на продажу, или так безо всего. Я видел одну из таких весенних чумацких ярмарок; это обыкновенно происходит в зажиточной вольной слободе. Деревня раскинулась по косогору и лощинам, там отдельными кучами хат уселась по отвесам оврагов, здесь переулками и огородами сползла в долину. В день ярмарки по холмам ее и лощинам она, как улей, гудит народом. День только что начался. Одни, в долгополых нарядных свитах, степенно идут, еще без шапок, из церкви, набожно толкуя о празднике и об обычной проповеди. Другие уже спешат на торг, останавливаются и перекликаются еще в пустых улицах. Перед домом волостного правления насыпан свежий красноватый песок. Старшины с длинными палками толпятся у крыльца. Местные чумаки, из богатых, живут обыкновенно у церкви местечка, хоть бочком на площади к правлению. Дух общины и властолюбия и их наполняет. Чужие богачи с чумацкой важностью въезжают в околицу из первых, оставляют волов или таратайку с лошадью у знакомых и вмешиваются в толпу. А толпа все прибывает: окрестные и дальние гончары, скотники, гуртовщики, плотники и всякие рабочие и ремесленники везут и доставляют сюда свои товары. У палаток на базарном выгоне или на площади возникают груды новой глиняной посуды, только что сделанные ведра, колеса, оси, оглобли, ярма, ряды смушковых и суконных шапок. Из палаток выглядывают развешанные ситцы, ленты, монисты, тулупы; тут же продается в ящиках соль, в кадках и бочках деготь и всякие снадобья. В особых загородках стоит, под ведением гуртовщиков, продаваемый и покупаемый скот. Отдельно толкутся в углах площади продавцы: кто пары телят, кто телушки, кто дюжины овец или старого, беззубого вола. Это главная приманка чумаков. Сюда они являются покупать и продавать скот, прежде выпивки с приятелем и покупки новых сапогов, шапки, дегтю или новой пары осей. Шум и гам возрастают. Дегтярный продавец, в

широких шароварах, стал над бочкою и с приговорками, потешая толпу, цедит чумаку в мазницу деготь. Там явились «нищуны», бродячие слепцы, и затянули уже, собирая общее подаяние, песню о Лазаре и о Страшном суде, сменяя иногда эти притчи веселыми. А звон бубнов и скрипок, сопровождающих по площади гуляющего чумака, покрывает все. Ничто тут не связывает чумака. Он и по природе не домосед и не под башмаком жены. Отпуская его на торг, жена не посмеет сказать ему, положим, как другому: «Купи да и купи мне новую свитку; хоть умри, а купи! А не купишь, с чем покажусь в людях? И не думай мне и не гадай: в гроб лягу, а купи!» Он вольный казак: жены слушается только зимой. С первой же весенней поры уже поминай, как его звали. Запасся он волами, дегтем, справил воз, запасные оси и колеса, и все кончено. Тут же отгулял на остатки денег, и в путь. Самая ярмарка иногда влечет его не для продажи или покупки. Ему любо одно это движение, шум и говор, не самая покупка волов, а одно щелканье по спине или бокам продаваемого вола, что вот, дескать, хорош ли он, или не хорош, выдержит ли путь, или не выдержит. Щелканьем иногда все и обходится. С продавцами скота в этом случае можно сравнить только одних украинских бродячих коробейников, мелких разносчиков всякой всячины, да косарников, мелких странствующих продавцов кос. Особенно последние замечательны. Уроженцы большей частью Рыльска, они сами или от хозяев оптом получают свой товар, через Бердичев и Броды, из Австрии, и потом, перед косовицей, рано весной, развозят его по южнорусским степям, оставляя косы в долг, до будущего года. Огромный рост на ссуду тут не забывается. Но посмотрите: въедет косарник в слободу, стал среди улицы, его окружают, берут в руки, пробуют косы, хлопают по ним, звенят, а он рассказывает, как был в Штирии и какие сорта кос бывают: «Прежде было на лучших клеймо две шпаги, да иступились; потом подкова, да вытерлась; после того стакан, из стакана пьют, а где пьют, там

и бьют; а теперь уже, люди добрые, семь звезд на косе, — ишь ты, как горят! Покупай, да и только!» Но рад бы купить, а денег нет. Провозится среди улицы косарник целый день, а продаст на целковый. Смотришь, перебивается, а водит концы с концами, как и гуртовщик.

Ярмарку завершает какой-нибудь особенно неудержимый гуляка, которому, как говорится, ни дна, ни покрышки нет. Спросит себе музыку, уже в сумерки, расчистит круг и пойдет один или с товарищем такие штуки выделывать, что еще и не видано: выворотит тулуп, вберется в кадку с дегтем, разольет деготь по земле и за все, разумеется, заплатит, и в безобразном виде станет толочься по грязи и отплясывать «через ножку» или «перевертнем». Или же возьмется с товарищем: сам трубку в зубы, шапку на затылок, руки вскинет кверху, да только взглянет на концы сапогов — и пойдет косить ногами вприсядку, направо и налево. А товарищ, какой-нибудь матросик, из местных, вытянется по-своему в струнку, руки по швам, глаза направо и пойдет перебирать ногами. С ярмарки все возвращаются уже навеселе, кто с купленным на выкорм теленком, кто с волами, а кто с деревянной какой-нибудь поделкой. За этим уже у чумаков следуют прямо сборы в путь, наем под фуру тяжестей, чтобы не идти на Дон и в Крым порожняком, и самый роковой отъезд, с его обычаями. С первых всходов подножного корма чумак уже хлопочет о найме своих подвод под фуры. Частные клади он предпочитает казенным. Местность дает ему для этого все средства. Еще дед его и прадед торговали сухими грушами и яблоками. Расчет прямой. Окрестные сады простираются лесами во все стороны. В Волковском и Богодуховском уездах, где во время весеннего цветения кажется, что по сторонам дороги растут совершенно белые или усыпанные пухом леса, производством сушения фруктов занимаются целые селения и местечки: Ольшана, Волосский Кут, Красный Кут, Песочин, Люботин, Солоницовка, Пересечное и многие хутора. В ином селении сушат несколько десятков тысяч пудов груш и яблок, которые здесь зреют в

диком состоянии, едва поддерживаемые щеплением. Тут даже на дрова идут благородные пни грушевые и яблочные. Для сушения плодов у поселян заведены особые сушни; у бедных же фрукт сушится в избе, на печи. Ссыпка производится у богатых в большом размере. Кроме фруктов чумаки сваливают на свои фуры при отходе в путь всякого рода деревянные поделки, в которых особенно нуждаются все безлесные местности на крайнем юге, в херсонских и таврических степях, в земле Войска Донского и по азовскому прибрежью. За этими изделиями и свалкой их в долг и за деньги чумаками занимаются опять лесные уезды Харьковской и Полтавской губерний, в особенности же по Донцу и по Воркле. Из деревянных поделок берутся: колеса, ведра, оси, ярма, чашки, баклаги для воды, ложки, кадки и целые сложенные части воза. Кроме того, окрестности Изюма, и в особенности подгородная его слобода Пе́ски, отправляют на Дон и далее глиняную — гончарную посуду с чумаками. А в других, наконец, местах чумаки забирают водку, масло, сухари (как в минувшие годы, для войск в Крыму, из Курской губернии), бакалейные и красные товары и в огромном количестве с северных уездов Малороссии к южным портам хлеб, пшеницу, пшено и льняное семя. Соль передается ими во вторые руки и выручает им гораздо меньший барыш. На юге же они едут не всегда с кладью, а большей частью порожняком, как по трудности найти весной и под все возы кладь, так и по беспечности чумаков. Не зная цен хлеба, льна, посуды и деревянных изделий на юге, они рискуют малым. Да иногда и за солью едут, не зная, припасена ли она в достаточном количестве на крымских озерах и лиманах и не придется ли им там ожидать ее добычи или даже вернуться с пустыми возами. Добыча соли в последнюю войну шла дурно. Я встретил в нынешнем июле огромный обоз чумаков под Бахмутом, на известном чумацком Муравском шляхе. Они шли из Крыма, повеся головы.

— А что, как соль в Крыму? — спросил я.

— Не знаем.

— Как не знаете?

— В Крыму нема́ соли...

— А что же вы везете?

Чумаки переглянулись.

— Торохтия́ веземо, — ответили они.

«Торохтия́ везти», по их выражению, значит везти пустые возы; которые от этого, без клади, дорогою «торохтя́т», стучат. Надо заметить, что по случаю прошлогодних и нынешних неурожаев в Малороссии большая часть чумаков и туда везли «торохтия». Неопределенности промысла чумачество обязано тем, что стали в нем теперь появляться особые видоизменения. Старожилы говорят, что прежде, за Екатерину и гетманов, бывали на Украйне слободы, человек в 3000 и более жителей, все чумаков, где не было ни одного плуга и ни одной бороны. Жители у себя дома только косили на зиму сено волам, а жены занимались молочными скопами со скота и птицей. Хлеб эти настоящие «чумацкие гнезда» покупали и за стыд считали вспахать и засеять хоть одну десятину земли, разве бабы только вскопают какой клочок под дыни и арбузы. Теперь чумаки, кто позажиточнее, на привольное и дикое ремесло свое смотрят с одной прибыли и соединяют его с хлебопашеством и мелкими оборотами. Такой чумак уже обленился, сам не надевает более заветных, дегтем смазанных рубашки и шаровар, не идет с своими волами испытывать долгого пути и всяких дорожных невзгодий и бед, а держит для этого человек двадцать и сорок в год работников по найму, рассчитывает копейку, посылает их с возами в путь и только откладывает барыши. В нем уже мало старинной самобытности. Зато он ловко ведет свои дела. Такое современное видоизменение чумака, такого чумака-выродка, банкира и спекулятора, я знаю близ Мячковского хутора. Это — Андрей Иванович Сизён. Пятнадцать лет сряду он уже сам не ходит в извоз, а на прибыль барышничает дома. У него до сорока пар волов и при них десять человек рабочих, по обычному местному расчету одного чумака на четыре пары волов для извоза. Отзимовавши

и откормивши волов, он с весны нанимает по клочкам у соседних поселян десятин сто земли; пользуясь обилием скота и рабочих рук, в неделю с небольшим вспашет эту землю, засеет и заборонит. Тогда уже, обыкновенно тотчас после Пасхи, и посылает возы, с заранее сторгованной кладью, в путь. Обоз его отвезет, куда назначено, на юг кладь, навалит на подводы соли или рыбы и к косовице опять приходит домой. Хозяин оставит волов отдыхать и снова откармливаться, а рабочих, «на́ймитов», с добавкой других, временных, ставит косить на другое, наемное под косовицу поле. Сено скошено, высушено, свезено; обоз отправляется в другой путь около Петра и Павла. Тем же порядком обоз возвращается домой к уборке созревшего уже хлеба. В один прием работники скосят, свяжут в снопы, свезут хлеб, при помощи сорока пар волов, дня в три-четыре и скидают в скирды. Тогда уже снова, после Семенова дня, и в последний раз обоз отправляется в третий путь и возвращается уже по сырому пути к Покрову. Зимой же часть работников такого чумака стоит при волах, а часть исправляет все нужды хлебопашца: молотит, веет, возит хлеб в зерне на мельницы и в муке в городские склады на продажу. Андрей Иванович Сизён снимал несколько лет назад поблизости еще порубку леса, а в соседнем местечке держал даже винный откуп, на чем сорвал порядочные барыши. Привозя с юга рыбу и соль, он торгует ими и для этого, уже как чистый купец, с нагруженными повозками круглый год ездит по окрестным ярмаркам. Это уже разбитной, бойкий и сметливый кулак, себе на уме, мало похожий на своих предков-чумаков. Жена племянника его ходит в ситцах и в шелковых платках. Сам он пьет уже чай, хотя усердно пьет с нужными людьми и водочку. Спит он не иначе, как на мягкой постели и в комнате с закрытыми ставнями. Чумацким извозом его занимается племянник, у которого с женой на руках, по случаю вдовства Андрея Ивановича, и все домашнее хозяйство последнего. Недавно я приехал к Сизёну. «Дома Андрей Иванович?» — «Дома, — отвечает жена племянника, — да не принима-

ет!» — «Как так? Что же он делает?» — «В ванне сидит». И действительно, Сизён нежил себя ванной. Вот куда пошло и на Украйне просвещение... Честность чумаков вообще изумительна. Хозяева отпускают кладь им на веру. Редко они, продавши ее, утаят хоть рубль. Я знаю один пример. Помещик по случаю неурожаев выбрал двух-трех мужиков, дал им возы и волов и послал в Перекоп за солью, чтобы даром работники не гуляли. Посланные им мужики воротились, кроме одного. «Ну, — говорил помещик, — все люди как люди, один Павло́ Бо́брик не привез соли да замотал и воз, и волов!» Это было в начале тридцатых годов, в турецкую войну. Помещик же был бедный. «Куда делся Павло?» — спрашивал он у его товарищей. «Пришел с нами в Крым и пропал!» — «Ну, Бог же с ним; передался, бесов сын, врагам! Теперь и волы мои им служат!» Прошел год, другой. Павло Бобрик неожиданно воротился, но без волов. Помещик обрадовался ему и не мог скрыть этого, хотя волов и не было. «Павло! Где это ты был?» Тот не отвечает, а полез рукою за голенище, достал оттуда что-то, обернутое в сахарную синюю бумагу. Развернул, а там пук ассигнаций. «Що се таке́? Може, ты вкрав?» — спросил изумленный помещик. «Ни! Ось пересчитайте мишень!» — «Да сколько же тут?» — «А я и не считал!» Барин кинулся считать: в пачке оказалось более шести тысяч ассигнациями. Вышло так, что Бобрик, придя в Крым, нанялся под кладь в Бессарабию, прибыл к нашим войскам и стал из места в место перевозить с другими то хлеб, то оружие, то раненых, да возил всю войну и, наконец, при замирении продал на солдатский фураж и пару старых уже волов и воз. Помещик кинулся его благодарить, предложил даже ему долю, а Павло Бобрик попросил только отпустить его с жинкой помолиться в Киев, потому что, идя уже домой, чуть не был ограблен троечником на дороге в степи, но отбился, только чуть ли не согрешил при этом: ухватил, как бились один на один, троечника «пид реберце», переломил ребро так, «аж хруснуло»», а потом, «как он упал», взял его же палку и «по-

трощил ему все ноги и руки», чтоб «не нападал уже более на добрых людей», а убивать не убил его вконец... Помещик, которого все состояние не превышало 5000 рублей ассигнациями, отпустил Бобрика в Киев на богомолье, а потом отпустил его и на волю, причем Павло Бобрик все удивлялся щедрости пана: что же он такое особенное сделал? Он только спас панское добро!

Случай вроде этого был и с отцом другого знакомого мне чумака в его молодости. Вез он рыбу на базар. Его догоняет с товаром такой же троечник, который у нас в степи, среди мирных и простодушных малороссов, получает особые замашки пограбить и надуть. Троечник остановил его. «Что везешь? — «Рыбу». — «Продай!» — «Бери!» Троечник отобрал рыбы, ударил по лошадям и ускакал, не заплативши ничего. Волам не догнать лошадей, хоть последние были и с кладью. Чумак поглядел ему вслед, махнул рукою и поехал шагом, вслед за ним, на своих «сивых». Прошло часа два. Троечник наелся рыбы, стегнул лошадей и задремал. Он заснул, а лошади остановились. Чумак его и догнал. Видит, троечник спит. Он тройку свернул в сторону, хозяина огрел палкой по голове, а лошадей погнал. «Знай, вражий сын! Не нападай на проезжих; я тебя не трогал, а теперь и считай мух!» Повозка привезла троечника в какую-то деревушку с разбитою головою... Но вот земля вспахана, яровое посеяно, фуры наложены. Чумак готов к отходу в путь. Он отправляется из дому или иногда из тех мест, близких к морю, где зазимовал, застигнутый осенними бурями и бездорожьем. Не всегда бывает так, чтобы чумак искал клади или пахал землю. Желая скорее других прийти на озера за солью, он поднимается в дорогу, чуть сойдет снег и нет еще подножного корма. Для этого он даже подвозит с собой верст на сто и более сена, пока на дороге, на глазах уже его, подрастет свежая трава. Наступает роковой день...

Хозяин-чумак встал, вышел на крыльцо, когда еще заря чуть занимается, глянул на ряд готовых нагруженных

возов, на волов, евших сено в стороне, в углу двора, и идет к работникам. «Эх вы, бабьи сыны! Вставайте, будет вам байбаками залеживаться! Всю зиму спали! Ну, швыдче; Павло́, Митро́! До́рош, Тере́шко! Мажьте возы, наповайте волов, да с Богом и гайда». Работники вскакивают. Сон и без того всю ночь бежал от них. Кто покидал милую, кто лениво и любезно нагретое за зиму местечко, которого бы, кажется, весь век не покинул. В каждом чумацком обозе отслужен молебен Богородице-одигитрии, по старинному преданию, покровительнице чумаков. Пока хозяйка готовит последний обед, хозяин отмеривает в амбаре на дорогу заранее припасенных сухарей, муки, пшена, сала, соли и дегтю для колес. Заскрипели ворота. Волов поят из студеной крини́цы с особой заботливостью. Мажут оси. Соседи и окрестные приятели сходятся смотреть на проводы. А хозяин заботливо и весело ходит между возов и волов. Тут стоит и его пара, обыкновенно самая щегольская: ярмо на возу фигурчатое, резное, с цветными разводами, а если хозяин — черниговский чумак или зажиточный харьковец, то и вызолоченное «шумихой», сусальным золотом; волы при этом самые рослые, с исполинскими рогами, смурые с подпалиной или черные, как пара тучных медведей; самые повода на волах ременные, а не веревочные. Чумак припасает на дорогу всего две рубашки, и в этом есть свой обычай. В одной он идет в путь и, не скидая ее ни разу, в ней и возвращается. Для защиты от дождя, пыли, заразы и мошек ее тотчас обмазывают дегтем вместе с шароварами, почему тяжелый, ленивый и загорелый чумак в пути представляет издали какое-то подобие древнего рыцаря, закованного в панцирь и в латы. Другая рубашка имеет в себе много трогательного: ее на чумака надевают только тогда, как он умрет на дороге.

Время отхода чумаков в дорогу — вечер.

Солнце свернуло уже к закату и меркнет. Чумаки печально смолкают. Далекий путь, по пустыням, невольно

тревожит. А у многих есть и особенно от чего задуматься. Тот в неоплатном долгу у хозяина и не знает, отплатится ли он за эту поездку. Другой оставляет надолго невесту, на которой бы и женился, и она любит, да достатку нет. Хозяин обещал, как вернется к осени, дать десять целковых, тогда и свадьбу можно справить. Да убережет ли его далекая дорога под дождем и бурями по ядовитым солончакам и лиманам? Трогательные прощания с милыми происходят под общий шум и суету, по соседним перелескам и огородам.

— Ну, друже, — говорит чумак товарищу-чумаку, — пойдем до моей ди́вчины проститься! Она там, возле зеленой балки, ждет меня!

И идет один или с другом. Становится чумак, берется со своей ди́вчиной за руки и долго-долго стоит с нею, почти безмолвно или изредка переговариваясь.

— Ну, вот же я и иду, Настя! — говорит он.

— Иди! — отвечает та со вздохом.

— Только я тебя уже не забуду; убей Бог, не забуду!

— Не забывай, Гри́цю, а то я утоплюсь, а за другого не пойду!

Еще слова, еще молчание. Солнце уже низко. Передовой воз выезжает из ворот хозяина.

— Прощай, Настя!

— Прощай, Грицю!

Девушка на прощание, по обычаю, дает в руки своему названому, с кем она уже давно женихается, шитое полотенце — хустку. Он ее хранит, как завет, во всю дорогу, и если умирает в пути, то товарищи его покрывают ему в могиле лицо; потому что, если уже какая девка в такое время подарит чумаку хустку, то это все равно, как бы она за него помолвилась и ни за кого более не выйдет замуж. Он ей в подарок с дороги привозит красные сапоги. В такую пору бывают драматические события. Один чумак под Царeборисовом, не надеясь, что воротится из двухмесячного переезда в Крым и не победивши припадка ревности, зарезал на про-

щание свою названую и выдал себя тут же. Дело было такое, что хотя она и любила его, но он подозревал, что ее мыслям не чужд молоденький ямщик с голубыми глазами и русыми кудрями из соседней Голодальской станции. Этот ямщик любил предмет скрытой и безмолвной страсти чумака так же безмолвно и безнадежно. Она была дочка богатого содержателя кабака на перекрестке большой и проселочной дорог. Когда, бывало, едет он на тройке своей, а она в огороде или тут же, на отцовской ниве, он поравняется с постоялым двором, никогда не заедет выпить, лошадей пустит так, что едва едут, понурив головы, а сам шапку о тележку, опрокинется и зальется соловьем. Все уже знают при этом, что едет «отпетый» поклонник шинкаревой дочки; и многие думали, что он покончит плохо: или зарежется, или утопится. Вышло наоборот. Упорный степняк, любимый девушкой, порешил дело убийством ее.

Обоз двинулся...

Но прежде еще чумаки обыкновенно на передний воз, по старинному обычаю, берут петуха. Этот петух сперва привязывается там за ногу, а потом в дороге осваивается и совершенно свыкается с нравами табора. В безлюдных пустынях, по ночам, когда очередные чумаки в стороне от дороги пасут волов, он криком своим дает знать в потемках, где искать возы. По нем узнают часы, когда ночь, когда полночь и скоро ли рассвет. Но, кажется, скорее всего петух мил скитальцам особенно тем, что в глухих степях, оглашая дикие пустыри своим криком, напоминает чумакам и родное село, и родную кровлю. Чопорный и гордый, восседает он на пыльном возу, рассматривая с его вершины проезжих, или на стоянке ходит возле и клюет под колесами отборное, хранимое ему зерно. По мнению иных, он еще спасает от придорожного беса. Баловень и любимец всей ва́лки, обоза, такой петух живет иногда лет десять и двенадцать, совершая каждое лето по нескольку тысячеверстных путешествий. Но иногда, где-нибудь на степном перевале, в глухом хуторке или на постоялом дворе какой-нибудь менонистской колонии,

где хозяйство процветает и кучи кур ходят около корчмы перистый султан неожиданно вскакивает с воза, стремится в общество наседок и, если его не поймают, при отходе обоза оказывается окончательно в бегах.

Обоз выезжает за околицу и, отъехавши версты две или три, не более, останавливается на первый ночлег почти в виду села. Это мудрое обыкновение установлено потому, что, как говорит чумак: «Человек слаб и может дома что-нибудь позабыть; а тут близко, и как раз сбегаешь»...

Начинаются события бесконечных переездов по степям...

III

Лето

Воны не —вчени, ничего не знают,
Чваля́ямн ходят та бнсив приводят!

Местная поговорка о чумаках

Чи рыбу с Дона везете́,
Чи може выходци бурлаки?

«Энеида» Котляровского

Нынешняя степь. — Обычаи чумаков в дороге. — Перевалы, колодцы. — Как берет за водопой жид и как берет христианин. — Картины лета. — Заботы женского пола. — Чумацкие пути. — Близость Крыма. — Статистика соляных озер. — Как добывается соль. — Обратный путь; овражки, саранча. Смерть чумака в степи. — Чумацкие песни

Украинская степь, воспетая Гоголем, в последнее пятидесятилетие сильно изменилась. Это уже не то пустынное раздолье, по которому ехал когда-то Тарас Бульба с сыновьями, не видя конца «морю трав» и не встречая ни жилья, ни дороги. Там, где еще за восемьдесят лет назад, понуждая жителей к хлебопашеству, правительство предписывало губернаторам иметь крепкую предосторожность от татар и запорожцев, где беспрестанно посылались на

пограничную линию пушки и порох, а поселяне выжидали, что вот-вот нагрянет враг и пустит по деревням «красных петухов», — там ружье сменилось уже косою, пушка плугом, а пустыня стала вспаханным и засеянным полем. Степь по всем направлениям уже изрезана столбовыми и проселочными дорогами. Луга ее смяты бесчисленными стадами овец и зовутся толо́ками. Желтый дрок и белая кашка уже не выскакивают так живописно на безбрежной, но уже истоптанной человеческой ногою луговине. Степь, дикая украинская степь, становится просто тихим русским полем. Но хороша она еще в своих отдельных картинах. Весною, когда расцветают травы, она еще является в таком убранстве, что невольно остановишься и перенесешься во времена Тараса Бульбы и Вия. Красив особенно в это время алый воронец, дико растущий тюльпан. Перепаханные громадные степные нивы под пшеницу, о которых великоросс с трудом составит понятие, также отзываются чем-то особенным. В уважение к избыткам хлебопашества украинец зовет степь, занятую хлебом, «цари́на» и невольно ломает перед этой «цари́ной» шапку. Чумаки более других терпят от размножения хлебопашества. Уменьшение лугов подняло цены на подножный корм.

Возы нагружены, фуры двинулись, первый ночлег выдержан, петух чем свет крикнул, и обоз двинулся вперед. Чумацкий обоз называется ва́лкой, передовой вожатый — ватажко́м. Странствие производится так.

Рано на заре, часов около трех до восхода солнца, ватажок будит товарищей, сторожевые поят и запрягают волов, и валка зорюет, то есть идет по заре до нового перевала. Этот перевал производится уже тогда, как солнце поднимается над землею на два дуба, то есть около шести или семи часов. При этом, пока волы отдыхают и пасутся, чумаки завтракают, сни́дают. В полдень — второй перевал и обед. Вечером, на заре, — ужин, а за ним ночлег и настоящее пастбище волов. Вообще стара-

ются в день пройти верст тридцать. Едят дорогой пшенную кашу с салом, хлеб с солью, галушки, а на возвратном пути с Дона рыбу соленую и вяленую. Обычай чумаков — в пути воздерживаться в пище. Волам выбирают лучший корм на лугах и толоках и лучший водопой. Минуют ближние дурные колодцы для дальних и лучших. Избегают пути по солончакам, которыми усеяна левая сторона Днепра, до Сиваша, и травы, называемой «чихи́рь». От последней волы страдают кровотечением. Кроме того, бич волов — оводы, комары и мошки, которые набиваются к ним в уши и в ноздри и нередко их удушают. Ближе к Крыму земля у лиманов изобилует вредными испарениями. Отсюда нередко завозится на север скотская чума. На хороших толоках землевладельцы берут с пары чумацких волов за пастьбу, днем в короткий отдых, от копейки до двух с половиною серебром, а ночью две и три. За водопой берут с пары более, именно около пяти копеек серебром. Это потому, что бо́льшая часть водопоев в степи, за неимением рек, производится в колодцах, где вода иногда находится сажен двадцать и тридцать ниже поверхности земли. В таких колодцах воду достают колесом, руками или рычагом, посредством лошади. За Ореховом устроены, для уничтожения высоких откупных цен за водопой, казенные колодцы. Здесь чумак платит только за посудину, на содержание бадьи, веревки и казармы со сторожем — около полуторы копейки серебром за пару волов. Это — значительное облегчение чумаку. Можно вообразить, сколько частные колодцы, при произвольной плате, приносят дохода, когда казенные в иных местах отдаются на откуп за сто и более рублей серебром в год. Иногда в день привалит чумака столько, как говорят на юге, что выбирают всю воду из колодца и долго ждут, пока она опять набежит. Казармы при казенных колодцах, сложенные из чамура, нежженого кирпича, тоже служат убежищем для больных чумаков. Там же, где колодцы содержатся частными людьми, чумаки

предпочитают идти более глухими дорогами и, что довольно странно, именно в таких местах, где содержатели не христиане, а жиды. Об этом вам расскажут довольно забавно. «Видите ли, — говорят чумаки, — жид возьмет свое за попас и за водопой скота, лишнее возьмет, нельзя уж без того обойтись, и дело с концом. А христиане выдумали отличиться от жидов. Как можно, чтоб мы дорого откупали Божью траву и воду! И понастроили около толо́к и колодцев шинков, и снимают, значит, плату приставленные в этих кабаках шинкари. Да как снимают! Смотришь — человек как человек: и хата у него расписана, и над дверьми вывеска, и чисто так в хате и кругом. За водопой и пастьбу возьмет грош или два и прикладывает только на каждую пару волов по *осьмухе водки*; оно бы и то ничего, осьмуха там стоит восемь копеек ассигнациями: только та беда, у кого четыре пары — и пей, не хочешь, полведра. Сам не выпьешь, поишь других. А напился, и пошла голова колесом, прогуляешь, не опомнишься, и волов, и воз, и одежу, и чужую кладь. Не мало наших так с одним кнутом домой приходили. Мы поэтому иных помещиков и минуем, а идем к немцам или к татарам, или где жидки держат постоялые!»

Но мало приходится еще горя чумакам, если на пастбище очередной сторожевой зазевается или проспит и волы сделают шко́ду — помнут и скормят часть чужого хлеба. Иные этим промышляют и нарочно держат толо́ки близ хлебных нив. Чумак из села Мирного, Копылец-Коноваленко, рассказывал мне, как под Ореховом он было пустил пасти волов на городской общественный выгон, не зная, что его уже взял на откуп местный жид, как жид отнял у него вола и насилу, по неотступной мольбе всей валки, отдал этого вола за 30 рублей ассигнациями. Другой чумак, Тихон Вербицкий, из Балаклеи, передал мне повествование о том, как в какой-то Юрковке помещик поймал его и товарища с волами во ржи. «Что мне

с вас брать? — сказал помещик. — Волов ваших не стану отнимать, ими вы кормитесь, а чтоб помнили, что чужого хлеба портить нельзя, вот вам суд. Как тебя первого звать?» — «Тихон». — «А тебя?» — «Осип». — «Ну, Тихон, на́ тебе палку и побей хорошенько Осипа!» Я было думал, что Осипа только и нужно побить и постегал ему спину так, что тот только подскакивал. «Ну, довольно же... Теперь, Осип, бери палку ты и побей Тихона, чтоб и он помнил зарок!» Товарища я, правда, уж очень обидел, и он принялся меня так стегать, что сперва я было терпел, а там уж пришло невмоготу, и я стал просить милости. Рассмеялся помещик и еще дал нам по чарке водки. Добрый пан, и мы к нему после заезжали. Всё спрашивает: «А что, хлеба уже не шко́дите?» Размножение промышленного духа сильно отозвалось на юге России. Спросите чумаков, за что они теперь не платят. «Все уже на откупу, кроме одного неба!» — ответят вам. И действительно, за водопой берут, за корм травы берут, за мосты и переправы на паромах берут. В иных местах заставляют их при нагрузке товаров прежде исполнить некоторые городские повинности: свезти из города на своих волах сор, привезти камня или песку. Между собой дорогой они вообще очень старательны. Каждый день по очереди один идет впереди валки, другой наблюдает за общей трезвостью, сторожит волов по очереди и по очереди исправляет должность кашевара, готовит ужин и обед, месит тесто на галушки, расплачивается с содержателями толок и водопоев и несет все обязанности по обозу. Нет ничего живописнее вечерних чумацких перевалов. Возы поставлены четырехугольниками, по пяти и десяти возов в ряд с каждой стороны. Внутри этих затишей разводятся костры; на костры ставятся железные треножники с прицепленным котелком. Волов ночные сторожа гонят от дороги далее, на менее истоптанную поляну. Огонь пылает, освещая черные, запыленные и загорелые лица. Пока каша поспеет и сон еще не смежил усталых глаз, идут рассказы о старине, о прежних годах чумачества, го-

ворятся сказки, выкладываются барыши, вспоминаются родичи. У кого обломался воз, тот чинит колесо, подводит новую ось, скручивает веревкой обод или спицу, пригоняет новый шкворень. Наутро на месте ночлега остается постоянно немало щепок и стружек, красноречиво говорящих о постоянно плохом устройстве чумацких возов. «Худая снасть отдохнуть не даст», — гласит пословица. Наконец, сломанное починено, ужин кончен, все засыпают. Чем свет петух крикнул; на его голос, иногда еще впотьмах, сторожевые гонят к табору волов. Атаман покрикивает: «А ну-те, братцы, будет уже вам спать!» Все встают, и обоз в двести или четыреста колес, скрипя, вытягивается вдоль дороги. Как ни стараются чумаки, для избежания давки и суеты при переправах через реки и при водопоях, идти валками не более, как возов в тридцать или много пятьдесят, чем ближе к Крыму — они сбиваются более и более и наконец соединяются по широкому чумацкому пути в бесконечные обозы... Дороги становятся все глуше и глуше. Проселки вовсе исчезают. Села попадаются реже. Идет прямой стрелой одна большая торная дорога. По сторонам изгибаются только косогоры да тянется зелень и зелень. И вот — дальше и дальше. Балки и овраги сменяются гладкими равнинами, равнины — песками и опять балками. Вот на пути поднялся каменистый кряж холмов и как будто гор. Сегодня обоз прошел весь день под нестерпимой солнечной истомой; завтра накрапывает дождь. На заре из-за косогора показывается степная деревушка. В яме родник; у родника плетень из прутьев; огород раскинулся по откосу горы; десяток плодовых деревьев недавно посажены. Ку́рень стоит среди поля — это бакша́; дыни и арбузы желтеют и белеют среди темных листьев огудины. Там запестрели приземистые кусты дикой вишни и терна. Здесь проходит на север, в столицы, громадный гурт черкасских быков на убой. А обоз все дальше подвигается. Вот степь как будто из зеленой пожелтела и заливается чем-то красным. Зной сушит и выжигает травы. Над курганами играют ма́рева, миражи. Кругом ни звука.

Все затихло в зное и духоте — птицы и кузнечики. Раздается только медленное движение скрипучих возов, да слышится тихая поступь серых и рыжих волов, мерным шагом взбивающих по дороге тонкую пыль.

Так странствуют чумаки с весны все лето, до поздней осени. Местная жизнь мало имеет к ним в это время отношения. Они о ней забывают. Зато же и о чумаках почти совершенно забывают тогда остальные обитатели Малороссии. Что им за дело до них? Лето несет столько своих забот, что и не оберешься. Пословица говорит: «Лето собирает, зима поедает»... июнь-червец сменяется июлем-липцем, любимым месяцем пчеловодов. За липцем идет серпень — август, время уборки хлебов. Но на каждый день и на каждую неделю есть еще свои приметы. До Юрия скот пасется в селах еще на толоках, а там уже переходит на скошенные поля. На Зилота собрано всякое целебное зелье. В садах появляются «майки» — шпанские мухи. Они усаживаются изумрудными роями на молодые ветви ясеня и превращают их листья в прозрачные ткани тюля. По народному поверью, на Тихона затихают птицы, и прежде всего соловей. Работы идут без устали. Пословица велит: «В дождь косить, в погоду́ сушить». Приходит Ивановская ночь, праздник Ивана-Купа́ла. По обычаю, в некоторых местах в этот день жарят петуха с красными перьями, собирают от пожара клей с десяти вишневых деревьев и на перекрестке трех дорог поднимают на счастье три скрещенные соломинки. Чуть стемнело, на выгоне кладут вереницы костров из поскони и соломы, зажигают их и прыгают через них попарно, парни с девками. Чучело маренки из вещих трав и соломы, в рубахе, поясе и монисте, посаженное на осиновое деревцо, становится в голове костров, среди хоровода. Песни гремят про Ивашка и Марусю, Петра и Парасю. С криками и смехом топят наконе́ц в реке и чу́чело, и дерево, распевая, как «ходили ди́вочки около мариночки, около того вудола-Купала; играло солнышко на Ивана». Девушки начинают расходиться по домам, затягивая песню: «Купался Иван, та в воду упал»

А парни подхватывают: «Иване, Иване! Под гору зелененько, на месяце видненько, мое серденько!» Купала проходит. Недалеко петровки и задумчивые песни «петривочки». Если в день Мокрины выпадет дождь, будет осень мокрая. На Палия не топят печей, чтобы он не спалил деревни. От множества мух, комаров и слепней некуда было уже деться. Пчельники, пасеки, в гущине уютных вишневых садиков, гудят, и соты ломятся от обильного сбора меда. Слобожанин помнит, что завещала людям, по поверью, в начале мира пчела, именно: «Корми меня до Купала, сделаю из тебя пана!» — и не раскаивается, что долго с весны кормил пчел. От жары, наконец, нигде не скроешься. Замолкла и кукушка. Украинцы замечают, что она в это время «подавилась мандрыкою», особенною лепешкою, какие пекут в петровский пост. Засуха иногда убивает на корню и хлеб, и травы. Тогда одни утренние росы только еще и кропят едва остывающую ночью жаркую землю. Ветра нет, а наливающиеся колосья чья-то невидимая рука за ночь надламывает. Это значит, что, несмотря на засуху, урожай будет хороший. Приходят Борис и Глеб: в поле поспел хлеб. Но, замечает поговорка: «На Глеба и Бориса за серп еще не берися». Недалеко август-серпень. На Маккавеев происходит «макотрус», вытряхивание зерна из поспевших головок мака. На Лупна «овес лупнет», спеет. И вот засверкал серп. Руки ломятся от взмахов косы, спины от вязания снопов, ноги от ходьбы по пышной, червонно-золотой ниве. Косовицкие и гребовицкие песни сопровождали сенные покосы, а теперь сопровождают и праздник обжинок. Возы заскрипели и, наваленные новым хлебом, под вечер ползут по пыльной дороге к околице. Не за горами уже Спиридон-солнцеворот. Идут Спас медовый и Спас яблочный. Бьют пчел, святят мед и яблоки. Зреют на бакшах арбузы и дыни. Бабы треплют коноплю и лен. А вот в селах показываются и бандуристы. Бандура звенит, и кобзарь припевает: «Ой, бес мне пораду нынче дал, что я себе на печь бабу взял! Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу взял!» Слушатели подхватывают: «Ой, сорока стреко-

чет, никто бабы не хочет!» И все приплясывают. Откуда-то подул сухой ветерок. Это «бурей» — осенний ветер, несущий бури. Тучи сдвигаются, ударил дождь и град. Дня три ливень не умолкает. Но это только шутки осени. Лето еще не кончилось, и долго будет тепло и ясно. Долго еще не покажется Семен-летопроводец, когда выкуневший заяц, ставший точно в меховых штанах, нырнет в новой озими и охотники выедут на поиски волчьего выводка, что ни день похищающего из села то поросят, то молодых барашков. Следя жизнь по собственным приметам и по ним располагая свои работы, украинцы не замечают, как время идет. Слово «скука» не существует в деревенском словаре. И мало ли, например, занятий девушке, уже не говоря об отцах и братьях ее! От ранней зари она уже на ногах. В косовицу девки ставят копны. До уборки хлеба, пока отцы работают в лесу, то нанимаются у соседей возить сено, докашивать траву, или они полют огороды, бакшу, конопляники, ходят собирать на зиму травы. Тогда чаще встретишь девку вечером, у ворот или где-нибудь у плотины, где вода шепотливо бежит, точно сказку кто говорит, рука об руку с милым. Разговоры влюбленных, и на хуторянском языке, большей частью — слова без значения. Изредка только он скажет ей: «Ты вчера там-то была или стояла, а я тебя думал затронуть, да не посмел!» — или она прибавит: «А ты — гордый-прегордый, сегодня утром прошел и не поклонился, мимо нашей хаты!» Студеные и живительные ночи сменяют первые летние жары. В их мраке скрывается много тайн. То там, слышно, клеится свадьба к осени, то здесь уже склеилась, и скоро благословят жениха и невесту. А где собрались на работу девки, да еще примешайся тут две-три бабы, толкам и крикам нет конца. Иной мужчина, даже и старшина́ с палочкой, стоит тут, слушает-слушает, только плюнет и пойдет прочь. О чем они говорят! Одна толкует, что такие-то и такие парни — хорошие люди, а другие — дрянь и кто кого любит и с кем знается. Другая кричит, бросивши работу, и божится, что, положим, Бо́брик Иван не хорош, и чем не хорош, и почему

о такой-то не думает, и куда, напротив, его думки и мысли летят. Все ей известно. Шепотом передает третья подружке, как ее в воскресенье в огороде затронул такой-то, и что́ она ему сказала, и что́ он ей на то ответил; как после она пошла дальше, а он все за нею и просил, чтобы она вышла постоять за ворота. Непобедимая и влекущая сила любви берет свое. Влюбленную тут сейчас наметят все и знают ее давно. Сама она тоже как будто перерождается. Отца нет дома; надо все прибрать. Пшено на кашу затерто, горшки перемыты, корова сдоена, хата подметена, постель постлана. Надо ложиться раньше спать, завтра чем свет, по холодку, сходить на базар; отец будет с поля, надо соли купить, обед сварить. Мало ли работы? Но работа валится из рук, сон бежит от глаз. Коса зачесана; девушка умылась, кладет поклоны; спина изгибается, как молодой я́сенок. Дверь заперта, свет погашен, а в окно смотрит месяц; ветка черешни машет, и тень перебегает по полу. Вдруг в двери кто-то стукнул, и сердце бьет тревогу. Долго будет памятна в будущем и эта ночь, и свет месяца, и неугомонный треск кузнечика, до зари прерываемый только громкими криками петухов, которым вторят пискливым баском маленькие, подрастающие петушки... С бабами другая история. Где они соберутся, там часто не минует драки. Стоит какой-нибудь заикнуться о том, пожалуй, что весь свет скоро сгорит, так вот, как хлопья горят, и никого уже больше не будет, и от людей одна сгарь полетит по воздуху, — все тотчас опустят лопаты, или иголки, или грабли, что было в руках, и до вечера протолкуют, как это сгорит свет. «Да ты от кого слышала про это?» — «От Кузубки!» — «А она?» — «От своего дяди!» — «А он? — «От тетки, а может, от кумы!» Толкам нет конца. Скорее всего, что рассказчица о пожаре света слышала от ветра. И этим еще не кончается. Завтра одна из слышавших это наденет новую юбку, возьмет под мышку кусок полотна и как будто за делом пойдет в соседнее село. Там скажет про все первой попавшейся знакомке, та своим бабам — и пошло кружить. Иногда мужики возвращаются с заработков, а же-

ны уже, за ненадобностью и скорым концом света, одежу сбывают в полцены. История кончается другой историей. Например, одна, развеселившись и разолгавшись нараспашку от всей души, вдруг скажет на работе другой: «Да это, душка моя, было тогда, как мы с тобою, помнишь, у отца Герасима лук крали!» — «Как крали?! Врешь... Я не крала; это ты одна крала, а я только смотрела и говорила: «Э! Варько́, не крадь, увидят! Помнишь?» — «Врешь, врешь! Крали, вместе крали! И ты еще полный подол набрала!» Толпа слушательниц разделяется надвое, одни пристают к первой, другие ко второй. Разбирают дело до той поры, что переругаются до потери голоса и идут домой с синяками под глазами. И все тут поминается обидчицам: где какая из них пьяна была, где муж ее бил и как муж оставил в корчме заложенный пояс и шапку и не в чем ему было домой идти. Всё вспоминают словоохотливые бабы... А пока в деревнях бабы ссорятся, а девки толкуют про суженых, чумаки уже далеко-далеко в пути, уже скоро в Крым придут и с Дону рыбы навезут. Пути, которыми они ходят, большей частью не изменяются. Одни обозы чумаков идут на Дон и азовское прибрежье, где нагружаются соленой и вяленой рыбой. Из этой рыбы самая употребительная и известная в Украйне — тарань. Она поспевает с Дона обыкновенно как раз к петровскому посту и раскупается нарасхват для косарей и домашнего употребления. Другие обозы отправляются в Крым, к озерам за солью. Выше уже сказано, что главная дорога туда идет исстари так называемым Муравским шляхом. Реку Богатырь, называемую еще Джемрек, переезжают по настоящему, хорошо устроенному мосту. Здесь уже начинаются иностранные колонии. Первая — Большой Янысель, потом — Старый Керменчик. Отсюда дорога идет к реке Кобыльной. Вблизи этой реки, на реке Волчьей, в степи, недавно еще видели остатки табунов диких лошадей, и, как прибавляют, эти лошади серенькие и небольшого роста и так же пугливы, как всякая полевая дичь, бегут от одного вида человека. Тут явились не так давно еврейские колонии, или

номера, как их тут называют. Далее чумацкая дорога идет в Апухтины Номера и в Черниговские хутора. Между последними степь лежит на пятьдесят верст, не оживленная ни одной деревушкой. За этим, немецкое село Красный Трактир сменяется Астраханкой — деревней секты молокан. Наконец, является среди степи уездный город Мелитополь, прежде Кизьяр. Он состоит из деревянных домиков, большей частью избушек. За Мелитополем, где уже на базарной площади толкутся двухколесные татарские арбы и верблюды и где я покупал виноград в одной цене, как за неделю в Крыму, в южнобереговой Алупке встречается еще одно русское село — Ефимовка, с почтовой станцией на Перекоп. Отсюда уже на полтораста верст идут одни татарские и ногайские деревни. Недалеко от Приюта, в Святодуховке, живет замечательный чумак Иван Солонина, тридцать лет занимающийся своим ремеслом и побывавший с волами даже в Варшаве. Местные жители много говорят о его уме, честности и неутомимости в дороге.

Других путей я не буду исчислять. Чумаки, живущие близ Днепра, идут еще в Одессу, Польшу и в Бессарабию, с разным грузом. Из Бессарабии тоже вывозят соль. На Днепре переправляются на тех же старинных запорожских бродах и татарских перелазах, где, впрочем, уже устроены хорошие паромы и плавучие мосты, как в Кременчуге. На Сиваше устроен мост, на пáлях, осмоленных «шевской смолой», как говорят чумаки. За мостом — Перекоп, а вблизи — первое соленое озеро Тонкое. Как я уже сказал, на Алешковские пески, у Днепра, знаменитые своей «бескормицей», мало ездят чумаки, а везут соль на село Копани, где она грузится на барки и по Днестру ставится в Херсон. Вообще, левая сторона Днепра до Сиваша идет солончаками, а правая, по Ингулу и Ингульцу, балками, лесистыми оврагами и песками. С весны открывается переправа на пароме в Бериславе. Тут сходится иногда разом несколько тысяч воловых возов. В Одессу идет другое разветвление чумацких обозов. Они

в Одессу возят с апреля до сентября, почти непрерывно, пшеницу из окрестных уездов, ездят в Бессарабию, в Крым и на Дон. Иногда из нескольких валок составляется обоз в триста пар подвод, причем у избираемого атамана, старосты, хранятся артельные деньги для покупки на общину новых волов вместо павших, для починки возов и покупки на месте товаров. Таким образом, все почти пространство южнорусских степей от весны до поздней осени в разных направлениях искрещивается странствующими чумаками. Последних ничто не пугает: ни вид пустынной степи, где волнуется щетинистый ковыль да неуклюжий серый бурьян, ни вредные болота приднепровских лиманов с сыпучими песками — прогноями и солончаками. Они идут себе шаг за шагом, перенося зной и бури, жажду и голод, в ожидании богатого сбора рыбы и соли. Рыбный улов не столько любопытен, как сбор соли в крымских озерах, и потому я коснусь здесь последнего.

Чуть только, в конце мая или в начале июня, вода отступила из лиманов и с берегов озер, соль садится на земле и лежит толстой корой, иногда далеко с берега над водой, как лед, до конца июля, особенно если лето сухое. Дожди ее размывают. В это время дворяне подольские, новороссийские и бессарабские, казенные комиссары, немецкие колонисты, чумаки и татары шлют подводы и сами являются за покупкой и грузом соли. Казенное промысловое управление распределяет работы и делит лиман жердями на паи, от берегов до середины лимана. Близ берега слои кристаллов тоньше, в глубине толще. Ямы и глубины оставляются за казной. Лопатами и корытами берут ил с солью и дают ему оседать на берегу. Где дно суше, там и работа легче. Соль возят тачками, на волах и лошадях. Работники подвязывают под ноги дощечки, потому что соляной сироп, *тузлук*, очень вреден, кожа на ногах от него трескается, и в трещинах открываются упорные раны. На руки работники надевают особого рода рукавицы. Одежда от соли, пропитываясь туз-

луком, деревенеет. Прежде всего наполняют казенные склады соли в надднепровских магазинах. Прочее копят в скирдах, называемых *кагатами*. Чтобы кагаты не портились от непогоды и не размывались дождями, их обжигают хворостом и соломой так, что слежавшуюся и обожженную соль в них после с трудом рубят ломами и топорами. Лучшей, чистой солью считается, славная на месте и в Малороссии, *красноозерка* и *староозерка* — с двух обширнейших перекопских озер, Красного и Старого. В некоторых местах казна отдает добычу соли на откуп частным лицам. Откупщики при этом, взявши озера, нанимают «таэву» — артель рабочих с тачками, возами. У берега соль черпают, в смешении с тузлуком, лопатами, артелью человек в двадцать; из складов, кагатов, ее рубят.

Чумаков, по приходу их к Перекопу, выстраивают в ряд. Чиновники поверяют, сколько возы каждого могут поднять соли, и за этим выдают им на проход к озерам открытые листы. В кагатах, по этим местам, им отпускают соль даром, а берут деньги уже в правлении, при обратном их проходе через Перекопские ворота. Иногда здесь собирается несколько сотен обозов. Тогда корм и водопой дорожают, и чумаки наперерыв стараются поскорее расплатиться и уйти. Иные стоят здесь по целым неделям... Но вот соль скуплена, возы нагружены, чумаки идут в обратный путь. Иные везут соль прямо домой, в тысячи сел и местечек своей родины. Другие везут ее в складочные места на Днепре, откуда соль водою, выше порогов, поднимается в западные губернии и в Царство Польское. Одно из главных складочных мест соли на Днепре — Крюков Посад, в предместье Кременчуга. Здесь в июне и июле месяцах истинное царство чумаков. Тут они складывают соль, выручают чистоганом барыш и нередко тут же его пропивают до копейки. Тогда прокутившийся чумак в последнем похмелье садится на площади, заломит на ухо высокую шапку и слезно запоет знаменитую чумацкую песню:

Ой, запив чумак, запив,
Сидя на рыночку;
Тай пропив чумак, пропив
Усю худобочку...

В обратный путь чумаки берут более клади, нежели отправляясь из дому. Это потому, что соль и рыба тяжелее деревянных поработок, в одном объеме величины, и, нагруженные внизу воза, не так на ходу раскачивают воз, как товары, увозимые из Малороссии на юг, в том числе и хлеб. Приближаясь к родине, не всегда тоже эти присяжные скитальцы встречаются радостными новостями о своих. Там съели хлеб «овражки́», особый зверек, род суслика; там прилетела саранча и тоже уничтожила спеющие нивы. Часто рано на заре, поднявшись за косогор, чумаки видят родимую полосу земли, где залегла эта саранча. Серые, стекольчатые крылья блестят полосою на несколько сотен саже́н, отражаясь по склону холма, против солнца. Овражки́ составляют не последний вопрос нынешней жизни украинского юга. Есть имения, где вот уже седьмой год сряду поселяне и помещики покупают семена пшеницы, засевают ими целые сотни десятин земли и на следующий год видят, как в их глазах созревший уже хлеб эти овражки́ уничтожают в колосе дотла. И нет до сих пор положительного средства их истреблять. Ходит на юге предание, что пару этих хорошеньких зверьков, как диковину, привез из-за границы и подарил императрице Екатерине Великой, во время ее проезда через Малороссию в Крым, не то император австрийский, не то король польский. Зверьки убежали и с той поры, под влиянием особенно благоприятных местных обстоятельств нашего юга, малолюдности и многоземелья, страшно расплодились. Одна пара овражко́в дает детей три раза в лето. Говорят, что уже при императоре Александре I были распоряжения об истреблении их; а при императоре Павле в некоторых местах даже отряжались войска их уничтожать. Теперь спохватились сами помещики. Один из екатеринославских помещиков мне говорил, что в его имении, по примеру других,

была объявлена плата за каждого убитого овражка́. Действительно, в месяц иногда соседние и свои мальчишки приносили в его контору с его полей несколько тысяч этих зверков, и он расплачивался. Но что же ему было делать, если соседи, глядя на его попытки, сами ничего не предпринимали и к осени овражки́ снова наполняли им очищаемые поля? Пытались норы засыпать песком и забивать клиньями; овражки́ спасались другими, незримыми в траве, ходами. Пробовали прежде удушать их, наполняя нору посредством раздувательного меха едким дымом из ядовитых веществ и простого навозного кирпича. И это не помогало в нужной степени; иногда овражка́ именно в то время не было в наполняемой дымом норе, а он был в норе по соседству. Иные овражко́в выливают из норы водою и потом, чуть он, затопленный, высунет мордочку, его убивают. Но это требует большой возни, подвод и бочек, тогда как иной раз степь хозяина простирается на десять верст во все стороны, а реки нет и воду берут из колодцев. Один тонкий немец предложил было даже выливать овражко́в кипятком, ставя самовары у отверстия норок! Изъян от овражков так велик, что по расчету некоторых хозяев, если бы местность изобиловала лесом, выгодно было бы даже обнести поля с хлебом сплошными стенами из досок, в аршин вышиной. Делали пробы. Овражки́, действительно, так высоко не перепрыгнут. Но они могут прорыть ходы под досками. Да и где взять в степях такое количество леса! Недавно пронесся слух, что какой-то помещик придумал решительное средство для истребления овражко́в: именно заражение их поколений прививкой оспы. Этот слух снова замолк. Говорят, что овражки́ относятся к слепорожденным; а на слепорожденных оспа не действует. Картина истребления хлеба овражка́ми истинно поразительна. В знойный полдень вы едете по степи, овражков не видите, а слышите только резкий свист, в тысячи отдельных местах, по желтеющим нивам. Присмотритесь и замечаете, как в гущине колосьев некоторые стебли, подсеченные на вершок от земли зубами овражка́, склоняются,

будто от ветра, и падают. Овражки́ выбирают из колоса зерно и, держа его во рту, с раздутыми щеками, бегут спрятать его в нору. Теперь дознано, что овражки́ истребляют так и молодую траву. Прежде думали, что они не переплывают больших рек, и живущие за Донцом, по сю сторону Харьковской губернии, рады были и не беспокоились за свой хлеб. А теперь видели, как овражки́ целыми стаями переходили вплавь тот же Донец и другие реки. Под Змиевом и Волоховым Яром, где еще десять лет назад и не слышно было об овражка́х, в минувшее лето уже поселяне убивали их в день по два и по три десятка...

Чумак с стесненным сердцем возвращается на родину. Иногда еще болезнь настигает его на пути, и родного угла ему не приходится более увидеть. В смерти чумака в степи много трогательного. Ее воспели десятки лучших украинских песен, наравне со смертью казака на чужбине, в бою с врагом, в старинных казацких думах. Привожу перевод известной песни о смерти казака, насколько своеобразный подлинник позволил мне передать его суровую и дикую красоту.

Ветер по полю шумит,
Весь в крови казак лежит,
На кургане головой,
Под осокою речной.
Конь ретивый в головах,
А степной орел в ногах...
Ах, орел, орел степной,
Побратаемся с тобой!
Ты начнешь меня терзать
И глаза мои клевать;
Дай же знать про это ей,
Старой матери моей...
Чуть начнет она пытать,
Знай, о чем ей отвечать:
Ты скажи, что вражий хан
Полонил меня в свой стан,
Что меня он отличил
И могилой наградил!
С сыном ей уже не жить
И волос ему не мыть.

Их обмоет ливень гроз,
Выжмет досуха мороз,
А расчешет их бурьян,
А раскудрит ураган...
Ты не жди его домой,
Зачерпни песку рукой
Да посей, да поджидай,
Да слезами поливай...
И когда посев взойдет —
Сын иа родину придет!

В поэтической жизни Украйны чумак во всем занял место казака. Теперь он — герой степных песен. И в самом деле, отправляясь в долгое и тяжелое странствие, без особых предосторожностей и средств спастись от непогоды, влияния болотистых мест и всякого рода местных болезней, он часто становится жертвой скоропостижной смерти. Аптек на пути не ищите, равно как и врачей. В малонаселенной степи иногда за пятьдесят верст в окружности не найдете и общей спасительницы местного простонародья, полуколдуньи и полуврача — бабы-знахарки. Напившись в жару холодной колодезной воды, наевшись не в меру арбузов и дынь или даже только простудившись, чумак уже задумывается, повесил голову и молча готовится встретить свою участь. Товарищи с участием и боязливо поглядывают на него. Он уже не ест и не пьет и неподвижно лежит на возу. Он истощен, бледный, как труп, едва переваливается с боку на бок, волосы его взбиты. Изредка только попросит воды промочить язык. И вот иногда, на закате дня, видите вы среди лощинки, в десяти шагах от битого чумацкого шляха, толпу неподвижных чумаков и на дороге, в стороне, распряженный обоз. Наскоро готовится печальный обряд. Умирающий уже умыт, причесан, на него надета запасная чистая рубаха. Тут же нередко товарищи невдалеке и могилу при нем роют. Он лежит на постланной свитке, клок сена или бочонок с водой в головах. А перед ним стоит ближайший его товарищ, родич или побра́тим,

друг его детства. Прочие в это время удаляются к стороне и набожно стоят в ожидании. Умирающий исповедуется в грехах, за отсутствием священника, другу: «Ну, друже, прости меня навеки! Вот там, в Немирове, украл я ведро, а у нас, в Ганновке, есть моя люба — и я ее загубил, и теперь уже ей не житье! А там-то в лесу у меня закопаны три целковых, ты их найди и ей отдай два, а один попу за упокой души. Да еще я облаял Демка́, да Петра, да матери покойной нагрубил... Сестру бил спьяну два раза... Шаровары тоже заложены в корчме у Прокопе́нка... Грешил я, друже, во всяком деле, и слове, и помышлении. Моли Бога, и попа проси, и служи за упокой... А во́лики мои... Береги их... и не продавай... береги...» С мыслью о любимых волах, товарищах многих и многих его странствий, отлетает душа его. Товарищи сходятся, крестятся, кладут его в свежую могилу, бросают по горсти земли, засыпают могилу и ставят над нею шест, с привязанной наверху хусткой, платком. Вы часто увидите в степи, близ дороги, такой шест. Во многих местах ни шеста, ни хустки давно уже нет, а перекресток двух дорог или одинокий курган называются «братьями чумаками» или «чумацкой могилой». Похоронив товарища, чумаки едут далее. Иногда до следующего села бывает не ближе сорока или пятидесяти верст. Жители села на заре услышат звон и знают уже, что это чумаки проходят и «звонят по душе». Обоз останавливается на улице. Один чумак идет к пономарю и уговаривается с ним о звоне. А принявший последнюю исповедь покойника идет передать ее священнику. «Что ты?» — «Пришел просить вашей милости. Товарищ отдал Богу душу на дороге. Примите грехи, я их принес!» Местные священники знают уже этот обычай, берут крест и Евангелие, и товарищ передает грехи покойного. После этого священник едет к могиле и «печатает гроб», то есть совершает над ним принятый обряд, читает молитвы и служит по уставу панихиду. Исполнивши обряд, товарищ догоняет

обоз. И долго еще чумаки за обедом и ужином поминают недостающего в круге котелка собрата. Но его оплачет еще суженая. Песня об ожидании невестой умершего чумака кончается так (перевожу ее):

Шумят вербы в конце гребли, что я насадила;
Нету-нету миленького, что я полюбила!
Нету-нету миленького, нет моего солнца;
Не с кем слова перемолвить, сидя у оконца!
Чернобровый, белолицый и карии очи —
Не с кем слова перемолвить, сидя до полночи!

Знаменитейшая из украинских песен о смерти: «Ой, ходив чумак сим рик по Дону». Ее поет вся Малороссия. С напевом ее сравнится редкая из народных песен. Другая песня, менее известная, повторяет совершенно одну мысль с приведенной выше старинной песней о смерти казака. Вот ее подстрочный перевод: «Ой, по горам снеги лежат, по долинам воды стоят, а по путям маки цветут! То не маки, а чумаки, из Крыму идут, соль везут. Матерь сына узнавала, не узнала, выкликала: «Иди, сынку, до домоньку, смою тебе головоньку!» — «Умой, мати, сама себе или моей родной сестре. Меня смоют часты дожди, а расчешут густы терны, а просушит ясно солнце, а раскудрят буйны ветры!» Каждая почти чумацкая летняя песня говорит: «Добро было чумаковать, пока все было ровно, а то уже из-за тех билетов — ходить невольно!» — намекая здесь на паспорты, прекратившие южноукраинское бродяжничество. Не менее известная песня: «Ой, чумаче, чумаче, у тебя личко казаче!» — говорит, что путник «Ехал, ехал — могила; край могилы — долина, там чумаки стояли, совет с собой держали...». В заключение чумацких песен привожу перевод песни, также о смерти чумака, мысль которой очень поэтична: «Ой, в поле криница, там холодная водица. Там чумак волов поит. Волы ревут, воды не пьют, дороженьку чуют. «А чтоб же вы, серы волы, да в Крым не сходили, как вы меня молодого навеки смутили!» Помер, помер чумаченько,

на неделе рано, схоронили чумаченка в зеленом бурьяне. Насыпали над чумаком высоку могилу, посадили над могилой красную калину. Прилетела кукушка и сказала: ку-ку. Подай, сынку, подай, орлик, хоть правую руку! Ой, рад бы я, моя мати, и обе подати, да налегла сыра земля, не можно подняти...»

IV

Осень

Календарь осени. — Картины селений. — Пример украинской грязи. — Ожидания чумаков с дороги. — Смерть украинской девушки. — «Панское вино». — Рассказывание в дождь сказок. — Сказки о запорожцах и «песьиголовцах». — Образчик сказки об украинском Геркулесе. — Заключение

Ни одно время года так не питает грусти, как осень. Пушкин сравнил осень с умирающей красавицей. Ко многим чертам поэзии, обрисовавшей эту пору года, можно прибавить, что украинская осень в особенности картинна. Отлет журавлей, зеленеющие бесконечные озими, молотьба нового хлеба, смолкшие, обнаженные поля и луга и предвестники зимы — дрофы и стрепеты, собирающиеся в кучи, — все это веет невыразимой грустью. Первый желтый лист здесь не заставляет ждать долго морозов. Сады и леса зелены еще в сентябре и в октябре. Зато первый студеный утренник превращает деревья во что-то волшебное. Проснетесь — и глазам не верите. Перед вами стоят клены, будто вылитые из червонного золота, серебряные бересты, бронзовые липы и вороненые, темно-багровые орешники. Вы не раз, вероятно, встречали такие золотые, сказочные рощи по полтавским и черниговским дорогам, где иногда целое дерево или ветка кажутся выкроенными из яркой, алой или лиловой, ткани. Хмель и желуди собраны. Семен-летопровод обходит дозором сады, пашни и огороды, чтоб нигде не было недостатка,

чтоб овощи и плоды везде принесли урожай и радость. Зато же ни с чем не сравнится довольство хозяина, разрезавшего, за белой, чистой скатертью, первый новоиспеченный хлеб. А кто сел за стол и за горою пирогов не увидал на другом конце стола хозяйки, тот считает себя счастливейшим человеком. Работы кончены. Спи и наслаждайся. Волка ноги кормят — человека кормят руки. Руки отработались. Теперь уже довольно. Все идет на отдых. На Воздвиженье гады сдвигаются по местам. Сдвигай и ты свиту, а надевай кожух да на печь иди. В поле скучно, пусто и бедно. Бабье лето приводит похороны мух. Сорванные ветром паутинки летят по воздуху и исчезают. Ведьмы ловят их и строят из них лестницы на небо, замечают поселяне, а по лестницам этим взбираются души некрещеных младенцев и утопленников. Терн собран. Соленья всякого рода припасены на зиму. Подвалы хозяек наполняются бочками и флягами наливок и водянок, плодовых квасов и морсов. Молодой заяц мячом выкатывается из-под ног охотника. Своры снуют по кустарникам. В лесах идут облавы на волков и лисиц. В сарае звенит под новым обручем бочка. Среди слободки шумнее и многолюднее. На призбах под вечер все сидят и толкуют, как летом в праздник. У околицы появляются навьюченные мешками щетинники, любопытный народ, торгующий гребнями и ладаном, иголками и померанцами для настоек, шафраном и серьгами и меняющий свои товары на щетину, пеньку, перья, полотна, воск и мед. Баба засмотрелась на оловянное кольцо и отдает за него доход с двух годовалых кабанов; понравилась ей лента на дочку, и в неизмеримые мешки щетинника отправляется пух с десятка гусей. Как знать цену этому пуху, щетине или полотну? Бог их знает! А уже дело известное, лента по пятаку аршин, а кольцо гривна, хоть в Балаклее или в самом Харькове покупайте. Наступает ноябрь. Ток ноет от молотьбы. На Федора-Студита уже сильно студит. А вот и день пророка Наума. Школьников ведут в этот день к дьячку и отдают в науку. «Наум наведет на ум!» — говорят отцы, по старосветскому

обычаю, и плотнее прижимают носы в бараньи шубы... Сменяются известные субботы: Федорова, Кузьмина, Михайлова, Дмитрова и Пущальная. Последняя составляет заговенье перед Филипповками. Как в эту субботу объедаются украинцы, читатель знает из любопытного рассказа Квитки: «На Пущаньня як завьязано!» А что вы поделаете с знаменитой малороссийской грязью? О ней и понятия не можете иметь вы, гуляющие по Невскому и по столичным мостовым. Можно объяснить вам это примерами. В уездном городке в именины судьи гости стали съезжаться с визитами к имениннику. Но встретилось неожиданное препятствие: улица за ночь превратилась в болото. Тройки не могли вывозить легких дрожек. Городничий приходил в азарт более других и брал улицу штурмом. Пробрался за два дома до крыльца именинника, встал на дрожках и замахал платком, торжествуя победу. Но тут дело и кончилось: лошади далее не повезли, потонувши в грязи по брюхо. Тогда сжалились соседи. Выставили уже двойную раму окна против дрожек, проложили с окна доски на дрожки, городничий прошел в окно, а там по кладкам соседних дворов прошел к имениннику. Грязь полтавская и харьковская известна всем. Почта на южных дорогах запаздывает неделями. Я делал на перекладной, запряженной пятериком крепких курских лошадей, без малейшей поклажи, по две и по полторы версты в час. Дорога от Перекопа к Севастополю, усеянная сотнями затонувших и замерзших в грязи волов и лошадей, известна всем. Гребенка описал калоши-корабли, употребляемые полтавскими чиновниками для ходьбы на службу. Я видел лакея, застрявшего с блюдом соуса между кухней и домом, причем, за неимением под руками досок, его и соус спасли только тем, что разломали деревянную ширму в девичьей и простлали ее половинки от крыльца к утопающему, при толкотне семьи, высыпавшей из-за стола. Вид несчастных волов, везущих возы, с колесами, облепленными до того грязью, что им нельзя уже катиться, а остается ползти в виде санок, раздирает сердце. Вообразите же при этом еще неожиданный

мороз с ветром, без снега. Тут делается так называемая ожеледица, или гололедица. По исполинским пространствам степных дорог пробивается единственная колея, нередко в аршин глубиною. Свернуть с нее нет возможности, а по бокам — либо канава дорожного бульвара, либо сплошные, окаменелые от мороза волны разрыхленной грязи. Предоставляю вам вообразить встречу на такой дороге двух чумацких обозов, возов в полтораста каждый, запоздалых в странствии, с грузом пятидесяти и шестидесяти пудов на возу. Но опытные чумаки принимают меры и в такую пору не едут. Чуть, как говорится, размокропогодилось на осень, они уже все покончили и сидят дома. В сентябре уже на хуторах и слободах ждут чумаков обратно. Толки баб в это время достигают высшей степени напряжения. Одна говорит, что вот муж приедет, должно быть, к воскресенью, а она смазала набело хату, печь выкрасила красной глиной и синькой разводы поделала. Другая толкует, что, верно, не к воскресенью, а к среде *наши* будут, потому что она во сне видела, будто шел старый Никита, вынул рог табаку из голенища, понюхал и сказал: «А наши будут в середу». Третья, наконец, уверяет, что не в середу и не в воскресенье, а в понедельник, потому что в воскресенье их задержат на Крейдунке, там они будут гулять и пить целые сутки. Не в среду же, потому что середа постный день, а уже дома надо будет всем разговеться и водочки выпить. При этом не без того, чтобы не вспомнить, как ее муж в прошлом году бил, заставши с кем-то в коноплях. «О! Да и бил же меня муж, да и бил же, бил, бил! Вот как бил! Что уже ни лечь, ни сесть, ни стоять; а после еще пучок взял...» Иногда общее течение толков прерывается рассказом о какой-нибудь Марусе или Найде, девке из соседнего села. Несчастная услышала о смерти любимого парня-чумака в дороге и повесилась в саду под хатой. Наехал суд, произвели следствие, написали и подписали протокол, что такая-то повесилась, умерла «скоропостижной смертью», по неизвестным причинам. И останется о ней память в одних недолговечных толках околотка,

да, может быть, какая-нибудь песня сложится о ней и пойдет бродить по Украйне... Дожди не умолкают. Серое небо без рассвета. А вот является изморозь. В воздухе вольнее и яснее. Зори, как брильянтовые, горят на небе. Уже близка пора снега. Остается запорошить дорогу первому снегу. Тучи нависли. Из каждой готовы уже хлынуть вороха снега. В околице показывается последний запоздалый обоз чумаков из Крыма. Чумаки отвезли соль в Кременчуг, в Крюков Посад и идут невеселы. Они недосчитываются любимого своего товарища, Лазаря Овечки. Лазарь был запевало и коновод всех гулянок и попоек, лучше его никто не трудился в дороге. Ему с возвращением готовился выбор на сходке в старшины, а там и в головы. Уже сменяемый миром пройдоха голова Арте́м Штонда подговорил старшин Греблю и Качана, Пере́вертня и Погане́нького, стоит на сходке, всех озираючи и ни на кого не глядя. Уже он обдумал все кругло и гладко, что против рожна не пойдешь и что надо уступить место Лазарю. А Лазарь взял да на дороге и умер. Привязалась просто лихорадка. Лечить некому. Она перешла в горячку. В Решетиловке и схоронили. Пришли чумаки обратно домой. Родное село, как призрак, встает перед ними в тумане. Все высыпали им навстречу: жены, дети, старики, невесты, родные и чужие. «А где же Лазарь?» — «У Бога!» В толпе баб поднимается вой. Чумаки также присматриваются: все ли живы из домашних. «А где Оксана?» — неровным голосом спрашивает Омелько Жгут. «Дома, дома, жива! — быстро отвечают ему. — Только уже другая — не встает с печи!» Мало радости! Но спешит Омелько посмотреть на свою суженую. Сухотка без него съела девку, и недолго остается ей жить. Через месяц, перед Филипповками, она и умирает. Трогателен при этом обычай в Малороссии... Если умрет на Украйне девушка, помолвленная при жизни или даже просто тайно нареченная невеста любимого парня, похороны справляются так необыкновенно, что их трудно отличить от свадьбы. На хоругви и кресты, всегда выносимые из церкви при украинских похоронах, мать или

родные покойницы навешивают все лучшее из ее приданого, ленты, штофные пояса, мониста и дукаты. Гроб убирается также кусками холстов и тканей, заготовленных на свадебные наряды. Сама покойница ими убирается цветами и одевается в красивейшее платье. Молодежь, утешая убитого горем жениха, руководит похоронами, несет гроб, засыпает его землей. И самые поминальные песни здесь смешиваются со свадебными. Девки и бабы поют: «Ой, наша Оксаночка, засваталась; с Омельком обвенчалася!» — исподволь упоминая в песнях все малейшие обряды, совершаемые при свадьбах. Нет сил вынести это зрелище. Жених падает на зарытую могилу, и иногда его замертво уносят оттуда... Осенью довольство в простом быту разлито более, чем когда-либо. Чумак, заработавши копейку, также не плошает. Вы увидите на торгу широкий воз, на котором восседает он, приставя баклагу с водкой к губам, и пьет на всем раздолье, по пословице: «Пан в огороде равен воеводе». Мне рассказывали бедственный случай. Два чумака зашибли порядочную сумму извозом, нашли подрядчика своего в Кременчуге, сосчитались с ним и получили сполна все деньги за три или четыре года. С кисою, полною целковых и ассигнаций, пришли они в винный погреб и озадачили приказчика словами: «А ну-те, добродию, дайте нам паньского вина!» Род вина не был указан; требовалось просто вино, которое пьют паны, господа. Это бы еще ничего. Приказчик подал им лиссабонского, потом портвейна, а наконец шампанского. «Дивись, дивись, Митра, — говорил один другому: — яка мéдя, та и пляшки у золоти! Се б то неначе варéна, а се ще й дзищыть!» Нализались собеседники до потери сознания. Приказчик запер двери на засов, вытащил у них деньги, запрятал подальше, а хозяев денег — время было под вечер — к ночи вывез на выгон и бросил. Вообразите отчаяние бедняков! Кроме пропажи денег в защиту винопродавца, обличенного ими, засадили было их самих в острог. Но бойкое вмешательство одного чиновника раскрыло дело, и приказчик был уличен. «А что? — спрашивали после чумаков. — Хорошо панское

вино?» — «Э! До биса гарне; да шкоду робыть. Як утнешь пляшку, довго будешь чмелив слухати, та ще й москаль проведе! А той, *портовин* що прозывается, так тильки як у рот узяв — увва! тильки тепло по животу расходытця!» Под вечер каждая слободка шумит. Везде веселье, огоньки, шум, игры. Молодежь собралась, начинает тянуть песни. И не заметишь, как грянут первые заморозки и зима выглянет из-за косогора.

В дождливую погоду, в серенький туманный денек, запоздалые чумаки не идут обозом. В дождь у волов стираются ярмом шеи. У составленных возов, под рогожами или прямо под возами, чумаки собираются тогда в кучи и ведут всякие россказни. Осенью дозволяется говорить сказки. Летом нельзя говорить сказок, по поверью, что от этого падают овцы. Покуривая трубки и лежа на животе, чумаки предаются самым фантастическим толкам о старине, домовых, ведьмах, оборотнях и вовкулаках. Иной говорит, как в былые дни запорожец-гайдамак выедет на большую дорогу, положит на ней поперек ружье, а сам вблизи ляжет на ковре и курит. Кто едет мимо из чумаков — и давай ему дань солью или деньгами, Так целый обоз, человек пятьдесят, и платит с каждого воза. Тогда уже и примет ружье. Опасные были люди и в страхе держали целые караваны. «Только лежит себе да курит, как боров толстый, и усами моргает. Дядя мой, Охрим Вайленко, видел такого гайдамака на дороге, как в Крым ходил. И что же бы вы, братцы, думали? Положил середи шляху нагайку и говорит: «Платите подорожное, а то поколочу»». И заплатили. А их было душ двадцать, а он один!» Немалую роль в таких беседах играют еще рассказы о *песьиголовцах*, людях с собачьими головами, которые будто бы в старину перенимали пути чумакам в Крым, хватали их в кабалу и откармливали орехами да желудями на убой: как урежут палец и кровь не течет, а капает один жир, тогда и режут. Тут, разумеется, не без того, что в таких бедствиях удавалось иному чумаченьке уйти; тут идут толки, как он ушел, как его полюбила непременно красавица

дочка песьиголовца, как они сдружились, стали жить тайком душа в душу, она стала носить ему под полки в погреб не орехи на убой, а разживется где-нибудь русского хлеба да и отнесет; а там, как пришло время отцу его резать, она выпустила его ночью и говорит: «Беги же ты, христианская душа, и не поминай меня лихом! Нам уже не свидеться больше. Только как рожу я дитя и оно будет уже большое, то я пришлю его к тебе». И вот, в самом деле, раз сидит уже чумак дома, лет пять или десять с тех пор прошло, и забыл он уже про плен и про песьиголовцев, вдруг вечером вылазит из травы мордочка, с собачьими ушками и глазами, подходит и говорит: «Здравствуй, батько; мать послала меня к тебе. Не убивай меня, а станем жить, и я до веку буду тебе сыном...» Холод пробегает по жилам слушателей, сказка разрастается в более и более причудливые виды. Я иногда по целым часам засиживался у воза чумаков, прислушиваясь к их беседам, в осенние дождливые дни. Сказка украинская всегда с особенной силой привязывала к себе мое внимание, и с детства я следил с любовью за нею... Для тех же из вас, кому любопытно было бы видеть образец народной украинской сказки в том самом виде, как она выходит прямо из уст народа и как она в особенности дорогá изыскателям народной поэзии, присоединяю следующую сказку — «О силаче», записанную от слова до слова с рассказа поселянки и переведенную мною. Вот она. «Был себе человек да жена, а у них два сына и дочка. Пошли сыны в поле и наказывают отцу и матери, чтобы они с дочкой им обедать прислали. Дочка говорит: «А я почем знаю, где вы там в поле будете?» А они говоряг: «Мы будем раки есть да шелуху кидать по следам; так нас по ним и найдешь!» Вот они поехали да все следом шелуху кидают; а тут потихоньку черт пособирал шелуху да на свою дорогу и поперекидал. Дочка пошла по дороге и пришла черт знает куда, до нечистого! А он ее поймал и говорит: «Будь ты моя жена, а я твой муж!» Братья ввечеру приехали с поля и стали отцу и матери попрекать, что не прислали обедать и что они голодные. А отец говорит:

«Мы послали». А они говорят: «А мы и не видели. Где же она делась?» Ждали, ждали — нет. Старший брат говорит: «Пойду я ее искать». И пошел. Идет, а человек пасет овец. Он стал спрашивать: «Не видел ли ты девки? Не шла ли она, или не увели ли ее?» — «Видел я, пане-брате, она шла!» — «Нельзя ли ее найти да выручить?» — «Можно найти, да нельзя выручить». — «Отчего?» — «Если съешь разом живого барана, совсем с кожей, так выручишь». — «Мне его одному и на целый месяц будет!» И пошел от него. Напался он на стадника, что скот пас, да и стал тоже спрашивать: «Не видел ли ты девки, не шла ли она, или не увели ли ее?» — «Видел, пане-брате, она шла!» — «Нельзя ли ее найти да выручить?» — «Можно найти, да нельзя выручить!» — «Отчего?» — «Если съешь разом телушку, так выручишь!» — «Мне и на полгода ее будет». — «Ну, так не выручишь!» Он дальше пошел. Напался он на табунщика, что коней пас, и опять спрашивает: «Не видел ли ты девки, не шла ли она, или не увели ли ее?» — «Видел, пане-брате, одна себе и шла!» — «Нельзя ли ее найти да выручить?» — «Можно найти, да нельзя выручить!» — «Почему?» — «Если перескочишь через двенадцать коней, так выручишь!» — «Я и через одного не перескочу!» — «Ну, так хоть ворочайся домой — не выручишь». — «Нет, пойду: что будет, то будет, а пойду!» И пошел. Пришел он к черту во двор, встречает сестру: «А! Здорово, брат старший; по воле или по неволе тебя Бог принес?» — «Казаку-рыцарю нет неволи, он все ходит по воле!» — «Рада бы я с тобою пойти погулять, да муж у меня лихой!» — «Как?» — «Да у меня муж черт; я тебя спрячу в сундук!» Она его спрятала в сундук. Прилетел черт-змей, сел на лавке, ус пригладил и говорит: «Фу, русский запах!» — «Нет, муж, ты по Руси летал, русского запаху набрался!» Вот они посадились вдвоем; и стала она ему говорить: «Что, если б мой брат, а твой шурин, да пришел бы к нам, рад ли бы ты ему был?» — «Э! Как не рад-таки? Пили б, да гуляли, да добрые бы мысли помышляли». Она пошла в чулан, вы-

пустила брата из сундука и повела к мужу. Брат стоит, а змей говорит: «А, здорово, шурин; подавай-ка, жена, целого барана с печи!» Она подала, сама стала около печи. Змей посадил шурина и говорит: «Ну, пане-шурине, кто наперед кость обгрызет, то тот другого стукнет в лоб!» Пока шурин управлялся с одной костью, а черт целого барана съел и костью все его в лоб. «А теперь, пане-шурине, ты беги прямо в дверь, а я из четвертой комнаты побегу; кто кого опередит до крыльца?» Шурин сказал: «Хорошо!» — и побежал. А змей из окошка выскочил и разорвал его. Вот так и меньшой брат пошел, и с ним все такое же было, что и со старшим; змей и его разорвал. Когда змей побил шуринов, дал приказ их рубашки мыть. Жена пошла на воду, моет кровавые рубашки и плачет; а слеза упала в воду, с кровью смешалась, поплыла по воде и обратилась в горошину. Остались старый отец со старухою. Растеряли детей; плачут. Пошла старая за водой. Катится по воде горошина, старая поймала ее и съела. Как съела, так и стала чревата; родила сына и дала ему имя Катигорошек. Растет он не по годам, а по часам; вырос и пошел в чистое поле гулять. Насобирал подков, ободьев и всякого железа, принес к отцу и говорит: «Иди к кузнецу, и пусть мне из этого железа семипяденную булаву сделает; только не говори: «Помогай Бог!» Отец не послушался, сказал и принес булаву. Катигорошек пошел в сад с матерью, подбросил булаву кверху, аж на семь суток, и наказал матери, чтобы она стерегла, как будет дождь накрапа́ть да ветер повевать, то чтоб она разбудила: то булава сверху будет лететь... Сам лег на семь суток, а мать стала стеречь. Вот начал дождь накрапать, а ветер повевать, стала мать его разбужать: «Вставай, сынку, летит булава твоя!» Сын проснулся и наставил мизинный палец; булава как ударила, так и рассыпалась на мелкие части. Катигорошек опять посылает отца, чтоб из этих кусочков сделал кузнец другую булаву, и опять наказывает, чтоб не говорил «Помогай Бог!» Отец не послушался, сказал и принес булаву. Катигорошек подбросил и ее, подставил

колено, и она опять рассыпалась. Он в третий раз послал и наказывал не говорить «Помогай Бог!» Отец пошел и не сказал. Сын подбросил булаву и, как она летела, подставил лоб; она ударилась, да вдруг опять и отлетела на семь суток; а как вернулась — упала на землю и ушла до самой рукояти. Тогда он выхватил ее и говорит: «Теперь я знаю, что у меня было два брата и сестра; братьев уже нет на свете, а сестра в неволе; пойду я их искать: не найду ли?» Взял булаву и пошел. Встретил он овчара и спрашивает: «Можно найти сестру?» Отвечал овчар: «Можно найти, только если съешь живого барана!» — «Вот еще, одного! Дай мне еще и другого!» Съел, только кости остались. Овчар и говорит: «А, бесов сын, изведешь ты нашего хозяина со свету!» Пошел дальше, встретился со стадником; съел двух телушек. Встретился дальше и с табунщиком и перескочил через двадцать четыре лошади. Тут табунщик сказал: «А, бесов сын, пропал же теперь наш хозяин!» Он ему: «Молчи, если хочешь живым быть; не то и тебе будет плохо!» Пришел к змею, сестра встретила: «Здорово, брат или кто тебя знает!» Он ей: «Положи булаву в печь, чтобы она раскалилась!» Она ее положила, а он сел за стол. Змей прилетел, ничего не говорит, только ус разглаживает. Жена говорит: «Это мой брат». Змей приказывает: «Вынимай, жена, нам целого барана!» Она вынула. «Кто прежде съест кость, тот другого в лоб!» Змей не успел и одной съесть, а Катигорошек съел целого барана и все кости в него побросал. «Ну, еще, шурине: ты иди в двери прямо, а я пойду кругом, через четыре комнаты: кто прежде на крыльцо выскочит?» Он взял булаву и выскочил. Змей уже там и только что разинул рот, а он ему горячую булаву в рот и говорит: «Где мои братья?» Змей показал, где они лежали не живые. Он змея убил и пошел к братьям. Летит ворона с воронятами! Он их и поймал. Говорит вороне: «Принеси мне целю́чей, живу́чей и говорю́щей воды!» Ворона полетела и добыла ему такой воды. Он взял вороненка, разорвал и полил его: тот стал цел, ожил, закрякал и полетел. Катигорошек то же и с братьями

сделал. Братья встали и говорят: «Как мы крепко спали!» А он: «Заснули бы навеки, если бы не я! Пойдем в нашу землю!» Пошли они с ним и не верят, что он их брат. Легли спать, взяли его, привязали к дубу веревкой, а сами с сестрою и пошли. Он проснулся; повернулся сюда, туда, дуб зашатался, он рванул и поволочил его с корнем за собою. Пришел к отцу и говорит: «Братья веры не имут, что я их брат, вон к какой палке привязали; не пригодится ли кому на воз или вытопить печь? Возьмите!» Вот он живет-живет, а дальше и говорит: «Пойду я вам хлеба заработаю!» Пошел и нанялся у одного попа хлеб молотить. Взял семь пар волов да семь пар возов и пошел цеп рубить; вырубил, да такой, что и все волы не повезли. Он их побил, кожи поснимал, за пояс позатыкал; цеп в руки взял и несет. А поп спрашивает: «Что это ты наделал?» А он: «На что таких плохих волов дали, что и одного цепа не свезут?» Сделал к цепу ремень из семи кож и стал молотить. А поп говорит: «Перемолоти же, если так, все двенадцать скирд!» Он и стал молотить, да не по снопам, а по целым скирдам; перемолотил, еще и солнце не село, и перевязал. И говорит: «Ну, пан-отче, чего не заберу, то твое; а что заберу, то мое!» Поп подумал и говорит: «Хорошо, бери!» Он пошел по слободе, понасобирал полотен и мешков; стал сшивать все в один куль и накладывать; да, сложив весь хлеб, и понес. Поп как увидел — напустил на него собак; а он как махнул цепами, побил всех и пошел себе. Приходит домой, говорит: «Нате вам хлеба; будет надолго!» Они все стали ямы копать, понасыпали и стали так богаты, что не знали, куда и деть хлеб. Вот он опять пожил-пожил и говорит: «Ну, теперь оставайтесь здоровы; нет мне у вас меры; пойду искать себе равных!» И пошел. Идет и напал на двух *человек*. «А кто вы такие?» А они: «Я Верни-гора, а я Верни-дуб». — «Пойдем, братцы, вместе; я Катигорошек, так к вам и пристану, вы мне будете к паре!» Они пошли, нашли в лесу хату и стали жить. Оставляют Верни-дуба в хате, чтобы он стряпал; а сами пошли по лесу искать грибов. Верни-дуб только что

разложил в печи огонь, где ни взялся дед с ноготь, борода с локоть, семь сажен коса. Как хватит Верни-дуба, так тот и покатился. Дед содрал со спины его ремень, ячной трухой набил спину и пропал. Пришли те и стали попрекать ему, что не управился. «Как вы скоро хотите управиться!» — говорит Верни-дуб. На другой день оставили Верни-гору, а те пошли по грибы. Где опять ни взялся дед с ноготь, борода с локоть, семь сажен коса и с ним то же сделал. На третий день оставили Катигорошка. Сами пошли в лес и говорят меж собою: «Что́, тебе ничего не было?» — «А тебе?» — «Вот что...» — «Ну, и со мною то же!» — «Пускай же и он, бесов сын, того же попробует!» Опять приходит дед. Только что зашелестил, а Катигорошек его за бороду. Расколол пень, да его бороду туда воткнул. Дед рванулся и оставил бороду, а сам и провалился, аж на тот свет Пришли однодомы, а у него все готово; глянули — деда нет, одна борода. Пошли они искать деда. Приходят; ямочка маленькая в траве на тот свет Катигорошек опустился по ремню, а те стали его дожидаться. Он пошел по тому свету и нашел трех девок. «Не видели ли вы такого-то деда?» — «То наш отец!» Он тут убил деда, а товарищам стал по ремню подавать девок на этот свет. Вытянули первую: красавица! Верни-гора говорит: «Это моя будет!» Вытянули другую: еще краше! Вытянули третью, такая, что и в свете краше нет Они бросили ремни, забрали их, а Катигорошка так и оставили. Он ходит по тому свету. Нашла туча. Он на дерево влез и видит — гнездо. Ворона говорит: «Закрой детей, я тебя вынесу!» Закрыл он; туча прошла. Она ему говорит «Приготовь двенадцать бочек солонины; как стану нести тебя да обернуся, ты давай мне по куску!» Он сел на ее спину и полетел; все дает, все дает, да и не стало солонины. «Дай!» — говорит ворона. «Нету!» А она: «Дай хоть кроху; малость чего недостает; а то упаду опять назад». Он вырезал себе икру и дал. Она вынесла и говорит: «Сколько ни ела ее, никогда не ела такой вкусной!» Он пошел искать Верни-гору и Верни-дуба. Нашел и говорит: «Я пришел не ми-

риться, а биться!». Взял в одну руку булаву семипяденную, а в другую цеп и пошел на них. Верни-дуб с корнем дуб вырвал, да на него; а он его и убил. Верни-гора целую гору поднял, да на него, а он подставил булаву, гора рассыпалась, он и его убил. За ними убил жен, а с меньшей стал жить да поживать...»

Никогда не забуду я одного вечера. Было это уже в конце сентября. Дождик моросил, как из сита. Большая херсонская дорога была совершенно пуста. Только в низенькой, одинокой хате жидовской корчмы виднелось движение. Чумацкий, запоздалый в пути, обоз расположился возле на ночлег. Я тоже вошел в хату за перегородку, где было чище. «Оно, конечно, следствия нет, коли тебя запхнут в самые аулы! — говорил отставной пехотинец из кавказских рядовых, развалясь тут с котомкой вдоль лавки. — Опричь того, что иной раз живота лишишься!» Его слушал сгорбленный и совершенно пьяный старичок из гуртовщиков, что видно было по его засаленному полушубку и навешанным у пояса потертым инструментам для лечения скота. В главной, передней половине хаты сидели приехавшие чумаки... Пехотинец вскоре заснул, и из-за перегородки стал слышен разговор последних. День стемнел. Ветер срывался сильнее и сильнее. Дождь хлестал в узенькие окна корчмы. Загнавши волов под сарай, чумаки внесли навозного кирпича для топлива, затопили печку и расположились греться у огня. Шинкарь-хозяин дозволял делать все, что угодно; он лежал в лихорадке на другой половине корчмы. Двое из чумаков, усталые более других, постлали свиты у стола и, почесывая груди и бока, стали вслух молиться на сон грядущий: «Отче наш иже еси!», «Богородице-дево, радуйся!» и «Помилуй мя, Боже!». Другие прижались ближе к огню, подкладывали топлива и долго не ложились спать, толкуя вполголоса. Особенно задорно не умолкали двое из них, один, должно быть, уже не молодой, с охрипшим от кашля горлом, от чего голос его звучал, как из бочки, а другой — тихий и печальный, точно все плакал.

— Эх, братцы, эх! — говорил последний (перевожу его слова). — Плохо нам приходится! Корма дороги, водопой жиды да москали поснимали в аренду. За соль тоже втрое берут против прежнего. Где тут жить? А главное то, что наехали уже комиссии, шесты по степи в струнку ставят, на курганы наезжают да все кругом смотрят, речки вымеряют, и слышно, что станут строить, аж из Харькова к морю, такую дорогу, что не лошадьми, а огнем будут ездить. Пропали мы!

— Да, видел я, — говорил охрипший чумак, — видел, как возил шерсть в Москву из Кременчуга, эту дорогу... Наши позвали в одни такие вороты высокие и показывают, говорят: «Что это такое»? А *оно* протянулось воз к возу, рядком сажен на сто, а впереди железная печка, как конь, и грива, и шея, и ноги, и глаза, как бочки, по вечерам светятся. Верхом на том коне сидит такой рыженький, в курточке. Вдруг закричало оно, заржало — фу-фу-фу-фу! Вот как будто тебе табун бежит, и все подвинулось, да шибче, шибче, — не оглянулись, как уже и пропало. Проходили мы тут до вечера; на заводы да на кузни машинные все глядели. Стоим уже в темноте под мостом железным; а мост шел через ярок. Вдруг бежит машина уже из того краю, насупротив, дыму, огня, искр, поломя по всему небу рассыпала; налетела да поверх нас через мост перескочила, нас обсыпала искрами, а мы стоим, трусим; ну, настоящее диво, и не придумаешь, как страшно! Да как приедет уже, как станет высаживать людей — до тысячи человек выходило разом; а товару, товару, братцы, такая гибель, что нас, чумаков, всех, со всех концов света собрать, так я думаю, зараз того не поднимем...

Голоса чумаков еще долго раздавались за перегородкой о чудном железном пути. То молодой печальный голос сменял старого, то охрипший бас вторил ему. Шли при этом и обычные толки о том же горестном, будничном житье-бытье, о невзгодах от недоимок, о падежах скота, о трудностях промысла, о бедных волах, голодающих иной раз без корма в обожженных солнцем степях, и о том, что и теперь им,

почитай, приходилось с пустыми руками — с одним батожко́м — «торохтия везти» домой.

— Так как же, — спрашивали остальные, — тогда уже чумаков, значит, так-таки и не будет?

— Так-таки и не будет! — отвечал тихий, печальный голос молодого рассказчика.

— Отчего же не будет?

— Оттого, что как ляжет эта дорога, как затопят ту печку да попалят на нее все, какие ни на есть, леса по Донцу и по Днепру, то станет видно поломя аж в Киеве, и нам уже с нею не поспорить. Станем все старцами, а волов попродадим на гурты...

Через час замолкли голоса за перегородкой. Я встал и выглянул за дверь. Печь едва мерцала красноватым огоньком.

Чумаки спали, расположившись в беспорядке у печки и по полу, вдоль лавок и стола. Приподнятые локти, колени и головы, приткнувшиеся к груди и животу соседей, освещались отблеском из печки. На дворе уже окончательно стемнело. Дождь без ветра барабанил в окна и стены, как усердный барабанщик. Собака выла в какой-то клетушке за двором. Я еще раз взглянул на чумаков, стараясь угадать среди них давишних рассказчиков. Все спали. Вероятно, сон каждого из них в эту пору был один и тот же. Они видели огненное чудовище, летящее с громом и стуком по степи, еще недавно несмятой ногой человека, — чудовище, которому суждено в наш век, оставя по пути своем зачатки новой жизни, новых городов, фабрик и заводов, стереть своей железной, неумолимой стопой все отжившее, хотя и живописное, все дикое и неуместное в наши дни, хотя привлекательное и полное поэзии, в том числе и наших украинских чумаков...

1856 г.


Четыре
времени года
украинской
охоты

I

Зима

Охота на волков «на заседке». — Охотники. — Пономарь. — Охотницкая старина. — Легенда о «Лесном голосе». — Оклик зверя. — Охота с облавой. — Куропатки и дрофы. — Стрельба зайцев ночью на гумнах. — Охота на волков с поросенком

Зима стояла студеная. Это лучшее время для степной охоты на волков и в особенности для так называемой охоты «на за́седке» — когда охотники подманивают голодающего зверя на приваду, а сами на ночь заседают с ружьями в какой-нибудь глуши, в старом заводе, в одинокой лесной хатке или в земляной ко́панке, и стреляют подошедшего к приваде зверя в окошко, по свету месяца, иногда почти в упор.

В 1860 году на юге России выпал небывалый в степях, глубокий снег. Сначала, когда он еще не улегся, разыгралась было метель пешая, а потом хватила «верховая» и намела стекольчатого, точно хрустального, снега такие вороха́, что неожиданно овраги сравнялись, а хутора очутились в ямах, и едущие по улицам увидели крыши хат у своих ног, в ворота же стали въезжать, как через стены крепостных валов. Тут уже зверь всегда разгуливается и становится особенно злобен. Двери овечьих сараев и скотских загонов запираются плотнее. Мелкие дикие зверюшки забиваются в норы поглубже. Поживиться нечем. И так иногда метет су-

ток пять, шесть. Тут волки просто остервеняются. Ворвавшись в одинокий хутор, иногда чуть смеркнется, им нипочем бывает прямо вскочить на ветхую клетушу, прорвать лапами соломенную крышу и в полчаса передушить до одной стадо овец. В такую пору часто в степях выгоняют волков из теплых сеней, где носится пар от вкусного ужина. И уж это не новость: чуть настанут такие волчьи набеги, только и слышно, что там порвана лошаденка, там унесен теленок, там в панском овечьем заводе передушено триста голов мериносов, а там горячкой от перепуга заболели барыня-хуторянка и юнкер, за тройкой которых целый час гналась в степи стая волков и, удерживаемая одним колокольчиком, влетела в самую околицу их хутора...

Едва улеглась метель, я поехал из дому и случайно в соседней усадьбе старика-помещика встретился с приятелем моим, пономарем-охотником Иваном Андреевичем Михайловским, который приехал туда покупать лошадь и кое-какую хлебную провизию в город.

— А что, Иван Андреевич, ведь пороша? — начал я, едва увидев приятеля.

— Нет, уж если охотиться на что́, так на волчков на за́седке-с, а кольми паче я еще и привадку-с тут же положил, и это еще дело дивное-с: приезжаю вчера, купил лошадку-с за три целковых, завалящую уже вовсе, на шкуру одну; она и пала в ту ночь. Ну, я шкуру-то снял, а мясо и выволок за кузницу; в нынешнюю ночь будем бить *спраго*...

Почтенный пономарь, в лисьей папахе, в черной барашковой шубе, крытой зеленою нанкой, а под шубой в куртке, переделанной из жениной кофты, был бодр и весел.

— А ружье же с вами есть?

— Есть мой швед! — отвечал пономарь. — Не укрых души моея от страсти плотоугодия! С детства постреливал, аки Немврод, и ныне предан охоте и есмь ловец...

Я уже знал сноровки своего приятеля и, признаюсь, следил за ним и не упускал случая поохотиться с ним на что бы то ни было. Старик помещик, у которого мы оба съе-

жались с ним, был в параличе, и гости его не стеснялись, занимаясь каждый чем хотел.

Вечера я поджидал неравнодушно. Тихо шмыгнул пономарь в топленую баню, зажег там свечку, убедил меня не звать более никого и стал готовить картечь.

— Бога Господа ради, сидите смирно, да не смейтесь! — толковал он, разрывая хлопки на пыжи и принимаясь в засаленном горшочке, в печи, растапливать свинец на картечи: тишина первое дело; зверь хитёр и чует по воздуху, где готовится охота!

Скоро щепки загорелись, и горшок стал чадить немилосердно. Закоптелые и промасленные картечи скоро улеглись кучею на столе. Мы зарядили ружья, взглянули на часы и вышли из бани в сад. Было половина десятого ночи. Месяц светил ярко, но в воздухе стояла туманно-серебристая мгла. Пройдя по непротоптанным дорожкам сада, мимо обледеневших, точно стеклянных и тихо скрипевших от ветра дерев, мы перешли по льду реку под садом, уже за хутором, и стали взбираться на гору. Я оглянулся. Огни на хуторе погасли. Острый морозный ветер изредка обхватывал в тиски уши, нос и щеки. Собаки молчали, видно, тоже пораньше забившись в теплые углы дворов. Мы еще прошли по горе и опять склонились к стороне хутора. Пономарь шел впереди, держа своего шведа на руке, наперевес. На снегу отражалась его шагающая тень, с поджарыми ножками, утлою бородкой и с торчавшею из-под шапки косичкой...

— А вот и кузница, тут мы засядем на за́седку! — сказал он, остановившись на косогоре у какой-то отдушины.

Я огляделся. Перед моим носом обрисовалась низенькая, вся заметенная землянка хуторянской кузницы, с крошечною дверкой, трубой и окошечком. Окошечко было в поле, к стороне близко чернеющего леска. Вся поляна в лесу белела в отливалась блестками. Ниже, у ног, и далее к холмам, за рекой, будто висел туман и стояла свинцовая, непроглядная тьма.

— Полезайте! — шепнул мне пономарь.

Я нагнулся и вошел в дверку.

— Ну, теперь можно зажечь огарочек! Еще рано!

Пономарь зажег свечку и поставил в печь. Я осмотрел землянку. На полу уже лежала припасенная солома. Окошечко было завешано тряпицей. Все щели и дырки в стенах были также тщательно заткнуты соломой.

— Серый чует за версту и вблизи узрит даже в такую щелку, что и булавки не продеть! — говорил пономарь. — Ну, коли есть тоже хотите, закусывайте, ваше благородие, — сказал он, уставив ружья у наковальни, — а там уже, как окликну их, то лежите смирно; запахов нельзя пускать — разве только пошушукаем о чем, от скуки, с собою...

Я вынул хлеб и сыр и предложил товарищу.

— А который час?

— Одиннадцатый...

— Еще рано. Скажите, как будет двенадцатый. Им самая пора — глухая полночь.

— Где же у вас тут падаль, ваша лошаденка?

Пономарь поднял тряпицу тихо и бережно, запустил в отверстие сперва один глаз, а потом другой, посмотрел и вдруг схватил себя руками за голову.

— Что вы?!

— Ай-ай-ай! Гляньте...

Я посмотрел в окошечко из-за его бороды. Что-то черненькое и крошечное, как мышь, быстрыми лапками бежало по снегу от падали и, будто слыша что-то, останавливалось и спускалось в овраг к реке.

— Что это, мышь или ласочка? — спросил я.

— Какая тут мышь! — прошипел от досады пономарь, все еще держась за озадаченную голову и приседая к земле. — Это лисовин, да еще матерой, — здоровенная лисица...

— Что же она?

— Как что? А, не люблю я расспросов! Нюхнула, значит, привадку, да и наш след нюхнула, ну и драла... Значит,

сыта, располлеющая душа! А то бы я бухнул с почину-то! А каковы малы лисички-то кажутся по ночам? Оно и правда теперь — сущее мышатко...

Мы сели. Свечка в печи едва мерцала, прикрытая для большей осторожности кувшином с пробитым дном. Ветер не стихал, а еще будто его разбирало, и по временам перекатывал поверх кузницы те же полосы стекольчатой, точно составленной из битого хрусталя, снеговой блуждающей пыли...

— А что, Иван Андреевич, курить еще можно?

— Вот опять и курить! Ну где же это слыхано? Нет, в старину не такие бывали охотники!

— Какие же, расскажите...

— Вам все расскажи! Разумеется, что не такие. Вот ваш лес: что он теперь? Так, плёвое дело! Иному и зайцу в нем уж негде спрятаться. А у вашего дедушки там дикие козы травились; забегали, значит, говорят, из черниговских боров; олений зверинец был там у вашего дедушки, голов по полсотни, да волки выдушили. Одних собак у него было двести борзых да сто гончих; борзых от Архарова из Москвы купил. Я застал еще его доезжачего — Комаром звали. Говорит, по тысяче за собаку платили; везли, говорит, два месяца из столицы, караваном, на конных и воловых подводах. На каждой подводе, на кибитке, лосьи рога красуются привязаны. На ловчих желтые и зеленые курточки; рога за плечами. Отъедут двадцать пять верст, и привал. Это сейчас котлы на треножцы; валят туда целых баранов, пшена да муки. Костры горят; водку пьют, в трубы трубят; песни играют... Чудеса! А теперь? Так как-то живут, больше все в карты продуваются... Нет, прежде не так и здоровьем хворали. Такие помещики барбосы были, что на́-поди. Как отхватает мной верхом с борзыми дней десять—пятнадцать сразу в отъезжих полях, или пешочком по десяти—пятнадцати верст в день, так больных тех и в помине не было... А теперь, опять-таки скажу: сам сидит, а на охоту за себя других посылает... Я у одного такого пять лет при церкви был! Да

что, тоска взяла, глядючи на эту мертвечину, а еще из богатых был, землю на аренде держал под Ростовом...

— Вы, Иван Андреевич, как будто псовую охоту предпочитаете ружейной?

— Я?! Сохрани Бог! Псовая хороша мне только со стороны глянуть, да и не всякому по средствам. Что нынешние собаки? Дрянь! Здесь гончие в старину-то были, так уж непременно либо агары, либо параты; лисицу и волка сами, без борзых, травили в угон; а коли борзые, так псовые, вон такие, с волка величиной от земли, и с гривками такими, шельмы, точно львята; на перемычке зверю и дохнуть, бывало, не дадут. Вот то и охота была, а теперь все поджарые крымки да степные! Нет, не променяю я ружья на псовую охоту! Эх, весна, весна, сударь, да мокренькая осень. Скоро ли вы воротитесь? Вы, сударь, не поверите, как за живое берет, чуть повеет весенним-то ветерком... Слышите, как студёная позёмка-то теперь разбирает над нашими головами? А весенним теплым деньком? Крест положил на себя, взял краюшку хлеба да ружье, и гайда по лузям да по болотам! Пришел, сел под овражком, у опушки леса, положил ружье наземь, и стрелять не хочется — все глядишь... Козявочки там ползают, тмином полевым да чебрецом пахнет, а тут мотыльки, бабочки такие большущие летают, точно с птичьими крыльями. Бабочка — Пава прозывается, и Адамова голова есть бабочка; тех я особенно люблю. Пава вся голубая, а величиною с ладонь и с сизым, будто шелковым отливом; как взлетит, ну, точно кусок голубого бархата либо птица сизая мелькает. Адамова голова еще больше, с голову ребенка, коричневая, а внизу крыльев темные, с белыми ободками пятна, будто глаза мелькают! Как поднимется из-за куста, да станет этак, по мотыльковому обычаю, в воздухе повиснет, ну вот точно голова стоит и на тебя оттуда посматривает. А мелкие бабочки? Иная с усиками, другая вся золотая, третья алая, с черными оборочками; иных крохотных стадо налетит, точно зелененькие листочки посыплются с дерева...

Пономарь замолчал. Я свободнее растянулся по соломе. Он сидел, обхватя колени руками. Было еще далеко до полночи.

— Слышал я, — начал он опять, — что мотыльки — это души младенцев, умерших у честных и праведных родителей... Дети грешных так и лежат в могилках, а эти порхают по свету и любуются всем, что есть на земле, и наряды самые красивые носят. Как лето настанет, они выпорхнут на травы да на цветы; осень пришла, их уже и нет — попрячутся в куколки гусениц...

Я поправил свечку в кувшине.

— А слыхали вы, что такое *Лесной голос*, отклик, или эха, как оно у господ прозывается?

— Нет, не слыхал.

— Это я и сам иной раз приду, бывало, в самую трущобу и крикну; оно и аукнется в разных местах, само себя будто передразнивает. И стал я стариков спрашивать... А один мне, по прозвищу Тарас Нечестный, и говорит: ауканье — это Лесной голос. Ты как крикнешь, и пойдет будто волна по лесу; это сила такая, говорит, перекликается. Что будто в самые старые, первоначальные годы какой-то старый ангел, видя, что сын его, молодой ангел, влюбился в землю и все с облаков лазоревых день-деньской приляжет и смотрит на нее, взял и бросил его оттуда на наш свет... Говорит: «Коли не веришь ты мне, что земля не нашему брату место, лети туда и поживи там, авось одумаешься!» Вот и упал этот ангел с облаков прямо в рощи зеленые и стал Лесным голосом... Все ему весело; на что ни глянет, все занимает его. Шалит он с зари до зари, все перекликает, птицу ли, зверя ли какого, шум листьев, говор вод и шелест ветров всяких. И так он это летал и жил по земле целые века. Только, сударь мой, взял да напоследок и пригляделся: веточки отражаются в воде, горы глядят, точно опрокинутые, из воды; птица пролетит — и та видна в воде. А он только, значит, голосом одним живет. Сорока крикнет на березке, и он сорокою крикнет; та только оглядывается. Соловей

свиснет, и он за ним рассыпается свистами по долинам. Все хорошо — только не видит ни сам себя Лесной голос, ни его не видно в водах и на тени. Так он маленько было задумался об этом, а потом и позабыл; опять стал порхать по кустам да по пригоркам, шалить по-старому. Только раз он и налетел, с ветром вперегонку, на холмик, а под холмом, под орешником, спала красавица, как есть, значит, живая душа человеческая, женщина... Раскинула так волосы; руки по локоть нагие открыты, и жарко дышит эта молодая грудь, ждет ветерка свежего. Ветер и давай около нее, заходился обвевать да ласкать ее, нежить и холить волосочки и всякую складочку ее одежды. Лесной голос-то и влюбился в красавицу... Повис над ней, замер на воздухе и ни с места... И ветер давно улетел, и облачко на солнце нашло, заслонило лучи его, и день стал клониться к вечеру, а Лесной голос все стоит — висит в воздухе, воззрился в красавицу и не летит далее. Она молчит, и он молчит; молчат листья, птицы присмирели, и ему не откликнуться, нечем, значит, разбудить ее, подать знак о себе. Кинулся он к ней, обнимает, целует ее... а она и не чувствует... И увидел тут Лесной голос, что у него *тела нет*, и впервые пожалел о теле... Еще порхал вокруг красавицы, еще полетал над нею. Она встала, любуется на зорю вечернюю, на лес и на воды... Он и вперед забежит, и сбоку, а его она и не видит... И понял он тут, что не брат он на земле, не земляной жилец, и воскликнул он: «Вскую оставил мя, отче ангел небесный? Возьми опять меня на крыле твои, в подоблачные жилища!» — «Нет, — провещали ему облака тогда, — нет уже ни твоего отца в небеси, никого из родичей; другие уже заступили их место — и тысячелетия прошли с тех пор! А тебе, видно, до конца века шататься по земле!» Тут Лесной голос, а по-вашему эха (значит, ауканье наше), осталось на земле, и летает с той поры везде незримое, перекликает всякие голоса, тем и забавляется... Только с той поры уже как будто скучно ему все, и в голосе его, сударь, точно что-то печальное есть. Прислушайтесь. Крикните иной раз над рекой или в лесу,

или в пустыньке какой, крик ваш как будто и тот же слышится вперехват, только будто немного тише, печальнее, поглуше... Это ауканье так тоскует, сударь, вспоминаючи о прежней жизни и об облаках...

Рассказ пономаря был прерван глухим шумом над нашими головами, точно кто пробежал или перебросил что-нибудь через крышу кузницы. Мы привскочили оба на соломе. Пономарь перекрестился.

— Что это, Иван Андреевич?

— Не знаю...

— Не пришел ли кто сюда, или ветер усилился и вьюга началась?

— Постойте, посмотрю... — Пономарь встал, запахнулся в шубу плотнее и со словами: «О Господи! Чудны дела твои, Боже!» — вышел на воздух. Пар клубом ворвался в низенькую дверку. Пономарь долго не входил, а мне на пригретом месте особенно лениво и уютно сиделось. Я слышал над кузницей перекаты ветра. — То вьюга-с как будто курит, поднимается! — сказал пономарь, входя снова. — Ну, да опять яснеет, и, кажется, стихнет... А который-то час, ваше высокоблагородие?

— Двенадцать...

— Ну, подождем еще маленько, да и к делу.

Он опять сел и взял ружье на колени. Помолчав с минуту, он вздохнул и усмехнулся.

— Скажу вам, — начал он, — что как не завидовать ребятишкам! Вот хоть бы и я. Какую *сторию* вы ни говорите мне, а лучше я не люблю сказок, как детских, про зверюшек всяких. Одни охотники только и знают, по-моему, настоящие обычаи всякой зверятины. Знаете вы — извините, сударь, за такой вопрос — нашу мужицкую сказку про петуха, про котика и про лисичку?

— Нет, не знаю...

Пономарь опять усмехнулся.

— Вот, пришли в мороз волков бить, а какие речи с вами ведем; даже смешно, право!

— Расскажите, пожалуйста!

— Нет, пора уже за дело.. — Он вскочил. — Сидите вы тут, или выходите потихоньку на крышу, а я пойду к лесу; надо прежде зверя окликнуть! — сказал пономарь.

С ружьем в руках пошел он к лесу, странно мелькая на ярко освещенной снежной поляне. Ветер стих, но морозило сильно. В стороне, шагах в тридцати от кузницы, чернела полузаметенная куча привады.

— Вам не страшно? — тихо крикнул я вслед пономарю.

Он молча и с досадой махнул мне рукой.

Я сел на сугробе; внизу, в овраге, извиваясь в потемках, будто белые змеи ползли полосы навеваемого снега. На горе было ярко и морозно. Миллионы звезд, казалось, пересыпались с места на место, мерцая в морозной тишине... И вдруг я услышал вой, сперва протяжный и тихий, а потом громкий. Вой смолк, отдался в пяти или шести местах в раскатах и опять зазвучал. Я невольно вспомнил о судьбе печального Лесного голоса. Сначала мне стало жутко. Мне показалось, что это воют волки. Но я тут же вспомнил о сборах пономаря «окликнуть зверя» и успокоился. Это точно кричал он, дразня отдаленных и близких, спящих и бодрствующих от лютого голода волков. Покричав по-волчьи на одном месте, он, видимо, переместился на другое, потом будто крикнул в самой глубине леса и опять замолк. Я стал вслушиваться... Ему ничто не вторило; даже собаки на тихом и глухом хуторе молчали. По временам только по-прежнему в овраге шелестели какие-то извивы, будто все без умолку там струились белые полосы снега, да река вдруг отдавалась стоном трескавшихся льдов... Вдруг застонет, грохнет ледяная скатерть, и пойдут раскаты между берегов и далеких камышей, как от выстрела... Прошло более часа. Пономарь все перекликался и не возвращался. Мне дремалось. Слышу, пономарь крикнул уже вблизи, и в тот же миг ему отвечали два волчьих воя за версту от него, в другой стороне. Сердце у меня забилось!.. «А, это уже волки!» — подумал я. И в ту же минуту у меня над ухом раздалось: «Ну, ваше высо-

коблагородие, удирайте в землянку; серые тут уже неподалеку...»

Мы снова вползли в кузницу и заперли на засов двери. Свеча была потушена. Ружья взяты в руки. Пономарь поднял тряпицу у окошка и припал лицом к отверстию. Я тоже прислонился к стене и стал из-за его плеча смотреть в окошко. Но, кроме снежной поляны, блеска месяца и темной кучи привады, ничего не было видно. Дремота снова стала одолевать меня. Я прилег опять на солому, прося собеседника сказать мне, когда придут волки.

Долго я лежал. Помню, что впотьмах, от течения воздуха, вздуло уголек в кузнечной печи, где перед вечером работали, и он сверкал, как звездочка. Пономарь стоял как вкопанный, не шевелясь и почти не дыша. Я заснул. Не помню, что мне виделось во сне. Лесной голос ли, порхающий по свету и влюбляющийся в сонную земную красавицу, мотыльки ли Пава и Адамова голова, или мой дедушка и былые охоты старых времен... Помню одно, что нежданно над моим ухом грянул выстрел, в моих глазах зажегся пожар; я вскочил, будто разорвало у меня череп... Смотрю — пономарь старается в дыму от своего шведа засветить спичкой свечку в кувшине. Зажег и выскочил из двери. Я очнулся, понял окружающее меня и тоже выбежал за ним... Он, простоволосый, со спущенною с плеч шубой и с растрепанной бородой, стоял у привады...

Два огромных волка лежали на снегу, убитые наповал его самоделковою картечью. «Вот и прибыль, — сказал он, — а ловчился и целился чуть не полчаса... А уж ждал — так чисто всю ночь!»

Я взглянул на небо. Звезды потухли. Вверху носился туман. Даль белела. На востоке занималась заря, шли желтоватые светлые полосы. Недалеко оставалось до утра.

— Два только и было волка? — спросил я пономаря.

— Каких два! восемь... Как пришли, у меня так и потемнело в глазах... Да бестии прежде всего стояли поодаль, вправо, и, как нарочно, будто знали, все посматривали на

кузницу, на нас... Ведь смешно, а все думалось: ну, как вместо лошаденки-то моей палой, да кинутся они на нас! Ведь бывали такие случаи, сударь, что охотник, наш брат, засядет в какой-нибудь хлевушок, бацнет, промахнется, а зверь к нему, да и ну рваться сквозь плетень — полуживых от страху по утрам выносили...

Зимой в степи еще недавно помещики охотились почти каждое воскресенье, с тенетами и облавами на лисиц, волков и зайцев. Эта охота всем знакома. С утра объездчики, бывало, проследят хоть красного зверя, найдут его логовище, поставят в кустах тенета, с противоположной стороны пустят правильным строем «кричáней» с стрелками по крылам, и облава двинется. Хозяева сами ждут у тенет. И вот, чуть раздадутся сперва отрывочные и тихие голоса гонцов, уж тут ждите прежде всего лисицу. Она хитра и поднимается первая. Волк лежит крепче. Вы стоите с ружьем в руках; за вашей спиной, саженях в десяти, тенета; впереди вас чистая площадка, перемычка, огражденная другими кустами, положим, мелкими соснами. Вы смотрите. Белый снег режет глаза. Курить хочется. Нельзя пошевельнуться. Оба курка тяжелого мортимера взведены. Тишина близ вас такая, что слышно, как из-под ног взлетевшей какой-то серенькой птички упал крошечный обломок ветки. Все тихо. Сухие стебельки прошлогодней травы торчат сквозь оледенелый белый снег. Где-то дятел долбит и стукает носом в гнилую кору сосны. И вот затрещала впереди вас сорока, всегда предвестница какого-нибудь гостя в лесу. Испуганная ее криком, взлетает, влево от вас, зазимовавшая в стенном бору сойка, сверкнув зелено-красно-желтыми, с белыми оторочками крыльями. В низеньких соснах мелькнуло что-то бурое... Миг, и на поляну, высунув язык и хватая им снег, выбегает запыхавшийся лисовин. Он остановился и слушает, где шумят кричáне. Он стал задом, стал боком; пушистый хвост так и горит на снегу. Ружье ваше взято на цель. Ну как он увидел? Бац... Дым разлетелся, и по обагренному кровью сугробу взметывается перед вами убитая наповал ценная

добыча... Вы опять сторожите. Но уже не выскакивает на вас другая лисица... Кричáне ближе. Правое крыло «улюлюкает» — подняли волка. Но и волк пошел не на вас. По нем стукают выстрелы влево. А мимо вас шныряют одни озадаченные зайцы... Но неужели их тоже бить, после вашей «красной, благородной и славной добычи»?

Первая облава кончена. Кричáней угощают. Гонцы закусывают в одной стороне; пане бенкетýют в другой. Шум и крик, смех и анекдоты.

Охота «в наездку» зимой не слишком увлекательна. Это — любимое занятие юношей, новичков первой поры. Садятся верхом, берут по своре борзых к руке, разъезжаются «на дистанцию» в поле, так что друг другу слышен только крик или звук рога, и пускаются по беспредельной равнине шагом. Едут час, едут два. Иной спустился в овраг, другой на курган наехал. Потом опять все сравнялись и движутся темными точками. Зверя не видно, не поднимается. Только вдали, версты за две, на косогоре чернеет какая-то подвижная, будто перебегающая точка. Это — лисица, и препорядочная; по следу, должно быть, ласточек либо полевых мышей следит и ловит! День уже темнеет; настали сумерки. Верховые, перезябшие и голодные, спускаются на реку, к деревне. И вдруг крик, все вытянулись, летят — заяц выскочил из камышей, у самых огородов, и пошел в гору... Ловите его...

Зимою же, близ хуторов, в пустынных «ливадах», где сеялись бакши или какие-нибудь хозяйственные зелья, по снегу с утра рассыпается в приманку зерно. Днем ее клюют воробьи, огненные снегири и зяблики; а пройдет ночь — наутро вокруг приманки по пороше видны крестики от лапок куропаток... А! надо ставить силки. Воронкообразная, круглая сеть раскинута. Палочка подпирает дверку с западней. От палочки в овраг протянут шнурок, и баранья шапка с усами торчит из оврага. Вот стемнело. Слышно тихое курлыканье куропаток, точно наседка сзывает летом в густой траве, в саду, цыплят. Бежит гуськом серенькое стадо. Клю-

ет предательскую, дорожкой кинутую приманку. Дверка захлопнулась — и все в западне...

Перед святками и на святках мальчишки еще охотятся зимой на воробьев. Зажгут фонарь и в темную ночь пойдут в сарай. Перепуганные криком и светом, воробьи думают, что настало утро, что горящий фонарь — щель на светлый воздух, и сотнями, ослепленные, кидаются на крышку и на стекла фонаря, а ребятишки их ловят шапками.

В херсонских степях и на юге Екатеринославской губернии зимою зачастую остаются в полях дрофы. Они кормятся травой, не везде, неглубоко покрываемой снегом, и ходят кучами, как овцы, прячась от метелей в лесках и степных лесных балках. На них тогда не охотятся. Но нередко несчастную, изморенную стужей и обледенелую от инея птицу мальчишки при этом просто хворостинками загоняют в хутора и убивают.

Есть еще в степях зимой особый род охоты. Это — охота на зайцев ночью, в садах и на хлебных токах. Она составляется обыкновенно невзначай. К вам приехал приятель-сосед. Вы пообедали. Сидите за чаем, млея, как млеют зимой охотники в толках об охоте; все выболтали друг другу, рассказали, что нового по соседству и в городе; можно ли ожидать с весны урожая; как ссорятся ваш предводитель с губернатором; как такую-то полюбил такой-то, и как у такого-то другой, такой-то, выиграл порядочный куш... Говорить больше не о чем. Уже и вечер пришел. Свечи догорают, романтический сверчок тоже не забывает о себе подать весть; недалеко и до ужина...

— А что, Ваня, не пойти ли в ток на зайцев?

— Пойдем, Петя!

И вот, делаются заряды; вместо опасных хлопков на пыжи идет войлок. Шубы надеты, под сапогами подвязаны полстяные подметки, чтоб не было слышно скрипу по снегу. Вы входите в темный сад, пробираетесь между кустами. Незримые обледенелые ветки в потемках бьют вас по лицу. Вы потихоньку под нос хихикаете и пересмеиваетесь с товари-

щем. Перешли вишенник, замерзший пруд. Остановились. В десяти шагах от вас что-то шелестит, будто пробирается к забору...

— Петя! — шепчет товарищ.

— Что?

— Стрелять?

— А что?

— Заяц...

— А где же он?

— Вон-вон — как будто чернеет...

— Бей!

Выстрел раздается, и заяц, по непостижимому счастливому случаю, убитый наугад, вскрикивает, как плачущий ребенок, у забора...

Но вы спешите на ток. Уселись под скирдою. Темно, ни зги не видно. Ветер шелестит соломой. Близко сельское кладбище. Морозит. Товарищ ваш сидит далеко. Проходит час. Слышны между скирд какие-то шорохи, беганье, будто кто большой шагает. Вы даже ширину шагов стараетесь угадать. «Уж не мертвецы ли это?» — спрашиваете вы сами себя, и мороз подирает вас по коже — «из-за плеч вас берет», как говорят у нас. И точно — вот будто кто перелез или перескочил в ток через забор из смежного кладбища. Идет или, кажется, несется с ветром... Что-то белое мелькает впотьмах. У вас даже испарина проступает на носу и на затылке... И вдруг из-за небосклона вырезался край месяца. Еще и еще, становится светлее. Золотой шар поднялся над степью. Снег заблистал. Скирды и сугробы выяснились, дорожки обозначились, а по дорожкам, взапуски и вприпрыжку, носятся зайцы... Да какая куча! И откуда они берутся! «Целиться по свету отлично!» — думаете вы — и ошибаетесь. Заяц виден, а прицельной точки на стволе не видно. Но бейте наугад. Одни перепуганные убегут, прибегут другие. Кормов в поле нет. Выстрелы тукают, и время летит незаметно до рассвета...

Но, признаюсь, ничто так из зимней охоты в степи не манило меня с детства, как охота на волков «с поросенком», охота живая, увлекательная и вместе не безопасная. Она состоит в том, что кружок стрелков, запасшись добрыми ружьями, садится на лихую, надежную тройку в пошевни; берут с собой поросенка, а к саням сзади на веревке привязывают мешок, набитый соломой и обмазанный свиным салом; рыскают в глуши по степи и душат изредка поросенка. На его крики волки выбегают из оврагов, следят в глазах охотников сани, кидаются за мешком, как кошки, с подходами и увертками, ловят его, а в это время по ним стреляют на всем скаку картечью. Нужны хорошие кони, чтобы иной раз ускакать от стаи остервенелых волков, в которой шальной заряд убьет волчицу.

Я помню довольно любопытный случай...

Съехалась какая-то толпа гостей на именины к полковому командиру одного уланского полка, стоявшего в военном поселении. Первый день съезда, как водится, прошел в танцах и разных увеселениях; второй день прошел в картах; третий — тоже. Я не танцую, не играю и не пью, и потому сильно скучал все три дня, попав на именинный съезд случайно, в экипаже товарища-соседа. Вечером третьего дня, увидя переполненную чашу скуки, я предложил запрячь сани и ехать вместо прогулки на охоту на волков с поросенком. Мое предложение было принято. Ружья заряжены, трое пошевней подкатили к крыльцу, в каждые взят поросенок, сальные мешки подвязаны к задкам саней, и мы, по пяти-шести стрелков в санях, разъехались в три разные стороны в степь.

Поздно за полночь, по обычаю, с шумом и громом, все сани воротились во двор. Пошли толки, споры. Первые сани ничего не видели и приехали обратно, не выпустив ни одного выстрела. Вторые стреляли по волку, а убитый волк оказался собакой, разлакомившейся под селом на заманчивый сальный мешок. Третьи сани приехали позднее всех... Ехавшие там еще в воротах, при выезде, решили, что затеянное дело —

чепуха, что они ничего не увидят, и потому запаслись еще наливками, которые и осушили. Долго возился и бранился на этих санях какой-то офицер, который никак не хотел садиться в сани с поросенком, уверяя, что «с свиньями он никогда в жизни не сидел рядом!» Кончилось тем, что, выпив наливки, офицер первый забыл о своих словах, склонился к поросенку и, будучи под хмельком, захрапел, склоня на него голову... И вдруг, едва выехав за околицу, лошади этой тройки стали фыркать, прошли порывистою, неспокойною рысью версты две и подхватили сани вскачь. Ехавшие стрелки вскочили к схватились за ружья. Смотрят: сзади, рядом и забегая к самым мордам коней, за ними скачет общество в одиннадцать волков.

Что тут делать? Стрелять было опасно; это была, по всей очевидности, «тичка» — то есть волчья свадьба... Они своротили тройку назад и ну погонять. Сперва бросили из саней поросенка и потом давай стрелять холостыми зарядами. Кое-как отогнали волков от лошадей. Но заряды вышли, а волки ближе. Скачут охотники, кричат, все встали, дрожат, держатся друг за друга, молитвы читают. Куда и хмель делся! И вдруг на ухабе, волк ли рванул пристяжную, она ли задом бросила, только сани закатились; товарищ, не любивший свиней, вылетел — и упал наземь... Сани помчались далее. Смотрят те, волки отстали... «Ну, пропал теперь Засетко! Недаром не хотел ехать — разорвут волки...» Поохали, потолковали кутилы, обогрелись, воротившись домой, и легли спать. Смотрят, утром на заре Засетко приходит целешенький из степи...

— Как? ты жив?! Что с тобою было?!

— Да, а вы и рады, бросили меня! Что было? Дивное было! Упал я лицом в снег и лежу — прикинулся неживым. Тут, чую, подбежали волки, нюхают, а не трогают. Один, должно быть, волчица, завыл, и все завыли, она лизнула, и те стали лизать меня в лицо... Ну, так повыли, полизали, да и ушли...

..Этот случай долго ходил в рассказах околотка.

II

Весна

Прилет и перелет дичи. — Таинственная страна «Вирий» — Рассказы пономаря. — Ночь в землянке лесничего. — Ночь в лесу, на Донце

Это было в начале марта, на Донце. Стояла еще холодная погода. Морозы прошибали изрядные, хотя земля давно обнажилась от снега. Были серые и ветреные дни. Прошлогодний почернелый лист, не сорванный зимними буранами, шумел на редких ветвях деревьев. Вдоль левого низменного берега Донца шли, в упор к песчаному его пристену, необъятные поемные луга, усеянные озерами и лесками болотной ольхи, вербы и осокора. По пристену, скрепляя его сыпучие пески, шел столетний бор и низкорослая пушистая лоза. С высокого пристена виднелся и правый берег Донца, гористый, также высокий и обнаженный. То там, то сям по последнему белелось село и возносилась одинокая хуторянская церковь. Теплело с каждым днем.

Дичь еще не прилетела, но уже чувствовалось ее приближение. Около третьего марта вдруг затеплело. В тот же день в поле запели жаворонки, а к вечеру как-то торопливо шмыгнула в воздухе стая диких гусей, да отозвалась тощая цапля, мерно махая крыльями и спускаясь к обнаженному еще берегу. Я поехал на Донец. Нетерпение мое превосходило всякое вероятие. Патронташ был туго набит зарядами. Но ожидания мои не сбылись. Еще ни одного птичьего звука не было слышно в бору и в луговых кустах. Я сел на пригорке песчаного пристена. Донец разошелся и заливал второй уже день луга внизу пристена. Дубовые и ольховые рощицы по лугам и отдельные вербы торчали из воды в виде островов. Я вперял глаза в серое небо, в мертвенно-молчаливую землю: тщетно! Ни птиц, ни насекомых еще не видно и не слышно. Я поднимаю полуистлевший листок: под ним у са-

мого моего носа шевелится красная букашка. Одна какая-то зимняя птичка уселась на самой верхушке еще не зеленеющей липы и свистит, свистит, качаясь, как тот же унылый, прошлогодний, забытый бурями зимы листок...

Но прошло два-три дня. Летят журавли. Говорят, что мой брат (покойник) «пан Петро послал уж в слободку за двумя соседними стрелками», а в город за охотниками Пфеллером и Михайловским. Весна настала окончательная, валовая. Везде ревут степные овраги, столько известные и страшные путникам по Украйне «ба́лки», мгновенно наполняемые снеговою и дождевою водой. Реки и полевые ручьи также вскрылись и несут на своих мутно-желтых волнах обломки плетней и снеговых глыб. Говорят, что вот-вот скоро уже начнется общий пролет и прилет дичи...

Распускается розовая «тала́», особый род лозы, покрываясь душистыми серыми куколками цветов. Показываются на солнцепеке, на отвесах жирно удобренного листьями деревьев пристена, голубые «пролески» — подснежники. Поемные луга береговой долины Донца представляют у ног разливанное море, ожидающее своих весенних гостей — миллионов дичи всякого рода. И пока мой систематический хозяин устраивает с аккуратностью методиста первый день своей весенней охоты, я уже оттоптал ноги и истомился, бродя по его лесу...

Уже прилетели серые дрозды, большая лесная птица, немного менее голубя средней величины, вкусная и драгоценная пища для тонкого аппетита. На опушках соснового бора вы видите, как эти дрозды то усеют собою землю, подбирая всякие зернышки и семечки, причем с вершин дерев поминутно слетают к ним, падая, как пули, новые охотники покушать из их семьи, то вдруг облачком поднимаются в темные ветви развесистой сосны и так там усаживаются, что едва отличишь их серое плотное брюшко и острый, твердый клюв. Подходить к ним нужно как можно осторожнее; отыскивать их легко по их особому крику, похожему на тихий треск взлетающего бекаса. Вы идете, идете, следуете за перелетающими с дерева на дерево дроздами. Вдруг справа и

слева раздается какой-то бойкий гул, и вас на время покрывает темнота: это пролетели над пристеном к озерам утки..

— А! значит, скоро будут и вальдшнепы!..

Незадолго до Благовещения мы согласились впятером, помещики Домонтковский, Щербека, я, Пфеллер и Михайловский, ехать в лес, в землянку первого, под пристеном, у родника, встретить там вечернюю зарю, переночевать и опять рано утром поохотиться. Мы запаслись самоваром, закуской, угольями, погребцом с чайными принадлежностями, взяли ружья и собак и уехали.

— Что это такое Вирий? — спросил я спутников. — Кто, господа, из вас знает? Говорится в народе: летит на зиму птица в Вирий! Что же это за Вирий и где он?

Щербека на это, ни слова не говоря, закурил сигару, махнул рукой и лег на землю близ землянки. Домонтковский вообще никогда не говорил ни о чем, а более любил слушать. Пфеллер с немецкою интонациею объявил, что «Фирей — это пашти зфирей, где зефир веет тёпле... это близ Крим! В Крим это местэ!» Последний из наших спутников, Михайловский, званием пономарь и явившийся в какой-то жениной кофте сверх подрясника, на мой вопрос отвел за уши длинные волосы и объявил следующее...

В это время кучер вздул угли, уставил на взгорье пристена самовар, приготовил чашки, а мы, отдохнув, собирались идти искать вальдшнепов.

— Вирей, ваши высокоблагородия, вот что. Птица Божья, тот же человек. А у нас на степи ей мало раздолья. Только и тычется, что около рек. Ну, а Вирей — это птичий рай! Сказано, самое солнце и то кажные сутки купается, чтоб не потерять своего блеску. На что уже и самый черт, и про того говорится у нас, в Млинца́х: шел когда-то черт в немецком платье, в чулочках, во фрачке, при шпаге и в косе куда-то на вечеринку около Млинцо́в. Его и подхватило вихрем на воздух. Верно, другая нечистая сила его доехала. Так его подхватило и повесило за пятку на паутине; а от другой пятки паук повел паутину до земли... Только плел, плел, все никак не до-

плетет. Вот уже и земля близко, и поля, и деревни. Черт сверху и просится: «Паук, братец, достань ты мне испить воды, да посмотри, что делается на свете; а мне из-под облаков не видно!» Паук и говорит: «Воды я достать не достану, на двадцать пять саженей паутины не хватает, а я отощал и не доплету; а что делается на свете, слушай: выстроен новый город Харьков, и Балаклея выстроена, и При́шиб, и Млинцы́ переделаны, снесены под гору после пожара, и тебе люди на свете уже меньше поклоняться стали...» Поплакал черт и еще сто лет так висел, пока, говорят, не снял его людям на муку князь П., когда тут правил...

— Ну, зарапортовался, отче Иване! — сказал, смеясь, Щербека. — Куда же все это идет к Вирию?

— К Вирию-то? — ответил, крякнув, почтенный пономарь, по ремеслу и по призванию страстный охотник. — А вот как. Когда черт-то еще висел у нас над Млинца́ми, один раз, от столетней тоски, что висит он все на одном месте, пятками вверх, и запел он вверху какую-то песню... Напряг все силы, запел в воздухе тихо, и пастухи, подняв к нему глаза, все глядели и слушали, откуда это несется песня; с тучею вместе, не летит вверх и не падает вниз, а как будто поет сам воздух! Не то душа чья-нибудь ласточкою вылетела из тела и поет, прощаясь с землею... И заслышали пастухи такое дело: летит рогатый жук и спрашивает черта (а они уже знали, что черт сто лет висит над их селом и что это точно он запел с тоски): «А куда, дядя, лететь в Вирий? Я опоздал и сбился с дороги». — «Лети, — говорит, — на Днепр, а оттуда на Перекоп, а там за Кубань, к золотым воротам»... Слышат пастухи далее: летят лебеди и перепелки. «Куда, дядюшка, дорога в Вирий? И мы сбились!» — «Летите на Днепр, на Перекоп, а там за Кубань, к золотым воротам»...

— Что же это за золотие фароттэ? Какой баснь! — возразил, засмеявшись, Пфеллер.

— А вот какие... Золотые как золотые; два столба и до самого неба. По сю сторону ворот и холодно, и ветер дует, и засухи бывают, а по ту уже один птичий рай: все вода, вода;

Тигр и Евфрате реки плывут, все леса, рощи и сады, и цветы вечные цветут... На воротах сидит, с ключом от Вирия, наша лесная птица *сойка*, пестренькая, а у сойки в носу ключ золотой, и она на всех языках и криках опрашивает всякую прилетающую птицу и букашек; оттого она на всех криках и умеет кричать, а еще оттого, что она вертится между всеми птицами, и перья у нее разноцветные: и зеленые, и золотые, и белые, и красные, и сизые есть перышки. Она сидит, окликает всех по заслугам, а грешных не пускает. Оттого коршуны и орлы и зимуют у нас дома. А у самых ворот сторожем плавает в лодочке по воздуху сизый селезень, вертит хвостиком, а горлинка, что ни на есть тихая у нас и кроткая птица, в серебряной повозке, запряженной петухом, ездит то в ворота, то из ворот, собирает подаяние на птицу больную и раненую нашим братом охотником. Вот отчего, Николай Ильич, нехорошо, когда не умеющие охотники туда же тычутся стрелять из ружей: только переранят, искалечат бедную дичь, а толку мало. Я уже тридцать два года стреляю. А как иной раз дам промах и только обожгу, да как подумаю, как она после меня ноет, сердечная, волочит крыло или ножку раненую, так есть и пить не хочется... Вот оно что Вирий, господа!

И, подтянув женину кофту, уставив вперед седоватую бородку и нахлобуча на лоб какой-то стеганный на вате и дырявый колпак, Михайловский взял под мышку свое пятирублевое, связанное веревочками ружьецо, перекинул через плечи сумки из холста, с порохом и дробью, и сказал:

— А что же, ваши высокоблагородия, пора и за ва́люшнями!

Мы исходили верст десять, истоптали множество березняков, тонких ольховников и сосновых срубов, но вальдшнепов еще не было. Совсем стемнело, когда мы, опустя дула ружей, шли, едва передвигая усталые ноги и сопровождаемые усталыми и запаленными первою весеннею гоньбою легавыми собаками. До землянки у пристена оставалось еще далеко. Сухой лист шелестил под ногами. Сумерки более и более сгущались над нашими головами.

— А скажите-ка лучше, господа, когда именно прилетает какая дичь? — спросил Щербека. — Вот один раз, едучи за пшеницей из Бердянска, я в поле, в позднюю осень, уже по первому снегу, встретил мышиный табор, переселение мышей: тысячи тысяч мышей, как саранча, шли полем, широкою полосою, и двигались тихо, не спеша... На другой год, как они сошли со степей без вести, был неурожай, почти голод. Они, должно быть, ушли заранее, зная по чутью, что будет Ну, а когда, положим, прилетают к нам и улетают от нас хоть перепелки или вальдшнепы, или горлинки и кукушки? Кто их видел, когда они летят?

Все опять смолчали. Пфеллер было начал:

— Они низу идут, они либо верху, ошень височо! — но замолчал также.

— Летит всякая птица порознь, — начал опять Иван Андреевич Михайловский, — иная летит в одиночку, а иная и кучами. Как я был еще в причте в Богородске, раз пошел за ва́люшнями, притомился вечером и заснул на пригорке, под лесом. Вдруг слышу во сне около меня точно крысы или мыши бегают, пашут на меня воздухом и свистят такими свистами, да так, что я еще и не слышал. Приподнялся я немного на локоть, смотрю — а ночь была месячна, — а возле меня кишмя кишит какая-то налетевшая невзначай на мое место птица... И вся суетится по земле, шныряет в темноте, посвистывает тоненько и будто машет крыльями, расправляет их; а другие промеж их бегают так, что слышно, как топотят по земле их лапки, ажно на меня иная наскочит. Лежал я этак долго. Прояснел месяц — смотрю: перепёлки. Это они так ночью налетели на меня, сев отдыхать. Смотрел я на их игранье и отдыхи до самой зари. А перед зарею они опять засуетились, закурлыкали, как куры, порхнули, высоко поднялись и, свиваясь и развиваясь, как пчелиный рой, полетели далее. Далее же где-нибудь уже их настоящие летовли, и они рассыпаются там поодиночке и до осени. Горлинки также летят, точно голуби, и тоже больше по ночам, ва́люшни тоже, и ласточки... и кукушки... Летят они так, чтобы люди-озорники их не видели по степям, на откры-

тых местах, а днем пасутся в дичинах и глухих бурьянах, пустырях. Перед вечером соснут истомленные, а на ночь опять летят и летят... Я видел раз, как целое стадо таких слабых пташек спало на лощинке, в яру: это наши бекасики. Они летят невысоко; забрать верху не могут, натомятся ночью, а днем спят, накормившись. Ну, журавли, цапли, утята, гуси — тех не стомишь: те свалятся сотнями в стаи и летят под облаками...

В это время мы невольно остановились. Вверху, на небесах, шли какие-то невыразимые звуки: точно крылатые эскадроны эльфов и сильфов неслись под облаками, трубя в свои крошечные золотые и серебряные рога...

— Что это, Иван Андреич? гуси, журавли, дрофы или лебеди?

Но пономарь молчал, опершись на свое длинное и потертое ружье, как тот всем нам любезный путеводитель в пустыне, Патфайндер, похождениями которого мы любовались в детстве в романе Купера. Что он думал — неизвестно. Все также молчали...

Пфеллер прервал тишину:

— Мьюзик каро́ш! Эттэ как у нас в Курлянд: кур-ру-курру-курру.. эттэ цапль!

Пономарь поднял ружье, погладил его с особенною нежностью и сказал, двинувшись далее:

— Быть скоро настоящей охоте. Начался общий прилет дичи. На заре будем бить гусей, а может быть, и ва́люшней... Слышите?

Мы насторожили уши и опять остановились. Собаки тоже замерли, во что-то чутко вслушиваясь. А в кустах слышалось: и мерное, тихое карканье или хрюканье, и мерный свист ненаглядной и редкой в степях дичи — длинноносых коричневых вальдшнепов.

В землянке, то есть в хатке лесничего, под пристеном, в тайнике густых кустов, мы уже нашли и готовый самовар, и свечу в бутылочной шейке, и всю комнату, накуренную от мошки сосновыми ветками, и превосходную ключевую воду. Мы спустились по крутой, пробитой в песчаном нагорье тро-

пинке к роднику, где стояла хатка под навесом громадных ольх. В сторонке, тут же под ольхами, между кустами ракитника, подоспевшие к первому весеннему лову рыбы, соседние лиманские рыбаки на таганке варили кашу. Мы вошли в хату

Пономарь сел на лавку, молча слушая и кромсая складным ножом какую-то веточку. Щербека опять поместился на спокойнейшем месте, на лежанке широкой варовой печи, подложив под голову свое пальто и патронташ. Пфеллер настаивал чай. Хозяин откупоривал флягу с коньяком. Что роилось в голове Щербеки? Вероятно, мысли его носились далеко, в Бердянске, в Мариуполе или в Одессе, в какой-нибудь греческой или генуэзской конторе, и он брал денежки за золотую, яркую и полновесную, как коралл, пшеницу «гирку». Пфеллер отличался всегда ролью анекдотиста, смеша своим выговором более, нежели довольно сальными анекдотами. При пономаре же он всегда был пас.

Чай был разлит. Самовар шипел довольно жалобно. Комары визжали и бились в окна.

— О чем вы это думаете, отче Иоанне? — спросил Домонтковский пономаря. Тот уже скинул свою кофту, подвязав сзади поплотнее свою косичку, отчего она стала походить на хвост скачущего по жаре от оводов теленка, расправил седоватую бороду и уставил в дымящийся стакан свой куликовидный нос.

— Вы говорите о волках? — сказал пономарь. — А был в Чурбатове раз такой случай. Исправлял там духовные требы, еще при отце Александре, старец Павел, дед отца Смарагда... дьячком то есть был, и так же, как и я, грешным делом — охотою занимался... Порвали у него волки корову. Он ее выволок за рощу, вырыл себе землянку, покрыл ее бревнами, оставя только продушину, взял три ружья двуствольные, перекрестился и пошел на «за́седку». Сидит ночь, сидит другую. Видно по месяцу — подбегают зайцы, подбегают и лисицы. Сидит он и задремал. Проснулся — над коровой волк, одинодинешенек, да такой огромный. Он и бацнул; а была глухая полночь. Волк повалился. Только, слышит, около коровы что-

то кричит· «Ой, батюшки, спасите... убили... убили». Он туда, смотрит· волк белый, как лунь, точно сто лет или более прожил, лежит и охает, дышит, как человек. Выстрелом, картечью, так и своротило ему левый бок, а в прорванную кожу виден лацкан красного кунтуша, галуны золотые и шмухлерские пуговки Так и простоял Павел над волком до зари... ни с места. Занялась заря; уже вместо волчьего рыла явилась и белая долговолосая казацкая голова. Поднялся чудный волк на локте, а уже жизнь его отходит, и говорит: «Старче! помолись за меня. Сто лет назад я был казаком и поедом ел православный люд, моих слуг и работников по хуторам. Никто меня не мог остановить, и я питался православною кровью. Да нашелся человек, Шолудько-Буняченко, небывалый еще в наших краях воин. То была кара Господня. Про него говорили, что он не живой, а только ходил по свету, мыкался, как живые; что он — мертвец, покинувший свою подземную постелю, что у него только лицо людское и кожа, внутри наложены желтые и гнилые кости, как в могиле, и потому он, ходя в Днепр купаться, не снимал рубахи и убивал тех, кто видел на нем знаки тления. Я один раз побил своего слугу Михайлу, оборвал ему с корнем казацкий чуб и плетью еще исполосовал его, да и пошел к кустам освежить душу в Днепре. Иду себе, раздвинул кусты, а на том берегу, тоже под кустами, в тишине, на зеленой травке, и Шолудько-Буняченко купается, да без рубашки, весь желтый и в пятнах, точно труп гниющий. Увидел меня, держит рубаху на коленях, уставил в меня свои мертвецкие зеленые глаза — я так и обомлел... Стою в кустах и слышу: на голове у меня что-то растет, и теплей мне всему становится. Смотрю: я уже оброс шерстью, сзади волочится хвост, нагнулся на четвереньки, и язык сам от жары вывалился. Да как стало мне страшно, и озноб, и ужас прошибли меня, я крикнул... Крикнул и завыл волком; а он сидит на берегу да смеется, плескается водой и все смотрит на меня своими зелеными мертвецкими глазами. Вот так-то, старче, я сто лет и промыкался, и спасибо тебе, что ты меня убил. Видно, рука у тебя не грешная, а меня ничья пуля до сих пор не брала. Помолись же

ты за меня и отслужи панихиду в Межигорском монастыре. Я там поблизости жил и люд православный мучил!..» Как умер он, старец Павел заявил суду. Наехал суд. Смотрят: вместо волка лежит уже настоящий казак, седой, седой, столетний, в красном кунтуше, при сабле и в желтых сапогах. Такого наряда тогда уже и не видано было нигде, и старца Павла освободили от следствия... Такие-то случаи бывают на «заседках»...»

Напились чаю. Начались общие разговоры. Щербека лежал и курил. Пфеллер принялся чистить и без того чистое ружье, возясь со своею собакой, щенком десяти месяцев — отличной английской породы сеттер, желтой лисьей масти и вида. Он даже уверял, что эта порода — хитро устроенная англичанами помесь собаки с настоящею лисицею, что, действительно, слегка подтверждалось невероятною хитростью, резвостью и чутьем еще щенка, заморенного дрессировкой. Пономарь из липового черенка сделал дудку, подрезал ее кору, как-то продел в кору черенок с углублением, и дудка стала кричать уткой.

— Это на завтра. Станем подзывать селезней! — сказал Иван Андреич.

В хате стало жарко, а окон и дверей от мошки нельзя было отворить.

— Не выйти ли нам, господа, пока на воздух? — предложил я.

Компания двинулась к ольхам, к огню рыбаков. Каша уже была готова. Нас попросили присоседиться. Мы подкатили к котелку бревно и кое-как разместились. Рыбаки были государственные крестьяне, очень бедный народ.

— Что меня удивляет, — сказал Щербека, указывая на меня, — Скавронский так недавно еще в наших степях, а уже стал рьяным охотником: в метели и в дождь, по ночам и бурям, не боясь ни наших комаров, ни болот, охотится, как и мы, грешные. Или уже это в крови?

— Я тоже думаю, что в крови. Охотники не делаются, а родятся, как и государственные великие люди... До охотничьей души надо дослужиться у Бога! — заметил торже-

ственно Домонтковский, вообще любивший более процесс охоты, чем самую охоту, так, от скуки.

— А вот «янки» другое дело, — сказал Щербека, — не правда ли? Мы с вами, Петр Иванович, сделались янками по расчету, по воле? А помните, Иван Андреич, как я, будучи студентом, двое суток торчал с вами, без хлеба, в болоте, увязнув в трясине, под Васищевым?

Пономарь тряхнул косичкой и усмехнулся.

— Кабы не стрелок-промышленник, пропали бы мы ни за грош!

— Да, таки набрались муки! Двое суток провозились по пояс в трясовине...

Пока мы сидели у огня, подкладывая дрова и толкуя друг с другом, рыбаки сходили вниз к озерам, к своей лодке, осмотрели вентери и опять воротились.

— А что, господа, не будем сегодня спать до самой зари, — отозвался я с предложением, — протолкуем лучше до утра и встретим на ногах первую нашу весеннюю охоту!

— Отлично, Александр Сергеевич! — подхватили остальные.

Мое предложение было принято. Мы подкинули в огонь веток и расположились, кто как захватил место. Домонтковский обратился к рыбакам:

— Как тебя звать?

— Андрий Шаповал!

— А тебя?

— Терешко Товстый!

— Ну, Терешка, сказку...

— Дайте бубликов вязку.

Все засмеялись.

— Ну, скажи небылицу...

— Дайте паляницу...[1]

---

[1] Пшеничный хлеб.

Терешко оказался, несмотря на свой жалкий и загнанный вид, балагуром! Ему и его товарищу дали по здоровенной чарке коньяку

— Ну, да и горилка же, бес ее матери увва! Спасибо вам, господа. Спасибо! Какую же сказку? Разве про того человека, как он ехал, да и загубил рукавичку; а туда влезла жабка-букавка, за нею рак-харавар, за раком зайчик-побегайчик, за ним сестричка-лисичка, за нею волк-гаврило, зубастое рыло, за ним медведь-михайло, до меду подбирайло, и как они там стали мирно жить, хлеб-соль водить.. Эту?

— Свинство! — сказал с презрением пономарь. — Такие сказки не подобает благородным дворянам слушать!..

Я было хотел вмешаться. Щербека мне мигнул.

— Ну, так какую же? — спросил, обидевшись, рыбак

— Скажи *сторию*, сторию, коли знаешь, про важные и мудрые вещи! А то, черт знает что, только уши мозолишь и охоту нашу спортишь!..

Терешко начал свой рассказ, как умер царь Ирод и как у него родился невиданный царевич...

Долго говорил Терешко. Пономарь присмирел и слушал его с восторженным вниманием. Прочие гости дремали..

В кустах неожиданно звякнул соловей и долго-долго пел, изумив нас своим ранним появлением. Засвежело. Поднялся туман от Донца. Месяц был в тучах. Но тепло и душисто было в лесу. Мы не выдержали, потушили огонь и ушли в хатку, запершись от комаров. Я просыпался часто, почти не спал. Не спал и пономарь. Прочие храпели.

— Слышите, слышите, — говорил пономарь, садясь в потемках и замирая от собственных слов, — слышите? То птицы из Вирея летят; то перелет, настоящий перелет начался...

А над хаткой точно плыли крылатые эскадроны. Шум, свист и какое-то мерное, точно живое гудение неслось, трубя, в небесах... Казалось, необъятные стаи летели, опускаясь на самую кровлю хаты; будто сотни крыл махали у дверей, над

трубой, и веяли ветром в самые окна. Либо комары и мошки, либо пестрые птицы бились мерно в стекла. Сон походил на действительность; грезы являли мыслям чудные картины степного перелета. Сердце билось; в виски стучало; в ушах звон; на небесах звон!..

— Иван Андреич! Что это? Гуси кричат или журавли, или певчая лесная птица?..

— И гуси, и журавли, и лесная певчая птица!

Опять загремел соловей. Я долго слушал, сидя на лавке.

— Иван Андреич! как это все разом летит и поет. Что за странная, чудная ночь!

Ответа не было.

— Иван Андреич! вы спите? Иван Андреич?

Пономарь не отвечал. В лицо мне повеяло чудною свежестью и негою... Смотрю, дверь отворена. Я вышел на крыльцо. Пономарь там...

— Боже, что за ночь!

А Иван Андреич, в косичке, без подрясника и простоволосый, стоит на пороге, против месяца, и плачет...

А вверху опять гул, точно реки звуков несутся в облаках, или крылатые струны звенят в воздухе. Летят и летят, летят без конца воздушные армии. Свиваются в колонны, точно строятся рядами, взводами, рассыпаются, опять смыкаются в подвижные каре, летят без конца. Донец сияет серебром; озера у ног отливаются золотом. Должно быть, лопнули и вскрылись липкие назревшие почки черемухи или береза впотьмах окинулась кружевом своих развернувшихся светлозеленых куколок. Что-то пахнет, пахнет вблизи. Летела какая-то стайка над ольхами. Маленькая птичка впотьмах наткнулась на самую дверь хаты и отшатнулась с пугливым шорохом, шнырнув в сторону...

Мы пустились на охоту, чуть стало, как говорят здесь, «благословиться на свет». Видели игру ярко-пурпурного солнечного блеска в тумане озер и на корнях деревьев. Охота была удачная. Собаки шли по росе отлично. Мы воротились с полными ягдташами.

III

Летом

Временные с весны озера в степи. — Насекомые. — Засуха. — Охота на дроф и стрепетов. — Охота на перепелов

Охотник с жадностью ловит последние дни весны. Скоро водополь спадет, и птица сядет по гнездам.

Дни еще влажны и прохладны. Апрель в полном ходу. Не вся и птица прилетела из «Вирея». Апрельские насекомые роями слетаются, шумят кисейными чешуйчатыми крыльями, оживают и ползут из земли, из щелей древесных корней, из-под гнилой коры и всяких норок, где они ждали тепла и Божьего весеннего дня и солнца в долгую зимнюю спячку. Вот ползет между стеблей крапивы продолговатый жук-крестовик, черный, с белым крестом на спине. Вот темный, с желтым пухом на груди и на спине шмель гудит басом и ищет медовой чашечки едва распускающейся груши. Зеленые майки, с фиолетовым брюшком, в ожидании листьев туго оживающей ясени, усыпают собою первые листья сирени. Желтые, голубые, алые, белые и сизые бабочки, как лоскутья разноцветных шелков и ситцев, перебрасываются с куста на куст и мелькают между деревьями. Коричневая круглая коровка, величиной с воробьиный глазок, ползет на гладенькой былинке, раскидывает оборочки нескольких слоев крыльев — бронзовых с черными крапинками, зеленых с серебряными точками и белых кисейных, как будто пробует их, и звенит, улетая в сверкающую синеву. Торопливо суетится подорожный, вам знакомый, черный жук, изо всех сил барахтаясь и катя, непременно задом, навозный, слепленный собственными средствами, шарик в темную подорожную же норку. Крылатые гусеницы, рои мошек и комаров-трубачей снуют взад и вперед или стоят клубами в воздухе, точно висят в нем сверкающими искорками, и тысяча ласточек очеретянок, вава́кушек; серых и черных дроздов, иволг и

всяких мухоловок носятся, стелясь за ними по земле или ловя их в воздухе, меж ветвей и над вершинами деревьев...

Птицы прибывает более и более. Одна стая снимается и улетает; другая тут же падает на ее место, усталая и голодная. От вечерней зари до утренней пощипала травки, отдохнула и опять летит далее семья степных гостей, к вам на север, в Тамбов и Владимир, под Москву и в Сокольники, в Парголово и в Мурино, всюду, где вы ждете ее от нас, гг. записные северные охотники.

Птицей уже полны реки, озера, болота и степные водные застои. С этими последними выходят странные дела.

Среди широкой, гладкой степи зимняя вода стекает в мелкие, но огромные котловинки. От первой оттепели до засухи эти котловинки рядятся в сущие озерки; устилаются речными порослями, окружаются мелкой осокой и временным видом озер и болотных плёс приманивают к себе перелетную дичь: уток, дупелей, бекасов, кроншнепов, цаплей, даже иной раз гусей и лебедей. В виду моего хутора однажды две ночи на таком обманчивом болотце, на вековой целине, прогостили три пары превосходных перелетных лебедей. Иная птица, особенно беспамятная и глупая дикая утка, здесь соберется и гнезда вить, забьется в низенький куши́р, ждет его роста, нанесет яиц и потом жестоко ошибется. Эти степные плеса, эти широкие и красивые озера, с яркою нежною зеленью, эти наши Лаго-Маджиоре и Лаго-ди-Комо, являющиеся, по манию волшебника, близ диких степных терновников и вишенников, также по манию волшебства и исчезают. Пока влажный апрель еще царствует, пока в начале мая еще перепадают дожди, даже старые и настоящие охотники ходят туда охотиться. Незапуганная птица там еще близко подпускает. Вы увидите, как на ладони, рано поутру на ясном стекле таких озерков кучу бегающих по колено в воде красноногих и голоногих куликов; увидите стадо чирят, маленьких уток, купающихся в воде и чистящих носами свои серенькие груди. Увидите мерно шагающую цаплю и набьете полный ягдташ резвых дупелей и бекасов. Но вот потянуло зноем.

Воды вошли в берега. Дороги просохли. От идущих толоками стад взвивается серенькая пыль. Вы кидаетесь в степь к терновнику, к знакомым озеркам... Их нет, как не бывало. Мигом все уничтожил собою зной, уничтожил и унес в небо и воду, и ее налетных обитателей, уток, куликов, цаплей и бекасов. Вы ходите по месту, где еще недавно тонули ваши ноги, облаченные в охотничьи ботфорты; земля суха, степная травка устилает ее, и мужичок хуторянин, как бы в насмешку вам, еще запахал половину ее под пшеницу...

Все сохнет и мертвеет под веянием нашего степного сирокко и самума, нашего неодолимого «суховея». Зарядил он в половине мая, да иной раз остановится только в конце августа, не уронив на обессиленную и раскаленную почву ни дождинки, ни росинки. Тогда беда всему: и живущим, и прозябающим, и птицам, и животным, и растениям. Степи трескаются, всходы хлебов выдуваются с корнями, берега рек желтеют, самые реки пересыхают и превращаются в нити реденьких и иловатых озер. «А что, какова ваша речка Берека теперь? — спросил я однажды из Петербурга, в июне, своего южного приятеля. — Что в ней теперь и мелет ли ваш млинок?» — «В нашей речке теперь *пыль!* — лаконически ответил мне приятель. — Пыль, одна пыль — вдоль и поперек!»

Вы вышли в поле... Нет сил спастись от зноя. Дорога вся в трещинах. Тарантулы шныряют от норки к норке. С жалобным стоном носятся над головою чубатые чайки, «чайки-небоги, что вывели деток при битой дороге», как говорит наша старосветская песня, творение Мазепы, по народному преданию, соединившему судьбы старой Малороссии с этою вечно тоскующею птицей-чайкой. Ветер спит, на время перемолк. Даль, с левой стороны, сверкает полною безоблачною синевой; с правой завесилась тучами, и из-под их сизых и белых пепельных пологов доносятся непрерывные раскаты грома. Но дождя нет. Тучи обманывают. И опять зной и зной. Все молчит. Птица сидит или садится на гнезда. До Петра и Павла закон и совесть запрещают ходить на охоту

Но вот и этот праздник. Только нет, мало поживы охотнику летом в степях. Наши степи безводны, По большим рекам только и охоты. А много ли их у нас? Днепр, Донец, Воркскла, Самара, еще две-три значительных, с заливными «луками» и болотами, и только. Надо ехать на молодых бекасов и дупелей верст за семьдесят. Уток иной раз найдешь в степи и близко, на хлебе, во ржи или пшенице, а иной раз и прямо среди поля, на стогу прошлогоднего сена. Но это еще не охота. Надо ждать осени, обратного пролета дичи с севера, от вас, из Тамбова и Парголова, Сокольников и Мурина.

На что же охотятся в степях в самое лето? На дроф и стрепетов круглое лето и везде по всей нашей степной равнине, на куропаток иногда, близ лесных балок и терновников, где попадают на след их выводков, всегда сторожко ищущих леса, чтоб спрятаться от громадных наших коршунов, и на перепелов, во время покосов проса, с сетью и с собакой. На журавлей бывает также охота, и охота заманчивая. Но их стаи попадаются год от году реже и реже и держатся более в остатках огромных когда-то наших камышей.

В конце июня однажды я получил из Золочевской за́имки письмо следующего содержания: «Милостивый государь, господин Скавронский! Пора, ваше высокоблагородие, охотиться. Птичка всякая уже спорхнула с гнезд. Петр и Павел благословляют днесь! Мне бы и не следовало в моем сане. Сказано попам и причтам: не пролейте крови живущих и не убейте ничего же и нигде же. Ну, да молитвами святых угодников охотимся уже тридцать два года и другим желаем того же счастья. Прежний владыка нападал и отрешал от причта, а этот позволяет. И впрямь: ничто это в грехе? А Давид ловец пред Господом? Не умалишася душа моя в охоте, а аще познает чудеса Господни, читая в природе, и вем, яко грешен, но молюся и в вере не оскудеваю. А хорошо бы, ваше высокоблагородие, на стрепетков и дрофов; появилися в великом буйстве и несть им числа. Деркачёвский коваль сказывал, что, как овцы, ходят. А Семен с За́йковки

даже приковылял ко мне и говорит: старина, есть куропатки... Едем, ваше высокоблагородие. Жду вас у себя. Ваш богомолец и слуга, пономарь Иван Михайловский».

Сильно я обрадовался зову дорогого приятеля и, по здешнему выражению, тотчас «побежал» к нему на паре хуторских пегашек. Пономарь оставил уже город, теснимый братией, и жил в причте Золочевской за́имки, в живописнейшей местности самарского побережья. Я застал его в трудах. В низеньком сарайчике он справлял из шалёвок лодку-плоскодонку для соседнего паныча, стягивал ее веревками, вделывал дно и пыхтел что было сил. Он мне очень обрадовался. Его косичка приветливо заколыхалась. Его жидкая бородка, с нашего расставанья, показалась мне еще жиже. Глянув вниз, он отер с лица пот и улыбнулся.

— Э! а я вас вот как ждал! — сказал он, не поднимая глаз.

— Что это вы? Вы и плотник?

— И плотник, и кузнец, что нужно...

— А рыбу ловили по весне?

— Ловилась, да плохо. Коропа терлись; десятка с четыре поймал...

Мы вошли в его новое жилище... Полная и румяная, статная хозяйка что-то стыдливо сунула в угол, под печь, и, сейчас явившись, села, как барыня. И они барыням завидуют! Даже чепчик нацепила... Мы с ее мужем пошли за перегородку. Там был артистический хлам: стенные часы, какой-то портрет масляными красками, три стареньких ружья на стене; начатая небывалая клетка для ловли перепелов, куда в середину сажают самку под вечер и, вынося в поле клетку, ловят самцов особыми дверками, в виде силков. Наструганные палочки еще валялись по полу. Сынишка-пономарчонок возился под печкой и пачкал без милосердия фалды еще новенького сюртука.

— А что, сын ходит в школу? — спросил я.

— Нет, плохо, не учится!

— А что?

— Быть и ему охотником. Такая уже душа! Стянул где-то голубя, повел племя под печкой и теперь торгует. Рубля на два уже наторговал...

— Куда же мы едем на охоту?

— Едем на дроф; да пораньше завтра, до зари.

Мы собрались до света, на простой телеге, запряженной в одну лошадь. Чтоб еще более обмануть сторожких дроф, на телегу даже навалили сена, утыкали ее часто свежими ветками, кое-как уселись за ветки с ружьями и поехали. Все искусство охоты на дроф состоит в том, чтобы обмануть их сторожкость сколько можно более, представляя из себя мирных странников, возниц сена или хлеба, и подъехать к ним как можно ближе, то есть на выстрел.

Солнце еще не всходило, когда мы вытянулись из поселка, потонувшего в садах, поднялись на пригорок и поехали ровною, гладкою степью, еще сочно влажною от дружной росы, нежданно подаренной скупым небом тою ночью. Лошадь, фыркая, медленно пробиралась сперва дорогою. Потом мы своротили на хлеба и сенокосы. Чуть брезжило, и жаворонки еще не пели. На востоке появление солнца предвещали багровые полосы, захватывавшие окраину неба более и более. Но еще густая свинцовая тьма устилала небо с той стороны. Пахло свежестью и травами. Влево, где-то за косогором, на незримом хуторе, надрываясь, кричали петухи, и по воздуху доносились их крики. Вправо, в тумане, виднелись далеко-далеко одинокие стоги. Вдруг из-под ног лошади порхнул и, вырвавшись, клубком покатился по траве заяц.

— Стреляйте, стреляйте! — крикнул я второпях, ища ружья.

— Что вы, что вы! — зашипел пономарь и, ухватясь за шапку, присел. — А дрофы?!

— Да, точно! — И я опустил ружье.

Ехали мы еще долго, версты три и более. Ничего не видно. Лошадь только мерно шагает по зеленой целине, да пофыркивает, поглядывая на росистую, сочную траву.

Влево, между пахотями, забелело стадо овец.

— Что это? Шпанки? — спросил я.

— Ай, ай, ай! — еще тише и плотояднее зашипел пономарь. — Молчите! Какие там шпанки, то дрофы!

И действительно. Огромная стая дроф, штук в сорок, мерно выстроилась и, подняв на нас издалека свои чуткие круглые головы, тихо шагала и врассыпку паслась на заревом прохладном корму.

— Что́ же нам делать?

— Ах, Боже мой, да молчите! молчите и сидите, или лежите пузом!!!

И начал пономарь кружить. К дрофам надо бы ехать прямо, а он забирает в бок, делает круги, круги побольше и поменьше. Все уменьшая круги, наконец он выровнял телегу так, что дрофы стали менее чем на выстрел. Он тихо сполз с телеги, взял ружье, лошадь пустил по-прежнему безостановочно и, вдруг выйдя из-за телеги, приложился — и выстрел грянул. Картечь засвистела по крыльям. Затем грянул другой выстрел. От обоих упало три дрофы, четвертая сначала не могла подняться и долго бежала по земле, размахивая крыльями. Я приложился вслед за ней и за всей улетавшей стаей и дал, без сомнения, промах.

— Полетела умирать! — подтрунил Иван Андреевич, подбирая своих убитых дроф.

Мы едва втащили их на телегу, так они были велики и жирны. Стадо перелетело не далее версты и село в наших глазах. Мы опять поехали на них, и опять пономарь стал делать повозкою свои хитрые круги. И странно: стоило показаться в виду этого стада, за полверсты, мальчику-пастуху, в одиночку, и оно бы снялось и улетело. А нашу телегу подпускало на двадцать сажен и попадало бы, до последней птицы, если бы у нас стало терпения следить за перелетами и присестами. День прояснел окончательно; солнце было, по местному чумацкому выражению, «на два дуба», то есть стояло над небоскло-

ном на высоте часов восьми. Мы немного притомились и ехали тише. В мелких бурьянах из-под телеги со свистом поднялось на упругих пестрых крыльях стадо стрепетов. Мы по ним дали два заряда, и четыре птицы, кувыркаясь, полетели наземь. «Славные стрепеты! Отличная пташечка!» — сказал пономарь, самодовольно потирая жирную, увесистую благородную степную дичь.

— Не довольно ли на этот раз, Иван Андреевич?

— На журавликов бы, еще крохотку...

— Да вы же устали!

— Не устал; убей Бог, не устал-с!

Найдено новое стадо дроф, стадо, невиданное по величине, голов в полтораста. На него мы наткнулись врасплох, поднявшись на крутой косогор, усеянный терновником и «дерезо́ю», мелким степным кустарником, так безнаказанно ломающим на целинах здешние плуги. Дрофы нас увидели, но не слетели. Было жарко, и большая часть из них лежала на траве, на образец страусов, с которыми дрофы очень и схожи, запрятав от зноя головы в стебли. Одни дрофичи чутко и сто̀рожко расхаживали, поглядывая по сторонам и гордо выставив бело-коричневые пернатые оторочки своих шей. Пономарь остановил лошадь. «Ну, делать нечего; выпряжем лошадь, и пусть пасется; будто в поле за сеном приехали! — сказал он. — А мы полезем травами да лощинами и подползем к ним вон тем яром!»

Мы пустили спутанного коня, а сами зашли снова за косогор и поползли травами на животе, с другой стороны, стараясь вползти в длинный яр, подходивший к самому месту, где были дрофы. Мы ползли долго, более полуторы версты. От непривычки я значительно отставал; но мой спутник, с налитыми кровью глазами, в одной рубахе, держа ружье впереди себя, полз без устали, извиваясь, как ящерица. Изредка только остановится, поднимет голову из густой травы и глянет по степи, наставя ладонь к глазам. Я тоже оглянулся: лошадь виднелась далеко-далеко, щипля траву вблизи чуть видной повозки. Мы уже обходили дроф.

Ползя в траве, иной раз мы натыкались то на муравьиную кучу, то на гнезда жаворонков, чаек и длинноносых полевых куликов, называемых «грициками», летавших роем над нашими головами. Два огромных коршуна, шныряя в недосягаемой высоте, медленно кружили, будто плавали, над нами, зорко следя за мелкими пташками, выпархивавшими из-под наших голов. Кое-где пестрела, скрываясь от нас, серенькая змейка, да на тысячу ладов перекликались, оглашая степь свистами, наши лютые бичи, овражки-суслики, поедающие сотни и тысячи десятин наших хлебов. Иная букашка блестела в траве, как аметист или яхонт. Жгучий, медвяный запах цветов кружил голову. Наконец мы спустились в овраг и сели отдохнуть.

— Ну, истомили вы меня, Иван Андреевич!

— Ничего-с! Добыча будет лютая!

Пономарь вынул трубочку, набил ее и закурил. Он протянул руку по оврагу к одному месту, где травы были гуще и сочнее и где отзывался коростель. «Идите туда, барин; там, наверно, родничок, захватите в стаканчик водицы!» Я вынул складной клеенчатый стакан, пошел туда и действительно нашел ключ отличной холодной воды, сочившейся из ребер оврага по травке. Мы напились, зарядили ружья картечью и, подкравшись к окраине оврага, почти в упор беспечно лежавшим дрофам, навели ружья в более густые кучи.

— Бить, Иван Андреевич?

— Стойте...

Он встал, спустился в овраг, снял шапку, перекрестился, потом снял сапоги, левый переменил на правую ногу, а правый на левую (это был его обычай и поверье в более важные минуты охоты, для верности удара) и опять прилег и стал целиться...

— Бейте...

Грянули первые и вторые выстрелы. Дрофы шарахнулись, как стадо овец, пробежали несколько десятков шагов в разные стороны и врассыпку поднялись, летя над нами и об-

давая нас прохладным веянием от своих дрожавших широких и мощных крыльев. Не успели мы взглянуть, сколько упало убитых дроф, как с противоположной им стороны, из другого ярка, из травь поднялись озадаченные и с ружьями другие два охотника, также подползавшие к дрофам с другой бесконечной степной дали, и предупрежденные нами почти в самое мгновение своего прицела. Они подошли к нам. Это были охотники-промышленники из военных соседних поселян, один в солдатской старой куртке, а другой в цветной рубахе. «Ишь, барин, — начали они, — мы ползли версты две до них с утра, да орел их напугал близко уже от нас, а теперь опять с завтрака ползли до них, вот по какие поры — а вы их постреляли»... Пономарь, не глянув даже на их печально ухмылявшиеся лица, презрительно качнул косичкой и бородой и молча пошел подбирать дроф: семь штук лежало по траве, восьмая, раненная, далеко бежала полем. Он поручил мне стеречь убитых, сам добежал до лошади, сел на нее, подобрал фалды своего подрясника и пустился вскачь на кобылке за дрофой. Через полчаса он и ее притащил верхом. Промышленники постояли, поглядели и пошли далее отмеривать новые версты по знойной, сверкающей степи. «А где нам на стрепето́в еще поохотиться? — крикнул им вслед неугомонный пономарь. «Вон в тех вершинах найдете!» — великодушно ответили незнакомцы, оборачивая издали истомленные лица. Мы двинулись далее. Через полчаса степь заклубилась. По ней протянулись белые дымчатые полосы, будто потоки вод хлынули и заструились бегучими лентами по полю. Ветру не было, но полосы клубились и заливали даль. Вот они стали расти, из их стеклянных волн вытянулись такие же дымчатые верхушки — столбы, каланчи, деревья, стоги, целое село, лес и овраги. А вот выдвинулся, колыхаясь, курган. На нем стоит на одной ноге, поджав другую, журавль и, закинув голову под крыло, спит в знойной и сверкающей синеве воздуха. Это — «марево», наш степной мираж, поэтическая фата-моргана, порождающая столько толков в нашем простонародье.

IV

Осень

Охота на перепелов. — Отроковица и зеленчук. — Степныя марева. — Перевал в байраки и овраги

Однажды мы приехали на хутор Золочевскую за́имку. Хозяйка пономаря, опять в чепчике, но с засученными рукавами и по локти в тесте, встретила нас приветливо. Прохлада низеньких комнат с открытыми ставнями обхватила нас и уврачевала, с приправой доброго полудника, все хлопоты этого первого счастливого дня. На другой день мы снова двинулись в поход, а хозяйка Ивана Андреевича повезла дичь на особой тележке в город на базар, оставя мне законную долю, которую я тотчас же послал к соседней барыне в презент. О дрофах кончу тем, что мясо их необыкновенно вкусно, если намочить его дня на два в уксусе, и очень похоже на мясо диких оленей. Они иногда зимуют в степях, не улетая в «Вирий», особенно если зимы теплы и малоснежны. Тогда бывают потешные истории. Выпадающий ночью снег запорошит перья спящих кучами в сухих бурьянах дроф; ночью же ударит оттепель, а к утру мороз — крылья оледенеют, дрофы лететь не могут. И мне самому в детстве случалось видеть, как мальчишки на заре загоняли в барский двор дроф, голов по двадцати и более, прямо палочкой, как овец.

Так мы проохотились, имея перевалы на Золочевском хуторе или за́имке, недели полторы, ловя по вечерам удочкой рыбу, а днем отыскивая дроф и стрепетов. Как-то выбрался день, и мы отправились еще с дудочками и сетками на перепелов. Мой товарищ уверял меня, что за Бритаем в просах и по столетней целине их не оберешься. Мы запаслись съестным, остались полегче, чуть не в одних рубахах, и пошли. Выйдя в степь, ударишь в дудочку, на голос самки, раззадоришь двух-трех бойких и голосистых самцов, сеть раскидывается по траве, сам ложишься близ сети, со стороны, противоположной пере-

пелу, продолжаешь его манить, и он подхóдит к самому вашему носу, надседаясь от щеголеватых вавáвканий и крупного, звонкого щелканья на множество ладов. Вы его спугнули, и он уже в сетке. Мы ловили с утра до вечера. Множество крикунов уже сидело в холстяной запасной клетке, толкаясь озадаченными головками о ее стенки. Поздно вечером, уже перед захождением солнца, случилось странное дело...

— Что это значит, Иван Андреевич, вы сюрсюкаете уже сотый раз, а перепел нейдет в сеть и отзывается все с разных сторон? Сказать бы, что он высматривает засаду и перебегает с места на место? Так нет же: такие ходы ему не под силу, и ему так скоро не перелететь; а он бегает, и не видно, чтобы летал...

Пономарь тревожно погладил бороду и вздохнул.

— Что вы?

Он тихо погрозил мне пальцем, чтоб я молчал, и сказал шепотом:

— Эх, молчите! То отроковúца или, может, и сам зеленчýк...

— Как отроковúца? Что такое зеленчýк?

В это время, под звук дудочки, с места, где мы ожидали отклика перепела, раздавался какой-то писк. В сыром и тихом, благоуханном воздухе вечера и в густой траве, где мы лежали, толкая носом кудрявые былинки цветов, нас этот таинственный писк подрал морозом по спине. Темнело более и более...

— Нет, Александр Сергеевич! Не будет толку из этого перепела! То не перепел, когда уже так... Не будет толку... Пойдемте! Оно не так кричит.

И он стал торопливо снимать сеть; снял и зашагал по росе так, что я едва его догонял...

— Что же это такое, о чем вы сказали, отроковúца и зеленчýк? — спросил я, молча пройдя с ним в сумерках порядочное пространство.

— Отроковúца, это одна такая перепелочка, про которую говорят, что была она прежде поселянкой... Ну, поселянкой... ну, ваше высокоблагородие, один помещик, понимаете... приударил за нею, за перепелочкой-то... за поселяночкой-то!.. Ну,

и загубил ее, коршунище! Как загубил? Значит, только отдала она с горя Богу душеньку, ну, и пошел он, коршунище, за перепелами-то любил ходить! Пошел, а она, ее душенька-то, и стала его лякать; перепелом прилетела — кричит, манит, пугает его и завела в трущобу; там черти его и доломали! С той поры такой перепел и живет промеж людей и пугает всех до смерти! Его не поймаешь, особенно, ваше высокоблагородие, коли кто из вашей братии, извините, на него наскочит... Беды бывают!

— Ну, а зеленчу́к?

— Зеленчук такая штучка, род травки, волосатенькая и вся зеленая; не то гриб, не то корневатая, клубчатая былинка, и летает. Это то же, что житнички, домовые, что живут по житам, величиной с воробчика, и ползают, как кузнечики, по былинкам. Тех ма́вками зовут, а этих — зеленчу́ками: эти мохнатее и кричат всякими голосами. Любят подшутить. Раз и со мною было. Манил я его, манил дудочкой под сеть, еще с отцом Павладием покойником ходил по перепела. Он и зашел уже под сеть. Я к нему, а оно, волохатое, сидит и глядит на меня, как лягушка, да и говорит: «А что, брат? поймал? Ку-ку! Ку-ку!» — да как прыгнет, точно вихорь, и унесло с собою всю сеть — как ветром задуло: понесло по полю и по ярам. И кусочков после не нашел...

Я глянул: товарищ мой был бледен как полотно.

На другой день мы отправились снова на дроф. Завидев стадо, распрягли и пустили лошадь по траве, близ повозки.

Но оводы и мошка пришпорили ее, она замотала гривой и, как бешеная, кинулась вскачь, куда глаза глядят. Проводив ее взорами, мы также покачали головами, сложили багаж на повозку, оставили ее на волю судеб и под охрану отроко́виц и зеленчу́ков и пошли с ружьями, сами не зная куда и по какой дичи, как ходят истинные охотники.

Мой товарищ шел по-прежнему без устали. Я томился от зноя и давно поглядывал по сторонам, выбирая долинку или кусты, где бы спрятаться и отвести дух в тени. Но ничего подобного не было. Степь тянулась без конца. Вскакивали из-под наших ног куропатки; раза два сгоняли куликов. Но я ни-

чего не видел от зноя. Мой товарищ, со своей стороны, не стрелял от скупости, по привычке старых охотников, положив себе целью непременно стрелять в тот день только по дрофам. Но дроф не было. Я был готов упасть от тоски и духоты. Судьба сжалилась надо мною. Вдали мелькнуло отрожье степной балки — лесистого, чудного байрака...

Эти балки и байраки в степях — любопытная вещь!

Происхождение их довольно загадочно. Степь неисходная во все концы, а среди гладкой, безлесной пустыни — яро́к, длинный, продолговатый овраг, и этот овраг полон деревьев и кустов. Точно в смятении потопа, устремились сюда из общей засухи, из мертвенно гладкого поля, тысячи спасающихся животных. И белокорая березка, и дубняк, и клены, все здесь есть. Откуда же это? Кто сеял эти байраки? Откуда взялись лесные семена, когда кругом на десятки верст нет ни былинки? Есть два объяснения: или семена сносило сюда по временам потоками оседавших вод доисторического моря, дном которого, говорят ученые, были наши степи; или в эти прохладные ло́ги, всегда обильные ключами, бьющими из их крутых ребер, семена заносились случайно птицами и под влиянием счастливых обстоятельств, которых нет в остальной окрестности, давали густые рощи. Такие байраки заветное место украинских пасек. Здесь пчел укрывают от зноя. Отсюда они берут кругом неслыханный взяток с цветов девственных полей, но только в дожди. В засуху степь — даже без трав. Не встречая кругом ни кустика, иной раз верст на пятьдесят, сюда стремится весной тысячными стаями перелетная птица. Остаются здесь вить гнезда и летовать обычные их обитатели: кукушка, дрозд, горлинка, сорока, мелкие очеретянки, сойка, куропатка и очень часто утки, особенно если в байраке есть ключи.

— Чей это байрак, Иван Андреевич?

— Колчи́гинский, прозывается британским...

«Чуть не британский: громкое имя!» — подумал я.

И это уже были последние мысли. Я упал почти без дыхания и памяти под ветви коренастого дубка, окунулся в травы и долго-долго не мог раскрыть глаз от усталости. Что-то жуж-

жало и звенело, и пело вокруг меня... Прохлада неслась снизу. Мы улеглись под крутизной, в первом сумраке кустов. Шлепая в мокрой осоке, на дне оврага, перелетела и снова села где-то внизу, очевидно, утка. Оттуда, где она села, неслось кверху шепотливое шуршуканье струек ключа. Мы затихли и долго-долго не подавали друг другу голоса. Какая-то муха, востроносая, чуть не в полвершка величиной и с черными, в пурпурных пятнах крыльями, качаясь, сидела у самого моего носа, на веточке кудрявой травы. Желтый, с огненными и черными подпалинами хорь, бич сусликов, длинный и извилистый, вышел из норки, пробираясь, вероятно, к родникам вниз оврага, прыгнул шаловливо раза два вперед, назад, сгорбил дугой свою мягкую длинную спинку, погрыз какой-то стебелек и пошел опять далее, резвыми прыжками, блестя парой белых передних зубов и мелькая в траве, как мяч. А вот и куропатки курныкают, как цыплята, и рядком, вереницей пробираются из густой травы к кустам, в пяти шагах от нас. Вот одна явилась и толчется на месте, и разгребает лапками землю, так же суетливо и попусту, как подчас и наши глупые, простоватые куры; за нею, из сети трав, просовывается гладенький носик, другой...

— Стрелять ли, Иван Андреевич? Видите?

— Еще бы! Нет, уж лучше пусть идут! А это?..

И он указал в небо. Сквозь сетчатую листву слышались серебряные звуки. Огромная стая журавлей треугольником неслась, чуть видная, под облаками, мерно махая крыльями и будто плывя над нами.

С Щербекой я встретился раз перед порою, когда ожидали снега. Была еще влажная, туманная осень. Он ехал с последней слободской ярмарки, где закупил на спекуляцию, на зимовлю, десятка два пар волов, домой. Я тоже ехал домой. «Поедемте ко мне! — сказал он. — Я тут от станции живу всего верстах в сорока! Поедемте; у нас места отличные, и, главное, в нашем околотке послезавтра устраивается охота в наездку...» Я пое-

хал. Небольшой хуторок носил на себе отпечаток хозяина. Но меня это не занимало. Я ждал охоты...

Охота была в серый, пасмурный день.

На спокойных конях, разбившись друг от друга на четверть версты и выровнявшись в ряд, мы ехали шагом по необозримой гладкой степи. Изредка срывавшийся мелкий дождь моросил в лицо. Рыжий, истрепленный ветром бурьян, репейник и длинный коровьяк, не тронутый в лето стадами, шел полосами то там, то здесь. Пустынные овраги и громадные логи, котловины особенно осматривались наездниками. Борзые, разбитые на своры, шли у коней доезжачих. Вырвался из-под ног и покатился клубком заяц; нырнул в траву и выхватился на косогор красно-бурый лисовин, самец-лисица; пошел в ход громадными скачками, несясь легче ветра, вдоль пустынного байрака волк. Ездоки сваливаются вдогонку, собаки летят стрелой, летят версту, другую. Барсучьи кочки, котловины, кусты мелкой «дерезы», вишневые дикие заросли, гладь и гладь без конца — все это несется в глаза, мелькает мимо. Вот новый горизонт. Перевалились через кряж холмов. Затравлено много русаков, две лисицы; волк убежал. И напрасно за ним скачут неутомимые охотники. Вот уже из тридцати человек летят два, один. Семеро борзых особенно рьяны. Близок дубовый лесок. Волк ввалился туда. Трубят отбой. И опять, после общего перевала, начинается наездка. Конь едва переступает. Измокшая «стерна́», жнивье прошлого лета, чуть шелестит под копытом. Вот одинокий степной колодец. Две тощих вороны сидят и мокнут на его журавле. Не вставайте и не заглядывайте в колодец. На вас не пахнет отрадою, как в знойное лето, когда вы порывались выпить его воды. Далее... Вот брошенный, измокший в траве ремень с пряжкою. Что это? Путо ли для лошадиной ноги, сорвавшееся в лето, пояс ли пустынного пастуха, чабана? Дождь зачастил, а там вдруг прояснело. Новая тревога. Опять волк. На этот раз меня удивляет доезжачий Щербеки. Махнув нагайкой, он несется один, без собак, в угон за волком, гонит его версту, две, три, томит его, нагоняет, вновь поднимает, когда тот падает, высунув язык, и,

наконец, свалившись с коня, в одиночку перевязывает его морду петлею ремнем, а потом и ноги. Опять сбор; завтрак, обед. Развязываются кошелки, тюки. Являются ростбифы, вина, водки. Кормят собак. А картина у ног, с высокого косогора, открывается новая. Солнце робкими, но яркими лучами обливает холмистую голубоватую даль, кое-где перерезанную пахотями будущих посевов, а внизу — реку, в иссохших камышах, с болотами и озерами... Поздний вечер гонит всех на перевал к корчме. Тут ожидают нас гончие. Но с ними завтра...

На другой день — новый распорядок охоты. Верховые становятся вдоль реки, по косогорам; близ них, на сворах, борзые. Гончих ведут в камыши и на болота. И заливаются желто-пегие плаксы, и напрасно юлит и обманывает их вертлявая, как вьюн, новолетняя лисица. Вот-вот она вырвется из камышового острова, пойдет в гору, к борзятникам. У борзых ушки на макушке, и тихо, плотоядно облизываются они, порываясь вперед и вперяя вниз, под гору, зоркие глаза. Охота идет вниз по реке, делая перевалы на пяти, на семи верстах в приречных хуторах. Едят, пьют и лгут во всем простодушии коренных охотников, как оно и следует...

Но зима на волоске. Просыпаемся утром: поля покрыты густым белым пологом пушистого снега.

Пороша!

Но кто же не знает пороши? Кто не знает, как выслеживается крапчатый, в скачках, след зайца, след шагом, след «пудом», бегом, его узлы взад, вперед, в бок и обратно в бок; тихий и лукавый след лисицы, след, которому нет конца?.. Едешь версту, две, пять, пятнадцать — и не поднимешь ее: она водит и водит, путает и сбивает. А вот два волчьих широколапых следа! И ездят опять охотники в наездку. Снег белеет и ослепляет глаза. И бесконечно-бесконечно расстилаются кругом, сливаясь с синими небесами, степи, степи гладкие, как стол, ул́оговатые, исполосованные оврагами или оттененные изредка деревьями, от снега, будто вылитыми из серебра.

Осенью на хуторе, соседнем с Щербекой, было одно грустное событие. Любимый егерь помещика, Павл́о Дзюба, вы-

ехал с гончими в сосновую рощу, на песках. Лучшая из своры гончих, Трубка, вскочила за лисицей в нору. «Пáне, а я пойду, отрою из норы собаку и лисицу. Нора на обрыве, в песке!» — «Эй, Павлó, не ходи! Пусть гибнет и собака, и лисица, лишь бы ты остался цел и жив!» — «О, пáне, будто я *дурный*; у меня четверо детей и жена!» — «Ну, иди!» Пошел Павлó, чистая и первобытная душа, бескорыстнейший и страстный охотник, взял лошадь, заступ, хлеба и поехал вечером в лес. Говорят, лесничий, обходя дозором лес, нашел его у норы и советовал туда не лазить. «Слухай, — ответил Павлó, — я тебя люблю, а ты штука! Иди своею дорогой». Дал ему покурить своей трубки и принялся рыть песок. Прошла ночь. Лесничий опять поехал дозором. Видит, лошадь одна стоит, голодная, у куста. Подошел к норе: оттуда торчат ноги Дзюбы. Потянул — не вытянет. Дал знать; прибежали из села и вытянули Павла вожжами из норы. Бедняк задохся... Он прорыл ход, полез туда в полушубке; полушубок завернулся полами и уж не дал ему хода ни назад, стесняя его складками, ни вперед, где лисья нора снова суживалась. Погибли, задохнулись и Павлó, и лисица, и собака... Мир праху твоему, веселая и беззаботная душа, кузнец, ключник, слесарь, комиссионер, а главное — замечательный охотник своего родного села, исходивший столько болот, объездивший столько степей и воцаривший, со своим владельцем, столько любви к охоте в своем околотке...

Но прошла осень и зима. Опять весна на дворе. Летят гуси, лебеди, дрозды, вальдшнепы и бекасы. Снимается со стены давно осмотренный и вычищенный мортимер, делаются патроны, ласкается особенно нежно красивый пойнтер или сеттер, и подтягиваются новым ремнем непромокаемые охотничьи сапоги... Золотое время... Пора безвозвратно улетевшей молодости, всяких упований и надежд!

1860 г.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Трубачев.
П. Данилевский. Биографический очерк
5

Из предисловия к шестому изданию
98

БЕГЛЫЕ В НОВОРОССИИ

Часть первая
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
103

Часть вторая
В СИЛКАХ
223

ЧУМАКИ
355

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА
«УКРАИНСКОЙ ОХОТЫ»
445

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 1

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

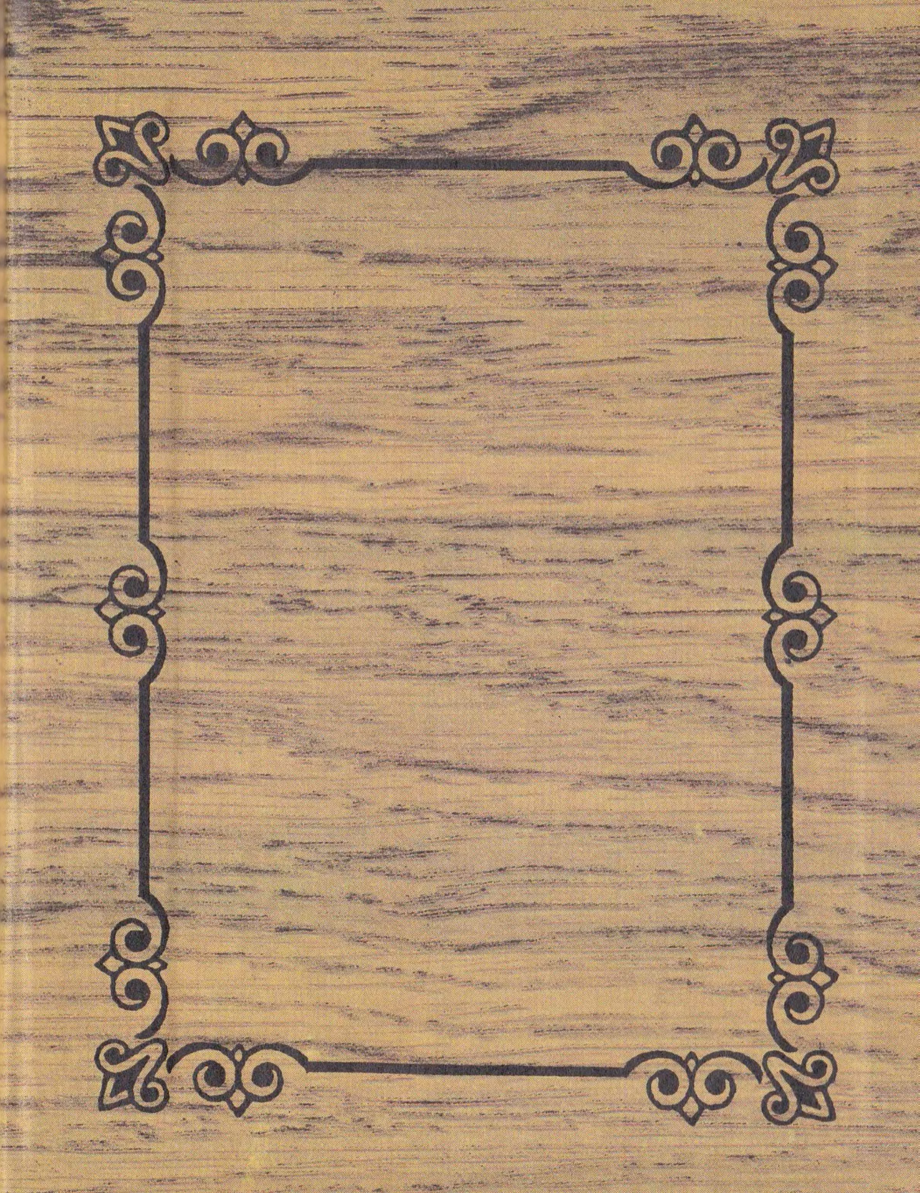
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

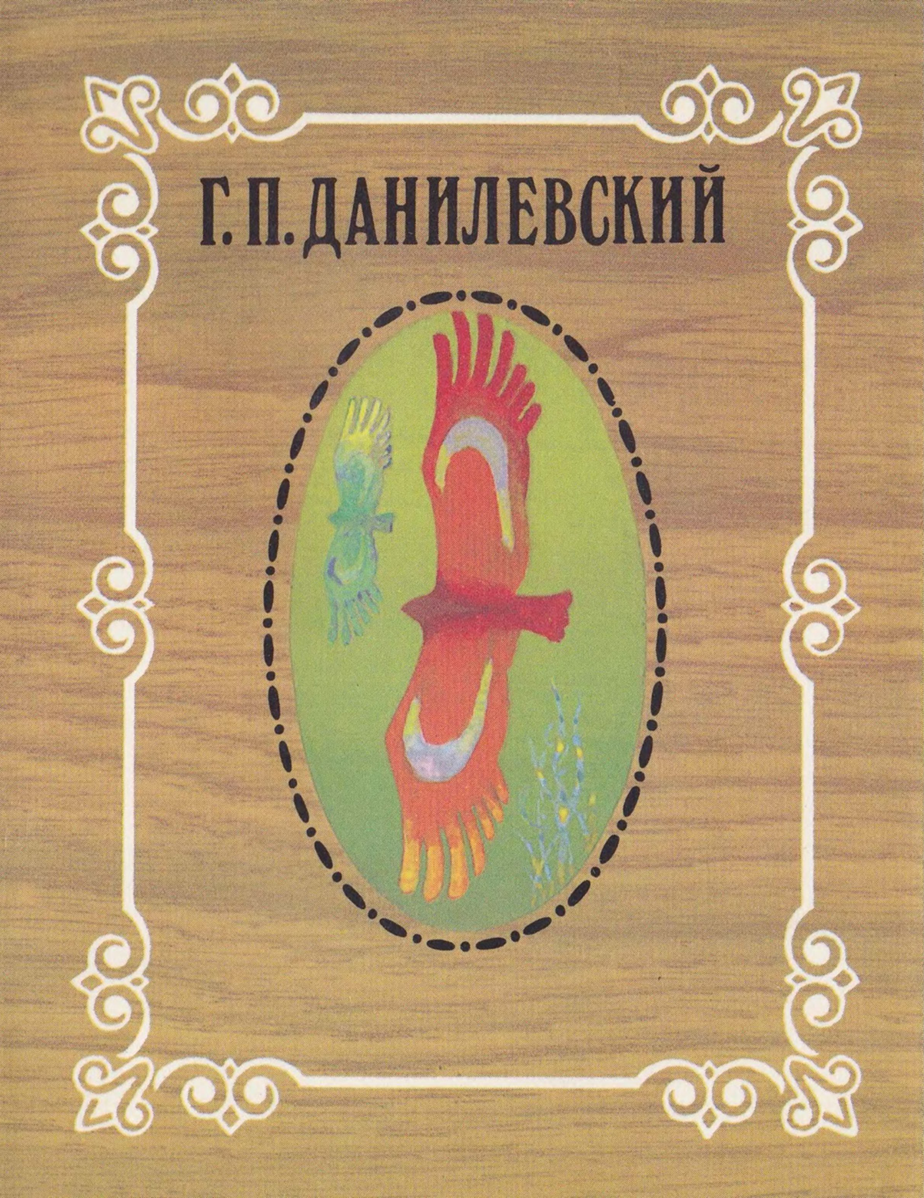
ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 15.11.94. Формат 70 X 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,7. Уч.-изд. л. 26,23. Тираж 15 000 экз. Заказ 1526 .

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.




Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ